1Ф
П38

ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

Г. В. ПЛЕХАНОВ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ
V

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БИБЛИОТЕКА НАУЧНОГО СОЦИАЛИЗМА
ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ Д. РЯЗАНОВА

Г. В. ПЛЕХАНОВ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ V

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Д. РЯЗАНОВА

г. Комсомольск н/А
ЦГБ им. Н. Островского
КНИГОХРАНЕНИЕ
ЧИТ. ЗАЛ
Центр Гор Библиотека
им Н. А.
Островского
г. Комсомольск
ОВЕРЕНО-69

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

(КНИГА ПЕРВАЯ)

Содержание

Стр.

Предисловие редактора VII

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И ЕГО ВРЕМЯ

Введение к немецкому изданию книги G. Plechanow «N. G. Tschernischewsky» . 1
Н. Г. Чернышевский. 21

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Предисловие. 125
Введение. 135

Часть первая

Философские, исторические и литературные взгляды Н. Г. Чернышевского

Отдел I. Философские взгляды Н. Г. Чернышевского

Гл. 1. Чернышевский и Фейербах. 189
» 2. «Антропологический принцип в философии». 194
» 3. Полемика с Юркевичем и другими. 205
» 4. Учение о нравственности. 215
» 5. Чернышевский и диалектика. 225
» 6. Теория познания. 232
» 7. «Благотворность борьбы за жизнь». 240

Отдел II. Исторические взгляды Н. Г. Чернышевского

Гл. 1. Историческая наука и естествознание. 251
» 2. Материализм в исторических взглядах Чернышевского. 255
» 3. Идеализм в исторических взглядах Чернышевского. 261
» 4. Ход общественного развития. 271
» 5. Чернышевский и Маркс. 280
» 6. Последние исторические сочинения Чернышевского. 292

Отдел III. Литературные взгляды Н. Г. Чернышевского

Гл. 1. Значение литературы и искусства. 303
» 2. Белинский, Чернышевский и Писарев. 326

Предисловие редактора

Мы писали уже в предисловии к первому тому, что нам при издании сочинения Плеханова придется в некоторых случаях делать отступления от строго хронологического принципа, в общем и целом положенного в основу нашего издания. Мы уже тогда решили выделить все статьи Плеханова о Чернышевском в отдельную группу.

Можно—без особенного преувеличения—сказать, что чуть ли не с первого своего политического выступления на Казанской площади и до конца жизни Плеханов, очень часто и с особенной любовью, возвращался к Чернышевскому. В письме к Лаврову от 31 октября 1881 г. он пишет:

«С тех самых пор, как во мне начала пробуждаться критическая мысль, Вы, Маркс и Чернышевский были любимейшими моими авторами, воспитывавшими, развивавшими мой ум во всех отношениях».

В первой статье, в которой Плеханов выступает уже как вполне сложившийся марксист, как основатель первой русской социал-демократической группы «Освобождение Труда», он называет Чернышевского «родоначальником русской социальной демократии».

В «Наших разногласиях» он с глубочайшем уважением пишет о «великом писателе». И в последней статье о Чернышевском, относящейся к 1913 г., Плеханов пишет: «Мое собственное умственное развитие совершилось под огромнейшим влиянием Чернышевского, разбор его взглядов был целым событием в моей литературной жизни».

И все-таки в эволюции взглядов Плеханова на Чернышевского были известные «перебои», особенно отчетливо сказавшиеся в том самом детальном «разборе взглядов» Чернышевского, который, по признанию самого Плеханова, был «целым событием в его литературной жизни».

Мы имеем целых три редакции этого «разбора взглядов» Чернышевского. Во-первых, четыре статьи в «Социал-Демократе» (1890—1892), во-вторых—книга о Чернышевском на немецком языке, вышедшая в

«Международной Библиотеке» Дитца в 1894 г. [1]), в-третьих—большая книга о Чернышевском, вышедшая в издании «Шиповника» в 1910 г.

Какую из этих трех редакций следовало выбрать для этого собрания сочинений?

Конечно, можно сказать, что вопрос поставлен совершенно неверно, что в полное собрание сочинений должны были бы войти все три редакции, что всякая ссылка на технические затруднения в данном случае была бы несостоятельна.

Но такой ответ был бы основан на полном незнакомстве со всеми этими редакциями. И никто не протестовал бы против такой перепечатки всех трех редакций с большей энергией, чем сам Плеханов.

Обратимся к его предисловию к последней редакции, т.-е. к изданию «Шиповника». Вот что пишет Плеханов о своей работе:

«Предлагаемая работа состоит из двух частей: *первая*—только теперь появляется в печати [2]); *первый* отдел второй части тоже написан заново [3]), второй же ее отдел («Политико-экономические взгляды Чернышевского») представляет собой перепечатку моих статей о Чернышевском, появившихся вскоре после смерти нашего великого писателя в одном трехмесячном обозрении, а потом вышедших, с некоторыми необходимыми для немецкой публики дополнениями, в немецком переводе у известного издателя Дитца в Штутгарте.—Я печатаю теперь *этот второй отдел второй части почти без всяких изменений*. Только кое-где сделаны мною «примечания» к настоящему изданию. Я не считал себя в праве подвергать этот отдел переработке, да, по правде сказать, и не видел в этом нужды».

Если принять во внимание, что при педантичном—хотя в некоторых случаях вполне законном—отношении к задачам редактора полного собрания сочинений такого крупного писателя, как Плеханов, пришлось бы в данном случае повторить три раза почти буквально чуть ли не двадцать печатных листов, то читатели поймут, почему я отказался от этого.

Гораздо важнее было установить, можно ли ограничиться одной только последней редакцией. Нужно было поэтому тщательно сравнить все три версии.

---

[1]) *Plechanow, G.* N. G. Tshernischewsky. Eine literar-historische Studie. Mit einem Porträt Tschernischewsky's. Stuttgart, Verlag von T. H. W. Dietz. 1894. Internationale Bibliothek. Band 20.

[2]) «Философские, исторические и литературные взгляды Н. Г. Чернышевского».

[3]) «Политические взгляды Н. Г. Чернышевского».

В результате оказалось, что немецкая редакция, как целое, совершенно отпадает. За исключением введения (стр. 3—28), немецкое издание представляет почти полное воспроизведение статей из «Социал-Демократа» с некоторыми стилистическими смягчениями, но и с некоторыми пропусками. Большинство из последних сохранено и в последней переработке, но есть и такой, который имеется только в немецком переводе [1]).

Мы поэтому ограничимся тем, что даем в русском переводе (сделан А. Потресовым) маленькое введение, написанное специально для немецкого издания.

Остается еще первая редакция, важная в особенности потому, что она относится к концу восьмидесятых и началу девяностых годов, когда взгляды Плеханова изменялись не только в своих оттенках, но и в существенных пунктах, конечно, поскольку речь шла о тактических взглядах или отношении к тому или другому явлению общественной политической жизни.

Кроме того, Плеханов 1889—1891 г.г. и Плеханов после революции 1905—1907 г.г. не мог одинаково смотреть на ряд отдельных вопросов. Мы рисковали бы таким образом, выбрав только последнюю редакцию, что читатель получил бы не совсем «адэкватное» представление о действительных взглядах Плеханова на Чернышевского или о развитии их.

Но есть и еще одно обстоятельство, которое не позволяет ограничиться одной только последней реакцией. Это особенные условия, при которых писался Плехановым первый «разбор взглядов» Чернышевского.

Дело в том, что, как это после признал и сам Плеханов, его статьи 1889—1891 г.г. о Чернышевском были иногда статьями *против* Чернышевского, в которых публицистический и политический момент зачастую вытеснял *историческую точку зрения*.

В предисловии к последней переработке этих статей Плеханов об'ясняет это следующим образом:

«Это обстоятельство отразилось и на статьях, перепечатываемых теперь во втором отделе второй части предлагаемой работы. В то время, когда писались эти статьи, наши народники и суб'ективисты усердно противопоставляли Чернышевского Марксу и твердили, что тому,

---

[1]) Для тех товарищей, которые займутся исследованием развития экономических взглядов Плеханова, отмечаю соответствующие страницы. Пусть сравнят стр. 434—436 в издании «Шиповник» (в нашем издании том II стр. 147—149) и стр. 264—265 немецкого издания. Обращаю также внимание на вставку на стр. 265 и 335 немецкого издания.

кто усвоил себе экономическую теорию автора примечаний к Миллю, нет ни малейшей надобности трудиться над усвоением теории автора «Капитала». Мне самому не раз приходилось слышать такое мнение, оспаривать его в устных стычках с нашими многочисленными противниками.

«Поэтому, когда скончался Н. Г. Чернышевский и когда, естественно, возник вопрос о подведении итогов его литературной деятельности, я решился критически разобрать его экономические взгляды и показать, что они принадлежат к той эпохе в истории социализма, которая должна теперь считаться уже отжившей». Именно это вызвало большое недовольство среди «не по разуму усердных поклонников Чернышевского». Плеханов опасается еще в 1910 г., что «иной предубежденный против марксизма, вообще, или против меня, в частности, читатель укажет на второй отдел второй части этой книги, как на доказательство моего неумения ценить названное наследство. И именно потому, что это возможно, я не счел себя в праве перерабатывать этот отдел: зачем отнимать вещественные доказательства у того, кто захотел бы выступить против меня в роли обвинителя?»

Мы сейчас увидим, что это не совсем так.

«А кроме того,—продолжает Плеханов,—в переработке и не было никакой серьезной нужды. Если указанные мною выше обстоятельства повлияли в свое время на мои статьи об экономических взглядах Чернышевского, то они повлияли на них исключительно только с *внешней*, а не с *внутренней* стороны: со стороны *изложения*, а не со стороны *содержания*».

Но об этом именно и шла речь во время оно. Статьи Плеханова о Чернышевском вызвали возражения не только со стороны народников и суб'ективистов. Многие молодые марксисты—к их числу принадлежал и я, в «устной стычке» высказавший Плеханову это со всей откровенностью,—тогда очень резко возражали именно против *внешней* стороны этих статей, против их *изложения*, против почти полного отсутствия в них *исторической точки зрения*. Тем более, что таких защитников Чернышевского, которые отрицали необходимость изучения экономической теории «Капитала», тогда, вопреки уверению Плеханова, не было. Если и встречались экземпляры этой породы в середине семидесятых годов, то даже в мрачную пору второй половины 80-х годов этих допотопных чудаков и в глухой провинции нельзя было уже найти.

А какова была *внешняя* сторона этих статей, показывает следующее место.

«Нам часто приходилось оспаривать нашего автора, доказывать несостоятельность, а местами и противоречивость его взглядов. Это может обрадовать русских охранителей. «Так вот он идол, бог нигилистов! воскликнут они.—Вот он, учитель, ссылка которого об'являлась величайшим преступлением нашего правительства перед наукой. Теперь оказывается, что экономические взгляды его не выдерживают критики. Очень приятное открытие!» На такие и подобные возгласы мы заранее отвечаем следующее. Нет ничего удивительного в том, что экономическая наука сделала большие успехи со времен Чернышевского и что, поэтому, взгляды его значительно устарели теперь. При том же новейшими успехами своими экономическая наука обязана социалистам, а не г.г. охранителям, которые везде употребляли в дело самые бесстыдные софизмы для того, чтобы задержать ее развитие. *Правда, и для своего времени Чернышевский не был большим знатоком политической экономии. Но он все-таки понимал в ней несравненно больше, чем г.г. русские охранители.* Его заживо похоронили в сибирской пустыне, но ни разу ни один из реакционеров даже не попытался опровергнуть хотя бы некоторую часть его учений. Отчего же это? Оттого ли, что у них не было охоты спорить с ним? Как бы не так! *Им очень хотелось бы опровергнуть его, но на беду свою они умели лишь писать пошлости на тему о том, что делали в романе: «Что делать?» Уже одно это показывает, насколько превосходил он своих врагов и умом, и талантом, и знаниями. А потому лучше молчать г.г. охранителям, чтобы неосторожными и запоздалыми нападками на Чернышевского не напомнить читателям о своем собственном бессилии».*

В старое время трудно было даже понять, как могли эти надуманные, неестественно звучащие слова—образец литературной безвкусицы—вырваться по отношению к «великому ученому и критику», стоявшему выше не только Грингмутов и Цитовичей—кому это нужно было доказывать?—но и всех современных ему русских публицистов и мыслителей. Конечно, не только для своего времени Чернышевский был большим знатоком политической экономии. В русской литературе он и до сих пор остается самым *оригинальным* экономистом.

Плеханов после понял свой промах. Это место уже исчезло из немецкого перевода, и читатель будет тщетно искать это «вещественное доказательство» в последней русской редакции.

И еще один пример. В издании «Шиповника» помещено в конце книги большое «Примечание к настоящему изданию». Но достаточно его сравнить с концом четвертой статьи в «Социал-Демократе», чтобы заме-

тить, что в большей своей части оно представляет значительную поправку в области «внешней» стороны, настолько значительную, что она влияет и на «внутреннюю» сторону. В 1891 г. Плеханов, признаваясь, что «иногда у нас вырывалось, может быть, слово раздражения», писал:

«Мы ставим его имя рядом с именем Белинского. И мы тем менее склонны уменьшать его *литературные заслуги ввиду его теоретических ошибок, что, по нашему мнению, он и не задавался целями серьезного научного исследования. Он был образованным, убежденным и талантливым публицистом*, которому надо было обратить на социальный вопрос внимание читающей публики, надо было предохранить эту публику от развращающего влияния апологетов буржуазного порядка».

В новой редакции, в издании 1910 г. та же фраза приняла следующую форму:

«Но при всех своих недостатках—*на которые в наше время можно и должно смотреть исторически* [1]),—точка зрения нашего автора не помешала ему *оказать неоцененные услуги нашей нарождавшейся общественной мысли. Он был не только образованным, а прямо ученым, да к тому же еще убежденным и талантливым публицистом, который хотел обратить* на «социальный вопрос» внимание своих «читателей друзей», принадлежавших преимущественно к разночинцам».

Я ограничиваюсь только этими двумя «вещественными доказательствами». Их достаточно, чтобы показать, что и с марксистской точки зрения имелись достаточные основания для критики. Ее до известной степени признал сам Плеханов, когда устранил из новой редакции ряд подобных мест и смягчил некоторые выражения, явившиеся плодом «раздражения». А Чернышевский в статьях Плеханова того времени часто отвечал за чужие грехи. «Мы хотели сказать нашим современным утопистам: посмотрите, как неудобно, как невыгодно, как опасно держаться утопической точки зрения; самого Чернышевского привела она к вопиющим противоречиям и с самим собою и с экономической действительностью. Чего же ждать от *ваших* теоретических усилий?» Так кончает Плеханов свои статьи в «Социал-Демократе», как бы подчеркивая этим особую «дидактическую» задачу своих очерков. Кошку бьют, а невестке наветки дают.

В результате многие взгляды Чернышевского подвергались критике только путем механического сопоставления с соответствующими взглядами Маркса. Мы и до сих пор не имеем еще исторической критики эко-

[1]) Курсив Плеханова.

номической теории Чернышевского, которая показала бы не только его «отсталость» от Маркса, но и то новое, что он внес в политическую экономию, опираясь на учения великих утопистов. И еще меньше мы имеем до сих пор историческую критику политических взглядов Чернышевского, который в своих политических обозрениях проявлял поразительную силу анализа классовой подоплеке современных событий и подвергал самой беспощадной критике половинчатость и обывательщину отечественного и европейского либерализма.

Чтобы дать читателю все материалы для изучения взглядов Плеханова на Чернышевского, мы выбрали следующий путь. Мы перепечатываем целиком, без всяких пропусков, последнюю редакцию, т.-е. издание «Шиповника». Таким образом читатель имеет пред собою «разбор взглядов» Чернышевского, как он окончательно кристаллизовался после революции 1905—1907 г.г. Но чтобы дать читателю возможность составить точное представление и о «разборе взглядов», сделанном в 1889—1891 г.г., мы воспроизводим целиком первую статью из «Социал-Демократа», предпосылая ее, вместе с введением для немецкого издания, работе Плеханова, вышедшей в 1910 г. Что касается остальных трех статей из «Социал-Демократа», то мы печатаем из них только те страницы, которые были выпущены Плехановым в последующих изданиях. Читатель найдет их в приложении к шестому тому, в котором перепечатана вторая часть большой работы Плеханова, являющаяся как раз воспроизведением его старых статей [1]).

В шестом томе мы поместили также и все остальные статьи Плеханова о Чернышевском. К числу их относится большая статья «Эстетическая теория Н. Чернышевского», написанная еще в 1897 году и впервые появившаяся полностью в сборнике «За двадцать лет» в 1905 году.

Статья «Н. Чернышевский», написаная для «Истории русской литературы в XIX веке», хотя и напечатана была раньше большой работы—в 1909 г., но представляет только ее резюме. Юбилейная статья, напечатанная в «Современном Мире» (1909 г. Ноябрь), вышла почти одновременно с изданием «Шиповника». Статья по поводу книги Стеклова появилась в «Современном Мире» в 1910 г. (Апрель). статья «Н. Чернышевский в Сибири» в «Современнике» (1913 г. Март) представляет последнюю по времени статью Плеханова о Чернышевском.

Таким образом в пятом и шестом томах собраны все «высказывания» Плеханова о Чернышевском. Остались неоговоренными только

---

[1]) Им предпослано мною особое вступительное замечание.

мелочи вроде стилистических изменений. Так, в издании «Шиповника» в двух-трех случаях Плеханов употребляет слово «скачок» вместо «революция» или заменяет такие термины по адресу Чернышевского, как «несообразность» более мягким—«неточность» или слово «нелепый» словом «ошибочный».

Пришлось сохранить и некоторые повторения, которые заметит всякий внимательный читатель. Дело в том, что Плеханов даже в первой части своего большого труда использовал местами свою первую статью—в «Социал-Демократе»,—которую мы перепечатываем целиком.

Д. Рязанов.

Апрель 1924 года.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
И ЕГО ВРЕМЯ

Введение к немецкому изданию

(G. Plechanow, N. G. Tschernischewsky, Eine literar-historische Studie, Stuttgart 1894)

Литературная деятельность Чернышевского приблизительно совпадает с эпохой известных реформ Александра II.

Русские либералы до сих пор еще сохраняют трогательную память о «царе-освободителе», до сих пор еще поют ему хвалебные гимны, приходящиеся не по душе цензорам теперешнего царя, который, как известно, смотрит на своего отца, почти как на якобинца. — Пишущий эти строки сознает себя одинаково свободным как от предрассудков русских либералов, так и от пристрастия к Александру III. Он может поэтому об'ективно отнестись к реформам Александра II.

Тридцать лет тяготела над Россией правительственная система Николая «Незабвенного». Застой возведен был прямо в догмат. Все живые, все мыслящие, все протестующие элементы были либо уничтожены, либо вынуждены загримироваться до полной неузнаваемости... Только Крымская война принесла перемену. Она вскрыла несостоятельность Николаевского режима, и сам виновник этого режима не нашел другого выхода из тяжелого положения, как покончить с собой. Недовольные элементы, которые до сих пор боязливо прятались, начали дерзко поднимать свои головы. Реформа или новое самоубийство, и на этот раз самоубийство уже не того или иного самодержавца, а самого *принципа* самодержавия, — такова была дилемма, перед которой поставила история преемника Николая. Этот преемник благоразумно выбрал путь реформ, из коих важнейшая была *отмена крепостного права* в России.

Рабство (под именем *«холопства»*) существовало в России с незапамятных времен. Об этом говорят ее древнейшие законодательные памятники. «Холопом» (рабом) мог сделаться всякий бедняк, продав себя своему богатому согражданину. Рабами делались также и военнопленные. Но все же в течение некоторого времени сфера распростра-

Преемники Петра с усердием продолжали его дело. «Просвещенной» Екатерине II оставалось лишь поставить точку над и. Указом от 7 октября 1792 г. она провозгласила, что «крепостные дворовые и крестьяне являются и должны являться составной частью помещичьего имущества, при отчуждении которого, как и при отчуждении недвижимости, составляются купчие крепости и вносятся пошлины в казну». Крестьянин стал таким образом простым instrumentum vocale, говорящим орудием, которое по своей природе принадлежало к *движимой*, а не к недвижимой собственности. Случалось, что крепостные, как скот, продавались толпами на базарах.

Одновременно шло дальнейшее распространение крепостного права. Цари и царицы любили награждать своих фавориток и фаворитов поместьями. Екатерина II ввела крепостное право *в Малороссии*. Дворянство ликовало. И лишь порой ликование его омрачалось неожиданным сопротивлением, которое оказывали крестьяне.

Как ни был терпелив, как ни был консервативен русский крестьянин, он все же не сдавался без борьбы. Почти каждый шаг правительства на пути порабощения крестьянства сопровождался более или менее значительными крестьянскими восстаниями. В семнадцатом и в восемнадцатом веках Россия пережила настоящие крестьянские войны (бунты Стеньки Разина и Пугачева). При этом, разумеется, сила сопротивления народа становилась слабее по мере того, как русское государство европеизировалось. В девятнадцатом столетии нельзя уже указать ни на одно крестьянское движение, которое можно было бы поставить рядом с «бунтами» прежних веков. Но зато делались все более и более *частыми* мелкие крестьянские волнения. Особенно богато крестьянскими волнениями время царствования Николая, приказывавшего подавлять их с поистине зверской жестокостью. Официальная статистика крестьянских волнений, которая велась с тридцатых годов и вплоть до Крымской войны, показывает ежегодное увеличение их в продолжение этих двух десятилетий с почти математической правильностью. По временам брожение охватывало целые губернии, и то там, то здесь дело доходило до настоящих сражений между крестьянами и солдатами. Во время Крымской войны распространился слух, что правительство освободит всех тех крестьян, которые запишутся в ополчение. Этот слух вызвал много «беспорядков», особенно в Малороссии. Заключение мира дало повод к возникновению другого слуха: говорили, что Наполеон III согласился на заключение мира лишь *под условием отмены крепостного права*.

Правительство очень хорошо знало это настроение крестьян и опасалось всеобщего восстания: «Лучше освободить крестьян сверху, чем ждать того времени, когда освобождение начнется снизу», заявил Александр II.

Понятно, что при этих обстоятельствах правительство опасалось недовольства, которое непосредственно после смерти Николая стало замечаться среди «образованного общества». «Лучше добровольно дать то, что иначе, быть может, окажется взятым силою», так думал коронованный реформатор, так думало и большинство его советников.

Иначе могли думать лишь старые «николаевские солдаты», не признававшие и не знавшие ничего, кроме палки. Правда, не раз уж палка оказывала хорошие услуги русскому правительству. Но эта же палка поставила его в отчаянное положение во время Крымской войны. Прославленные николаевские военные учреждения оказались никуда не годными: офицеры, в особенности генералы, были *невежественны или трусливы,* вооружение—в самом жалком состоянии [1]), хищение казенных денег в интендантстве, артиллерийском и инженерном ведомствах достигло невероятных размеров и рассматривалось как бы законно-дозволенное. К этому присоединилось еще и то, что Россия, благодаря плохим путям сообщения, не могла надлежащим образом и в надлежащее время использовать наличные военные силы. Так, во время Крымской войны перевозка каждой бомбы из Измаила (вблизи устья Дуная) в Севастополь обходилась не менее 5 рублей. Наконец, и в финансовом отношении Россия стояла накануне банкротства. В 1855 году дефицит достигал 261.850.000 рублей (доходы: 264.119.000, расходы: 525.969.000). Следующий год принес еще больший дефицит. Правительство поторопилось с заключением мира. Но этого было недостаточно. Нужно было отыскать новые источники доходов, вызвать к жизни новые производительные силы. Но это было невозможно, пока

---

[1]) «Как мало николаевские герои парадов были знакомы с военным искусством, видно, напр., из операций генерала Корфа близ Евпатории, который в виду врага не поставил никаких форпостов и вследствие этого потерял батарею и много солдат. Среди них были также и трусы, как генерал Кирьяков, который при Альме спрятался в овраге» (Очерки русской истории от Крымской войны до Берлинского трактата. Изд. анонимно. Лейпциг 1879 г. Т. 2, стр. 33.) — Несколько лет тому назад русский исторический журнал «Русская Старина» опубликовал воспоминания одного участника Крымской кампании, в которых рассказывается, что французы с изумлением рассматривали подобранное ими на полях битвы русское оружие. «Посмотрите, — восклицали они удивленно,—с каким оружием сражаются эти варвары».

существовало крепостное право. Распространенная в народе легенда имела глубокий смысл: освобождение крестьян было действительно навязано правительству «Наполеоном», т.-е. ходом и исходом Крымской войны.

Если русская промышленность в начале своего развития при Петре I не могла существовать *без* крепостных рабочих, то, наоборот, в средине настоящего столетия для своего *дальнейшего* развития она неизбежно нуждалась *в рабочих свободных*. И не одна только промышленность требовала свободных рабочих. Уже в средине 40-х годов раздались в русской литературе голоса, благодаря строгой цензуре, разумеется, робко и прикровенно утверждавшие, что процветание *сельского хозяйства* несовместимо с существованием крепостного права. Лучше всего это было доказано государственным чиновником Заблоцким-Десятовским в его обратившей на себя внимание официальной записке.

При Николае были построены в России всего 2 железнодорожные линии: из Петербурга в Царское село (городок, расположенный к югу от столицы на расстоянии 22 километров) и из Петербурга в Москву. Здесь не место касаться грандиозных хищений и растрат, совершенных при постройке этих железных дорог. Заметим лишь, что только последняя из этих дорог имела хозяйственное значение; первая же служила лишь увеселительным прогулкам петербургского «общества». Сейчас почти невозможно себе представить, с какими трудностями сопряжена была в то время перевозка товаров из Московского промышленного района, напр., в Малороссию. И чем больше развивалось производство, тем настоятельнее выступала необходимость постройки железнодорожной сети, которая охватила бы важнейшие русские города.

Не лучше обстояло дело и с телеграфным ведомством. До 1853 года в России существовало лишь оптическое телеграфное сообщение между Петербургом и Варшавой, служившее лишь для личного пользования императора. В следующие годы установлены были электрические телеграфные линии, но в ограниченном числе: в 1857 г. телеграфная сеть не превышала 3.725 верст. Развитие торговли и промышленности требовало, следовательно, и в этом направлении основательнейших «реформ».

Николай совершенно не допускал частных акционерных обществ, в особенности акционерных банков. Помещики и купцы, нуждаясь в деньгах, обращались в государственные кредитные учреждения. «Русско-Американская компания, два страховых общества, от двух до трех

обществ пароходных и промышленных—вот все, что составляло акционерный мир России», — замечает автор уже цитированных «Очерков русской истории». Начало нового царствования характеризуется настоящей горячкой акционерного грюндерства. Как грибы после дождя, начали появляться акционерные общества, сулившие наивным людям чрезвычайные прибыли и стремившиеся охватить самые различные стороны социально-экономической жизни (существовало, напр., общество «Гидростат», имевшее своей целью «поднятие затонувших в море кораблей», общество «Улей», «для улучшения положения рабочих» и т. п.). Многие из этих основанных обществ, разумеется, лопались затем, как мыльные пузыри, наполнив карманы своих учредителей. Между тем уже сама наличность подобного рода грюндерской горячки показывает, до какой степени тогдашняя Россия переросла старые формы экономической жизни, унаследованные от Николая. Но для того, чтобы могли развиться новые формы жизни, нужно было прежде всего скинуть с себя мертвый груз крепостного состояния.

Наконец—и это соображение для многих слуг царя было решающим—крепостное право не давало возможности правительству стричь крестьян по желанию. Дело в том, что подати с крепостного населения взимались через посредство помещиков. Каждое дальнейшее увеличение податей, каждое новое обложение крепостных должно было, само собою разумеется, вызывать недовольство помещиков, ибо тем самым ослаблялась хозяйственная сила принадлежащих им «душ». Освободить крестьян от власти помещиков значило тем самым усилить власть над ними государства. Непосредственные сношения между крестьянином и государством давали гораздо больший простор министерству финансов, и уже по одной этой причине правительство должно было взять «эмансипацию» в свои руки. Прозаически говоря, вопрос об «эмансипации» сводился к вопросу о том, кому должна пойти львиная часть прибавочного продукта (т.-е. прибавочной стоимости), созданного крепостным населением: *государству или помещикам?*

Государство пыталось решить этот вопрос в свою пользу. Но для этого было необходимо, чтобы крестьяне были освобождены *с землей, а не без земли,* как того требовали помещики. Конечно, историческое право русских крестьян на обрабатываемую ими землю не подлежало никакому сомнению. Но не этим правом руководствовалось правительство в своих проектах освобождения. Оно стремилось лишь к тому, чтобы дать возможность крестьянам возможно больше доставлять государству натурой и деньгами. Для этой цели безземель-

ные поденщики были непригодны. Вот почему правительство ни в каком случае не хотело уступить требованиям помещичьей партии. Но, с другой стороны, оно, конечно, старалось по возможности подсластить ту горькую пилюлю, которую оно преподносило этой партии. Оно сделало это, заставив крестьян заплатить за отведенную им землю выкупную сумму, значительно превосходящую стоимость земли. Далее, взяв на себя в выкупной операции роль посредника, оно положило себе еще в карман изрядную особую прибыль, а именно разницу между выкупной суммой, выплаченной им помещикам, и выкупной суммой, возложенной на крестьян.

Таковы были те обстоятельства, те условия, которые определили собою начало, ход и исход освобождения крестьян в России. Рассмотрим теперь некоторые дальнейшие реформы Александра II.

Мы уже упоминали, что Крымская война вскрыла полнейшую военную несостоятельность России. Одной из наиболее отличительных особенностей русской армии был недостаток сколько-нибудь образованных офицеров. Николай прекрасно сознавал этот недостаток, но он не в силах был его устранить, ибо все его правление представляло собою не что иное, как непрерывную борьбу с образованием. Было вполне в духе этого правительства не придавать в военных учебных заведениях никакого значения наукам и, наоборот, сделать главным предметом военную муштру. К тому же и количество этих жалких учебных заведений было слишком незначительно в сравнении с потребностями армии. Поневоле приходилось производить в офицеры так называемых юнкеров, получивших домашнее образование (т.-е. никакого) и прослуживших некоторое время в качестве рядовых. Немногим лучше обстояло дело с образованием и в так называемых гражданских, т.-е. невоенных, учебных заведениях. И там следили более всего за тем, чтобы прививать ученикам дух послушания и покорности. Доступ в университеты в конце царствования Николая был чрезвычайно ограничен. Запрещены были лекции по философии [1]), но зато препода-

[1]) Судьба философии в России была всегда чрезвычайно изменчива. То философия правител ством даже поощрялась, как оплот против «мечтаний о равенстве и необузданной свободе», то опять изгонялась из университетов, как главный источник этих «мечтаний». Последнее произошло при Николае в 1850 г. «Соблазнительным умствованиям философии положен конец!»—радостно воскликнул по этому случаю тогдашний министр народного просвещения. Некоторые из профессоров философии сделаны были при этом *цензорами*. Отсюда можно видеть, до какой степени неразвиты должны были быть их «мечтания о необузданной свободе».

валась студентам — маршировка! Само собою понятно, что правительство, проученное проигрышем Крымской кампании, решило подтянуться («se recueillir») и предоставить образованию несколько больше простора. Были основаны новые гимназии и прогимназии для мальчиков, равно как рядом с имевшимися уже «институтами для благородных девиц», т.-е. для дочерей дворян,—гимназии и прогимназии для девочек всех сословий. Отменены были постановления, ограничивавшие число студентов, высшие технические училища (которые были при Николае кадетскими корпусами) были реформированы, наконец, для военных учебных заведений наступила настоящая новая эра, в особенности с тех пор, как Милютин был назначен военным министром. Уроки маршировки были почти что сведены на-нет (им было отведено не больше одного часа в неделю), преподавание разумно организовано, программа значительно расширена, телесные наказания выведены были почти что совсем из употребления (уничтожить их совсем не мог решиться царь-освободитель—ни здесь, ни в армии вообще). Но основное зло этими мероприятиями не было все же устранено; реформированные военные учебные заведения доставляли сравнительно незначительное количество офицеров, и по-прежнему приходилось производить в офицеры уже упомянутых юнкеров. Однако эти реформы Александра II увеличили все же в огромной степени количество учащейся молодежи, учащаяся же молодежь играла не малую роль в общественном движении того времени.

Но как далеко ни заходила реформа школ, последнего шага в этой области правительство *самодержавного* царя не могло и не хотело сделать: по-прежнему отсутствовало в России то, что называется академической свободой, университетские советы были совершенно подчинены попечителям учебных округов, чиновникам, часто не имевшим ничего общего с делом «народного просвещения». Так, напр., в медовый месяц Александровского либерализма, в 1861 году назначен был попечителем Петербургского учебного округа *кавказский генерал Филиппсон* (в это же самое время министром народного просвещения был назначен *адмирал Путятин).* Естественным следствием этого были студенческие «беспорядки», повторяющиеся и до настоящего времени с правильностью астрономических явлений.

Русское судопроизводство было издавна известно как своей подкупностью, так и совершенным незнакомством судей с теми законами, на основании которых они должны были судить. Реформа суда была безобиднейшей из всех реформ Александра II. Если оставить в стороне

прежних развращенных судей, то она приветствовалась всеми. Но если ее хотели вообще провести последовательно до конца, то представлялось безусловно необходимым ограничить как полицейскую, так и вообще административную власть, которая позволяла себе исправлять на свой лад судебные решения. Но и этого не хотело правительство самодержавного реформатора, да и не могло хотеть. Вот почему реформированное судопроизводство в России осталось экзотическим растением: оно так же подходит ко всему государственному строю России, как шелковый цилиндр к одетому в звериные шкуры эскимосу.

Взглянем, наконец, на последнюю реформу, продиктованную потребностями времени и осуществленную «царем-освободителем». Правительство видело, что его средств не хватает даже для самых настоятельных потребностей государства. Оно решило поэтому часть государственных расходов свалить на плечи органов местного самоуправления. Правительственные чиновники, однако, не в состоянии были бы взять на себя трудную задачу найти средства для покрытия местных *«обязательных расходов»*. Кроме того, у них заведомо были слишком длинные руки. Поневоле приходилось поэтому обращаться к населению, октроировать ему местное «самоуправление», поставленное, однако, под строгий контроль государственной власти и под этим контролем оставшееся. При этом в земствах преобладание было предоставлено *крупному землевладению*. Но, чтобы, с другой стороны, соблюсти интересы также и буржуазии, которая в то время теплично выращивалась, у земств отнято было право облагать по своему усмотрению промышленные заведения: с этой целью правительство установило особую, для крупных предпринимателей в высшей степени выгодную, норму. В конце концов, здесь, как и всюду, мужик должен был нести все издержки: земства обычно облагали налогами крестьянские земли по гораздо высшей норме, чем земли богатых помещиков.

Лишь с натяжкой можно назвать реформой некоторое смягчение цензуры, строгость которой в последние годы царствования императора Николая доходила до невероятных размеров, до абсурда,—до запрещения употреблять выражение «вольный дух» в поваренных книгах. Но этим все же печати дана была возможность обсуждать вопросы, которых она при жизни «незабвенного» не смела касаться даже намеком. Наш Николай положил бы конец литературной деятельности Чернышевского с первой же более крупной работы, представленной им в цензуру.

Таковы важнейшие реформы Александра II. Посмотрим теперь, как к ним относились различные сословия русского населения.

В России существовали и существуют четыре крупных сословия: духовенство, дворянство, купечество (крупная и средняя буржуазия) и крестьянство. Городская мелкая буржуазия, под названием мещанства, образует особое, пятое сословие. При Николае, впрочем, оно по своему правовому положению ничем почти не отличалось от *не* помещичьих крепостных. Мелкие буржуа совершенно так же, как государственные крестьяне, находились в подлинно крепостных отношениях к государству.

Духовенство распадалось и распадается на духовенство монашествующее и светское. Высшие церковные чины берутся из числа монашествующих, принадлежащие к светскому духовенству никогда не поднимаются выше священнического сана. В то время, как монастырское духовенство владеет огромными богатствами, светское духовенство очень бедно. В крестьянской реформе *непосредственно* не было заинтересовано ни то, ни другое: в то время духовенство уже не имело права владеть «крепостными душами». Светское духовенство, однако, в общем радостно приветствовало падение того порядка, при котором даже архиереи были преисполнены казарменного духа и пытались ввести заправскую военную дисциплину среди духовенства. К тому же общественная жизнь, пробуждавшаяся вместе с реформами, открывала детям светского духовенства [1]) совсем новые пути. Среди учащейся молодежи, а также и в литературе того времени «семинаристы» (сыновья духовных лиц) играли в высшей степени выдающуюся и чрезвычайно радикальную роль.

Интересы дворянства были существенно затронуты «освобождением» крестьян. Против отмены устарелого крепостного права восставали, правда, лишь самые невежественные и отсталые помещики. Но зато вопрос о том, *как* произвести реформу, имел для всего дворянства огромную важность. Помещичья партия, как уже упоминалось, хотела освободить крестьян без земли, на что, однако, правительство не могло согласиться. Отсюда оппозиционное настроение дворянства. «Большая корона царя,—полагали помещики,—составляется из наших маленьких корон: царь, разбивая *наши* короны, тем самым разбивает и свою собственную». В устах большинства эти слова звучали, как злорадное

[1]) Как известно, для русского светского духовенства обязательно не безбрачие а, наоборот, заключение брака.

пророчество. Но среди дворянства было и либеральное меньшинство, которое, не будучи настроено против проекта правительственной реформы, тем не менее, стремилось к тому, чтобы «привести весь остальной состав Русского Государства в гармонию с совершившимся переворотом, а для этого, раскрыв беспощадной рукой все безобразия нашей администрации, суда, финансов и т. д., требовать созвания Земского Собора, как единого спасения России,—одним словом, доказать правительству, что оно должно продолжать дело, *им начатое*» [1]). В феврале 1862 года дворянское собрание Тверской губернии высказалось в адресе, поданном императору, *за созыв Национального Собрания*. Подобные же проекты адресов вырабатывались дворянством и в других губерниях. Носились даже с мыслью об общем адресе, подписанном *представителями различных сословий*. Правительство, однако, без труда подавило конституционные вожделения дворянства. Освобожденные правительством рабы готовы были бы при первом же намеке свести на-нет всякие практические попытки вчерашних рабовладельцев.

Купечество, крупная и средняя буржуазия, радостно приветствовало все реформы «Освободителя»: оно чувствовало, что наступило, наконец, его время, и не обнаружило ни малейшей склонности делать оппозицию.

О настроении *крестьянства* во время Крымской войны мы уже говорили. До тех пор, пока правительство не приступило к отмене крепостного права, можно было ожидать непрерывного нарастания брожения среди крестьян. Но как только началось дело «эмансипации», крестьяне стали терпеливо ожидать его окончания. Вопрос был только в том, как они примут «дарованную им правительством свободу». Ну, а что, если они захотят потребовать другой, более полной свободы?— Этого опасался царь, чиновники, дворяне, на этом строили свои расчеты тогдашние *революционеры*.

Революционная партия того времени рекрутировалась по преимуществу из так называемых *разночинцев* (деклассированных, собственно говоря — «людей различных сословий»). Чтобы понять историю происхождения этого слоя населения, нужно иметь в виду, что в России сословные права наследственны только в дворянстве, в мелкой буржуазии и в крестьянстве. Конечно, «права» крестьянства до сегодняшнего дня чрезвычайно похожи на полное бесправие, но это ничего не

---

[1]) Из письма И. С. Тургенева к Герцену от 8 октября 1862 г.

меняет по существу. Какое бы занятие ни выбрал сын крестьянина, он остается крестьянином, разве только он на государственной службе получит «чин» (ступень в чиновной иерархии) или запишется в купеческую гильдию, что дозволено всякому, имеющему нужные деньги для того, чтобы оплатить гильдейское свидетельство,—или, наконец, если он припишется к городскому мещанскому обществу. Точно так же сын дворянина [1])—дворянин, вспахивает ли он землю плугом или служит лакеем. Другое дело — сыновья лиц духовного звания и купцов. Купеческий сын остается принадлежащим к купеческому сословию только в том случае, если он оплатит гильдейское свидетельство, иначе он попадает в категорию разночинцев. Разночинцем становится и сын лица духовного звания, не желающий следовать отцовской профессии. Бесправие «мелких буржуа», правда, так же наследственно, как и права дворян; но уже само разнообразие мелко-буржуазных профессиональных занятий сближает принадлежащих к этому «сословию» с разночинцами. *Разночинцами фактически делаются все те, чья деятельность выпадает из рамок сословного деления.*

Разночинцы были всегда чрезвычайно многочисленны. Без них были бы невозможны многие отправления государственной машины и общественной жизни. Но до реформ разночинец находился в очень угнетенном положении, он был к тому же недостаточно образован. Всегда и везде должен был он уступать дорогу лицам, принадлежащим к привилегированным сословиям. Только реформы, вызвавшие к жизни новые общественные отношения, дали проявиться разночинцу. Теперь он мог обеспечить себе положение инженера, адвоката или врача,—положение, которое во всяком случае было много лучше, чем, например, положение сельского церковнослужителя. Разночинцы и устремились поэтому толпами в учебные заведения, а с ними вместе также и дети обедневшего поместного дворянства.

У образованного разночинца не было свойственного дворянину светского лоска. Он не знал иностранных языков, его литературное образование оставляло желать многого. Однако в одном, по крайней мере, он несомненно превосходил обленившегося дворянина: вынужденный с раннего детства к жестокой борьбе за существование, он был несравненно его энергичнее. Правда, это качество разночинца давало и дает себя знать порой весьма тягостно русскому народу. Разночинец

---

[1]) Правда, в России среди чиновников имеется «личное» дворянство, но уже самое обозначение показывает, что его сословные права не наследственны.

в качестве чиновника борется гораздо более выдержанно с «вольномыслием», чем чиновник из дворянства. В качестве землевладельца разночинец лучше умеет эксплоатировать бедного крестьянина, чем «барин» старого образца. Но зато разночинец имеет и несравненно больше выдержки и уменья в борьбе с правительством, как только он попадает в оппозицию. А это с ним очень часто случается. У Бомарше Фигаро говорит, что для того, «чтобы только существовать» (rien que pour exister), ему нужно больше ума, чем для того, «чтобы править всей Испанией» (pour gouverner toutes les Espagnes). То же мог бы сказать о себе и русский разночинец, имеющий к тому же дело с гораздо более деспотическим и ни с чем не считающимся правительством, чем французское правительство доброго старого времени. Как представителю «свободной профессии», ему нужна прежде всего свобода, а между тем она на каждом шагу натыкается на безграничный полицейский произвол. Неудивительно, стало быть, что «отрицательное направление» находит в рядах разночинцев благоприятную почву. И притом он не ограничивается в своем «отрицании» свойственным дворянину остроумным, но поверхностным будированием. Недаром назвал его «нигилистом» изящный, всесторонне образованный и либеральный дворянин *Тургенев:* в своем «отрицании» он и в самом деле ни перед чем не отступает,—от слов он быстро переходит к делу. Образованный разночинец, это—вестник новой России, об'являющий старому порядку войну не на живот, а на смерть, и в этой войне берущий на себя опасную роль авангарда.

Вплоть до конца семидесятых годов история русского революционного движения была по преимуществу историей борьбы этого слоя населения против царизма. Но тут к разночинцу приходят на помощь новые силы; постепенно втягивается в борьбу рабочий класс, пролетарии физического труда, число которых постоянно растет и которые начинают уже сознавать предстоящую им политическую задачу [1]). В те годы, однако, о которых идет речь, этого рода борцы находились еще лишь in statu nascendi в полном смысле этого слова, на них нельзя еще было рассчитывать, и разночинцу приходилось, как бы там ни было, начинать борьбу на собственный риск.

Обратимся теперь к комплексу идей, под знаменем которых началась освободительная борьба в России. При Николае русская лите-

---

[1]) См. превосходную статью *П. Аксельрода*: «Политическое пробуждение русских рабочих», «Neue Zeit», X г. изд., №№ 28—30.

ратура не смела трактовать никаких политических и общественных вопросов. Она по необходимости должна была замкнуться в рамки «изящной литературы» и ее критики. В этих областях она, правда, сделала очень много. В то время действовал русский Лессинг, Белинский, писал Гоголь свои бессмертные произведения, формировались дарования лучших романистов России. И до настоящего дня все выдающееся, что создано в России в области беллетристики и критики, есть, собственно говоря, лишь выполнение литературных заветов эпохи сороковых годов. Если, таким образом, литературная зрелость России была в то время вне сомнения, то зато ее политическая зрелость являлась еще делом будущего. Общественно-политические темы затрагивались тогда лишь в ожесточенных спорах, ведшихся между славянофилами и «западниками» по вопросу о том, должна ли Россия или нет итти по пути общеевропейского развития. «Западники» отвечали на вопрос утвердительно, славянофилы же, наоборот, старались доказать, что Россия должна создать особую цивилизацию под покровительством греческо-русского бога и чисто русского царя. Спорный вопрос был в высшей степени важен; он дал толчок появлению многих блестящих и содержательных трудов; однако его окончательное решение было невозможно, с одной стороны, потому, что цензура не позволяла спорящим выходить за пределы самых неясных намеков, а с другой — и это самое главное — ни одна из спорящих сторон не располагала необходимым для правильного освещения вопроса фактическим материалом.

Передовые русские люди Николаевского времени исходили в своих литературных и политических суждениях из философии Гегеля. Знаменитый германский мыслитель царил в течение некоторого времени в России так же неограниченно, как и петербургский император,—с тем, правда, отличием, что самодержавие Гегеля признавалось в маленьких и немногочисленных философских кружках, тогда как самодержавие Николая простиралось, по выражению русского поэта Пушкина, «от Финских хладных скал до пламенной Колхиды». И надо признаться, что Гегель порой играл с русскими более злые шутки, чем Николай. Плохо понятое или, вернее, совсем не понятое учение о разумности всего действительного представилось русским гегельянцам, как своего рода николаевская жандармерия. Но николаевского жандарма можно было ненавидеть, его можно было провести. Но как мог русский гегельянец решиться на то, чтобы провести духовного жандарма, поставленного над ним, как он думал, его добровольно избранным учителем? Это была

целая трагедия, которая кончилась восстанием против «метафизики» вообще и против Гегеля в особенности.

Русская «действительность»—крепостное право, деспотизм, всемогущество полиции, цензура и т. д. и т. д.—казалась передовым людям того времени гнусной, несправедливой, невыносимой. С невольной симпатией вспоминали они о недавно перед тем бывшей попытке декабристов преобразовать эту действительность. Но самые, по крайней мере, способные из них не удовлетворялись уже ни отвлеченным отрицанием XVIII века, ни вздутым, эгоистичным, ограниченным отрицанием романтиков. Гегель сделал их теоретически более требовательными. Они знали, что история есть закономерный процесс, что отдельный человек совершенно бессилен, если он вступит в конфликт с законами общественного движения. Они говорили себе: «или ты должен доказать разумность твоего отрицания, оправдать его бессознательным ходом общественного развития, или же от него отказаться, как от индивидуальной мечты, как от детского каприза». Однако теоретически оправдать отрицание русской действительности внутренними законами развития самой этой действительности значило решить задачу, с которой не справился бы и сам Гегель. Возьмем, напр., русское крепостное право. Оправдать его отрицание,—значило представить доказательства, что оно само *себя* отрицает, т.-е. что оно не удовлетворяет более общественным потребностям, которыми оно некогда было вызвано к жизни. Каким же общественным потребностям обязано русское крепостное право своим возникновением? Экономическим потребностям государства, которое бы погибло от отсутствия сил, если бы не сделало крестьянина крепостным. Нужно было поэтому показать, что крепостное право в XIX веке не только не удовлетворяет больше экономическим потребностям государства, но является прямой помехой для их удовлетворения. Это было позже самым убедительным образом доказано Крымской войной. Но, повторяем, *доказать* это *теоретически* был бы не в состоянии и сам Гегель. Правда, согласно смыслу его философии, корни исторического движения каждого общества надлежит искать в его внутреннем развитии,—чем правильно намечена была важнейшая задача обществознания. Но сам Гегель не мог обойтись без того, чтобы не противоречить этой в высшей степени правильной точке зрения. В качестве «абсолютного» идеалиста он рассматривал логические свойства «идеи», как основную причину всякого развития, а следовательно, и исторического развития. И всякий раз, когда ему приходилось иметь дело с большим историческим вопросом, он ссылался прежде всего на эти свойства

«идеи». Но это значило покинуть историческую почву и отнять у себя возможность вскрыть действительные причины исторического движения. Как человек гигантской, поистине редкой, силы мысли, он, разумеется, сам чувствовал, что дело неладно, что его об'яснения, собственно говоря, ничего не об'ясняют. Он спешил поэтому, после того как оказал должное почтение «идее», спуститься на конкретную историческую почву, чтобы искать действительные причины общественных явлений уже не в свойствах идеи, а в них самих, в тех явлениях, исследованием которых он в свое время занимался. При этом он очень часто высказывал в высшей степени гениальные догадки (прозревая *экономические* причины исторического движения). Однако это были только догадки. Не имея под собой систематической основы, они не играли важной роли в исторических взглядах Гегеля и его учеников. В то время, когда они были высказаны, они не обратили на себя внимания. Великая задача, предуказанная обществознанию настоящего столетия Гегелем, осталась не решенной: действительные, внутренние причины исторического движения остались не открытыми. И само собою разумеется, Россия не была страной, в которой бы они могли быть открыты. Общественные отношения России были слишком неразвиты, общественный застой имел там слишком прочные корни для того, чтобы искомые причины могли выступить на поверхность общественной жизни. Эти причины были открыты Марксом и Энгельсом в Западной Европе в совсем другой социальной обстановке. Однако,—и это случилось несколько позже,—в занимавшее нас время и западно-европейские радикальные гегельянцы также путались в противоречиях идеализма. После всего сказанного будет ясно, почему молодые русские ученики Гегеля должны были начать с полнейшего примирения с русской «действительностью»,—«действительностью», которая, кстати сказать, была так гнусна, что сам Гегель никогда бы не признал ее «действительной»: так как они не могли теоретически оправдать своего отрицательного отношения к этой действительности, то оно потеряло в их глазах всякое разумное право на существование. Поэтому они отказались от своего отрицания и самоотверженно принесли свои социальные стремления в жертву своей философской совести. Но, с другой стороны, сама действительность заботилась о том, чтобы они были вынуждены взять назад эту жертву. Ежедневно и ежечасно демонстрировала перед ними действительность свою собственную гнусность и *вынуждала*, во что бы то ни стало, сохранять отрицание даже и тогда, когда оно не было теоретически достаточно обосновано. Так

Гос. Библиотека им. Н. А. Островского г. Комсомольск

они уступили давлению действительности и заняли по отношению к ней враждебную позицию, не заботясь более о том, отвечает ли это духу Гегелевской философии или нет. Русские гегельянцы, таким образом, восстали против своего учителя и начали осыпать насмешками еще недавно в их глазах столь почтенный «философский колпак». Правда, это восстание в тогдашних условиях заслуживало бесспорно всяческой похвалы. Не следует, однако, забывать, что передовые люди России именно тем самым понижали уровень своих *теоретических запросов* и отказывались от мысли оправдать свое отрицание об'ективным ходом общественного развития, удовлетворяясь просто тем, что их отрицание отвечало их *личному* настроению. Таким образом, следовательно, противники русской «действительности» встали на *утопическую точку зрения,* за которую после них держались многие русские революционеры. Только теперь, под влиянием учения Маркса и Энгельса, замечается в России известный поворот к научному социализму. В ту же эпоху, о которой идет речь, т.-е. в начале царствования Александра II, даже самые талантливые представители революционной мысли в России не выходили за пределы утопического социализма, да и не могли за его пределы выйти.

Утопический социализм, как известно, совершенно не умел ставить пролетариату сколько-нибудь определенные политические задачи. Ведь видел же он в пролетариате не более, как угнетенную, страдающую массу, неспособную защищать свое собственное дело. Это была самая слабая сторона утопического социализма в политическом отношении, та сторона, которая резко выступает в домарксистский период всего социалистического движения. В России эта слабая сторона утопического социализма выражалась в том, что его сторонники постоянно колебались в своем отношении к царизму и колеблются еще и до настоящего времени. То они полагали, что должны «предоставить мертвецам хоронить своих мертвецов» и лишь работать для осуществления своих более или менее социалистических «идеалов», игнорируя при этом все то, что хотя бы отдаленно пахнет «политикой». То, наоборот, они мечтали о «чисто политических» заговорах и успокаивали свою социалистическую совесть тем соображением, что ведь русский «народ» и без какой-либо социалистической пропаганды «по природе своей» был всегда коммунистом и таковым же останется. Это душеспасительное убеждение опиралось на существующую в России сельскую общину с периодическими переделами, открытую немцем Гакстхаузеном, которого, впрочем, натолкнули на нее славянофилы.

«Материалистическое учение о том, что люди представляют собою продукт обстоятельств и воспитания,—писал Маркс весной 1845 г.,— и что, следовательно, изменившиеся люди являются продуктом изменившихся обстоятельств и другого воспитания, забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми, и что воспитатель сам должен быть воспитан. Оно необходимо приводит поэтому к разделению общества на две части, из которых одна стоит *над* обществом (напр., у Роберта Оуэна)» [1]). Русские последователи утопического социализма становились в своих программах всегда *над* обществом, что и приносило им много неудач и много разочарований.

Читатель понимает, что цитированные слова Маркса относятся не к современному диалектическому материализму, — как раз тесно связанному с именем Маркса, — а к старому метафизическому материализму, который не умел рассматривать ни природу, ни общественные отношения с *исторической* точки зрения. Этот-то материализм и начал весьма широко распространяться в России в конце пятидесятых годов. Имена Карла Фохта, Бюхнера, Молешотта приобрели тогда почетную известность, тогда как немецкие идеалистические философы были ославлены, как реакционеры. Особенно озлобленное отношение сложилось у «интеллигентного пролетариата» России к Гегелю. Это была, однако, крайность, от которой далеки были наиболее образованные представители этого пролетариата. Те, кто знакомы были с историей немецкой философии, продолжали по-прежнему чтить в Гегеле великого мыслителя, хотя они ни в малой мере, разумеется, не увлекались его философией. Для них тогда первым авторитетом в философии был Фейербах. Фейербах, правда, много выше Фохта или Молешотта. Он инстинктивно чувствовал недостатки того материализма, который проповедывался ими. Он не был, однако, в состоянии критически преодолеть эти недостатки, подняться до диалектического понимания природы и общества. «За точку отправления он берет человека. Но он ни единым словом не упоминает об окружающем человека мире, и потому его человек остается тем же отвлеченным человеком, который фигурирует в религии. Этот человек не рожден женщиной; он, как из куколки, вылетает из бога монотеистических религий. Поэтому он живет не в действительном, исторически развившемся и исторически определенном мире. Хотя он сносится со своими ближними, но его ближние так же отвлеченны, как и он» [2]).

---

[1]) См. приложение к «Людвигу Фейербаху» *Энгельса*, стр. 37.

[2]) *Фр. Энгельс* в указанном месте, 3-я гл.

Ясно поэтому, что философия Фейербаха не была в состоянии вскрыть образованным разночинцам пятидесятых годов слабую сторону утопического социализма. А дальше Фейербаха в то время не шел никто в России. Исторические взгляды Маркса и Энгельса были там еще совсем неизвестны. Правда, сочинение Дарвина о происхождении видов было очень скоро после своего появления переведено на русский язык; но «интеллигентные пролетарии» пользовались им исключительно как оружием в борьбе против религиозных предрассудков. «Интеллигентные пролетарии» остались надолго погрязшими в односторонием метафизическом материализме.

Мы должны, кроме того, отметить, что экономические познания не только читающей публики, но и наиболее образованных писателей сороковых годов, были в высшей степени скудны. Белинский в своих статьях никогда не затрогивал экономических вопросов, а Герцен до самой своей смерти оставался при твердом убеждении, что Прудон был великий экономист. В начале шестидесятых годов политическая экономия, правда, сделалась в России подлинно модной наукой, однако увлечение не могло собою заменить недостающих положительных знаний: первые попытки в области этой науки были по необходимости *утопического* характера.

Энгельс где-то замечает, что «любовь» помогала немецким социалистам утопического периода справляться со всякого рода теоретическими трудностями. То же самое можно сказать и об «интеллигентном пролетариате» России,—с той лишь разницей, что там, где «любовь» отказывалась служить свою службу, на помощь притаскивался тот абстрактный «разум», который является отличительнейшей чертой всех просветительных периодов, и с точки зрения этого разума легко и быстро решались труднейшие общественные вопросы.—Пушкин рассказывает об одной высокопоставленной старой русской даме, которая знакома была в годы своей юности с известным французским революционером Роммом, что она так о нем отзывалась: «C'était une forte tête, un grand raisonneur; il vous aurait rendu claire l'apocalypse». Вот подобными-то «fortes têtes» и «grands raisonneurs» были и русские просветители первых годов царствования Александра II. Они так же хорошо, как и Ромм, могли бы об'яснить апокалипсис, и им бы и в голову не пришло рассматривать его с исторической точки зрения.

Н. Г. Чернышевский

«Наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы людям, и будут вспоминать о них с благодарностью, когда уже не будет тех, кто жил с нами».

(Из письма Чернышевского к жене, писанного в Петропавловской крепости 5 октября 1862 года).

Семнадцатого октября 1889 года скончался Николай Гаврилович Чернышевский. Наши «легальные» издания проводили его в могилу лишь краткими и сухими некрологами. Этими некрологами и окончились литературные поминки по писателе, деятельность которого составила эпоху в истории нашей литературы. Сказав о нем два-три слова робким и заикающимся голосом, наша «независимая» печать—об «охранительной» мы здесь не говорим,—повидимому, совершенно забыла о нем, как будто бы она торопилась перейти к более интересным темам. Со стороны, например, иностранцу, знающему русский язык и знакомому с русской литературой, это, наверное, показалось бы очень странным. Правда, теперь господу споспешествующу, у нас уже нет ни одного журнала, который мог бы назваться вполне симпатизирующим стремлениям и взглядам покойного Чернышевского. Русская мысль ушла так далеко вперед по сравнению с концом пятидесятых и началом шестидесятых годов, мы стали теперь такими трезвыми, умеренными и благоразумными, что знаменитый автор романа «Что делать?» может казаться нам не более как даровитым, но слишком уже непрактичным и отчасти даже несколько опасным мечтателем. Мы уже знаем теперь, что *делать* нужно совсем не то, что хотел делать Чернышевский. Он рассуждал на социалистические темы, а мы думаем, что достаточно отстоять земское саморазорение и спасти от зубов кулака хвостик сельской общины. Так умиротворились мы, умудренные опытом. Но этого мало. Главное то, что теперь мы *делаем* (когда делаем) совсем не так, *как делал*

Чернышевский. Мы поспешаем с медленностью, а он как будто и не слыхал об этом мудром правиле. Он делал иногда такие неосторожные шаги, позволял себе такие необдуманно-смелые выражения, от одного воспоминания о которых теперь, по прошествии почти тридцати лет, может заболеть лихорадкой трезвый, благоразумный, либеральный или умеренно-радикальный «имя-рек». Все это так, все это не подлежит ни малейшему сомнению. Но ведь не нужно вполне разделять взгляды и стремления писателя для того, чтобы посвятить оценке его деятельности несколько печатных листов в журнальной книжке. Для этого достаточно знать, что он, по тем или другим причинам, играл в свое время заметную роль в литературе. Какой же либеральный «имя-рек» может одобрить взгляды Каткова? А между тем, мало ли кричали о нем после его смерти? Или, может быть, деятельность Михаила Никифоровича Каткова заслуживает большего внимания, чем деятельность Николая Гавриловича Чернышевского? Едва ли мы дошли до такой степени благоразумия, чтобы думать подобные вещи.

Дело об'ясняется гораздо проще. Николай Гаврилович Чернышевский был жертвой самых злых, самых беспощадных преследований со стороны правительства. Говоря о *жертве*, наша «независимая» печать, при всем испытанном благоразумии своем, не может не высказать нескольких горьких истин *палачам*. А так как цензурная ферула находится в руках именно этих палачей, то не удивительно, что наши периодические издания сочли за лучшее совершенно обойти щекотливую тему. «С сильным не борись»,—говорит наша народная мудрость, и в этом случае с нею совершенно сходится мудрость русской печати.

А, право, нельзя не пожалеть об этом совпадении двух мудростей. Поучительно было бы сравнить век нынешний и век минувший и воочию, на разборе сочинений Чернышевского, показать читателю, как далеки мы теперь от лжеучений этого социалиста и революционера. Убедившись в этом, читатель лишний раз поблагодарил бы небо за быстрое развитие русской общественной мысли.

Нас, пишущих за границей, цензурная ферула трогает лишь косвенно, через посредство разных дипломатических «давлений». Притом же мы оттого и пишем за границей, что не успели еще проникнуться достаточной степенью благоразумия, и до сих пор думаем, что не мешает иногда вступить в борьбу с сильным и напомнить палачам об их жертвах. Вот почему мы сочли своею обязанностью в первой же книжке нашего журнала сделать по возможности полную и беспристрастную оценку литературной деятельности Н. Г. Чернышевского.

Как ни приятно было для нас исполнение этой обязанности, но оно в то же время было не легко. Мы уже не говорим о недостаточности наших сил для такого важного дела. Это разумеется само собою. Но, кроме того, мы просим читателя помнить, что до настоящего времени не существует еще полного собрания сочинений Чернышевского. Изданные за границей (г. Элпидиным и отчасти г. Жемановым) статьи его далеко не составляют и половины всего им написанного. Поэтому мы вынуждены были обратиться к первоначальному источнику, т.-е. к журналу «Современник», в котором главным образом писал Николай Гаврилович. Всем известно, легко ли доставать старые русские журналы за границей. Мы только отчасти могли справиться с этой трудностью. Мы не могли достать «Современник» за некоторые из тех годов, к которым относится сотрудничество в нем Чернышевского. При чтении же тех книжек его, которые удалось достать нам, мы встретили новое затруднение. Очень многие статьи Чернышевского, — именно, все статьи в отделах «новых книг», «политики» и «литературы» (русской и иностранной) — печатались без подписи. Нам пришлось поэтому с работой критика соединить работу библиографа и перечитывать неподписанные статьи с тем, чтобы, по языку и приемам изложения, определить вероятность их принадлежности Н. Г. Чернышевскому. Понятно, что здесь возможны были сомнения и даже ошибки. Как ни своеобразна литературная манера Чернышевского и как ни легко узнать его слог всякому, кто прочел со вниманием хоть немногие из его произведений, но все-таки относительно некоторых статей мы так и не могли решить, принадлежат ли они ему или кому-нибудь другому. Вообще говоря, мы избегали ссылок на подобные сомнительные статьи. Только в одном случае, на который будет указано в своем месте, мы решились отступить от этого правила, сославшись на статью, может быть, даже вероятно, не принадлежащую нашему автору, но чрезвычайно важную для оценки взглядов кружка «Современника» на социальный вопрос. Все же остальные из цитируемых нами статей несомненно написаны Чернышевским, и в этом легко убедится всякий, кто потрудится прочесть их.

После этой необходимой, но мало интересной оговорки мы могли бы, кажется, перейти к делу. Но нам, как на грех, подвертывается на язык новая оговорка. Мы хотим извиниться перед читателем в том, что наш критический очерк начнется довольно длинной выпиской. Кто не знает, что подобные введения и некрасивы, и педантичны? Но мы миримся с этим обстоятельством, потому что наша выписка хорошо пояснит наше отношение к делу. Когда приятное идет вразрез с по-

лезным, то часто поневоле жертвуешь полезному приятным. Впрочем, выписка эта берется нами из хорошего источника, из того самого автора, о котором пойдет у нас речь, и именно из его «*Очерков Гоголевского периода русской литературы*».

«Если у каждого из нас, — говорит он в этих очерках, переходя к критике Гоголевского времени,—если у каждого из нас есть предметы столь близкие и дорогие сердцу, что, говоря о них, он старается наложить на себя холодность и спокойствие, старается избежать выражений, в которых бы слышалась его слишком сильная любовь, наперед уверенный, что, при соблюдении всей возможной для него холодности, речь его будет очень горяча, — если, говорим мы, у каждого из нас есть такие дорогие сердцу предметы, то критика Гоголевского периода занимает между ними одно из первых мест, наравне с Гоголем... Потому-то будем говорить о критике Гоголевского периода как можно холоднее; в настоящем случае нам не нужны и противны громкие фразы; есть такая степень уважения и сочувствия, когда всякие похвалы отвергаются, как нечто, не выражающее всей полноты чувства». Мы относимся к гениальному критику Гоголевского периода, В. Г. Белинскому, с таким же глубоким уважением и с такою же горячею любовью, какую питал к нему автор цитируемых очерков. В этом отношении мы ничего не можем ни убавить из сделанной выписки, ни прибавить к ней. Но мы заметим, что в настоящее время для всякого русского социалиста предметом такой же горячей любви и такого же глубокого уважения является сам Н. Г. Чернышевский. Вот почему мы последуем его собственному примеру и, говоря о нем, постараемся остаться как можно более холодными и спокойными, так как, действительно, «есть такая степень уважения и сочувствия, когда всякие похвалы отвергаются, как нечто, не выражающее всей полноты чувства».

I.

Мы не имеем в виду писать биографию Н. Г. Чернышевского. Для этого нет еще достаточных материалов. О жизни его мы имеем до сих пор лишь очень скудные сведения. То немногое, что мы знаем о нем с этой стороны, содержится в биографическом очерке, приложенном к заграничному изданию его сочинений (см. брошюру «Лессинг» и второе издание романа «Что делать?»). Очерк этот очень краток. Но в нем есть кое-какие хронологические данные, а, — что еще важнее, — в нем напечатаны документы, относящиеся к суду над Чернышевским. Раз-

умеется, мы воспользуемся этими данными, дополняя их некоторыми фактами, заимствованными из собственных сочинений нашего автора. Но всего этого слишком и слишком мало, и потому нельзя не пожелать, чтобы лица, больше нас знающие о Чернышевском, поскорее напечатали свои воспоминания о нем, а также и имеющиеся в их распоряжении письма его и бумаги. Этим они оказали бы большую услугу и публике, и литературе.

Но в ожидании этого приходится довольствоваться теми сведениями, которые у нас уже есть. А они сводятся вот к чему. Николай Гаврилович был сын священника Саратовского собора и родился в 1829 году. Учился он сначала в Саратовской семинарии, затем—в Петербургском университете, где и окончил в 1850 году курс филологического факультета. Некоторое время после этого он был преподавателем во втором Петербургском кадетском корпусе, потом перевелся учителем гимназии в Саратов. Там, в своем родном городе, он скоро женился, если не ошибаемся, на сестре очень известного теперь ученого писателя Пыпина. Но молодому Чернышевскому, очевидно, трудно было дышать затхлым воздухом провинции, и вот уже в 1853 году мы опять видим его в Петербурге, где он снова находит себе уроки во втором кадетском корпусе, а также занимается переводами и разбором новых книг для «Отечественных Записок», издававшихся тогда Краевским и Дудышкиным. Мы едва ли ошибемся, предположив, что нашему автору пришлось испытать много нужды и лишений в этот переходный период его жизни. Он был тогда простым литературным чернорабочим, а известно, что черный труд далеко не завидно оплачивается в нашей литературе. Других же источников существования у Чернышевского никогда не было. Но он был молод, здоров и не боялся никакого труда, никаких усилий. Кроме литературных работ, необходимых для поддержания жизни, он занимался также своей магистерской диссертацией, об «эстетических отношениях искусства к действительности». Самый выбор темы для диссертации достаточно показывает, какие задачи ставил себе он в своей будущей деятельности. Со своим образованием, способностями, беспримерным трудолюбием и замечательным даром общепонятного изложения самых сухих и трудных предметов, он мог бы рассчитывать на блестящую ученую карьеру. Ему стоило только захотеть — и профессорская кафедра, наверное, была бы за ним обеспечена. Но ему хотелось другого. Его привлекала деятельность критика и публициста. Как ни строга была русская цензура, но у всех в памяти был пример Белинского, который, несмотря на цензурные рогатки, не только сумел пустить в литературное обращение множество

самых важных истин, но и поставил нашу критику на совершенно новую теоретическую основу. Мы уже знаем, как горячо любил и как глубоко уважал Чернышевский этого писателя. Не удивительно, что ему хотелось итти по следам Белинского, чтобы по мере сил и возможности продолжать его дело. Притом карьера императора Николая, видимо, близилась к концу, несостоятельность его системы становилась очевидной для всех, так что при новом царствовании можно было рассчитывать на некоторую политическую оттепель и на некоторое смягчение нравов

Богомольной старой дуры,
Нашей чопорной цензуры,

как величал ее Пушкин. Начинающие писатели могли таким образом не без основания рассчитывать на несколько лучшее будущее. Наконец, у Николая Гавриловича были очень своеобразные взгляды на задачи людей, желающих посвятить свои труды благу России. В силу этих взглядов он и не мог придавать большого значения чисто ученой деятельности своих соотечественников. В цитированных уже нами «Очерках Гоголевского периода русской литературы» он очень определенно высказывается на этот счет. «Многие из великих ученых, поэтов, художников, — говорит он, — имели в виду служение чистой науке или чистому исскусству, а не каким-нибудь исключительным потребностям своей родины. Бэкон, Декарт, Галилей, Лейбниц, Ньютон, Гумбольдт и Либих, Кювье и Фаредэ трудились и трудятся, думая о пользах науки вообще, а не о том, что именно в данное время нужно для блага известной страны, бывшей их родиною... Они, как деятели умственного мира,—космополиты». Но не в таком положении находятся, по его мнению, деятели умственного мира в России. Им еще нельзя быть космополитами, т.-е. нельзя думать об интересах чистой науки или чистого искусства. В этом смысле, по условиям их страны, им приходится быть «патриотами», т.-е. думать прежде всего о специальных нуждах своей родины. Идеалом «патриота» в этом смысле является для Чернышевского Петр Великий, человек, задавшийся целью перенести в Россию все блага европейской цивилизации. Он думал, что и в его время цель эта далеко еще не вполне была достигнута. «До сих пор для русского человека единственная возможная заслуга перед высокими идеями правды, искусства, науки — содействие распространению их в его родине. Со временем будут и у нас, как у других народов, мыслители и художники, действующие чисто только в интересах науки или искусства; но пока мы не станем по своему образованию наравне с наиболее успевшими

нациями, есть у каждого из нас другое дело, более близкое сердцу, — содействие, по мере сил, дальнейшему развитию того, что начато Петром Великим. Это дело до сих пор требует и, вероятно, еще долго будет требовать всех умственных и нравственных сил, какими обладают наиболее одаренные сыны нашей родины» [1]). Чернышевский именно и хотел посвятить свои силы распространению на своей родине высоких идей правды, искусства, науки. Как понимал он их, — это, собственно говоря, можно было бы показать при разборе его сочинений. Но прежде, чем перейти к такому разбору, нам хотелось бы охарактеризовать его общую точку зрения и показать отношение его к его литературным предшественникам. Сделав это, мы уже без большого труда сможем оценить тот или другой из его отдельных взглядов. И нам тем удобнее сделать это теперь, что у нас идет пока речь именно о том периоде его жизни, когда он, еще не принимая особенно деятельного участия в литературе, занимался выработкой своих взглядов, усвоением и анализом «высоких идей правды, искусства, науки».

Изо всех своих литературных предшественников Чернышевский с наибольшим уважением относился к В. Г. Белинскому и его кружку. Можно было бы думать поэтому, что он воспитался именно на сочинениях Белинского и его кружка, что он из этого источника почерпнул свое понимание идей правды, науки и искусства. Это, однако, не совсем так. Хотя в своих сочинениях Чернышевский вовсе не касается истории своего умственного развития, но есть у него одна маленькая заметка о Добролюбове, могущая пролить на нее некоторый свет. Мы имеем в виду письмо, написанное им после смерти Добролюбова в ответ на статью некого г. З — на и напечатанное в февральской книжке «Современника» за 1862 год. В своей статье г. З—н сказал, между прочим, что покойный Добролюбов был учеником Чернышевского и находился под сильнейшим его влиянием. Чернышевский горячо и даже очень раздражительно отрицает это, говоря, что Добролюбов совершенно самостоятельно пришел к своим взглядам и был гораздо выше его как по своим умственным силам, так и по литературному таланту. Нам не нужно решать теперь, насколько совпадало с действительностью это скромное заявление. Из всего письма Чернышевского нас интересует теперь лишь следующее место. Напомнив о том, что Добролюбов знал немецкий и французский языки и мог таким образом в подлиннике ознакомиться с наиболее замечательными литературными произведениями Франции и Германии,

[1]) См. «Современник», 1856 г., книгу 4, Отдел критики, стр. 29—31.

Чернышевский говорит: «Если же даровитый русский человек в решительные для своего развития годы читает книги наших общих западных великих учителей, то книги и статьи, написанные по-русски, могут ему нравиться, могут восхищать его, но ни в коем случае не могут уже они служить для него важнейшим источником тех знаний и понятий, которые почерпает он из чтения»[1]). Это совершенно справедливо. Но ведь Чернышевский также знал иностранные языки, также читал в решительные для его развития годы книги наших общих великих западных учителей. Поэтому позволительно думать, что и его могли только восхищать некоторые, писанные по-русски статьи и книги, но что, вместе с тем, и для него они не были первоначальным источником его понятий и знаний. Спрашивается теперь, каков же именно был этот первоначальный источник? В каких именно литературах и в каких отраслях этих литератур следует нам искать его?

В тридцатых и сороковых годах для наших молодых людей, в решительные годы их развития, одним из важнейших пособий являлась, между прочим, немецкая философия. В последующие десятилетия это было уже иначе. В пятидесятых годах к немецкой философии у нас были, как кажется, просто равнодушны. В шестидесятых—к ней стали относиться с враждой и презрением. Немецкая философия была об'явлена «метафизикой», на которую «мыслящим реалистам» не стоит тратить времени. Между западно-европейскими философами признаны были заслуживающими снисхождения только позитивисты. Война против немецкой философии ведена была у нас так удачно, что наши «мыслящие реалисты» могут гордиться своей победой над «метафизикой»; они с справедливой гордостью могут сказать, что не имеют о немецкой философии решительно никакого понятия. Но ни Чернышевский, ни его ближайшие друзья не принадлежали к числу этих победоносных реалистов. Они интересовались немецкой философией и внимательно изучали ее историю. Ее развитие и тогдашнее состояние, несомненно, повлияло на них очень сильно, как повлияло оно и на друзей Белинского. Но кем же из немецких философов мог увлекаться Чернышевский?

Конечно, не Фихте, не Шеллингом и не Гегелем. Ими мог увлекаться в свое время Белинский, но уже и для него системы этих философов, во вторую половину его критической деятельности, представляли собою,

---

[1]) «В из'явление признательности, письмо к г. З—ну», «Современник», февраль 1862 года.

как говорят немцы, ein überwundener Standpunkt. Тем более можно сказать это о Чернышевском. В то время, к которому относятся решительные годы его развития, философия уже навсегда распростилась со всеми разновидностями идеализма. Но если это было так, то какой же из немецких философов мог иметь на него наибольшее влияние? Поищем намека на ответ опять-таки в его собственных сочинениях. В своих «Полемических красотах», написанных в ответ «Русскому Вестнику» и «Отечественным Запискам», сильно нападавшим на все его направление вообще и на его статью «Антропологический принцип в философии», Чернышевский категорически говорит, что он придерживается одной философской системы, «составляющей самое последнее звено в ряду философских систем» и «вышедшей из Гегелевской системы, точно так же, как Гегелевская вышла из Шеллинговой». Люди, знакомые с историей философии, уже отсюда видят, о какой системе говорит он. Тем же, которым дело не ясно, мы приведем еще несколько строк. «Вам, вероятно, хотелось бы узнать, кто же такой этот учитель, о котором я говорю?—спрашивает Чернышевский Дудышкина в той же статье.—Чтобы облегчить вам поиски, я, пожалуй, скажу вам, что он—не русский, не француз, не англичанин,—не Брюхер, не Маркс Штирнер, не Бруно Бауэр, не Молешотт, Фохт,—кто же он такой? Вы начинаете догадываться?..» И действительно, нельзя не догадаться: Чернышевский говорит о Фейербахе. На Фейербаха указывает самое название единственной философской статьи, написанной Чернышевским: об *антропологической* точке зрения в философии заговорил впервые именно Фейербах. Мы могли бы привести из статей Чернышевского много доказательств того глубочайшего уважения, с которым он относился к Фейербаху. Для него Фейербах не ниже Гегеля, а этим сказано очень много, потому что Чернышевский считал Гегеля одним из гениальнейших мыслителей. Итак, философская точка зрения нашего автора найдена. Как последователь Фейербаха, Чернышевский был материалистом. «Принципом философского воззрения на человеческую жизнь со всеми ее феноменами,—писал он в названной выше уже статье об «антропологическом принципе в философии»,—служит выработанная естественными науками идея о единстве человеческого организма; наблюдениями физиологов, зоологов и медиков отстранена всякая мысль о дуализме человека. Философия видит в нем то, что видят медицина, физиология, химия; эти науки доказывают, что никакого дуализма в человеке не видно, а философия прибавляет, что если бы человек имел, кроме реальной своей натуры, другую натуру, то эта другая натура непременно обнаруживалась бы в чем-нибудь, и так

как она не обнаруживается ни в чем, так как все происходящее и проявляющееся в человеке происходит по одной реальной его натуре, то другой натуры в нем нет». Это не нуждается в толкованиях.

II.

Но не мешает указать то место, которое принадлежит в истории философии учителю нашего автора. Учение Фейербаха вышло из учения Гегеля. Но Гегель был идеалистом, Фейербах—решительным материалистом. Главная заслуга Фейербаха в том и заключается, что в его лице философия навсегда покончила с идеализмом. Однако здесь следует оговориться. Материалисты были и раньше Фейербаха. Чтобы не далеко ходить за примерами, укажем хоть на французских материалистов конца прошлого века. «Système de la Nature»—совершенно материалистическая книга. Но можно ли сказать, что Фейербах просто-на-просто возвратил философию ко взглядам барона Гольбаха и его друзей? Это было бы несправедливо. Новейший материализм весьма значительно отличается от материализма конца прошлого века; различие это заключается главным образом в самом *методе мышления*. Современный материализм—конечно, в лучших, развитых своих представителях—держится особого метода мышления, который называется *диалектическим,* и который французским материалистам прошлого века был гораздо менее свойствен, чем, например, деисту Руссо. Нам нет надобности об'яснять читателю, в чем заключаются особенности современного диалектического метода мышления, так как это уже сделано лицом, гораздо более нас компетентным. Вот что говорит на этот счет Фридрих Энгельс, человек, который своими трудами много способствовал дальнейшему систематическому развитию взглядов Фейербаха. «Для метафизика вещи и их умственные образы, т.-е. понятия, суть отдельные, неизменные, застывшие, раз-навсегда данные предметы, подлежащие исследованию один после другого и один независимо от другого. Он мыслит законченными, непосредственными противоположениями; речь его состоит из: да—да, нет—нет, что сверх того, то от лукавого. Для него вещь существует или не существует; для него предмет не может быть самим собою и одновременно чем-нибудь другим; положительное и отрицательное абсолютно исключают друг друга, причина и следствие также совершенно противоположны друг другу». Не так мыслит диалектик. Он берет вещи и понятия, т.-е. умственные отражения вещей, «в их взаимной связи, в их сцеплении, в их движении, в их возникновении и

исчезновении». Поэтому в его глазах все явления и все понятия приобретают совершенно другой характер, чем в глазах метафизика. Он не скажет, как это всегда с твердостью, не допускающею возражений, говорит метафизик, что предмет существует или не существует в каждое данное время. В обыденной жизни метафизик, конечно, прав, но при более внимательном, научном исследовании он совершенно сбивается с толку, и тогда начинается торжество диалектика. «Например, мы в обыденной жизни можем с уверенностью сказать, существует данное животное или нет, но при более точном исследовании мы убеждаемся, что это иногда в высшей степени запутанный вопрос, что прекрасно известно юристам, так как они тщетно пытались открыть рациональную границу, за которой умерщвление ребенка во чреве матери можно считать убийством. Так же невозможно определить момент смерти, так как физиология показывает, что смерть есть не внезапный, мгновенный акт, а очень медленно совершающееся явление». Далее, для диалектика очевидно, что предмет вполне может быть самим собою и одновременно чем-нибудь другим, так как предметы беспрерывно изменяются, а изменение именно и есть тот процесс, в силу которого предмет перестает быть самим собою и становится чем-то другим. «Всякое органическое существо в каждое данное мгновение есть то же и не то же: в каждое данное мгновение оно перерабатывает получаемую извне материю и выделяет из себя другую, одни клеточки его организма умирают, а другие—нарождаются, так что, спустя известный промежуток времени, материя данного организма вполне обновляется, заменяется другим составом атомов; вот почему всякое органическое существо всегда то же и, однако, не то же». Совершенно подобным образом для диалектика понятие о положительном и отрицательном, о причине и следствии, имеют совершенно иной смысл, чем для метафизика. «При более точном исследовании мы находим, что оба полюса какой-нибудь противоположности, положительный и отрицательный, столь же неразрывны один от другого, как и взаимно-противоположны, и что они, несмотря на всю свою противоположность, проникают друг друга. Точно так же мы можем увидеть, что причина и следствие суть представления, имеющие значение, как таковые, лишь в применении к отдельному случаю, но как только этот случай мы станем рассматривать в его общей связи с целым миром, то убеждаемся, что причина и следствие совпадают, что их противоположность исчезает при созерцании всемирного взаимодействия, в котором причина и следствие постоянно меняются местами, и то, что теперь или здесь—следствие, то там или тогда будет причиной, и наоборот».

Если мы, после всего сказанного, взглянем на метод, которого держались французские материалисты конца прошлого века (а нужно помнить, что метод составляет душу всякой философской системы), то тотчас увидим, как мало общего имели они с новейшими материалистами. В противоположность этим последним их придется назвать *метафизиками*. Чтобы убедиться в этом, пусть читатель просмотрит, например, названную выше книгу «Système de la Nature» и обратит внимание, как обращаются Гольбах и его друзья с вопросами, ими же самими выдвинутыми в борьбе с противниками, но не решенные ни ими, ни современной им наукой. Вопросы эти касаются главнейших предметов человеческого знания: развития мироздания, происхождения человека и его различных понятий, наконец, взаимных отношений людей в обществе. В настоящее время наука—естествознание и история—решает все эти вопросы посредством учения об *эволюции*, т.-е. в сущности посредством того же диалектического метода, о котором говорят современные материалисты, но о котором часто не имеют ясного понятия даже самые выдающиеся ученые, обязанные ему наиболее блестящими своими открытиями. Гольбах и его друзья как будто задались целью совершенно исключить понятие об эволюции изо всех своих рассуждений. Они рассматривают предметы именно вне их взаимной связи, один после другого и один независимо от другого. Речь их именно состоит из да—да, нет—нет, что сверх того, кажется им от лукавого. Поэтому им не только не удалось решить многих из ими же поставленных вопросов, но в действительности они не всегда остаются верными даже своей материалистической точке зрения, часто покидая ее для совершенно идеалистических рассуждений. Во всем, что касается взаимных отношений людей и истории человеческой мысли, они—чистые и притом чуждые научных понятий идеалисты. В их глазах история человечества есть не более как история ошибок честных простяков и козней корыстолюбивых злодеев. Человечество страдало и бедствовало, потому что было глупо и необразовано; но в восемнадцатом столетии взошло, наконец, солнце разума, и человечество станет теперь просвещенным, а следовательно, и счастливым, — вот к чему сводится вся их философия истории. Но в подобной философии отсутствует самое элементарное условие научности: *понятие о законосообразности*. Человечество страдало от своего необразования и перестанет страдать благодаря просвещению, принесенному восемнадцатым веком... Это очень хорошо но, спрашивается, чем же обусловливалась неразвитость человечества в предшествующие века и откуда взялось просвещение в восемнадцатом веке? Ведь не с неба же

оно упало. В качестве материалистов мы уже не признаем врожденных идей и говорим, что понятия человека представляет не более, как умственные отражения окружающих его предметов и происходящих перед ним явлений. Но раз мы держимся этого взгляда, то должны уже твердо держаться его и не забывать о нем тотчас же, как только речь зайдет об истории человеческой мысли. В этой истории мы так же мало можем говорить о случайности, как и о божественном провидении. Это совершенно ненаучные и совершенно недостойные материалистов понятия. Для материалиста история человеческой мысли есть такой же законосообразный и необходимый процесс, как и развитие солнечной системы. Потрудитесь же об'яснить ход и условия этого процесса, потому что ведь ссылаться в истории мысли на неразвитость мысли—значит уподобиться тому доктору, который говорил: «ваша дочь сделалась больна по той причине, что заболела». Но если вы взглянете на историю человеческой мысли, как на законосообразный и необходимый процесс, то успехи ее не будут уже представляться вам первой и главнейшей причиной общественного развития. Вам поневоле придется припомнить тогда диалектическое учение о причине и следствии, и вы скажете себе: да, действительно, причина и следствие постоянно меняются местами; то, что теперь или здесь следствие, там или тогда об'явится причиной, и наоборот. Успехи человеческой мысли несомненно и решительно влияют на общественные отношения людей, но в то же время они сами зависят от этих отношений, идя семимильными шагами при одном устройстве общества и часто надолго, если не навсегда, останавливаясь при — другом. И притом те или другие общественные отношения возникают вовсе не потому, что кажутся членам данного общества наиболее разумными и справедливыми. Напротив, уверенность людей в справедливости и разумности их общественных отношений очень часто является простым следствием того обстоятельства, что они привыкли к этим отношениям, воспитались и выросли под их влиянием. Каким же образом возникают и развиваются данные общественные отношения? Возникновение, развитие и исчезновение их в истории представляет собою по большей части бессознательный процесс группировки людей в их борьбе за существование. Изменяются условия борьбы людей за существование — изменяется и их общественная группировка, принимают новый вид их общественные отношения, хотя очень часто люди совсем не замечают подобного изменения или замечают его только отчасти, или, наконец, придумывают для него самые несостоятельные об'яснения, например, ссылаются на божественные заповеди, на естественный порядок вещей и тому по-

добное. Гегель справедливо заметил, что в истории общественных отношений «сова Минервы начинает летать только в полночь», т.-е. что люди начинают вдумываться в данный общественный порядок только тогда, когда он уже отжил свой век и становится при новых исторических условиях негодным и вредным. Люди стремятся тогда установить новый порядок, который почти всегда кажется им в таких случаях самым естественным и разумным, но который в действительности имеет лишь одно незаменимое преимущество: он оказывается наиболее подходящим для людей при новых, изменившихся условиях их борьбы за существование.

Теперь естественно спросить себя, от чего зависят и каким образом изменяются условия человеческой борьбы за существование? Они даются, во-первых, природой, во-вторых, создаются людьми, но создаются ими по большей части бессознательно. Влияние географических условий — почвы, климата, фауны, флоры, свойства поверхности, речных систем, очертаний берегов и пр. — на развитие человеческих обществ теперь уже более или менее выяснено наукой и не нуждается для своего пояснения ни в каких примерах. Но характер и природа тех условий борьбы за существование, которые бессознательно создаются самими же людьми, до сих пор еще не ясны для многих. Поэтому пример здесь не будет неуместен. Возьмите такое общество, в котором уже исчезло натуральное хозяйство и продукты производятся на сбыт, для обмена их на рынке, т.-е., другими словами, становятся товарами. Само собою разумеется, что производители так же мало задумываются над товарным характером своих продуктов, как мольеровский буржуа задумывался над прозаическим характером своей обыкновенной речи. Они производят товары не потому, что товарное производство кажется им самым естественным и разумным: рассуждать об этом они предоставляют особой породе людей, которые называются экономистами. Сами же они делают свои произведения товарами просто потому, что при данных условиях не могут не делать их товарами. Они вывозят их на рынок, потому что им нужно обменять их на другие, необходимые для них, произведения. Но эти произведения, смирно и неподвижно лежавшие в мастерской, пока они оставались просто произведениями, начинают чудить и самодурствовать, появившись на рынке и проибретая звание *товаров*. Иногда тот или другой товар оказывается «в цене», и тогда производитель его торжествует. Но иногда вдруг, без всяких причин благовидных, с ним становится «тихо», его мало спрашивают, цена его падает. Производитель опускает голову. А иногда случается так, что

данного товара и совсем никто не покупает, и тогда горе его производителю, если ему не удалось отложить деньжонок на черный день! Но такими, повидимому, случайными колебаниями цен в обществе товаропроизводителей дело не ограничивается. Мало-по-малу между ними начинает возникать неравенство: у одного дела идут лучше, чем у другого, и вот один богатеет, а другой разоряется. Постепенно неравенство это — между прочим, и вследствие успехов техники — доходит до такой степени, что на рынке появляется новый товар, называемый рабочею силой. Часть обедневших товаропроизводителей уже не может вести производство на собственный счет и нанимается в работу к хозяевам. Таким образом у нас оказываются теперь уже хозяева и рабочие, товарное общество становится *капиталистическим*. Кто создал это капиталистическое общество? Почему его создали? Потому ли, что его считали самым разумным и «естественным»? Создали его люди, потому что ведь их же взаимные отношения и были теми отношениями товаропроизводителей, из которых развились впоследствии отношения капиталистические. Но создали они его бессознательно: ни Иван, ни Петр, ни Алексей вовсе и не задумывались над теми последствиями, которые вытекают из товарного производства, они не задумывались даже и над тем, что значит товарный характер производства. Однако ни Иван, ни Петр, ни Алексей не имеют, как мы уже признали, врожденных идей. Их образ мыслей создается влиянием окружающей обстановки. Живя в капиталистическом обществе, они начинают думать, что это и хорошо, что они живут в нем, что иначе и нельзя жить людям, что капиталистический порядок самый «естественный» и «справедливый». Да и так думают они только в редких случаях, а большею частью вовсе ничего не думают о своем общественном порядке: они берут его, как он есть, не спрашивая себя, мог ли бы он измениться. Тем не менее, влияние капиталистического порядка все-таки сказывается на их образе мыслей, на их чувствах и привычках. Они не приводят своих понятий в систему. Но их несистематические, отрывочные понятия насквозь пропитаны духом капитализма. Им пропитывается все: гражданское и государственное право, искусство и литература, естественные и общественные науки. Что касается общественных наук — это ясно само собою: общественные науки в капиталистическом обществе представляют собою не что иное, как возведение в теорию капиталистических отношений. В применении к естественным наукам наша мысль может показаться на первый раз очень странною. Каким это образом взгляды людей на кислород или на индуктивные токи могут быть пропитаны капиталистическим духом? Но мы и не говорим, что

это может быть. Мы хотим только сказать, что ведь не всегда же люди знали о кислороде и об индуктивных токах. Было время, когда они не имели о них ни малейшего понятия. Когда же они стали интересоваться ими? «Ход идей соответствует ходу вещей, все науки выросли из общественных нужд и потребностей народов»,—давным давно сказал один гениальный итальянец. Внимание людей направлялось на те или другие области явлений природы сообразно с нуждами того общества, в котором жили люди. Во всякой науке практика всегда предшествовала теории и никогда не переставала оказывать на нее огромнейшее влияние. Какие же нужды, какая практика существуют в капиталистическом обществе? Ясное дело: нужды и практика капиталистического, а не какого-нибудь другого общества. Эти нужды и эта практика не только вызывают к жизни известные теории, они кладут на них свою печать, иногда затрудняя, иногда ускоряя их совершенствование. Ведь что ни говорите, а очень характерно то обстоятельство, что мысль об огромном значении борьбы за существование явилась у зоологов уже после того, как ее возвели в принцип теоретики капитализма—экономисты.

Но не вечен и капиталистический строй. Постепенно, под влиянием многих причин, но опять-таки помимо *сознательного* участия людей, в нем является уже очень много неудобств, уже очень много темных и невыгодных сторон. Невыгоды капитализма начинают перевешивать его выгоды. Исторический день его склоняется к концу. Наступает «ночь», — и вот вылетает «сова Минервы»: начинается критика капиталистических отношений. Люди спрашивают себя: да неужели нельзя завести другого порядка? Те из них, на которых в особенности обрушиваются увеличивающиеся неудобства капитализма, вдумываются в этот вопрос внимательней и к своему собственному удивлению открывают, что завести другой порядок не только можно, но и должно. Возникают теории, называемые вредными учениями коммунизма и социализма. Под их знаменем группируются все обездоленные, угнетенные существующим порядком. Но почему же прежде-то ничего этого не было? Неужели теоретики прежнего времени — все эти светила науки, Пэтти, Смиты и Рикардо, — были просто-напросто хитрыми сикофантами, защищавшими дело, выгодное лишь для крошечной горсти счастливцев? Совсем нет, это были честные мыслители, но как же вы хотите, чтобы они открывали то, чего еще и не было в действительности. В их время историческое движение еще не обнаружило или, вернее сказать, еще не создало тех неудобств капитализма, против которых борются теперь социалисты, поэтому они и не подозревали их возможность. Довлеет дневи

злоба его — этого никогда не нужно забывать при изучении истории человеческой мысли.

Нас спросят, может быть, не существуют ли связи между указанными выше природными, географическими условиями человеческого развития и теми условиями его, которые бессознательно создаются людьми в процессе производства продуктов? Связь эта несомненно существует. Под влиянием географических условий совершается экономическое развитие человечества. Оно происходит с большею или меньшею быстротою, принимает то или другое направление именно благодаря тому или другому характеру географической среды, окружающей данное общество. В Китае и в Аттике, в равнинах Северной Америки и на берегах Нила формы общественных отношений на первых ступенях развития были совершенно одинаковы, можно сказать тождественны. Наука о первобытных учреждениях повсюду находит, например, родовой быт. Человечество, очевидно, имеет одну точку отправления. Но природные условия борьбы за существование различны, и потому формы человеческого общежития с течением времени принимают различный характер. Одинаковый повсюду родовой быт уступает место самым различным общественным отношениям. Строй афинского общества не похож на строй Китая; ход экономического развития Запада вообще не похож на ход экономического развития Востока. Конечно, много зависит тут и от влияния окружающей данное общество исторической среды, но «географическая подкладка» человеческого развития все-таки несомненно и очень сильно дает себя чувствовать.

Однако к чему все это? А все к тому же, все затем, чтобы показать некоторые особенности новейшего материализма, приверженцем которого был и Н. Г. Чернышевский. Мы хотели только сказать, что новейшие материалисты понимают ход исторического развития так или почти так, как мы изложили, а материалисты конца прошлого века были совершенно чужды такого понимания истории. В их миросозерцании было еще очень много остатков идеализма. В своих исторических взглядах они, как мы сказали, во многом оставались идеалистами. Они отрицали существование врожденных идей в голове отдельного человека, но они признавали, так сказать, самопроизвольное зарождение и развитие идей в человеческом обществе. Они и не подозревали, что историческое развитие человеческой мысли совершается под влиянием причин, не имеющих ничего общего с сознанием и волей человека. Поэтому только с появлением новейшего материализма сделалось возможным научное понимание человеческой истории. С точки зрения новейшего материа-

лизма «история человечества перестает казаться нелепой путаницей бессмысленных насилий, которые равно все осуждаются перед судейским креслом теперь лишь созревшего философского разума и которые лучше всего забыть как можно скорее. История людей является процессом развития самого человечества, и задача современной мысли состоит теперь в том, чтобы проследить постепенные ступени этого процесса... и показать внутреннюю его законосообразность, среди всех кажущихся случайностей».

Эта задача в значительной степени уже решена трудами Маркса и Энгельса, великих социалистов, которым выпало на долю продолжать дело развития философской мысли после Гегеля и Фейербаха. Но нужно помнить, что материалистическим, т.-е. единственным научным, пониманием истории мы обязаны именно Марксу и Энгельсу (отчасти, впрочем, еще американскому писателю Моргану, а не Фейербаху). В эпоху Фейербаха задача философской мысли была другая. Ей нужно было прежде всего покончить с идеализмом во всех его видах и разновидностях. На это и были употреблены силы Фейербаха. Таким образом его философские взгляды приходится считать только первым шагом современного материализма. Он дал только некоторые посылки; другими же необходимыми посылками, равно как и целым рядом самых блестящих выводов из них, мы обязаны уже Марксу и Энгельсу. В миросозерцании Фейербаха еще не была развита та историческая сторона, которая составляет силу и славу современного материализма. Какое значение могло иметь это обстоятельство в истории умственного развития Н. Г. Чернышевского?

Рассуждая отвлеченно, позволительно, пожалуй, думать, что он, как человек одаренный замечательным, из ряда выходящим и очень деятельным умом, мог заметить пробелы и пополнить недостатки во взглядах своего учителя, т.-е., другими словами, сделать то, что сделали Маркс и Энгельс. Но, чтобы сделать эпоху в истории науки, недостаточно еще обладать гениальными способностями, нужны еще благоприятные внешние обстоятельства, которые дали бы надлежащее направление этим способностям. Насколько благоприятны были в этом отношении обстоятельства, окружавшие нашего автора? Он жил в стране, не развитой ни в экономическом, ни в политическом смысле слова. Чистая научная и философская мысль также не отличалась в ней большим развитием. Ни одним из русских ученых еще ни разу не было произнесено такое слово, которое имело бы решительное влияние на судьбу европейской мысли и науки. Мы видели, как об'яснял это явление Н. Г. Чернышевский и ка-

кие задачи ставил он перед наиболее одаренными сынами своей родины. Они сводились к распространению в ней «высоких идей правды, науки, искусства», выработанных в странах, ушедших далее нас по пути цивилизации. Чернышевский был совершенно прав, ставя своим соотечественникам именно эти, а не другие задачи. Но избранный и рекомендуемый им род деятельности имел свою внутреннюю логику, с которой приходится считаться самым богато-одаренным людям. Распространитель идей, выработанных другими людьми в других странах, может при больших способностях делать некоторые частные, второстепенные открытия, но переворота в науке он не совершит, потому что вовсе не тем и занят. В таком именно положении был и наш автор. В его сочинениях рассыпано немало важных замечаний, проливающих новый свет на различные вопросы науки. Подобные замечания часто вполне совпадают с важнейшими открытиями, делавшимися тогда в западной науке. Но эти проблески гениальной мысли не разработаны последовательно, не приведены в систему; поэтому рядом с ними мы встречаем у него и такие взгляды, которые уже и тогда могли считаться устарелыми, а теперь и совсем оставлены наукой. В конце концов, оказывается, что недостатки и пробелы философии того мыслителя, который имел на него наибольшее влияние, не были пополнены и исправлены им. В материалистических взглядах Чернышевского осталась неразвитою та самая сторона, которая мало была развита и у его учителя. Говоря вообще, Николай Гаврилович был еще чужд современного материалистического понимания истории, а там, где он силою своего ума приближается к нему, он часто придает ему довольно наивную форму.

III.

Материализм Чернышевского заметен гораздо более в его «антропологических», чем в его исторических, воззрениях. Смотря на человека как на невольный продукт окружающей его среды, Чернышевский относится с величайшей гуманностью даже к таким некрасивым проявлениям испорченной человеческой природы, в которых идеалисты видят лишь «злую волю», заслуживающую строгой кары. «Все зависит от общественных привычек,—рассуждает он,—и от обстоятельств, т.-е. в окончательном результате все зависит исключительно от обстоятельств, потому что и общественные привычки произошли, в свою очередь, также из обстоятельств. Вы вините человека,—всмотритесь прежде, он ли в том

виноват, за что вы его вините, или виноваты обстоятельства и привычки общества,—всмотритесь хорошенько, быть может, тут вовсе не вина его, а только беда его». «Охранители» хотели видеть в подобных словах Чернышевского защиту нравственной распущенности, но, разумеется, только доказали этим свое собственное непонимание дела.

Недостаточная выработанность материалистических взглядов Чернышевского сказалась уже в некоторых особенностях его учения о нравственности. Для него, как и для Гельвеция, даже наиболее самоотверженные поступки представляют только особый вид разумного эгоизма. По его словам, «надобно бывает только всмотреться попристальнее в поступок или чувство, представляющиеся бескорыстными, и мы увидим, что в основе их все-таки лежит та же мысль о собственной личной пользе, личном удовольствии, личном благе, лежит чувство, называемое эгоизмом». Иногда рассуждения Чернышевского по этому поводу принимают несколько странный характер. «Лукреция закололась, когда ее осквернил Секст Тарквиний: она поступила очень расчетливо». Следуют доказательства верности сделанного Лукрецией расчета. «Коллатин мог сказать жене: я считаю тебя чистой и люблю тебя по-прежнему; но при тогдашних понятиях, слишком мало изменившихся до сих пор, он не в силах был оправдать своих слов делом: волею или неволею, но он уже потерял очень значительную часть прежнего уважения, прежней любви к жене; он мог прикрывать эту потерю преднамеренным увеличением нежности в обращении с нею; но такого рода нежность обиднее холодности, горьче побоев и ругательств» и т. д. Но весьма сомнительно, чтобы Лукреция перед своим самоубийством могла предаваться таким основательным расчетам. Для них нужно хладнокровие, а хладнокровной она быть не могла. Не вернее ли предположить, что в ее поступке рассудок играл гораздо меньшую роль, чем чувство, сложившееся под влиянием тогдашних общественных привычек и отношений. Человеческие чувства и привычки так приспособляются обыкновенно к существующим общественным отношениям, что совершаемые под их влиянием поступки могут показаться подчас плодом самых основательных расчетов, между тем как в действительности вовсе не были вызваны расчетливостью. Вообще во взглядах Чернышевского на разумный эгоизм заметно свойственное всем «просветительным периодам» (Aufklärungsperiode) стремление искать в рассудке опоры для нравственности и в более или менее основательной расчетливости отдельного лица об'яснения его характера и поступков. Но уже в вышеприведенных словах Чернышевского заключается опровержение подобных край-

ностей рассудочности. Поступки отдельного лица представляют собою результат общественных привычек, общественные же привычки складываются не под влиянием расчетов рассудка, а в силу исторического развития общества. При правильной постановке вопроса он должен быть поставлен именно в эти пределы: Что такое нравственность отдельного среднего человека? Результат его расчетливости или бессознательный плод общественных отношений? Наконец, следует еще спросить, в силу каких влияний общества на отдельную личность может развиться и развивается в ней интерес к общему благу? Такие вопросы имеют большое общественное значение. Спорить же о том, как назвать подобный интерес к общественному благу, — альтруизмом или благородным эгоизмом, — мы не видим надобности.

Сообразно с преувеличенным значением, придаваемым Чернышевским человеческой расчетливости, он и исторические события об'ясняет иногда сознательным расчетом пользы там, где для об'яснения их нужно обращаться к несознанным людьми силам экономического развития. С первого взгляда подобные об'яснения Чернышевского могут навести на мысль о том, что он в своих исторических теориях совершенно стал на точку зрения новейшего материализма. Но при внимательном отношении к делу оказывается совершенно противное. Кто видит в исторической деятельности людей лишь влияние сознательного расчета, тот еще далек от понимания всей силы и всего значения экономии. В действительности ее влияние распространяется даже на такие поступки людей и на такие привычки различных общественных классов, по поводу которых нельзя и заикаться о сознательном расчете. Мы уже видели, что главнейшие, наиболее влиятельные факторы экономического развития до сих пор стоят вне всякого влияния сознательного расчета. Мы видели также, что все общественные отношения, все нравственные привычки и все умственные склонности людей складываются под посредственным или непосредственным действием этих слепых сил экономического развития. Ими определяются, между прочим, и все виды человеческой расчетливости, все проявления человеческого эгоизма. Следовательно, нельзя говорить о сознательном расчете пользы, как о первичном двигателе общественного развития. *Подобный* взгляд на историю противоречит учению новейшего материализма; *подобный* исторический материализм еще очень наивен.

Впрочем, исторические взгляды Чернышевского еще не сведены в систему и часто противоречат один другому. Без большого труда можно выбрать из его сочинений и сопоставить такие взгляды на историю, ко-

торые покажутся принадлежащими совершенно различным писателям. И подобных противоречий нельзя об'яснить предположением о постепенном изменении образа мыслей нашего автора. Он приступил к литературной деятельности в такую пору своего умственного развития, когда взгляды его, в главнейших чертах, уже окончательно сложились. Поэтому встречающиеся нам противоречия и непоследовательность его исторических взглядов приходится отнести на счет неясности и шаткости общей точки зрения его на историю человечества.

Вот несколько примеров в подтверждение сказанного. В своих «Очерках политической экономии» Н. Г. Чернышевский, об'яснив законы существующего в современных передовых странах «трехчленного распределения продуктов» и делая из своих об'яснений краткий заключительный вывод, высказывает следующий чрезвычайно замечательный взгляд на внутренние пружины новейшей истории Европы: «Мы видели, что интересы ренты противоположны интересам прибыли и рабочей платы вместе. *Против сословия, которому выделяется рента, средний класс и простой народ всегда были союзниками.* Мы видели, что интерес прибыли противоположен интересу рабочей платы. Как только одерживают в своем союзе верх над получающим ренту классом сословие капиталистов и сословие работников, *история страны получает главным своим содержанием борьбу среднего сословия с народом*» [1]). Под этими строками охотно подписался бы любой из современных материалистов-диалектиков. Тем более охотно, что приведенный взгляд Чернышевского на причину борьбы «среднего сословия» с «народом» в другом месте его «Очерков» поясняется еще указаниями на гибель мелкой промышленности и мелкой поземельной культуры и на неотвратимое торжество крупных капиталистических предприятий как в промышленности, так и в земледелии. Точно так же любой из современных материалистов-диалектиков, с некоторыми только оговорками, признал бы справедливость следующего взгляда Чернышевского на историю политической и философской мысли. «Политические теории, да и всякие вообще философские учения, создавались всегда под сильнейшим влиянием того общественного положения, к которому принадлежали их основатели, и каждый философ бывал представителем какой-нибудь из политических партий, боровшихся в его время за преобладание над обществом, к которому принадлежал философ. Мы не будем говорить

[1]) Курсив наш. «Очерки политической экономии» (по Миллю), Сочинения *Н. Г. Чернышевского*, т. IV, стр. 205.

о мыслителях, занимавшихся специально политической стороной жизни. Их принадлежность к политическим партиям слишком заметна для каждого: Гоббс был абсолютист, Локк был виг, Мильтон — республиканец, Монтескье — либерал в английском вкусе, Руссо — революционный демократ, Бентам — просто демократ, революционный или нереволюционный, смотря по надобности; о таких писателях нечего и говорить. Обратимся к тем мыслителям, которые занимались построением теорий более общих, к строителям метафизических систем, к собственно так называемым философам. Кант принадлежал к той партии, которая хотела водворить в Германии свободу революционным путем, но гнушалась террористическими средствами. Фихте пошел несколькими шагами далее: он не боится и террористических средств. Шеллинг — представитель партии, запуганной революцией, искавшей спокойствия в средневековых учреждениях, желавшей восстановить феодальное государство, разрушенное в Германии Наполеоном I и прусскими патриотами, оратором которых был Фихте. Гегель — умеренный либерал, чрезвычайно консервативный в своих выводах, но принимающий для борьбы против крайней реакции революционные принципы, в надежде не допустить до развития революционный дух, служащий ему орудием к ниспровержению слишком ветхой старины. Мы говорим не то одно, чтобы эти люди держались таких убеждений, как частные люди, — это было бы еще не очень важно, но их философские системы насквозь проникнуты духом тех политических партий, к которым принадлежали авторы системы» [1]). Оставляя в стороне частности взглядов на того или другого мыслителя, можно сказать вообще, что в приведенных словах обнаруживается очень глубокое понимание тех общественных условий, под влиянием которых совершается развитие философской и политической мысли. Современный материалист-диалектик прибавил бы к ним только то, что и сама политическая борьба, определявшая собою направление человеческой мысли, велась не во имя каких-нибудь отвлеченных соображений, а под непосредственным влиянием нужд и стремлений тех классов или тех слоев общества, к которым принадлежали борющиеся партии. Против этого едва ли стал бы спорить Чернышевский. В его взглядах на историю экономической науки довольно ясно высказывается сознание зависимости понятий людей от окружающей их социальной обстановки. В своей рецензии на книгу Рошера «Начало народного хозяйства» наш автор указывает на тот «психологический

[1]) «Антропологический принцип в философии», стр. 2, 3.

закон», в силу которого «почти у каждого — простого ли человека, оратора ли, писателя, в разговорах ли, в речах ли, в книгах ли, все равно — оказывается теоретически хорошим, несомненным, вечным все то, что практически выгодно для группы людей, представителем которой он служит. Этим психологическим законом надо об'яснить и тот факт, что политико-экономам школы Адама Смита казались очень хороши, достойны вечного господства те формы экономического быта, которые господствовали или стремились к господству в конце прошлого и в начале нынешнего века. Писатели этой школы были представителями биржевого или коммерческого сословия в обширном значении этого слова: банкиров, оптовых торговцев и вообще промышленных людей. Нынешние формы экономического устройства выгодны для коммерческого сословия, выгоднее для него всяких иных форм; потому школа, бывшая представительницей его, и находила, что формы эти самые лучшие по теории... Начали думать о вопросах политической экономии люди, бывшие представителями не того сословия, которому как раз пригодны нынешние экономические формы, а представители массы, и явилась в науке другая школа, которую называют, неизвестно на каком основании, партией утопистов» [1]). Здесь сознание того влияния, которое имеет борьба классов на развитие науки, высказывается с поразительной ясностью. Но очень ошибся бы тот, кто заключил бы отсюда, что сознание это никогда не покидало Чернышевского. Между простым пониманием или признанием известного принципа и последовательным проведением его через всю систему взглядов—целая бездна. Прекрасно понимая значение борьбы классов в человеческих обществах, Чернышевский все-таки держался такого взгляда на «прогресс», который гораздо ближе к учению Бокля, чем к учению новейших материалистов. Чтобы дать о нем понятие, мы сделаем довольно большую выписку из чрезвычайно интересной статьи его «О причинах падения Рима», написанной по поводу выхода русского перевода «Истории цивилизации в Европе» Гизо. В этой статье Чернышевский энергически восстает против того очень распространенного мнения, по которому Западная Римская Империя погибла вследствие своей внутренней неспособности к дальнейшему развитию, между тем как варвары принесли с собою новые семена прогресса. Мы не хотим пока рассматривать, прав ли наш автор в своих нападках на это мнение. Для нас теперь важен единственно только взгляд его на ход прогресса. Вот этот взгляд. «Да

---

1) «Современник» 1861 г., апрель, Новые книги, стр. 431—432.

подумайте только, что такое значит прогресс и что такое значит варвар?—восклицает наш автор.—Прогресс основывается на умственном развитии; коренная сторона его прямо и состоит в успехах и развитии знаний... Развивается математика, от этого развивается и прикладная механика; от развития прикладной механики совершенствуются всякие фабрикации, мастерства и т. д... Разрабатывается историческое знание; от этого уменьшаются фальшивые понятия, мешающие людям устраивать свою общественную жизнь, и она устраивается успешнее прежнего. Наконец, всякий умственный труд развивает умственные силы человека, и чем больше людей выучивается читать, получает привычку и охоту читать книги... тем больше становится в ней число людей, способных порядочно вести дела, какие бы то ни было — значит, улучшается и ход всяких сторон жизни в стране. Стало быть, основная сила прогресса — наука; успехи прогресса соразмерны степени совершенства и степени распространенности знаний. Вот что такое прогресс: — результат знания. Что же такое варвар? Человек, еще погрязший в глубочайшем невежестве; человек, который занимает средину между диким зверем и человеком сколько-нибудь развитого ума... Какая польза для общественной жизни, если учреждения, дурные или хорошие, но все-таки человеческие, все-таки имеющие в себе хоть что-нибудь, хоть несколько разумное, — заменяются животными обычаями?»

Мы видим, что здесь и речи нет ни о внутренних социальных отношениях Рима, причинивших его слабость и указанных тем же Гизо в первой статье его «Essais sur l'histoire de France», ни о тех формах общежития, которыми обусловливалась сила германских варваров в эпоху завоевания Западной Империи. Чернышевский забыл даже знаменитое изречение: latifundia perdidere Italiam (латифундии погубили Италию). В его формуле прогресса (как стали выражаться у нас впоследствии) нет самостоятельного места для внутренних отношений той или иной «прогрессирующей» страны. Все дело сводится к количеству и распространению знаний, и ему даже в голову не приходит здесь спросить себя, не зависит ли история знаний от истории социальных отношений цивилизованных стран. «Говорят, обществу стеснительны были укоренившиеся формы,—рассуждает он далее,—значит в обществе была прогрессивная сила, была надобность в прогрессе». Но ведь иное дело надобность в прогрессе, иное дело—присутствие в обществе «прогресивной силы», способной удовлетворить этой надобности. Нельзя смешивать этих двух понятий, совершенно различных по своему характеру и содержанию: одно из них есть чисто отрицательное («надобность

в прогрессе» указывает лишь на стеснительность существующих форм), другое—положительное, так как присутствие в обществе прогрессивной силы, способной совершить необходимую переделку форм общежития, предполагает известную степень умственного, нравственного и политического развития того класса, или тех классов, на которых формы эти обрушиваются своими невыгодными сторонами. Если бы эти понятия были тождественны, то дело человеческого прогресса упрощалось бы до крайности, и мы не встречали бы в истории печального зрелища обществ, падающих под тяжестью таких форм общежития, которые, при всей несомненной своей вредоносности, не могли быть устранены, потому что не было в народе живых сил, способных совершить это дело. Само собою разумеется, что мы не говорим здесь о формах, вредных решительно для всех классов данного общества. Подобные формы устраняются, можно сказать, сами собою. Но чаще всего особенно вредными для дальнейших успехов общества оказываются иные формы, невыгодные для большинства и очень выгодные для привилегированного меньшинства. Устранить подобные формы можно только в том случае, если страдающее большинство обладает хоть некоторою способностью к политической самодеятельности. А оно не всегда обладает этою способностью. Способность эта вовсе не есть необходимое свойство угнетенного большинства. Она сама создается *экономией* данного общества. Казалось бы не было ничего выгоднее для римских пролетариев, как поддержать законопроекты Гракхов. Но они не поддержали и не могли поддержать их, потому что социальная обстановка, в какую ставило их экономическое развитие Рима, не только не содействовала их политическому развитию, но, напротив, постоянно понижала его уровень. Что же касается высших классов, то, во-первых, смешно было бы ожидать от них политических действий, враждебных их экономическим интересам, а, во-вторых, и сами они развращались все более и более под влиянием другой стороны того самого хода экономического развития, который, создавая римский пролетариат, превращал его в кровожадную и тупую чернь. В конце концов, дело пришло к тому, что римляне, эти всемирные завоеватели, оказались неспособными к военной службе, и легионы пополнялись теми самыми варварами, которые и положили, наконец, предел существованию заживо разложившейся империи. Таким образом в падении Рима, вопреки об'яснениям Чернышевского, нет ничего случайного, так как оно представляло собою естественный конец давно уже начавшегося историко-экономического движения.

Мы вовсе не хотим утверждать, подобно многим, в особенности немецким писателям, что германцы принесли с собою какой-то особенный дух и особенные склонности, обеспечившие за ними первое место в дальнейшей истории человечества. Мы говорим только, что слабость Рима в борьбе с варварами была причинена и подготовлена ходом его экономического развития, уничтожившего класс мелких землевладельцев, которые некогда составляли его силу. Мелкие крестьянские участки слились в огромные латифундии, населенные толпами рабов. Но рабы — плохая опора для государства: свезенные со всех концов мира, разноплеменные и разноязычные, они не составляли *народа* в собственном смысле слова. Они были и оставались сбродом (если только можно назвать так массу людей, сошедшихся не по доброй воле) и, разумеется, вовсе не думали об интересах римского государства. Чернышевский замечает, правда, что рабство постепенно смягчалось в Римской Империи, а под конец стало заменяться колонатом. Но, во-первых, распоряжения императоров относительно колоната означали не более, как стремление государства обеспечить за собою часть *прибавочного продукта,* создаваемого подневольным трудом земледельца. Облегчить его положение переход к колонату решительно не мог в то время, когда все слои римского общества были буквально *раздавлены* государственными податями и поборами [1]). Во-вторых, само собою ясно, что колоны и адскриптиции не могли заменить собою свободных земледельцев. Наконец, даже в численном отношении рабы и колоны, по крайней мере в деревнях, уступали населению старой Италии свободных земледельцев. Еще Тит Ливий удивлялся, каким образом некоторые округи Италии, в которых в его время встречались только немногие пастухи с их стадами, могли, во время своей независимости, выставлять многочисленные и храбрые армии для борьбы с Римом. Дело об'ясняется просто: во время своей независимости округи эти жили при совершенно иных экономических отношениях, которым и были обязаны своим многочисленным, сильным и бодрым населением. Тогда в них еще крепки были родовые учреждения, обеспечивавшие благосостояние всех членов общины и сообщавшие им независимый и воинственный дух. Такие же учреждения существовали и у германцев, и именно им обязаны были варварские орды своею силою и крепостью. Выражаясь короче, можно

---

[1]) См. упомянутую первую статью Гизо в его «Essais sur l'histoire de France»; см. также «Untersuchungen auf dem Gebiete der National-Oekonomie des klassischen Alterthums» *Родбертуса.*

сказать, что под конец существования Римской Империи в ней господствовали такие экономические отношения, которые доводили до *минимума* силу ее сопротивления. Наоборот, тогдашние учреждения германцев доводили их силу нападения до *максимума*. Вот и все: дело в экономии, а не в духе и не в каких-нибудь таинственных свойствах расы.

Если бы при об'яснении исторической судьбы различных стран мы вынуждены были ограничиваться одними отвлеченными соображениями об их «прогрессе» и о количестве накопленных в них знаний, то мы никогда не могли бы понять, например, истории Греции, где наиболее образованные, «прогрессивные» страны одна за другою сходят со сцены, уступая место все менее и менее образованным и «прогрессивным». Чем об'яснить такое явление? Ходом развития экономических и, главным образом, поземельных отношений в Греции. В наиболее «прогрессивных» странах развитие это раньше привело к скоплению поземельной собственности в немногих руках, к страшному увеличению численности рабов, к обессилению и деморализации низшего класса свободных граждан. Прямо пропорционально этому явлению уменьшалась и государственная сила «прогрессивных» греческих стран. В менее «прогрессивных» странах процесс этот начался позже и совершался медленнее, поэтому и государственная сила их падала медленнее, даже возрастала в известных периодах этого процесса (как бывало и в более «прогрессивных» странах); поэтому они и могли играть выдающуюся роль, когда более «прогрессивные» страны уже окончательно ослабели под гибельным влиянием безысходной *в то время* (а не в наше, когда у нее есть выход) борьбы классов. Но и менее «прогрессивные» страны, в конце концов, слабели, благодаря тому же указанному процессу; одна за другой они допевали свою песенку и также сходили со сцены, пока, наконец, железная рука Рима не положила предела самостоятельному существованию Греции. Когда пришли римляне, то греческих стран, за небольшими исключениями, *буквально некому было защищать*. Это обстоятельство отмечено было еще Полибием и Плутархом.

В исторических взглядах нашего автора *случайности* отводится вообще очень широкое место. Даже современный нам экономический строй, характер, законы и тенденции которого он довольно хорошо выясняет вслед за школой Смита-Рикардо, представляется ему продуктом исторических случайностей. «По истории оказалось,—говорит он, в цитированной уже рецензии на книгу Рошера,—что нынешние экономические формы возникли под влиянием отношений, противоречащих требованиям экономической науки, несовместимых ни с успехами труда,

ни с расчетливостью потребления,—словом сказать, представляют собою результат причин, враждебных и труду, и благосостоянию. Например, в Западной Европе экономический быт основался на завоевании, на конфискации и монополии» [1]). Никто не скажет, что завоевания, конфискации и монополии не имели места в истории Западной Европы. Но ведь они имели место и в древней Греции, и в Индии, и в Катие, и, однако, экономический строй этих стран очень существенно отличался или отличается от экономического строя современной Европы. Чем создалось это различие? Не тем ли, что все эти завоевания, конфискации и «монополии», далекие от того, чтобы определить собою направление экономического развития, сами, напротив того, определялись им в своих формах и дальнейших социальных следствиях? Направление и ход экономического развития древней Греции, или Индии, или Китая, не похож был на направление и ход экономического развития средневековой и новой Европы,—поэтому и завоевание со всеми их последствиями привели там к другим порядкам, чем в Западной Европе. Ввиду решающего значения, приписываемого Чернышевским завоеванию в деле создания экономического строя современной Европы, нам невольно припоминаются слова Энгельса: «Даже в том случае, если мы исключим всякую возможность грабежа, насилия и обмана, если мы допустим, что всякая частная собственность первоначально основывалась на личном труде ее обладателя и затем, во все дальнейшее время, только равные стоимости обменивались на равные, то, тем не менее, с дальнейшим развитием производства и обмена, мы необходимо придем к современному капиталистическому способу производства, к монополизированию средств производства и существования в руках одного малочисленного класса, к пригнетению другого, составляющего огромнейшее большинство, класса до положения лишенных всякой собственности пролетариев, к периодической смене производственной горячки и торговых кризисов и ко всей современной анархии в производстве» [2]). Так смотрят на это дело современные материалисты-диалектики. Но Чернышевский смотрел еще совершенно иначе.

Относя различные существовавшие в истории формы экономического быта на счет завоевания и считая их противоречащими «требованиям экономической науки», наш автор естественно не мог придавать большой цены их изучению. Знакомый с так называемым историческим методом в экономической науке лишь по трудам таких его представи-

[1]) «Современник», апрель, 1861, Новые книги, стр. 434.

[2]) «Развитие научного социализма», приложение, стр. 58.

телей, как Вильгельм Рошер и прочие Citatenprofessoren, он относился к нему очень пренебрежительно и считал его плодом реакции против освободительных стремлений рабочего класса. «Против средневековых учреждений, несогласных с выгодами коммерческого сословия, ратовали... во имя разума; а тут вот как на грех явились люди, начавшие говорить: по разуму действительно следует быть тому, чего желаете вы, только сверх того требуется по разуму еще многое другое, вы произносите только начало формулы, а конец ее вот каков; словом сказать, перед лицом мыслителей непоследовательных явились мыслители последовательные... Что тут делать?.. Если разум говорит против тебя, хватайся за историю, она выручит». Сообразно с таким происхождением исторического метода теоретическая задача передовых представителей рабочего класса сводилась, в борьбе их против «непоследовательных мыслителей», лишь к тому, чтобы обнаружить возникновение современного экономического строя из «завоевания, конфискаций и монополий». Социалисты и делают это, по мнению Чернышевского. В их руках «история изобличает то, на защиту чего была приглашена» [1]). Но еще раньше выступления Чернышевского на путь литературной деятельности, еще в эпоху его предшественников, т.-е. Белинского и его кружка, лучшие теоретические представители рабочего класса пользовались историей не для одних только полемических ссылок на завоевания и конфискации. Маркс и Энгельс поставили изучение экономической истории человечества на твердую научную почву, показавши ее внутреннюю необходимость и строгую законосообразность [2]). Но по всему

---

[1]) «Современник», апрель, 1861, Новые книги, стр. 432—433—434.

[2]) Опираясь на историю, Рошер и его единомышленники являются принципиальными противниками революционного способа действий. В их понятиях *эволюция* совершенно исключает *революцию*. Это взгляд столь же ошибочный, как и взгляд некоторых революционеров, восстающих против эволюции. Обе эти крайности совершенно исключают правильное понимание истории. Вооруженные *диалектическим* методом, новейшие социалисты иначе смотрят на дело. Для них эволюция есть такой же необходимый *момент* в процессе исторического развития человечества, как и *революция*. Эволюция подготовляет революцию, революция облегчает дальнейшее течение эволюции. Принятый в особенности германскими учеными «исторический метод» совершенно произвольно ограничивает поле зрения науки одним из этих моментов, эволюцией, и потому должен быть признан *антинаучным*. Об его «ученых» представителях и теперь еще можно с полным правом сказать то, что говорил о них Маркс в 1844 году: они оправдывают низости, совершаемые сегодня, низостями вчерашнего дня; об'являют мятежом всякий протест крепостного против кнута, если только это кнут исторический; история показывает им, как израильский бог Моисею, только заднюю свою; при всяком куске, выре-

видно, что Чернышевский незнаком был с этим направлением, выросшим из теорий его учителя Фейербаха, как теории Фейербаха выросли из системы Гегеля.

Отрицая исторический метод, наш автор пользовался в своих экономических исследованиях другим методом, который он называл *гипотетическим*. Мы характеризуем его собственными словами Чернышевского. «Этот метод состоит в том,—говорит он в своих замечаниях на первую книгу Политической Экономии Милля,—что, когда нам нужно определить характер известного элемента, мы должны на время отлагать в сторону запутанные задачи и приискивать такие задачи, в которых интересующий нас элемент обнаруживал бы свой характер самым несомненным образом, приискивать задачи самого простейшего свойства. Тогда, узнав характер занимающего нас элемента, мы можем уже удобно распознать ту роль, какую играет он и в запутанной задаче, отложенной нами на время. Например, вместо многосложной задачи: были ли войны с Францией в конце прошлого и начале нынешнего века полезны для Англии, берется простейший вопрос: может ли война быть полезна не для какой-нибудь шайки, а для многочисленной нации? Теперь, как же решить этот вопрос? Дело идет о выгоде, то-есть о количестве благосостояния или богатств, об уменьшении или об увеличении его, то-есть о величинах, которые измеряются цифрами. Откуда же возьмем мы цифры? Никакой исторический факт не дает нам этих цифр в том виде, какой нам нужен, то-есть в простейшем виде, так, чтобы они зависели единственно от определяемого нами элемента, от войны... Итак, из области исторических событий мы должны перенестись в область отвлеченного мышления, которое вместо статистических данных, представляемых историею, действует над отвлеченными цифрами, значение которых условно и которые назначаются просто по удобству. Например, оно (отвлеченное мышление) поступает так. Предположим, что общество имеет 5.000 человек населения, в том числе 1.000 взрослых мужчин, трудом которых содержится все общество. Предположим, что 200 из них пошли на войну. Спрашивается, каково экономическое отношение этой войны к обществу? Увеличила или уменьшила она бла-

---

зываемом из народного сердца, эти верноподданные Шейлоки ссылаются на исторический вексель и проч. Все это справедливо как нельзя более. Однако революционер Маркс, в таких сильных и метких выражениях разоблачивший сервилизм официальных представителей «исторического метода», не только не игнорировал исторической эволюции, но первый показал ее действующие пружины и ее строгую законосообразность.

госостояние общества? Лишь только мы произвели такое простейшее построение вопроса, решение становится столь просто и бесспорно, что может быть очень легко отыскано каждым и не может быть опровергнуто никем и ничем... По термину «предположение», «гипотеза», самый метод называется гипотетическим» [1]).

Такого метода Чернышевский держится во всех своих экономических исследованиях, которые принимают, благодаря этому, совершенно особенный, до крайности отвлеченный характер. Известно, что главное экономическое сочинение нашего автора представляет собою частью перевод, частью изложение политической экономии Милля, сопровождаемое очень обширными замечаниями и самостоятельными дополнениями. Читая это сочинение, интересно следить за тем, как принятый автором метод исследования постоянно увлекает его из области действительных, существующих экономических отношений в область отвлеченного мышления. В том, что касается существующих отношений, Чернышевский редко оспаривает Милля. Он большею частью довольствуется его анализом, который, как известно, оставляет желать очень многого по своей неясности и непоследовательности. Он не расходится с Миллем даже в таких существенных вопросах, как вопросы о стоимости, о цене, о деньгах, о законе рабочей платы и т. п. Милль совершенно прав в том, что касается существующего, говорит обыкновенно Чернышевский, но посмотрим, так ли должно быть, того ли требует здравая экономическая теория? «Предположим» и т. д. — следует обыкновенно блестящая критика существующих отношений, критика, опирающаяся, однако, исключительно только на совершенно отвлеченные соображения и предположения. Недостатки метода кидаются, таким образом, в глаза, и его, конечно, не одобрит ни один из современных научных противников капитализма, так как противники эти опираются теперь не на требования отвлеченной «теории», а на те внутренние противоречия существующего ныне строя, которые в своем дальнейшем развитии необходимо должны повести к его устранению.

Читатели, знакомые с методом той философской школы, последователем которой считал себя Чернышевский, без труда заметят, что наш автор не остался верен ему в своих исследованиях. В самом деле, «гипотетический метод» не имеет ничего общего с диалектическим методом немецких учителей Чернышевского. Чтобы убедиться в этом, достаточно припомнить те характеристические особенности, которые

[1]) Сочинения *Н. Г. Чернышевского*, т. III, стр. 89—90—91.

сам Чернышевский видел в системе Гегеля, породившей учение Фейербаха. Указание этих особенностей очень облегчит нам дело изложения и критики взглядов Чернышевского, поэтому мы просим читателя отнестись со всем возможным вниманием к этой материи, пожалуй, сухой и скучной, но, право же, не бесполезной.

В глазах новейших материалистов-диалектиков величайшей заслугой системы Гегеля и всей вообще немецкой философии является то, что она, как говорит о ней Энгельс, «впервые представила весь естественный, исторический и духовный мир в виде процесса, т.-е. исследовала его в беспрерывном движении, изменении и развитии, и пыталась обнаружить внутреннюю связь этого движения и развития». Чернышевский, при своем огромном уме и своих основательных сведениях в философии, не мог игнорировать этой стороны дела. Он понимал огромную важность Гегелевского учения о развитии и даже излагал его в энергических, прочувствованных выражениях. «Вечная смена форм, вечное отвержение формы, порожденной известным содержанием или стремлением, вследствие усиления того же стремления, высшего развития того же содержания, — восклицает он в своей статье «Критика философских предубеждений против общинного землевладения», — кто понял этот высший, вечный, повсеместный закон, кто приучился применять его ко всякому явлению, — о, как спокойно призывает он шансы, которыми смущаются другие! Повторяя за поэтом:

Ich hab' mein' Sach auf Nichts gestellt
Und mir gehört die ganze Welt...

он не жалеет ни о чем, отживающем свое время, и говорит: пусть будет, что будет, а будет все-таки на нашей улице праздник» [1]). Но, как видно, не этот «великий», вечный, повсеместный закон считал он главной заслугой и наиболее выдающейся особенностью философии Гегеля. По крайней мере, в своих «Очерках Гоголевского периода русской литературы» он, подробно говоря о Гегеле по поводу известного увлечения им кружка Станкевича и Белинского, обращает наибольшее внимание на другую сторону его философии. Здесь главною его заслугою выставляется выведение философии из области отвлеченного мышления и внимательное отношение к *действительности*. «Об'яснить действительность стало существенной обязанностью философского мышления. Отсюда явилось чрезвычайное внимание к действительности, над которой прежде не задумывались, без вся-

[1]) Сочинения *Н. Г. Чернышевского*, т. V, стр. 531.

кой церемонии искажая ее в угодность собственным односторонним предубеждениям... Но в действительности все зависит от обстоятельств, от условий места и времени, — и потому Гегель признал, что прежние общие фразы, которыми судили о добре и зле, не рассматривая обстоятельств и причин, по которым возникало данное явление, что — эти общие, отвлеченные изречения не удовлетворительны. Отвлеченной истины нет, истина конкретна, т.-е. определительное суждение можно произносить только об определенном факте, рассмотрев все обстоятельства, от которых он зависит» [1]). В примечании к цитируемой странице Чернышевский поясняет эту мысль следующим образом: «Например, благо или зло дождь? Это вопрос отвлеченный, определительно ответить на него нельзя: иногда дождь приносит пользу, иногда, хотя реже, приносит вред; надобно спрашивать определительно: после того как посев хлеба окончен, в продолжение пяти часов шел сильный дождь, — полезен ли он был для хлеба? только тут ответ ясен и имеет смысл: этот дождь был полезен... Пагубна или плодотворна война? Вообще нельзя отвечать на это решительным образом: надобно знать, о какой войне идет дело, все зависит от обстоятельств времени и места... Марафонская битва была благодетельнейшим событием в истории человечества» и т. д. Отсюда видно, что при известном внимании к действительности даже такой, повидимому, простой вопрос, как вопрос о пользе или вреде войны, не может решаться посредством той или другой незамысловатой и совершенно отвлеченной «гипотезы». Все зависит от обстоятельств места и времени. Это совершенно верно. Но, к сожалению, верно и то, что Чернышевский слишком часто забывал об этом как в общих своих исследованиях, так и в спорах о таких конкретных явлениях, как русское общинное землевладение.

Мы увидим ниже, что забываемая им действительность нередко напоминала о себе самым бесцеремонным образом. Но теперь мы должны продолжать характеристику исторических взглядов Чернышевского, которая поможет нам определить место, принадлежащее нашему автору в общем развитии философской мысли Европы.

IV.

Замечательно, что, не придавая цены исторической точке зрения в области политической экономии, он считал ее необходимой в области литературной критики. В одной из самых первых своих статей, именно

[1]) Современник , 1856, кн. 9, Критика, стр. 12.

в статье об известном сочинении Аристотеля «О поэзии», переведенном Б. Ордынским, он ставит эстетике в большую заслугу то, что она у нас никогда не было враждебна истории литературы. «У нас всегда провозглашалась необходимость истории литературы; и люди, особенно занимавшиеся эстетическою критикою, очень много,—больше, нежели кто-нибудь из наших нынешних писателей,—сделали и для истории литературы. У нас эстетика всегда признавала, что должна сновываться на точном изучении фактов»... «*История искусства служит основанием теории искусства*» [1]). Казалось бы, что человек, написавший эти строки, оставаясь верным себе, должен был без всяких оговорок признать, что история экономического развития человечества должна служить основанием экономической «теории». Но мы уже видели, что он не так смотрел на эту «теорию».

Большая правильность взгляда Чернышевского на теорию искусства об'ясняется, во-первых, благотворным влиянием его предшественников: после «Эстетики» Гегеля и критических работ Белинского (напомним хоть его статьи о Пушкине) совершенно невозможно было игнорировать историческую точку зрения в теории искусства. Прибавьте к этому, что в эстетической теории восставать против исторической точки зрения могли только сторонники так называемого искусства для искусства, т.-е. люди, которым хотелось бы поставить «вечное» искусство вне всякой связи с действительностью и ее насущными, жгучими общественными вопросами. Борясь против таких людей, Чернышевский естественно должен был склоняться к исторической точке зрения на искусство, так как она давала возможность связать задачи искусства с важнейшими общественными стремлениями данного времени. Еще Шеллинг говорил, что «verschiedenen Leitaltern wird eine verschiedene Begeisterung zu Theil» [2]). Развивая эту мысль, нетрудно было на-голову разбить сторонников «чистого» искусства. — Иное дело в политической экономии. Там заживо окаменевший Рошер и его братья являлись противниками самых дорогих Чернышевскому стремлений рабочего класса. Они были единственными известными ему представителями исторической точки зрения в политической экономии. Не удивительно, что из реакции против них он стал в такое отношение к этой точке зрения, ошибочность которого бросилась бы ему в глаза при других условиях.

Впрочем, нельзя сказать, что нашему автору удалось последовательно развить свой взгляд на значение *истории* искусства, как необхо-

[1]) Сочинения *Н.Г.Чернышевского*, т. I, стр. 3—4.

[2]) «Ueber das Verhältniss der bildenden Künste zu der Natur».

димой основы для *теории* искусства. Мы уже замечали, что от простого признания известного принципа еще очень далеко до последовательного проведения его в соответствующей отрасли науки. Чернышевскому представлялся прекрасный случай поставить теорию искусства в связь с его историей в диссертации об *«Эстетических отношениях искусства к действительности»*, представленной им филологическому факультету Петербургского университета в начале 1854 года для получения степени магистра. Это сочинение занимает одно из первых мест в ряду других произведений нашего автора; поэтому в нем чрезвычайно ярко выражаются все достоинства и недостатки его взглядов и приемов мышления. Верный своим материалистическим взглядам, Чернышевский задался в своей диссертации целью покончить с идеализмом в эстетике. Он преследует идеализм во всех его эстетических закоулках и убежищах, начиная от общих теоретических вопросов о происхождении искусства и о значении его в жизни и кончая такими частностями, как учение о трагическом и о возвышенном. Мы приведем некоторые из выставленных им тезисов, так как они прекрасно оттеняют именно материалистический взгляд Чернышевского на искусство.

«Истинное определение прекрасного,—говорит он,—таково: прекрасное есть жизнь; прекрасным существом кажется человеку то существо, в котором он видит жизнь, как он ее понимает; прекрасный предмет — тот предмет, который напоминает ему о жизни.

Возвышенное действует на человека вовсе не тем, что пробуждает идею абсолютного; оно почти никогда не пробуждает ее.

Возвышенным кажется человеку то, что гораздо больше предметов или гораздо сильнее явлений, с которыми сравнивается человеком.

Трагическое не имеет существенной связи с идеей судьбы или необходимости. В действительной жизни трагическое большею частью случайно, не вытекает из сущности предшествующих моментов. Форма необходимости, в которую облекается оно искусством,—следствие обыкновенного принципа произведений искусства: развязка должна вытекать из завязки, или неуместное подчинение поэта понятиям о судьбе.

Трагическое по понятиям нового европейского образования есть ужасное в жизни человека.

Действительность не только живее, но и совершеннее фантизии. Образы фантазии только бедные и почти всегда неудачные переделки действительности.

Прекрасное в об'ективной действительности вполне прекрасно.

Прекрасное в об'ективной действительности совершенно удовлетворяет человека.

Искусство рождается вовсе не от потребности человека восполнить недостатки действительности.

Потребность, рождающая искусство в эстетическом смысле слова (изящное искусство), есть та же самая, которая очень ясно выказывается в портретной живописи... искусство только напоминает нам своими воспроизведениями о том, что интересно для нас в жизни, и старается до некоторой степени познакомить нас с теми интересными сторонами жизни, которых не имели мы случая испытать или наблюдать в действительности.

Воспроизведение жизни — общий характеристический признак искусства, составляющий сущность его: часто произведения искусства имеют и другое значение — об'яснение жизни; часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни...»

С некоторыми из этих тезисов можно согласиться только с известными оговорками, придающими им более широкий смысл. С одним из них даже вовсе нельзя согласиться, именно, нельзя сказать, что «трагическое по понятиям нового европейского образования есть ужасное в жизни человека». Совершенно верно, что «трагическое не имеет существенной связи с идеей судьбы». Но несомненна связь его с идеей необходимости. Не все ужасное в жизни человека трагично. Ужасна судьба людей, на которых обрушиваются, напр., стены строющегося дома; но трагична она может быть только для некоторых из них, именно для тех, в жизни которых были известные обстоятельства (великие замыслы, широкие политические стремления), придающие трагический смысл случайной смерти их от груды кирпичей. Однако во взятом нами примере трагическое все еще тесно связано с случайностью, поэтому оно не есть трагическое в настоящем смысле этого слова. Истинно трагическое основывается на идее об *исторической необходимости*. Истинно трагична судьба Гракхов, планы и сама жизнь которых разбились от неспособности римских пролетариев к политической самодеятельности. Истинно трагична судьба Робеспьера и С. Жюста, погибших от неотразимых и неизбежных противоречий в их историческом положении между различными классами французского общества, боровшимися за преобладание. Вообще, истинный трагизм создается столкновением сознательных стремлений человеческой личности, по необходимости ограниченной и более или менее односторонней, со слепыми силами исторического движения, действующими подобно законам природы. Черны-

шевский не обратил и не мог обратить внимания на эту сторону дела, потому что его борьба против материализма ограничивалась еще областью отвлеченных философских положений. В этой борьбе он опять дошел до крайностей рассудочности и просто приравнял трагическое к ужасному. А между тем, если бы он припомнил хоть бы то об'яснение трагического, которое Гегель делает на примере Софокловой «Антигоны», он увидел бы, что можно говорить о необходимости, не будучи идеалистом. Гегель указывает в «Антигоне» столкновение двух прав—родового и государственного. Представительницей первого является Антигона, представителем второго — Креон. Борьба этих двух прав, несомненно, играла огромную роль в истории и можно, ни мало не греша идеализмом, поставить трагическое в связь с подобного рода борьбою. Чернышевский не видит этого, потому что он как будто забывает об истории в своем исследовании. Это тем более досадно, что, если бы Чернышевский своевременно вспомнил о своем правиле: теория искусства должна основываться на истории искусства, ему, может быть, удалось бы придать эстетике совершенно новое теоретическое основание. Доказывая свой тезис, что прекрасное есть жизнь, он делает чрезвычайно меткое замечание о том, что различные классы общества имеют различные идеалы красоты в зависимости от экономических условий их существования. Место это так важно, что мы приведем его почти целиком.

«Хорошая жизнь, жизнь, как она должна быть у простого народа, состоит в том, чтобы сытно есть, жить в хорошей избе, спать вдоволь; но вместе с этим у поселянина понятие «жизнь» всегда заключается в понятии о работе: жить без работы нельзя, да и скучно было бы. Следствием жизни в довольстве, при большой работе, не доходящей однако до изнурения сил, у молодого поселянина или сельской девушки будет чрезвычайно свежий цвет лица и румянец во всю щеку — первое условие красоты по простонародным понятиям. Работая много, поэтому будучи крепка сложением, сельская девушка при сытной пище будет довольно плотна, — это также необходимое условие красавицы сельской; светская, «полувоздушная красавица» кажется поселянину решительно «невзрачной», даже производит на него неприятное впечатление; потому что он привык считать «худобу» следствием болезненности или «горькой доли». Но работа не дает разжиреть: если сельская девушка толста, это род болезненности, знак «рыхлого» сложения, и народ считает большую полноту недостатком; у сельской красавицы не может быть маленьких ручек и ножек, потому что она много работает — об этих принадлежностях красоты и не упоминается в наших песнях.

Одним словом, в описаниях красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты, который бы не был выражением цветущего здоровья и равновесия сил в организме, всегдашнего следствия жизни в довольстве при постоянной и нешуточной, но не чрезмерной работе. Совершенно другое дело светская красавица: уже несколько поколений предки ее жили, не работая руками; при бездейственном образе жизни, крови льется в конечности мало; с каждым новым поколением мускулы рук и ног слабеют; кости делаются тоньше; необходимым следствием всего этого должны быть маленькие ручки и ножки — они признак такой жизни, которая одна и кажется жизнью для высших классов общества — жизни без физической работы; если у светской женщины большие руки и ноги, это признак или того, что она дурно сложена, или того, что она не из старинной, хорошей фамилии... Здоровье, правда, никогда не может потерять своей цены в глазах человека; потому что и в довольстве и в роскоши плохо жить без здоровья, — вследствие того румянец на щеках и цветущая здоровьем свежесть продолжают быть привлекательными и для светских людей; но болезненность, слабость, вялость, томность также имеют в глазах их достоинство красоты, как скоро кажутся следствием роскошно-бездейственного образа жизни. Бледность, томность, болезненность имеют еще другое значение для светских людей: если поселянин ищет отдыха, спокойствия, то люди образованного общества, у которых материальной нужды и физической усталости не бывает, но которым зато часто бывает скучно от безделья и отсутствия материальных забот, ищут «сильных ощущений, волнений, страстей», которыми придается цвет, разнообразие, увлекательность светской жизни, без того монотонной и бесцветной. А от сильных ощущений, от пылких страстей человек скоро изнашивается: как же не очаровываться томностью, бледностью красавицы, если томность и бледность ее служат признаком, что она много жила?» [1]).

Понятия людей о красоте выражаются в произведениях искусства. Понятие о ней различных общественных классов, как мы видели, очень различны, иногда даже противоположны. Тот класс, который господствует в данное время в обществе, господствует также в литературе и в искусстве. Он вносит в них свои взгляды и свои понятия. Но в развивающемся обществе в разное время господствуют разные классы. Притом же всякий данный класс имеет свою историю: он развивается, доходит до процветания и господства и, наконец, клонится к упадку. Сообразно с

---

[1]) Сочинения *Н. Г. Чернышевского*, т. I, стр. 44, 45, 46.

этим изменяются и его литературные взгляды, и его эстетические понятия. Поэтому в истории мы встречаемся с различными литературными взглядами и с различными эстетическими понятиями людей: понятия и взгляды, господствовавшие в одну эпоху, оказываются устаревшими в другую. Чернышевский показал, что эстетические понятия людей стоят в тесной причинной связи с их экономическим бытом. Это — открытие, гениальное в полное смысле слова. Ему оставалось только проследить действие открытого им принципа через всю историю человечества с ее сменою различных господствующих классов, — и он сделал бы величайший переворот в эстетике, тесно связавши теорию искусства с новейшим материалистическим пониманием истории. Но мы знаем, что ему самому в значительной степени чуждо было такое понимание истории. Поэтому он и не мог докончить столь блестяще начатого дела; поэтому же и в его «*Эстетических отношениях искусства к действительности*» мы встречаем гораздо меньше истинно материалистических замечаний об истории искусства, чем, например, в «Эстетике» «абсолютного идеалиста» Гегеля [1]). В диссертации Чернышевского особенно ярко отражаются, как мы уже сказали, все недостатки и все достоинства его приемов мышления.

V.

Левая сторона гегельянской школы, к которой, подобно своим литературным предшественникам, принадлежал Н. Г. Чернышевский, в дальнейшем своем развитии примкнула, как известно, к социализму. Примкнули к нему и русские гегельянцы левой стороны. Известно, как увлекался социализмом Белинский. В его сочинениях есть статьи, обнаруживающие очень глубокое для того времени понимание отношений западного пролетариата к буржуазии [2]). Чернышевский явился в этом отношении, как и во всех других, прямым и непосредственным продолжателем дела Белинского. Само собою разумеется, что он пошел дальше Белинского. Он не только *увлекался* социализмом, он хорошо изучил доступную ему социалистическую и экономическую литературу. Он го-

[1]) См., напр., замечания Гегеля об истории голландской живописи, с которыми почти безусловно может согласиться любой из современных материалистов-диалектиков («Aesthetik», I Band, 217, 218; B. II, 217—223). Подобных замечаний много рассеяно в его «Эстетике».

[2]) См., напр., его статью об Эжене Сю в VII части полного собрания его сочинений.

ворил о социализме не только тогда, когда это приходилось к слову в статьях, посвященных другим вопросам. Его литературная деятельность была направлена почти исключительно на распространение в русской читающей публике социалистических учений. Ввиду этого, мы обязаны по возможности подробно характеризовать отношение Чернышевского к западно-европейскому социализму.

В настоящее время, кто говорит о социализме — говорит об учении Маркса, или не говорит ровно ничего, заслуживающего внимания. В то время, к которому относятся решительные годы в развитии Чернышевского (конец 40-х и начало 50-х годов), это было еще не так. Учение Маркса далеко не достигло еще господства, оно еще только слагалось, вырабатывалось и крепло в борьбе с другими социалистическими теориями. Главнейшие произведения школы Маркса еще не появлялись тогда в печати. Тогда еще вполне позволительно было считать себя социалистом и не иметь о Марксе никакого понятия. Тогда еще сильно было влияние, так называемых теперь, социалистов-утопистов, в особенности Фурье и Оуэна. Даровитые социалисты того времени все испытали на себе это влияние, собственными силами дополняя теории своих учителей и устраняя из них ненаучные, фантастические элементы. Чернышевский находился именно в таком положении. Мы уже говорили, что о произведениях школы Маркса он не имел никакого понятия. Правда, еще Белинский с восторгом читал парижские «Deutsch-Französiche Jahrbücher», первые и последние два номера которых изданы были Арнольдом Ругэ в сотрудничестве с Марксом и Энгельсом. Но влияние этого журнала на русскую публику не было настолько сильно, чтобы бесповоротно определить направление русской социалистической мысли. Она еще долго, очень долго, гораздо дольше, чем следовало, развивалась без всякого влияния научных трудов Маркса. Неудивительно, что, при выработке своих социалистических воззрений, Чернышевский не принимал в расчет новейшего направления социализма, который уже и раньше играл немалую роль в истории немецкого рабочего движения, а со второй половины 60-х годов сделался господствующим среди всего европейского рабочего класса. Как человек, получивший правильное научное образование, Чернышевский был совершенно чужд странных фантазий, перемешанных в учении Фурье с гениальными взглядами на историю и современный быт человечества. К учению Сен-Симона он всегда относился очень критически. Роберт Оуэн, святой старик, как называет его Лопухов в романе «Что делать?», всегда был очень симпатичен Чернышевскому. Но трезвый ум нашего автора редко позволял ему обо-

льщаться надеждами Оуэна на помощь угнетенному большинству со стороны коронованных особ и высшего класса. Изучая западно-европейские общественные отношения, Чернышевский, можно сказать, невольно приходил к тому выводу, который лег впоследствии в основу программы Интернационала и который гласит, что освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих. Тем не менее, взгляд нашего автора на исторические задачи рабочего класса отличается такою неясностью, которая может показаться странною читателю нашего времени. Чернышевский не выделяет пролетариата из общей массы страдающего и угнетенного народа. Для обозначения рабочего класса, долженствующего освободить себя своими собственными усилиями, Чернышевский употребляет выражение, очень характерное для русского писателя и в то же время обнаруживающее всю неясность его представления о роли пролетариата в западно-европейской истории. Чернышевский называет рабочий класс Запада *простонародьем* и представляет себе его нужды и задачи почти совершенно так, как мог представлять себе русский образованный и гуманный человек нужды и задачи русского «простонародья» того времени. В одной из своих статей, написанных, впрочем, в пылу полемики, вызванной вопросом об освобождении крестьян, наш автор доходит даже до следующих странных представлений о взглядах западно-европейских демократов. Он утверждает, что политическая свобода не имеет никакого значения для народной массы и что поэтому защитники народных интересов могут оставаться равнодушными к политике. Вот как определяет он политические взгляды либералов, с одной стороны, и «демократов», с другой [1]). «У либералов и демократов существенно различны коренные желания, основные побуждения. Демократы имеют в виду по возможности уничтожить преобладание высших классов над низшими в государственном устройстве: с одной стороны, уменьшить силу и богатство высших сословий, с другой—дать более веса и благосостояния низшим сословиям. Каким путем изменить в этом смысле законы и поддержать новое устройство общества, *для них почти все равно* [2]). Напротив того, либералы никак не согласятся предоставить перевес в обществе низшим сословиям, потому что эти сословия по своей необразованности и материальной скудости равнодушны к интересам, которые выше всего для либеральной партии, именно к праву свободной речи и конституционному устройству. Для демократа — наша Сибирь,

[1]) Не нужно забывать, что о социалистах трудно было говорить по цензурным условиям.

[2]) Курсив наш.

в которой простонародье пользуется благосостоянием, гораздо выше Англии, в которой большинство народа терпит сильную нужду. Демократ из всех политических учреждений непримиримо враждебен только одной — аристократии (но не абсолютизму?); либерал почти всегда находит, что только при известной степени аристократизма общество может достичь либерального устройства. Потому либералы питают к демократам смертельную неприязнь, говоря, что демократизм ведет к деспотизму и гибелен для свободы» [1]).

Статья, из которой мы заимствуем эти строки, была написана, как мы уже сказали, в самый разгар полемики по крестьянскому вопросу. Очень возможно, что Чернышевский написал ее, некоторым образом, ad usum delphini, желая показать русскому правительству, что ему не следует бояться русских демократов, все внимание которых действительно сосредоточилось в течение некоторого времени на экономическом положении освобождаемого крестьянства. Впоследствии, в особенности в своих «Письмах без адреса», Чернышевский высказывал уже новый взгляд на значение политической свободы для народного благосостояния. Но все-таки приведенное мнение остается очень характерным фактом в истории русского политического сознания. Оно несомненно должно было оказать свое влияние на подрастающую русскую демократию, которая до самого конца 70-х годов продолжала питать глубокое презрение к «политике». Конечно, это об'ясняется не одним только влиянием Чернышевского, — много сделала в этом отношении анархическая пропаганда Бакунина. Но шаткость и неопределенность политических взглядов любимого учителя русской молодежи наверное внесла свою лепту в последующие программные скитания русских революционеров. Что взгляды Чернышевского на политические задачи западно-европейского пролетариата никогда не отличались большой ясностью, лучше всего показывает следующее мнение его о значении всеобщего избирательного права. Мы заимствуем это мнение из статьи «Июльская монархия», написанной уже в 1860-ом году, т.-е. в то время, когда, окончательно разочаровавшись в правительственной постановке крестьянского вопроса, он не мог уже ничего писать ad usum delphini. Чернышевский обращается, между прочим, в этой статье к тем «лучшим людям», которые, увидев, что введением всеобщего избирательного права во Франции воспользовались реакционеры и обскуранты, перестали при-

[1]) «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X». Перепечатано в третьем выпуске «Русской Социально-Демократической Библиотеки». Женева 1875, стр. 5, 6.

давать ему значение. Чернышевский успокаивает их не тем соображением, что реакционеры и обскуранты могли воспользоваться результатом всеобщего избирательного права только после избиения июньских инсургентов. Он не говорит им, что всеобщее избирательное право безусловно необходимо для политического воспитания рабочего класса. Он просто указывает на неразвитость «поселян»... «Прямой результат декрета (вводившего названное право во Франции),—говорит он,—противоречил ожиданиям всех честных французов. Но что же из этого? Разве все-таки не послужил этот декрет на некоторую пользу французскому обществу? Теперь увидели, что невежество поселян губит Францию. Пока не имели они голоса, никому не было заботы об этой страшной беде. Никто не замечал, что в основе всех событий французской истории всегда лежало невежество поселян. Болезнь была тайная и оставшаяся без лечения; но все-таки она изнуряла весь организм. Когда поселяне явились на выборы, тогда замечено было, наконец, в чем сущность дела. Увидели, что ничего истинно полезного не может быть осуществлено во Франции, пока честные люди не займутся воспитанием поселян. Теперь это делается, и усилия все же не остаются совершенно бесплодными. Раньше или позже поселяне станут рассудительнее, и тогда прогресс для Франции станет легче. Успокоимся же: хотя бы всеобщее избирательство и не удержалось при восстановлении законных учреждений во Франции, хотя бы горькие плоды, принесенные декретом о нем, и заставили общественное мнение на время отвергнуть всеобщее избирательство, все-таки декрет о нем при великом прямом вреде принес косвенным образом несравненно большую пользу» [1]).

Здесь, как видим, нет речи ни о борьбе классов во французском обществе, ни о революционной роли французского пролетариата. Все надежды нашего автора возлагаются на каких-то честных людей, которые займутся воспитанием поселян, вследствие чего «прогресс для Франции станет легче». Это очень странно звучит в настоящее время. Но опять-таки не нужно забывать, что пролетариат был для Чернышевского «простонародием», мало отличавшимся по своим свойствам, стремлениям и задачам от других слоев трудящегося населения. В особенностях экономического положения западно-европейского пролетариата Чернышевский если и видел что-либо революционное, то разве в том смысле, что экономические бедствия вызывают неудовольствие ра-

[1]) «Июльская монархия» в «Русской Социально-Демократической библиотеке», Женева 1875 г., стр. 58, 59.

бочих. Но так как и другие слои трудящегося населения переносят немалые бедствия, то революционное настроение в их среде казалось ему столь же естественным, как и в среде пролетариата. Когда Чернышевский защищал русское общинное землевладение, то в числе выгод, приносимых им, он указывал на то обстоятельство, что оно спасает нас от «язвы пролетариатства». Правда, при этом ему, очевидно, не раз вспоминались слова реакционеров, вроде барона Гакстгаузена или Тенгоборского, утверждавших, что «язва пролетариатства» является источником революционных движений в Западной Европе. И ему приходили сомнения относительно выгод, которые принесет с собою устранение названной «язвы» делу русского прогресса. Но он отвечал себе на эти сомнения такого рода замечанием. «Земледельческий класс, хотя и всегда пользовался у нас землею по общинному порядку, не всегда являлся в русской истории с тем неподвижным характером, какой воображает видеть в нем Тенгоборский, слишком доверившись общей обычной фразе о неподвижности, свойственной земледельцу в Западной Европе, и применив эту бездоказательную фразу к русскому поселянину. Нам здесь нет нужды толковать, каков характер западноевропейского поселянина. Напомним только о том, что казаки были большей частью из поселян, и что с начала XVII в. почти все драматические эпизоды в истории русского народа были совершены энергией земледельческого населения». Здесь крестьянские войны ставятся, как видим, по своему значению на одну доску с революционными движениями новейшего пролетариата, — смешение, совершенно невозможное для социалиста настоящего времени.

В глазах современного социалиста революционные движения рабочего класса являются результатом борьбы классов в обществе, сложившемся на основе крупной промышленности. Современный социалист видит залог торжества своего дела в дальнейшем развитии этой самой промышленности. Чернышевский не так смотрел на этот вопрос. Его взгляды на него сильно окрашены самым недвусмысленным идеализмом. Вот как рассуждает он об этом предмете в своей рецензии на книгу Бруно Гильдебранда «Политическая экономия настоящего и будущего». «То, что истинно человечно, истинно разумно, найдет себе симпатию во всех народах... Разум один и тот же под всеми широтами и долготами, у всех чернокожих и светлорусых людей. Конечно, в американских степях живут другие люди, чем в русских деревнях, и на Сандвичевых островах обитают господа, не похожие на английских джентльменов; но ведь и русскому мужику, и дикарю, так же как и высокопочтенному

римскому кардиналу, хочется, думаем мы, есть, а затем, чтобы есть, хочется что-нибудь иметь. Стремление к улучшению своего положения составляет существенное свойство всего человечества. Если бы новые теории были противны природе человека, они и не пошли бы дальше той страны и тех людей, которым угодно было выдумать их, не стремились бы к ним все народы образованного мира [1]). Едва ли нужно повторять, что народы образованного мира стремятся к социализму не потому, что он согласен с «природой человека» (это еще ничего не доказывает), а единственно потому, что он согласен с природой экономического состояния современного нам цивилизованного человечества».

При указанных взглядах на социализм, как могли представляться Чернышевскому практические задачи социалистической партии? По цензурным условиям ему редко приходилось говорить о них в печати, но он все-таки настолько определенно высказался на этот счет, что сомнение возможно только относительно частностей: общий характер его практических стремлений достаточно ясен.

Заметим прежде всего, что Чернышевский по своему трезвому уму и всегдашнему стремлению к практической деятельности не мог принадлежать к числу тех социалистов, которые требуют, чтобы человечество целиком приняло их утопии, и считают бесплодными или даже прямо вредными все частные экономические реформы. Таковы, напр., современные анархисты, если только позволительно называть анархистов социалистами, хотя бы и не в строгом, а только в разговорном смысле слова. Чернышевский едко смеется над подобными фантазерами. «Во имя высших идеалов отвергать какое-нибудь, хотя бы и не вполне совершенное, улучшение действительности — значит слишком уже идеализировать и потешаться бесплодными теориями». По его мнению, у людей, склонных к таким потехам, «дело кончается большею частью тем, что после напряженных усилий подняться до своего идеала, они опускаются так, что уже вовсе не имеют перед собою никакого идеала». Это уже не в бровь, а прямо в глаз современным анархистам. Но дело не в том. Посмотрим, как же смотрел сам Чернышевский на реформы, полезные и возможные с социалистической точки зрения?

Известно, что современные социал-демократы также не только не отрицают значение частных экономических реформ, но очень настойчиво требуют их. Принимаемые ими в разных странах программы частных реформ или так называемых минимальных требований стоят в тес-

[1]) «Современник», март, 1861, Новые книги, стр. 71.

ной связи с их конечными стремлениями. Они хотят, чтобы реформы, вытребованные ими у современных правительств, облегчали им приближение к конечной цели, чтобы они были последовательным рядом побед экономии Труда над экономией Капитала. Чернышевский понимал, что требуемые социалистами реформы должны быть сообразованы с их конечной целью. Но конечная цель социализма не представлялась ему с такой ясностью, с какою представляется она новейшим социал-демократам. Само торжество социализма отодвигалось в его представлениях в довольно неопределенную даль, должно было явиться результатом «вековых опытов» человечества. Поэтому и программа желательных для него частных реформ не могла отличаться определенностью. В общем можно сказать, однако, что, так как социалистический строй представлялся Чернышевскому в виде ассоциаций, то он отстаивал все, в чем видел хоть малейший намек на принцип ассоциации. С точки зрения большей легкости введения ассоциаций Чернышевский отстаивал и русское общинное землевладение. Община представлялась ему готовой исторической подкладкой для земледельческих ассоциаций. Заведение ассоциации рекомендует он русским социалистам и в романе «Что делать?». Очень интересен тот исторический факт, что проповедь ассоциаций велась одновременно в России и в Германии. В 1863 году появился роман Чернышевского, с выходом которого начинается у нас целый ряд попыток устройства производительных ассоциаций. В том же 1863 году Лассаль рекомендует немецким рабочим ассоциации как единственное средство хоть некоторого улучшения их быта. Но какая разница в постановке этого вопроса у нас и в Германии! В романе Чернышевского, ставшем на время программой русских социалистов, устройством ассоциаций занимаются отдельные, гуманные, образованные личности: Вера Павловна и ее друзья. К этому делу привлекается даже просвещенный священник Мерцалов, играющий, по его собственному выражению, роль «щита» в устроенных Верой Павловной мастерских. О политической самодеятельности класса, заинтересованного в устройстве таких ассоциаций, роман не говорит ни слова. Не говорили о ней ни слова и те люди 60-х годов, которые пытались осуществить предложенную Чернышевским программу. Напротив, первым словом Лассалевской агитации было указание рабочим на необходимость с их стороны политической самодеятельности. Лассаль требовал, чтобы рабочие, сплотившись в особую политическую партию и приобретя влияние на ход дел в стране, заставили правительство дать им необходимые для заведения ассоциаций деньги. В проекте Лассаля дело заведения ассоциаций имеет широкий,

общественный характер. Ассоциациям, вводимым усилиями отдельных просвещенных лиц, Лассаль не придавал ровно никакого значения. По сравнению с Лассалем Чернышевский является в своем романе настоящим утопистом. По сравнению с Чернышевским Лассаль является в своей агитации истинным представителем новейшего социализма. Это различие происходит не от того, чтобы Лассаль был в умственном отношении выше Чернышевского. Можно с уверенностью сказать, что по своим умственным силам Чернышевский ни мало не уступал Лассалю. Но русский социалист был сыном своей страны, политическая и экономическая отсталость которой придавала всем его практическим планам и даже многим теоретическим взглядам характер утопий. В своих практических планах заведения ассоциаций он был гораздо ближе к Шульце-Деличу, чем к Лассалю. Но, с другой стороны, заметим, что и Лассаль в своих практических планах является истинным представителем новейшего социализма только по сравнению с Чернышевским. Те люди, которые на самом деле были истинными представителями и основателями новейшего социализма, Маркс и Энгельс, находили, что и Лассалевские планы представляют собою не более как утопию. Они отказались поддерживать знаменитого агитатора именно потому, что не хотели питать в немецком рабочем классе склонности к экономическим утопиям.

Годы, решительные для развития Чернышевского, относятся к тому времени, когда западно-европейский пролетариат, подавленный после революции 1848 года, не подавал никаких признаков политической жизни. Наблюдая его со стороны и не имев возможности по личным наблюдениям познакомиться с движениями пролетариата в предшествующую эпоху, Чернышевский, естественно, не имел повода задуматься об его исторической роли. Даже признавая в принципе, что пролетариат должен освободить себя собственными усилиями, Чернышевский, тем не менее, склонялся иногда к чрезвычайно странным практическим планам облегчения его участи. Говоря это, мы имеем в виду статью, напечатанную в майской книжке «Современника» за 1861 год, в отделе иностранной литературы. Очень возможно, даже вероятно, что статья эта не принадлежит лично Чернышевскому. Но так как она касается экономических вопросов и так как через руки Чернышевского проходило в «Современнике» все, что имело хоть какое-нибудь отношение к этим вопросам, то, разумеется, она не могла бы быть напечатана, если бы противоречила взглядам нашего автора. Во всяком случае она должна быть признана очень характерной для взглядов кружка «Современника» на социальный вопрос. В начале статьи автор высказывает

очень дельные замечания о том, что пролетариат представляет собою явление, свойственное исключительно новой истории. «Только в нынешнем столетии он явился на западе Европы в виде сознательного, самостоятельного целого. До XIX столетия бедных, нуждающихся в общей помощи, было, может быть, больше, чем теперь, но о пролетариате не было речи. Он—плод новой истории». Далее автор делает справедливое замечание о том, что женский промышленный труд послужит залогом семейного освобождения женщины. Читая это, можно подумать, что имеешь дело с человеком, вполне стоящим на точке зрения современного социализма. Но разочарование является тотчас же, как только речь заходит о практических способах улучшения участи пролетариата. Именно, говоря о лионских ткачах шелковых изделий, автор видит спасение их в «децентрализации производства», в заведении мастерских вне города, в соединении ткацкого труда с сельским хозяйством. По мнению автора, соединение занятий ткацким ремеслом с сельским хозяйством сильно увеличит благосостояние рабочего. Другой источник возможного увеличения благосостояния ткачей видит он в дешевизне сырых припасов в деревнях. Вот подлинные слова его: «Для лионского рабочего начало освобождения его от хозяина заключается в устройстве своей собственной мастерской вне города. Но как завести ее? На чьи деньги? На хозяев и на фабрикантов можно надеяться в виде исключения, и вот почему нужно искать поддержки в правительстве, его деньгах. Только при кредите, открытом правительством лионскому пролетарию, он освободится от эксплоатации его труда капиталистом и получит возможность встать на свои ноги». Но автор опасается, что рабочие не захотят переселиться в деревни. «Городская жизнь для многих из них представляет приятные особенности, которых они не найдут в сельской жизни... Но это зло переходное. Нельзя ожидать, разумеется, чтобы все рабочие сразу переселились из Лиона в его окрестности; но и нет никаких оснований думать, чтобы польза такого переселения не входила все более и более в общее сознание рабочих. Несколько удачных примеров, и рабочий увидит выход из своего настоящего печального положения. Для начала будет достаточно, если образуются маленькие хозяйства и мастерские отдельных семейств, а там уж не труден переход к товариществу и к устройству на общий счет фабрик с механическими двигателями» [1]). Мы нисколько не удивились бы, если бы прочли подобный план в сочинениях г. Успенского или кого-нибудь из «суб'ектив-

[1]) „Современник" 1861 г., май, Иностранн. литература, стр. 22 и 23.

ных» русских «социологов». Но в журнале Чернышевского он производит странное, тяжелое впечатление. Видно, что человеку, придумавшему такой план, равно как и людям, напечатавшим его в своем журнале, совсем еще неясно, каким это образом освобождение рабочих может быть делом самих рабочих. Для современных социал-демократов дело вполне понятно: *экономическое* освобождение пролетариата явится следствием его *политического* господства, захвата им политической власти в свои руки. Автор приведенного плана экономического освобождения лионских ткачей отводит главную роль в этом освобождении правительству Наполеона III. По этому проекту, оно должно было взять на себя почин и постепенно приучить рабочих к мысли о переселении в деревни. Таким образом рабочие явились бы пассивным предметом благодетельного воздействия бонапартовского правительства. Это коренным образом расходится со взглядами социал-демократов, не говоря уже об экономической стороне проекта, не выдерживающей никакой критики. Но появление таких проектов на страницах «Современника» было, если угодно, понятно и естественно. Мы уже видели, как смотрел Чернышевский на всеобщее избирательное право. Он не считал его необходимым орудием пролетариата в борьбе с буржуазией. Для кого неясно значение всеобщего избирательного права в этой борьбе, для того неясны и вообще все ее политические задачи, неочевидна и необходимость сплочения пролетариата в особую политическую партию с целью захвата власти в будущем. А при таких условиях даже искренний сторонник рабочего класса по необходимости будет колебаться, когда речь зайдет о практических мерах для улучшения участи рабочих. Он будет от души сочувствовать их революционному движению; но в мирное время он не откажется передать все дело улучшения их участи в руки существующих правительств: неясно понимая политические задачи рабочих, он не может ясно понять и значения их политической *самодеятельности*. Вообще можно сказать, что понимание современных задач пролетариата лучше всего обнаруживается в суждениях о тактике этого класса *в мирное, спокойное время*. Чтобы сочувствовать революционному взрыву рабочих, нужно только не быть заинтересованным в поддержании буржуазного строя. Но, чтобы составить себе ясное понятие о тактике, которой рабочие должны держаться в то время, когда революции нет и еще не предвидится, — нужно хорошо выяснить себе все задачи, все условия и весь ход освободительного движения рабочего класса. Чернышевскому все это было еще не ясно; отсюда и появление на страницах «Современника» проектов, подобных вышеприведенному.

Замечательно, что наш автор, энергически отстаивая государственное вмешательство в экономические отношения различных общественных классов, нигде не упоминает о законодательном ограничении рабочего дня. Этой стороне дела он, повидимому, не придавал никакого значения или, лучше сказать, вовсе не задумывался над ней.

Теперь мы достаточно выяснили социалистические взгляды Н. Г. Чернышевского. Для читателей, знакомых с западным движением и с западно-европейской социалистической литературой, интересно будет, может быть, отметить здесь то обстоятельство, что наш автор видел в Прудоне «полного представителя умственного положения, до которого возвышается на Западе простолюдин». Чернышевский вовсе не поклонник Прудона. Он замечает его слабые стороны, его колебания, его непоследовательность. «Но во всем этом мы опять видим общие черты того умственного положения, в котором находится теперь западно-европейский простолюдин. Благодаря своей здоровой натуре, своей суровой житейской опытности, западно-европейский простолюдин в сущности понимает вещи несравненно лучше, вернее и глубже, чем люди более счастливых классов. Но до него не дошли еще те научные понятия, которые наиболее соответствуют его положению, наклонностям, потребностям и сообразны с нынешним положением знаний» [1]). О каких «простолюдинах» говорит здесь Чернышевский? Имеет ли он в виду крестьян, мелких независимых ремесленников или пролетариев в собственном смысле слова? Он говорит о них вообще, не делая никакого различия между различными слоями трудящегося населения, потому что все они, как мы видели, сливались в его уме в одно общее представление о «простонародье». Не так смотрят на это дело новейшие социалисты. Еще в 1848 году Маркс и Энгельс в своем «Манифесте коммунистической партии» указали на резкое различие между крестьянами и ремесленниками, с одной стороны, и пролетариатом—с другой. Для авторов «Манифеста» крестьяне и мелкие ремесленники в том случае, когда они отстаивают экономические особенности своего положения и не переходят на точку зрения пролетариата, являются *реакционерами, стремящимися повернуть назад колесо истории*. Только в пролетариате видят Маркс и Энгельс истинно-революционный класс современного общества. Сообразно с этим и в Прудоне Маркс и Энгельс могли видеть, пожалуй, представителя западно-европейских простолюдинов, но простолюдинов, поставленных в особые условия мелко-

[1]) «Антрополог. принцип в философии», стр. 21, 24.

буржуазного производства. Социализм Прудона казался Марксу социализмом мелкой буржуазии или, если угодно, крестьян, этих мелких буржуа земледелия. Непоследовательность и шаткость мысли Прудона Маркс об'яснял не тем, что до него не дошло последнее слово науки, а тем, что предрассудки и предубеждения, вынесенные им из мелкобуржуазной среды, лишали его возможности понять это слово даже в том случае, если бы оно и дошло до него [1]). Различие в отношениях к Прудону Маркса и Чернышевского прекрасно рисует различие в их отношении ко всему западно-европейскому рабочему движению.

VI.

Мы знаем теперь отношение Чернышевского к тем «нашим общим великим западным учителям», у которых русскому человеку и в настоящее время приходится старательно учиться. Мы знаем, что на выработку взглядов Чернышевского имела огромное влияние немецкая философия. Мы знаем также, в какой период развития немецкой философии изучал ее наш автор: в период перехода от идеализма к материализму. В этот переходный период новейшие материалистические взгляды далеко еще не дошли до той степени выработанности, ясности и последовательности, на какую возвели их впоследствии труды Маркса и Энгельса. Это очень заметно отразилось на воззрениях Чернышевского. Сравнивая их с учением той самой школы, которая развилась впоследствии из учения Фейербаха, мы находим в них много пробелов, много неясностей и непоследовательностей. Исторические и социалистические взгляды Чернышевского ни в каком случае не могут быть признаны удовлетворительными с точки зрения современной нам европейской науки. Тот, кто вздумал бы держаться их в настоящее время, был бы совершенно отсталым человеком. Но, говоря это, мы вовсе не хотим осуждать великого русского писателя. Его развитию сильно помешало то обстоятельство, что он жил в стране, отсталой во всех отношениях, до которой часто совершенно не доходили новейшие открытия и направления общественной науки. В окружавшей же его обстановке не было никаких материалов для самостоятельных открытий в этом смысле. Кроме того, нужно помнить, что переворот, сделанный в общественной науке Марксом и Энгельсом,

[1]) См. «Нищету философии» (пятый выпуск Библиотеки Современного Социализма»).

не сразу был по достоинству оценен даже самыми даровитыми людьми Западной Европы. Лассаль находился в условиях, очень благоприятных для его общественного и политического развития, он был близко знаком с основателями новейшего социализма, ему, повидимому, достаточно было только усвоить мысли, выработанные другими и совершенно доступные для него по обстоятельствам его жизни, и однако мы встречаемся в его сочинениях со множеством вопиющих противоречий. В своих больших сочинениях («Philosophie Heracleitos des Dunkeln», «System der erworbenen Rechte»), он является чистейшим идеалистом и толкует о *саморазвитии понятий* (Selbstentwicklung der Begriffe). В своих агитационных брошюрах он уже гораздо ближе к новейшему материализму, он уже почти целиком признает все его положения, но, тем не менее, и в этих брошюрах его много неясности и непоследовательности. В скольких поправках нуждается теперь главное его полемическое сочинение «Бастиа-Шульце»! Лассаля приходится признать таким же представителем переходной эпохи в развитии философской социалистической мысли, каким был и Чернышевский. Но пробелы и противоречия во взглядах Лассаля не помешали ему оказать существенную услугу развитию своей страны. Не помешала в этом и Чернышевскому неполная выработанность его взглядов. В настоящее время, стоя на точке зрения Маркса, мы можем осуждать очень многое в теоретических рассуждениях и практических планах Чернышевского. Но для его времени и для его страны даже те его взгляды, которые мы должны теперь признать ошибочными, все-таки были в высшей степени важными и благотворными, потому что они будили русскую мысль и толкали ее на тот путь, на который ей не удалось выступить в предшествующий период: на путь исследования общественных и экономических вопросов. В политической экономии, в истории, даже в этике и литературной критике Чернышевский все-таки высказал множество таких важных мыслей, которые и до сих пор еще не усвоены во всем их об'еме и не разработаны, как следует, русской литературой. Чтобы определить в немногих словах значение всего, что сделал Чернышевский для развития русской мысли, достаточно будет указать на следующий факт, который признает бесспорным всякий, кто знаком с состоянием литературы за последние тридцать лет. Ни русские социалисты в огромнейшем числе своих фракций и направлений, ни легальная русская критика и публицистика не сделали ни шагу, буквально ни шагу вперед с тех пор, как прекратилась литературная деятельность Чернышевского. В его статьях вы найдете все

те мысли и взгляды, распространение которых составило славу передовых писателей следующего периода. Писатели эти не сделали никаких поправок ко взглядам Чернышевского, да и не могли сделать их, потому что их миросозерцанию свойственны были еще в гораздо бо́льшей степени все те недостатки, какими отличалось миросозерцание Чернышевского. Слабая сторона взглядов Чернышевского обусловливалась тем, что он незнаком был с новейшим направлением философской мысли Западной Европы, с учением Маркса и Энгельса. Но хорошо ли усвоили это учение литературные вожаки последующего периода? Они заговорили о неприменимости к нам западно-европейских теорий, о «суб'ективном методе» в социологии, об особенностях русского экономического быта, об ошибках Запада, словом, явились более или менее сознательными, более или менее усердными проповедниками того народнического учения, которое, наверное, показалось бы Чернышевскому самой неудобоваримой мистикой [1]). Раз свихнувши в сторону народничества, передовые представители русской мысли не могли даже и задуматься о серьезной критике Чернышевского. Напротив, они часто с усердием, достойным лучшей участи, отстаивали именно те его взгляды, которые составляли его ошибки, показывали отсталость его от западно-европейской науки. Удивительна судьба гениальных или просто даже даровитых людей, имевших заметное влияние на умственное развитие своей страны! Их последователи и почитатели часто усваивают именно их ошибки и заблуждения и затем отстаивают их со всем энтузиазмом, возбуждаемым великим именем. Примерами подобного, на первый взгляд очень странного, пристрастия учеников к ошибкам их учителей положительно изобилует история умственного развития человечества. За что ухватилась правая сторона Гегелевской школы? За промахи и непоследовательность гениального философа. Что с особенною настойчивостью переживали так называемые позитивисты? Схоластическую часть учения Огюста Конта (да простят

[1]) Аристов в своей книге о Щапове рассказывает, что Чернышевский, заинтересовавшись сочинениями Щапова, искал знакомства с ним и, встретив его у одного общего приятеля, вел с ним длинный спор. Спор этот показал Чернышевскому, что сотрудником «Современника» Щапов быть не может: так сильно расходились их взгляды. Но как относились к Щапову впоследствии те самые люди, которые считали себя горячими поклонниками Чернышевского? Щаповские взгляды на русскую историю явились составною частью народнического учения, и наши народники, продолжая «уважать» Чернышевского, даже не потрудились спросить себя, не существует ли противоречия между его взглядами и Щаповской идеализацией старинной народной жизни?

нам читатели поистине святотатственное сопоставление Конта с Гегелем). Что мешало немецким лассальянцам соединиться с фракцией Либкнехта - Бебеля? Пристрастие к политическим ошибкам и к экономическим утопиям Лассаля. Положительно, обскуранты оклеветали человеческий ум, приписывая ему вечное движение вперед и вечное недовольство существующим! В действительности, он оказывается самым ленивым изо всех консерваторов.

Но возвратимся к нашему автору. Зная теперь общий характер его взглядов, зная достоинства и недостатки свойственного ему понимания «высших идей правды, науки, искусства», мы легко можем дать себе отчет об его литературной деятельности.

Мы уже сказали, что, готовя свою диссертацию об «эстетических отношениях искусства к действительности», Чернышевский занимался переводами и другими литературными работами, главным образом для «Отечественных Записок». Появление в печати его диссертации обратило на него внимание редакции «Современника», издававшегося с 1847 г. Некрасовым и Панаевым. Чернышевскому предложили постоянное сотрудничество в этом журнале и даже отдали в его заведывание весь критический отдел. Впоследствии, когда «Современнику» позволили в 1859 г. писать о политике, Чернышевский заведывал и политическим отделом. За Некрасовым и Панаевым навсегда останется та огромная заслуга, что они не сторонились, как это делали многие другие «друзья Белинского», от людей, продолжавших его дело. Само собою разумеется, что редакции не пришлось жалеть о том, что она сошлась с Чернышевским. Уже в декабрьской книжке «Современника» за 1855 год появилась первая статья из того, уже много раз упомянутого, ряда *«Очерков Гоголевского периода русской литературы»*, который представляет собою одно из замечательнейших произведений Чернышевского и до сих пор остается лучшим пособием для всякого, желающего познакомиться с критикой Гоголевского периода. Вторая статья из этого замечательного ряда очерков была напечатана в январской, третья—в февральской, четвертая—в апрельской книжках «Современника» за следующий год. В этих четырех статьях была сделана оценка литературной деятельности Полевого, Сенковского, Шевырева и Надеждина. В июльской книжке автор перешел к Белинскому, которому и посвящены остальные пять очерков. В этих статьях имя Белинского впервые названо в печати после 1848 года, когда на Белинского стали смотреть, как на запрещенного писателя. С появлением «Очерков» можно было с отрадной уверенностью, и ни мало не преуве-

личивая дела, сказать, что у Белинского есть достойный преемник. С тех пор как Чернышевский выступил в качестве критика и публициста «Современника», за этим журналом снова было обеспечено преобладающее место между русскими периодическими изданиями, принадлежавшее ему при жизни Белинского. «Современнику» с интересом и уважением внимала передовая часть читающей публики, к нему естественно тяготели все свежие, нарождающиеся литературные силы. Так, в половине 1856 года в нем стал писать молодой Добролюбов. Людям нашего времени трудно даже представить себе, как велико было тогда у нас значение журналистики. Теперь общественное мнение значительно уже переросло журналистику; в 40-х годах оно еще не успело дорасти до нее. Конец же 50-х и начало 60-х годов является эпохой наибольшего согласия между общественным мнением и журналистикой и наибольшего влияния журналистики на общественное мнение. Только при таком условии и возможно было то горячее увлечение литературной деятельностью и та искренняя вера в значение литературной пропаганды, которые замечаются во всех тогдашних выдающихся писателях. Короче, это был золотой век русской журналистики. Несчастный исход Крымской войны заставил правительство сделать несколько уступок образованному обществу и совершить, по крайней мере, самые насущные, давно уже ставшие необходимыми, реформы. Вскоре на очередь поставлен был вопрос об освобождении крестьян, самым недвусмысленным образом затрогивающий интересы всех сословий. Нужно ли говорить, что Николай Гаврилович с жаром принялся за разработку этого вопроса. К 1857—1858 г.г. относятся его замечательные статьи о крестьянском деле. Как много написано им по этому поводу, видно из того, что в отдельном заграничном издании статьи эти составляют большой том очень убористой печати. Теперь довольно уже хорошо известно взаимное отношение наших общественных сил в эпоху уничтожения крепостного права. Поэтому мы будем говорить о нем лишь мимоходом, лишь поскольку это нужно для выяснения роли, принятой на себя в этом деле нашей передовой журналистикой, во главе которой стоял тогда Н. Г. Чернышевский. Всем известно, что эта журналистика горячо отстаивала крестьянские интересы. Наш автор писал одну за другой статьи, в которых отстаивал освобождение крестьян с землею и утверждал, что выкуп земель, отходящих в надел крестьянам, не может представить для правительства никакой трудности. Он доказывал это положение и общими теоретическими соображениями, и самыми подробными примерными вычислениями. «Каким это образом выкуп земли

может быть в самом деле затруднителен? Как может он превышать силы народа? Это неправдоподобно,—писал он в статье «*Труден ли выкуп земли?*»—Это противоречит основным понятиям народного хозяйства. Политическая экономия прямо говорит, что все те материальные капиталы, какие достаются известному поколению от предшествовавших поколений, составляют ценность не очень значительную по сравнению с тою массою ценностей, какая производится трудом этого поколения. Например, вся земля, принадлежащая французскому народу, со всеми зданиями и всем находящимся в них, всеми кораблями и грузами, всем скотом и всеми деньгами, всеми другими богатствами, принадлежащими этой стране, едва ли представляет стоимость во сто миллиардов франков; а труд французского народа ежегодно производит ценность в пятнадцать или более миллиардов франков, т.-е. не более как в семь лет французский народ производит массу ценностей, равную ценности целой Франции, как она есть от Ламанша до Пиренеев. Стало быть, если бы французам нужно бы было выкупить у кого-нибудь всю Францию, они могли бы сделать это в продолжение одного поколения, употребляя на выкуп только одну пятую часть своих доходов. А у нас о чем идет дело? Разве целую Россию должны мы выкупить со всеми ее богатствами? Нет, только одну землю. И разве всю русскую землю? Нет, выкуп относится только к тем губерниям одной Европейской России, в которых укоренилось крепостное состояние» и т. д. [1]). Показав затем, что земли, подлежащие выкупу, составляли бы не более шестой части пространства, занимаемого Европейской Россией, он предлагает целых восемь планов выкупной операции. По его словам, принявши один из этих планов, правительство могло бы выкупить надельные земли не только без обременения крестьян, но и с большою выгодою для государственного казначейства. В основе всех планов Чернышевского лежало соображение о «*необходимости держаться возможно умеренных цен при определении величины выкупа*». Мы знаем теперь, насколько наше правительство имело в виду интересы крестьянства при уничтожении крепостного права и насколько оно последовало советам Чернышевского относительно умеренности при определении выкупных платежей. Статистика показывает, что в среднем, платежи, лежащие на крестьянских землях, значительно превышают их доходность. Она

---

[1]) См. статью «Труден ли выкуп земли?» в пятом томе заграничного издания. Сочинений *Н. Г. Чернышевского.*

показывает также, что платежами обременены главным образом земли бывших помещичьих крестьян. Отсюда ясно, что если при освобождении крестьян наше правительство ни на минуту не позабыло выгод государственного казначейства, то об интересах крестьян оно думало очень мало. При выкупной операции имелись в виду исключительно только фискальные и помещичьи интересы. И это совершенно понятно, так как никому нет ни нужды, ни охоты думать об интересах того сословия (в данном случае крестьянского), которое само не может энергично и систематически отстаивать их. Но в ту пору, когда еще только шли толки о крестьянском освобождении, самые передовые люди России думали несколько иначе. Им казалось, что само правительство без большого труда могло бы понять, до какой степени его собственные выгоды совпадают с интересами крестьянства. Подобные надежды довольно долго питал, между прочим, Герцен. Питал их и Чернышевский. Отсюда происходила и та настойчивость, с которою он возвращался в своих статьях к крестьянскому вопросу, и то усердие, с которым он выяснял правительству его собственные интересы. Но Чернышевский был первым, по времени, русским писателем, понявшим некрасивую и лицемерную роль русского правительства в деле крестьянского освобождения. Уже в 1858 году появилась его статья «*Критика философских предубеждений против общинного землевладения*» с многозначительным эпиграфом из Фауста: «wie weh', wie, weh', wie wehe!». Обыкновенно эта прекрасная статья рассматривается как самая энергическая и самая удачная защита общинного землевладения, но мы взглянем на нее со стороны самого принципа освобождения крестьян с землею. Статья эта показывает, что уже в 1858 г. Чернышевский потерял всякую надежду на удовлетворительное решение правительством крестьянского поземельного вопроса. «Я стыжусь самого себя,—говорит он в начале этой статьи.—Мне совестно вспоминать о безвременной самоуверенности, с которою я поднял вопрос об общем землевладении. Этим делом я стал безрассуден, скажу прямо, стал глуп в своих собственных глазах... Трудно об'яснить причину моего стыда, но постараюсь сделать это, как могу. Как ни важен представляется мне вопрос о сохранении общинного землевладения, но он все-таки составляет только одну сторону дела, к которому принадлежит. Как высокая гарантия благосостояния людей, до которых относится, этот принцип получает смысл только тогда, когда уже даны другие, низшие гарантии благосостояния, нужные для доставления его действию простора. Такими гарантиями должны считаться два условия. Во-первых, принадлежность ренты тем самым

лицам, которые участвуют в общинном владении. Но этого еще мало. Надобно также заметить, что рента только тогда серьезно заслуживает своего имени, когда лицо, ее получающее, не обременено кредитными обязательствами, вытекающими из самого ее получения... Когда человек уже не так счастлив, чтобы получить ренту, чистую от всяких обязательств, то, по крайней мере, предполагается, что уплата по этим обязательствам не очень велика по сравнению с рентою... Только при соблюдении этого второго условия люди, интересующиеся его благосостоянием, могут желать ему получения ренты». Но это условие не могло быть соблюдено в деле освобождаемых крестьян, поэтому Чернышевский и считал бесполезным защищать не только общинное землевладение, но и самое наделение крестьян землею. У кого оставалось бы какое-нибудь сомнение на этот счет, того совершенно убедит следующий пример, приводимый нашим автором. «Предположим,—говорит он, обращаясь к своему любимому способу об'яснения посредством «парабол»,—предположим, что я был заинтересован принятием средств для сохранения провизии, из запаса которой составляется ваш обед. Само собою разумеется, что если я это делал собственно из расположения к вам, то моя ревность основывалась на предположении, что провизия принадлежит вам и что приготовляемый из нее обед здоров и выгоден для вас. Представьте же себе мои чувства, когда я узнаю, что провизия вовсе не принадлежит вам, и что за каждый обед, приготовленный из нее, берутся с вас деньги, которых не только не стоит самый обед, но которых вы вообще не можете платить без крайнего стеснения. Какие мысли приходят мне в голову при этих столь странных открытиях?.. Как я был глуп, что хлопотал о деле, для полезности которого не обеспечены условия! Кто, кроме глупца, может хлопотать о сохранении собственности в известных руках, не удостоверившись прежде, что собственность достанется в эти руки, и достанется на выгодных условиях?.. Лучше пропадай вся эта провизия, которая приносит только вред любимому мною человеку! Лучше пропадай все дело, которое приносит вам только разорение!» [1]).

Если бы читатель, не довольствуясь приведенными выписками, захотел составить себе еще более ясное представление о том, до какой степени и как рано Чернышевский разочаровался в крестьянской «эман-

---

[1]) См. пятый том женевского издания. Сочинений *Н. Г. Чернышевского*, стр. 472—478.

сипации», то мы указали бы ему на роман «Пролог пролога», изданный в 1877 году редакцией журнала «Вперед!» и написанный Чернышевским, как кажется, значительно раньше романа «Что делать?». «Пролог пролога», это—собственно не роман, а записки автора, относящиеся именно к эпохе уничтожения крепостного права. Под вымышленными именами графа Чаплина, Рязанцева, Савелова, Левицкого, Соколовского и т. д. выступают известные литературные и политические деятели той эпохи. Кроме того, под именем Волгина, Чернышевский изобразил самого себя, и это придает большой биографический интерес его роману-запискам. Не задаваясь целью излагать содержание романа, мы укажем лишь на разговоры Волгина с Нивельзиным и Соколовским, касавшиеся освобождения крестьян. «Пусть дело освобождения крестьян будет передано в руки помещичьей партии. Разница невелика»,—говорит Волгин Соколовскому, и на замечание его собеседника о том, что, напротив, разница колоссальная, так как помещичья партия против наделения крестьян землею, он решительно отвечает: «Нет, не колоссальная, а ничтожная. Была бы колоссальная, если бы крестьяне получили землю без выкупа. Взять у человека вещь или оставить ее человеку—разница, но взять с него плату за нее — все равно. План помещичьей партии разнится от плана прогрессистов только тем, что проще, короче. Поэтому он даже лучше. Меньше проволочек, *вероятно, меньше и обременения для крестьян* [1]). У кого из крестьян есть деньги—тот купит себе землю. У кого нет—тех нечего и обязывать покупать ее. *Это будет только разорять их.* Выкуп—та же покупка. Если сказать правду, лучше пусть будут освобождены без земли... Вопрос поставлен так, что я не нахожу причин горячиться даже из-за того, будут или не будут освобождены крестьяне; тем меньше из-за того, кто станет освобождать их, либералы или помещики. По-моему, все равно. Или помещики даже лучше» [2]).

В разговоре с Нивельзиным Волгин выставляет другую сторону своего отношения к тогдашней постановке крестьянского дела. «Толкуют: освободить крестьян!—восклицает он.—Где силы на такое дело? Еще нет сил. Нелепо приниматься за дело, когда нет сил на него. А видите, к чему идет: станут освобождать. Что выйдет,—сами судите, что выходит, когда берешься за дело, которого не можешь сделать... Испортишь дело, выйдет мерзость. Эх, наши господа эмансипаторы, все

---

[1]) Курсив повсюду в этой выписке наш.

[2]) «Пролог пролога», стр. 199.

эти ваши Рязанцевы с компаниею! вот хвастуны-то; вот болтуны-то; вот дурачье-то!..» [1]).

Эти рассуждения Волгина о преждевременности крестьянского освобождения, конечно, ошибочны. Крепостное право было таким огромным злом, оно до такой степени стесняло развитие решительно всех сторон общественной жизни тогдашней России, что уничтожение его ни в каком случае и ни при каких условиях не могло быть преждевременным. Но для правильного понимания взгляда Чернышевского на это дело нужно помнить, что тогдашние события могли представляться ему совсем не в той перспективе, в какой они представляются нам теперь. Он питал, как кажется, некоторую надежду на крестьянские восстания, а в то же самое время он, повидимому, считал возможным очень быстрый рост крайней партии, всецело стоявшей на стороне крестьянства. Таким образом освобождение могло казаться ему преждевременным в том смысле, что так как оно успокаивало волнение крепостных, то гордиев узел помещичьей власти не мог уже быть разрублен топором крестьянина, а, с другой стороны, крайняя демократическая партия не имела еще силы для серьезного давления на правительство. Приобретение партией достаточной для этого силы могло казаться ему делом лишь нескольких лет, и он мог считать полезной кратковременную отсрочку освобождения ввиду важности сулимых ею результатов. Что революционное движение в тогдашней России представлялось ему вполне возможным,—на это есть совершенно ясные намеки в его статьях,—намеки, на которых мы еще остановим внимание читателя, так как ими в значительной степени об'ясняется направление его дальнейшей литературной деятельности.

Наши народники страшно идеализируют теперь русское крестьянство и с поразительной легкостью открывают в нем решительно все те свойства и стремления, какие им хотелось бы в нем видеть. Поэтому мы, не желая ни на минуту уподоблять им Н. Г. Чернышевского, спешим прибавить, что он, несмотря на свою веру в возможность крестьянской революции, в сущности все-таки был далек от ложной идеализации

---

[1]) Ibid., стр. 110. Собственно говоря, по ходу романа видно, что эти рассуждения Волгина относятся ко времени появления статей Чернышевского о выкупе. Но в таком случае самый выход этих статей был бы необ'ясним: кто станет отстаивать такие проекты, которые сам считает совершенно несбыточными при данных условиях? Нам кажется более вероятным, что когда Чернышевский писал свой роман, то он незаметно для себя приурочил свои позднейшие взгляды на условия крестьянского освобождения к более раннему времени.

народа. Тогдашняя Россия вообще представлялась ему не в особенно привлекательном виде. Временами же он доходил до самого резкого отрицательного отношения к своим соотечественникам. «Жалкая нация, жалкая нация,—восклицает про себя в «Прологе пролога» Волгин, под именем которого Чернышевский изобразил, как мы сказали, самого себя,—нация рабов, с низу до верху все сплошь рабы» [1]). Даже и в более спокойные минуты его не покидало сознание страшной неразвитости и забитости русского крестьянства. В этом отношении он был прямым наследником взглядов Белинского, который под конец своей жизни говорил, что споры со славянофилами помогли ему «сбросить с себя мистическое верование в народ» [2]). Чтобы не быть голословными, укажем на превосходную и очень поучительную статью Чернышевского «*Не начало ли перемены?*», в ноябрьской книжке «Современника» за 1861 год. Статья написана по поводу выхода отдельного издания «Рассказов» Н. В. Успенского. Автор восстает в ней именно против «непобедимого влечения к прикрашиванию народных нравов и понятий». Подобным влечением отличались, по его словам, повести из народного быта Тургенева и Григоровича. Он сравнивает отношение этих писателей к народу с отношением Гоголя к Акакию Акакиевичу. Гоголь умалчивает о недостатках своего героя, потому что считает его недостатки совершенно непоправимыми. «Акакий Акакиевич был смешной идиот. Но говорить всю правду об Акакие Акакиевиче бесполезно и бессовестно... Сам для себя он ничего не может сделать, будем же склонять других в его пользу... Будем молчать о его недостатках». Совершенно так же относились к народу Григорович, Тургенев и все их подражатели. Все народные недостатки «прячутся, затушевываются, замазываются, налегается только на то, что он несчастен, несчастен» [3]). Главной заслугой Н. В. Успенского, в глазах нашего автора, являлось совершенное отсутствие у него подобного отношения к народу. Чернышевский замечает, что Н. В. Успенский «выставил русского простолюдина простофилею», которому «трудно связать в голове две отдельные мысли». Но, по его словам, иначе и быть не может. Не только русские,—и западно-европейские поселяне отличаются страшною неразвитостью. Что же касается до качества «простофили», то он «готов уличить в нем огромное большинство людей всякого сословия». Большинство людей всех сословий и всех стран жи-

---

[1]) Стр. 209.

[2]) *Пыпин*, «Белинский, его жизнь и переписка», Спб. 1876, т. II, стр. 324—325.

[3]) См. в указанной книжке, Отдел русской литературы, стр. 83.

вет рутиной и обнаруживает крайнюю несообразительность, едва только случится ему выйти из обычного круга представлений. Чтобы давать нам верные действительности изображения народной жизни, литература не должна закрывать глаз на отрицательные стороны народного характера. В рассказах Н. В. Успенского — которые, заметим мы от себя, нередко доходили до шаржа — Чернышевский видит «начало перемены» в отношениях литературы к народу, а в самом авторе этих рассказов он приветствует появление нового слоя образованных русских людей, умеющих обращаться и толковать с крестьянами не в качестве добрых и снисходительных господ, а совершенно запросто, как равные с равными. Он многого ждет от появления этого слоя.

Казалось бы, что взгляд на крестьянство, как на сословие «простофилей», исключает всякую надежду на возможность революционного движения в русском народе. Но Чернышевский нисколько не отказывается от этой надежды. Он категорически заявляет, что крестьяне крайне неразвиты или, попросту говоря, глупы. «Но не спешите выводить из этого никаких заключений о состоятельности или несостоятельности ваших надежд, если вы желаете улучшения судьбы народа,— говорит он в конце статьи.—Возьмите самого дюжинного... пошлого человека: как бы апатично и мелочно ни шла его жизнь, бывают в ней минуты совершенно другого оттенка, минуты энергичных усилий, отважных решений. То же самое встречается и в истории каждого народа».

На такую-то минуту отважных решений и возлагал свои упования Н. Г. Чернышевский. Ему казалось, что уже недалека эта минута, и совершенно так же думали почти все лучшие люди того времени. На этой уверенности основывались возникавшие в начале шестидесятых годов тайные революционные общества. Она поддерживалась частью волнениями освобождаемых крестьян, упорно ожидавших «настоящей воли», частью положением дел на Западе. Итальянские события, Северо-Американская война, сильное политическое брожение в Австрии и Пруссии, — все это могло дать повод думать, что реакция, царствовавшая с 1849 г., будет, наконец, побеждена новым освободительным движением. А при этом позволительно было надеяться, что европейские события увлекут и Россию. Ведь так легко верится тому, чему хочется верить! Чернышевский и его единомышленники еще не сознавали того, что политические движения Запада могут служить полезным толчком для внутреннего развития России только при одном необходимом условии: именно, если ее внутренние и, прежде всего, экономические отношения хотя до некоторой степени уподобятся отношениям Запада. Те-

перь это подобие уже существует и, можно сказать, ежечасно увеличивается. Но в начале шестидесятых годов до этого было еще далеко. Поэтому освободительные движения Запада могли тогда усилить скорее русский застой, чем русский прогресс. В начале шестидесятых годов Россия еще могла бы снова попытаться взять на себя роль европейского жандарма, так блистательно исполненную ею в 1848 — 1849 г.г.

VII.

Если при всей горячей любви к народу наш автор умел трезвыми глазами взглянуть на его недостатки, то можно представить себе, как относился он к дворянству и к довольно сильно кричавшей тогда либеральной партии. Тут он был совершенно беспощаден. Мы уже привели отзыв Волгина о либеральном Рязанцеве с братией. Подобных отзывов множество в «Прологе пролога». Вообще Чернышевский не упускал случая посмеяться в своих статьях над русскими либералами и печатно заявить, что ни он, ни вся крайняя партия не имеют с ними ничего общего. Трусость, недальновидность, узость взглядов, бездеятельность и болтливая хвастливость — вот отличительные качества, какие он видел в тогдашних либералах. Такая характеристика почти дословно сделана им в статье «Русский человек на rendez-vous», напечатанной в «Атенее» 1858 года. Она написана по поводу повести Тургенева «Ася», но так как «Ася» появилась в «Современнике», то Чернышевский и не счел удобным писать о ней в своем журнале. О самой повести в статье говорится очень немного,—лучше сказать, почти ничего. Автор обращает внимание только на сцену любовного об'яснения героя повести с Асей и по поводу этой сцены предается своим «размышлениям». Читатели помнят, конечно, что в решительную минуту тургеневский герой струсил и пошел на попятную. Вот это-то обстоятельство и наводит Чернышевского на его «размышления». Он замечает, что нерешительность и трусость составляют отличительное свойство не одного только этого героя, но и большинства героев наших лучших беллетристических произведений. Он вспоминает о Рудине, о Бельтове, о просветителе некрасовской «Саши» и во всех видит то же самое свойство Он не винит за него беллетристов, так как они отмечали лишь то, что на каждом шагу встречается в действительности. Мужества нет в русских людях, поэтому не имеют его и действующие лица беллетристических произведений. А мужества нет в русских людях потому, что

нет у них привычки к участию в общественных делах. «Когда мы входим в общество, мы видим вокруг себя людей в форменных и неформенных сюртуках или фраках; эти люди имеют пять с половиной или шесть, а иные и больше футов роста; они отращивают или бреют волоса на щеках, верхней губе и бороде; и мы воображаем, что видим перед собой мужчин. Это совершенное заблуждение, оптический обман, галлюцинация, не больше. Без приобретения привычки к самобытному участию в гражданских делах, без приобретения чувств гражданина ребенок мужского пола, вырастая, делается существом мужского пола средних, а потом пожилых лет, но мужчиною он не становится, или, по крайней мере, не становится мужчиною благородного характера». «У людей развитых, образованных и *либеральных* недостаток благородного мужества бросается в глаза еще больше, чем у людей темных, потому что развитой и либеральный человек любит поговорить о материях важных. Он говорит с увлечением и красноречием, но лишь до тех пор, пока не начнется речь о переходе от слов к делу». «Пока о деле нет речи, а надобно только наполнить праздное время, праздную голову, или праздное сердце, разговорами и мечтами, герой очень боек; подходит дело к тому, чтобы прямо и точно выразить свои чувства — бóльшая часть героев начинает уже колебаться и чувствовать неповоротливость в языке. Немногие, самые храбрейшие, кое-как успевают еще собрать все свои силы и коснеющим языком выразить что-то, дающее смутное понятие о их мыслях. Но вздумай кто-нибудь схватиться за их желания, сказать: вы хотите того-то и того-то; мы очень рады; начинайте же действовать, а мы вас поддержим, — при такой реплике одна половина храбрейших героев падает в обморок, другие начинают очень грубо упрекать вас за то, что вы поставили их в неловкое положение, начинают говорить, что они не ожидали от вас таких предложений, что они совершенно теряют голову, не могут ничего сообразить, потому что, как это можно так скоро, и при том они же честные люди, и не только честные, но очень смирные, и не хотят подвергать вас неприятностям, и что вообще разве можно в самом деле хлопотать обо всем, о чем говорится от нечего делать, и что лучше всего—ни за что не приниматься, потому что все соединено с хлопотами и неудобствами, и хорошего ничего пока не может быть, потому что, как уже сказано, они никак не ждали и не ожидали и проч.».

Нам никогда не случалось читать такой злой и вместе до такой степени меткой характеристики российского либерализма. Что сказал бы Н. Г. Чернышевский тем немалочисленным у нас людям, которые, на-

зывая себя революционерами, возлагают все свои упования на либеральное «общество» и всеми правдами и неправдами стараются превратить нашу революционную партию в партию солидных и умеренных либералов? Ведь русские либералы мало изменились с того времени, когда «Современник» осыпал их своими сарказмами.

Для беспристрастия нужно, однако, прибавить, что наш автор относился презрительно не к одним только русским либералам. В превосходных политических обозрениях, которые он писал для «Современника» до самого конца своей жизни на свободе, наш автор постоянно обнаруживал самое беспощадное презрение ко всем вообще европейским либералам. В особенности доставалось либералам австрийским (т.-е. либеральной партии австрийских немцев), прусским и итальянским. В статьях по истории Франции, он, как известно, также не выказал большого уважения к либеральной партии. Все это, разумеется, не могло нравиться представителям российского либерализма, и они в борьбе с ним употребляли тот прием, к которому так часто прибегают либералы всех стран, в своих столкновениях с людьми, ушедшими дальше их в политике: они упрекали его в нелюбви к свободе и даже в симпатиях к деспотизму. Конечно, подобные упреки со стороны либералов могли только смешить Чернышевского. Он так мало боялся их, что временами как бы вызывал своих противников на новые упреки, делая вид, что признает их вполне справедливыми. «Для нас нет лучшей забавы, как либерализм, — говорит он в одном из последних своих политических обозрений,—так вот и подмывает нас отыскать где-нибудь либералов, чтобы потешиться над ними» [1]). И он начинает потешаться над прусскими либералами, которые, по его меткому замечанию, сердились на то, что политическая свобода в Пруссии «не водворяется сама собой» [2]).

Но такие «потехи» не мешали внимательному читателю понимать, что не недостатком любви к свободе вызывалось презрительное отношение Чернышевского к либерализму. Достаточно было прочесть хоть некоторые из его политических обозрений, чтобы увидеть, как горячо сочувствовал он всяким освободительным движениям, где бы они ни начинались: во Франции или в Италии, в Америке или в Венгрии. Он думал только, что роль либералов в таких движениях бывает обыкновенно очень некрасива. Сами они делают очень мало, часто даже тормо-

---

[1]) «Современник», 1862 г., март, Политика, стр. 188.

[2]) «Современник», 1862 г., апрель, Политика, стр. 357.

зят усилия других, нападая на людей более, чем они, смелых и решительных. Зато впоследствии, когда, благодаря усилиям этих решительных людей, борьба близится к концу и победа кажется несомненной, либералы стараются протискаться на первый план и полакомиться каштанами, вынутыми из огня руками «фанатиков». Кто не знает, что либералы всегда и всюду вели себя подобным образом? Кто не знает, что эти люди и в политике остаются такими же *эксплоататорами*, какими являются в области экономии, где они принадлежат обыкновенно к классу дельцов и предпринимателей? Вот за эти-то эксплоататорские наклонности и ненавидел их Чернышевский. И эта-то ненависть к *эксплоататорам* и сквозит на каждой странице его политических обозрений. Мы, с своей стороны, пожалеем не о том, что Чернышевский высказывался на этот счет ясно и определенно, а разве лишь о том, что после него никто из наших политических обозревателей не высказывался уже с такой ясностью и определенностью. Политические понятия нашей передовой журналистики вообще страшно спутались и измельчали в последние двадцать пять лет. Поэтому уж ни в одном русском журнале не было потом таких прекрасных политических обозрений, какие писал Чернышевский для «Современника». В этих обозрениях с особой силой сказывается его выдающийся ум и его трезвый взгляд на вещи. В них он почти никогда не отступает от того бесспорного положения, что «*ход истории определяется реальными отношениями сил*» [1]) и, исходя из него, делает точный анализ внутренних пружин современной ему политической жизни цивилизованных стран. Одно только замечание можно сделать по поводу обозрений Чернышевского. Ему случалось, конечно, ошибаться в тех или других своих политических предсказаниях: так, например, он не допускал, что междоусобная война в Северной Америке может затянуться надолго, и еще в начале 1862 г. писал, что эту войну можно считать уже окончившейся полной победой Севера. Но кто же не ошибается в предсказаниях подобного рода? В общем он все-таки обнаружил большую политическую проницательность и замечательно верно оценивал взаимные отношения различных государств и различных политических партий. Не предвидел и не предсказал он только той выдающейся политической роли, которую в самом близком будущем (со времени основания Международного Общества Рабочих в 1864 г.) предстояло взять на себя рабочему классу

[1]) Читатель помнит, вероятно, что Лассаль в своей речи «О сущности конституции» почти теми же самыми словами говорит об *отношениях сил* как о существенной основе политического устройства каждой данной страны.

во всех передовых странах. Этот *революционер по принципу*, утверждавший, что во внутренних делах каждой страны, как и между отдельными государствами, все важные споры решаются в конце концов войной [1]), не видел еще, до какой степени все революционные силы современных цивилизованных обществ соединяются в одном только рабочем классе. Он все еще слишком склонен был возлагать преувеличенные надежды на «лучших людей» из других классов общества. Здесь обычная проницательность его парализовалась неопределенностью его взгляда на пролетариат как на «*простонародье*».

Однако мы замечаем, что, заговорив об отношении нашего автора к либерализму и к либералам, мы уклонились далеко в сторону. Эта интересная тема заставила нас забыть о последовательности в изложении. Поспешим же загладить нашу ошибку.

И прежде всего, опять-таки в видах беспристрастия, скажем, что трусость русских либералов более бросалась в глаза только благодаря их склонности к возвышенным разглагольствованиям. На деле же реакционная «помещичья партия» не отличалась большею храбростью. Чернышевский не имел прямых сношений с нашими «аристократами». «Он никогда не принадлежал и к мелкому светскому обществу, не только к их высокому, важному. Но какой же город или городишко не гремел славою их подвигов? Он с детства знал, что это люди буйные, наглые» [2]). В эпоху освобождения крестьян было поставлено на карту все то, что эти люди считали своими важнейшими интересами. Они фрондировали и громко кричали: «Не позволим, не допустим!— не хотим, и не посмеют! — Пусть посмеют и увидят, что́ такое значит прогневить русское дворянство!». Но, едва правительство прикрикнуло на них, они тотчас же поджали хвост, — «присмирели, будто были разбиты параличем». Чернышевскому, «как демократу», было и смешно и приятно видеть такое превращение. Он не любил дворянства, но бывали минуты, когда он не имел вражды к нему. Можно ли ненавидеть жалких рабов? [3]).

VIII.

Так относился Чернышевский к различным сословиям и партиям современной ему России. И чем больше проникался он этим отрицатель-

[1]) «Современник», 1862 г., апрель, Политика, стр. 364.
[2]) Так говорит в «Прологе пролога» Чернышевский о Волгине.
[3]) «Пролог пролога», стр. 208, 209.

ным отношением, тем резче становился тон его статей, тем беспощаднее делались его насмешки, тем чаще бросался он в полемику. Полемизировать он вообще очень любил. По его словам, даже друзья его всегда замечали в нем чрезвычайную, «по их мнению даже излишнюю любовь к раз'яснению спорных вопросов горячею полемикой» [1]). Полемика всегда казалась ему очень удобным, а пожалуй, даже необходимым орудием для проведения в общество новых понятий. Тем не менее в начале своей литературной деятельности он как будто избегал полемики. «*Очерки Гоголевского периода русской литературы*» написаны спокойным и примирительным тоном. Только к Шевыреву, известному московскому критику времен Белинского, относится он с едкой иронией, да еще о Сенковском (бароне Брамбеусе) высказывается с презрительные сожалением, как о человеке, затратившем свои огромные силы на бесплодное литературное фиглярство. О других же писателях Гоголевской эпохи он отзывается большею частью с похвалою. Даже в литературной деятельности Погодина, — над которым так много смеялся кружок Белинского и которого Щедрин называл потом археологом-чревовещателем, — даже в деятельности Погодина находит он полезные и похвальные черты. О славянофилах же говорит он с неподдельным уважением. Несмотря на всех их, очевидные для него, заблуждения, он считает их искренними друзьями «просвещения» и горячо сочувствует их отношению к русской поземельной общине [2]).

---

[1]) Соч., т. V., стр. 472. В «Очерках Гоголевского периода» он оправдывает предшественника Белинского, Надеждина, от упреков, которые многие делали ему за его страсть к резкой полемике. «Зачем Надоумко (псевдоним Надеждина) говорил таким резким тоном? Разве не мог он высказать то же самое в мягких формах? Удивительное дело — наши литературные да и всякие другие понятия! Вечно предлагаются вопросы, почему земледелец пашет поле грубым железным плугом или сошником! Да чем же иначе можно вспахать плодородную, но тяжелую на под'ем почву? Ужели можно не понимать, что без войны не решается ни один важный вопрос, а война ведется огнем и мечом, а не дипломатическими фразами, которые уместны только тогда, когда цель борьбы, веденной оружием, достигнута? Беззаконно нападать только на безоружного и беззащитного, на старцев и калек, а поэты и литераторы, против которых выступил Надеждин, были не таковы...» («Современник», 1856 г., апрель, Критика, стр. 41—42).

[2]) «Понятие о преобладании «мира», общины, над отдельной личностью в древней Руси — одно из самых дорогих убеждений для славянофилов», — говорит он в третьей статье «Очерков». И это учение об отношении личности к обществу составляет, по его мнению, «здоровую часть их системы и вообще достойно всякого уважения по своей справедливости» (См. «Современник», 1856 г., февраль, Критика, стр. 80). За это же учение об общине он защищал иногда славянофильскую «Рус-

Но уже со времени споров об общинном землевладении он вынужден был покинуть этот спокойный, добродушный тон и выступить во всеоружии своего полемического таланта. Плохо пришлось тогда патентованным представителям либеральной экономии, в особенности редактору «Экономического Указателя» Вернадскому. Чернышевский положительно обессмертил этого «С. С.» (статского советника) и «Д-ра ист. н., пол. эк. и стат.» (т.-е. доктора исторических наук, политической экономии и статистики; так подписывался гордый своими дипломами Вернадский). Разбитый на-голову ученый не только бежал с поля битвы, но, к довершению комизма, начал уверять в своем уважении того самого Чернышевского, которого он в начале спора позволял себе третировать, как дерзкого невежду. Надо признаться, что едва ли возможно вести защиту какого бы то ни было дела искуснее, чем Чернышевский защищал общину. Он сказал в ее пользу решительно все, что можно было сказать, и, может быть, вышел бы победителем из спора даже в том случае, если бы его противники были во много раз сильнее, чем они оказались на деле. Если наша «интеллигенция» до сих пор так крепко держится за общину, то в этом сказывается неизгладимое влияние Чернышевского.

Мы уже видели, что наш автор очень рано перестал придавать значение наделению крестьян землею. Он стал видеть в нем источник будущего разорения крестьян. В *«Письмах без адреса»* он уже прямо доказывает, что освобожденные с землею крестьяне поставлены в худшее экономическое положение сравнительно с тем, в каком находились они, будучи в крепостной зависимости от помещиков. Поэтому мы вовсе могли бы не разбирать его доводов в пользу общины. Но так как им до сих пор придается у нас большое практическое значение, то мы считаем себя обязанными сделать краткую их оценку. — В своей защите русского общинного землевладения Чернышевский обнаруживает тот же самый недостаток, который характеризует все его экономические исследования. Он вдается в излишнюю *отвлеченность*. Он говорит в сущности не о русской общине с ее действительным положением и возможными условиями ее дальнейшего развития, а об общине an sich, существующей в теории и удовлетворяющей лишь известным требованиям относительно периодического передела земель. Но таким образом нельзя рассуждать ни об общине, ни о каких бы то ни было других формах

скую Беседу» от нападения со стороны других периодических изданий (См. «Заметки Чернышевского о журналах», март 1857 г., перепечатанные в пятом томе заграничного издания его Сочинений).

народного быта. В статье «Критика философских предубеждений против общинного землевладения» Чернышевский возражает своим противникам, ссылаясь на знаменитое учение Гегеля о том, что третья и конечная фаза в развитии всякого данного явления по своей форме похожа на первую. Народы начали с общинного землевладения, и они снова вернутся к нему в своем дальнейшем развитии. На это можно заметить, что Чернышевский пошел здесь гораздо дальше Гегеля. Гегель говорит о формальном сходстве третьей фазы развития с первой, но он не говорил о полном *тождестве* этих фаз. Чернышевский же как будто предполагает полное тождество. Следуя Гегелю, действительно можно предположить, что народы, начав с *общественной* собственности, возвратятся к ней впоследствии, но нельзя сказать, что народы возвратятся именно к тем формам общинного владения, с которых они начали свое развитие. А если можно ожидать этого, то зачем останавливаться на сельской общине с переделами? Надо предполагать в таком случае, что народы вернутся к первобытным родовым учреждениям, так как сама сельская община является их остатком и дальнейшим видоизменением. Но на такое предположение едва ли кто отважится в настоящее время. Ссылаясь на Гегеля, Чернышевский упустил из виду две важнейшие особенности Гегелевской философии. Во-первых, у Гегеля всякое развитие и в логике, и в природе, и в общественных отношениях — совершается само из себя, силой своей внутренней, «имманентной» диалектики. Чернышевскому следовало показать, что в русской общине есть именно та внутренняя логика отношений, которая со временем должна привести ее от общинного *владения* землею к общинной ее *обработке* и к общинному *пользованию* ее продуктами. Ведь именно в интересах такой формы общественной собственности и отстаивал он общинное землевладение: ему казалось, что община облегчит переход к ней. Но Чернышевский не сделал этого, так как, вообще, возлагая свои надежды главным образом на распространение знаний, он мало обращал внимания на ту *внутреннюю логику общественных отношений, под влиянием которой совершается развитие человечества.* А кроме того, Чернышевский забыл о всегдашнем внимании к действительности, которое, по его собственным словам, характеризовало Гегеля. Припомним, как он излагал взгляды Гегеля в «Очерках Гоголевского периода русской литературы»: «Отвлеченной истины нет, истина конкретна, т.-е. определительное суждение можно произносить только об определенном факте, рассмотрев все обстоятельства, от которых он зависит. Пагубна или плодотворна война? Вообще нельзя отвечать на это решительным

образом: надобно знать, о какой войне идет дело, все зависит от обстоятельств времени и места». Совершенно так же следовало рассуждать и об общине: хорошая или плохая вещь поземельная община? Вообще нельзя отвечать на это решительным образом: надобно знать, о какой общине идет дело; все зависит от обстоятельств времени и места. Но Чернышевский рассуждал не так. Он вдался в отвлеченность и таким образом совершенно изменил духу той самой философии, на которую ссылался в своей главной полемической статье [1]).

Справедливо считая частную собственность лишь промежуточной формой в развитии экономических отношений, Чернышевский сильно

---

[1]) Кажется, Чернышевский был против круговой поруки. Мы предполагаем это вот почему. В библиографической заметке о брошюре *Гача* «О настоящем быте мещан Саратовской губернии» он без всякой оговорки приводит то мнение разбираемого им автора, что круговая порука вредно отзывается на благосостоянии плательщиков. «Кто исправно платит, на того и накладывают больше»,—говорит Ган. Чернышевский, повидимому, совершенно с ним согласен (См. «Совр.», 1861 г., январь, Русская литература, стр. 64). Оставляя в стороне мещан, мы спросим, как же современное государство может без круговой поруки обеспечить себе исправный взнос податей крестьянами-общинниками? Если крестьянские участки составляют собственность общины и потому не могут быть отчуждаемы в случае податной несостоятельности отдельных домохозяев, то вся община должна отвечать за несостоятельность плательщиков. В этом случае круговая порука не только естественна, но и просто необходима. Наоборот, если земельные участки составляют собственность отдельных дворов, то круговая порука теряет всякое основание, но тогда приходится допустить отчуждаемость участков в случае несостоятельности домохозяев. Правда, теория допускает еще третий выход: говоря отвлеченно, можно уничтожить круговую поруку, а в то же время признать принадлежность земли общине и ее полную неотчуждаемость. Но как сделать это на практике? Как будет поступать государство с несостоятельными плательщиками? Продавать их движимость? Но ведь продажа движимости легко может повести и часто уже теперь ведет за собою полную невозможность для крестьянина обрабатывать доставшуюся ему в надел землю. Или, может быть, скот и все хозяйственные орудия также должны быть признаны неотчуждаемыми? Но много ли останется у среднего русского крестьянина подлежащей продаже движимости, если мы исключим из нее скот и хозяйственные орудия? Опыт показывает, что в таких случаях у крестьян остается одна только движимость: их собственное тело, которое и подвергается истязанию за недоимки. Но ведь истязание недоимщиков не может быть признано удовлетворительным решением вопроса, который необходимо должен быть разрешен, потому что государство, разумеется, не согласится лишить себя всяких гарантий исправного взноса податей. Напомним, однако, читателю, что в то время, когда Чернышевский считал еще нужным защищать общину, он надеялся, что они будут поставлены в довольно благоприятное экономическое положение, при котором вопрос о податях не был бы таким жгучим, каким он стал в настоящее время.

напирал на то обстоятельство, что, по мнению Гегеля, промежуточные фазы развития могут, при известных обстоятельствах, значительно сокращаться или даже вовсе не иметь места. За это в особенности ухватились впоследствии наши народники, все программы которых основывались именно на том предположении, что капитализм — эта промежуточная фаза в развитии человечества — не будет иметь места в России. Отвлеченно говоря, подобные сокращения промежуточных фаз вполне возможны. Но от возможности известного явления еще очень далеко до его действительности. Чтобы то или иное, возможное в теории, явление осуществилось в действительной жизни, нужны известные конкретные условия, другими словами, нужна достаточная для этого причина. В то время, когда Чернышевский отстаивал русское общинное землевладение, он мог считать причиной, достаточной для устранения «язвы пролетариатства», добрую волю русского правительства, которому, казалось, нетрудно было бы понять, что его собственная выгода зависит от благосостояния крестьянства. Но правительство не поняло этого, а потому и не было у нас достаточной причины для устранения «язвы пролетариатства» и связанной с ней фазы экономического развития. Чернышевский и сам, как мы знаем, очень скоро понял всю естественность подобного непонимания со стороны правительства. Он считал бесполезным защищать не только общинное землевладение, но и самый принцип наделения освобожденных крестьян землею. По его сильному, беспощадно резкому выражению, он «стал глуп в своих собственных глазах» и «стыдился той безвременной самоуверенности», с которой выступил на защиту общинного землевладения. Но того, чего стыдился Чернышевский, не стыдятся современные народники. Они и до сих пор толкуют о вековечных устоях народного быта и о сокращении в фазах развития,—сокращении, для которого они не указывают никакой причины, кроме своих собственных «идеалов». Но эта причина ни в каком случае не может быть признана достаточной. Зато мы можем без труда найти достаточную причину упорства наших народников. Она заключается между прочим в том пристрастии маленьких учеников к ошибкам великих учителей, о котором мы уже говорили выше. Впрочем, мы еще увидим, что сам Чернышевский совсем не так смотрел на русскую общину, как современные народники [1]).

---

[1]) Что касается сокращения известных фаз развития, то Чернышевский прекрасно понимал, что не всегда данная фаза, при своем сокращении, приводит к таким же результатам, к каким приводит она при бо́льшей продолжительности. В «Полемических красотах» (Соч., т. I, стр. 373) он указывает на сигары, которые

Начавшись с общинного землевладения, спор Чернышевского с нашими либеральными экономистами принял скоро более широкий теоретический характер и перешел к общим вопросам экономической политики. Верные догматам вульгарной экономии, под влиянием которой сложились все их воззрения, наши манчестерцы поспешили выдвинуть на сцену свою главную, научную твердыню: *принцип государственного невмешательства.* Они знали, что на этом принципе основывалось все учение Бастиа и его эпигонов, и наивно полагали, что сильнее Бастиа нет никого на свете. Разумеется, дело приняло такой оборот, что спор о невмешательстве государства в экономическую жизнь народа послужил поводом лишь для нового торжества Чернышевского. Хорошо знакомый с экономической и социалистической литературой, он без всяких усилий, шутя и посмеиваясь, в пух и прах разбивал всю бастиановскую премудрость. Его статья «*Экономическая деятельность и законодательство*» может считаться одним из самых ловких опровержений теории «laissez faire, laissez passer» не только в русской экономической литературе, где Чернышевский до сих пор занимает первое место, но и вообще в литературе европейского социализма. Наш автор пускает в ней в дело всю свою диалектическую силу и всю свою полемическую ловкость. Он как бы забавляется этой борьбой, в которой он с такой легкостью отражает удары противников. Он играет с ними, как кошка с мышью; делает им всевозможные уступки, выражает готовность согласиться с любым из их положений, принять любое толкование всякого данного положения, и уж только потом, давши им, повидимому, все шансы победы, поставив их в самые благоприятные для их торжества условия, — переходит в наступление и тремя-четырьмя силлогизмами приводит их к

приобретают особенно ценные для курильщика качества, подвергаясь медленному процессу высыхания и связанных с ним химических изменений. Но попробуйте сократить продолжительность этого процесса высыхания и сразу искусственно высушить свежие сигары. По словам нашего автора, хорошего в таких сигарах будет немного. Что же это значит? Это значит, что иной ход процесса ведет за собой иные химические результаты. Не то ли же и в общественной жизни? Нет ли основания думать, что более или менее продолжительный процесс капиталистического развития создает такие политические, умственные и нравственные качества трудящегося класса, каких мы вовсе не найдем в народе, не покидавшем в течение всей своей истории допотопных «устоев» своего быта. Нельзя ли опасаться, что такой народ откажется не только от промежуточных, но и от всяких других «фаз развития», и станет представлять к начальству людей, рекомендующих ему прямо перейти в последнюю фазу общественного прогресса? Как думают народники?

нелепости. Затем начинаются новые уступки, новые, еще более благоприятные истолкования того же положения и—новые доказательства его нелепости. А в конце статьи Чернышевский, по своему обыкновению, читает своим противникам назидание и дает им почувствовать, до какой степени они не имеют понятия не только о строгих приемах научного мышления, но и о самых первоначальных требованиях простого здравого смысла. Замечательно, что принцип государственного невмешательства, имевший у нас таких горячих сторонников в конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов, вскоре был почти совершенно оставлен русскими экономистами. Это в значительной степени об'ясняется как общим состоянием нашей промышленности и торговли, так и последующим влиянием на наших теоретиков немецкой катедер - социалистической школы. Но, несомненно, много значит в этом случае и то, что названный принцип уже при самом начале его распространения в русской литературе встретил такого могучего противника, как Н. Г. Чернышевский. Раз получивши хороший урок, русские манчестерцы почли благоразумным смолкнуть, стушеваться и сойти со сцены.

IX.

Не по одним только экономическим вопросам приходилось Чернышевскому вести ожесточенную полемику. И притом противниками его были не одни только либеральные экономисты. Чем влиятельнее становился кружок «Современника» в русской литературе, тем более нападок сыпалось с самых различных сторон и на этот кружок вообще, и на нашего автора в частности. Сотрудников «Современника» считали опасными людьми, готовыми ниспровергнуть все пресловутые «основы». Некоторые из «друзей Белинского», вначале еще считавшие возможным итти рядом с Чернышевским, и его единомышленники (между которыми первое место занимал Н. А. Добролюбов) отшатнулись от «Современника», как от органа «нигилистов», и стали кричать о том, что Белинский никогда бы не одобрил принятого им направления. Так поступил И. С. Тургенев [1]). Даже сам радикальный Герцен стал ворчать в своем «*Колоколе*» на «желчевиков» и «свистунов», которые отрицают

[1]) Чернышевский рассказывает, что Тургенев мог еще выносить его до некоторой степени, но зато уже окончательно не терпел Добролюбова. «Вы—простая змея, а Добролюбов—очковая», говорил он Чернышевскому (См. уже цитированное письмо «В из'явление признательности»).

ради отрицания, глумятся ради глумления и которым угодить будто бы решительно ничем не возможно. Читатель знает, конечно, что свистунами или, иначе, «рыцарями свистопляски» называли сотрудников «Современника» с тех пор, как при нем стал появляться, в виде особого приложения, «Свисток», занимавшийся беспощадным осмеянием всех литературных и общественных проявлений самодурства, фразерства, обскурантизма и педантизма. Впрочем, большинство статей в «Свистке» принадлежит не Чернышевскому; он только изредка принимал в нем участие, так как был буквально завален другой работой. В последние годы своей литературной деятельности он не только аккуратно писал для каждой книжки «Современника», но почти всегда, в каждой книжке, было по нескольку его статей. Обыкновенно статьи его распределялись по различным отделам журнала таким образом: он давал, во-первых, большую статью по какому-нибудь общему теоретическому вопросу; затем писал политическое обозрение, делал обзор русской, а иногда иностранной литературы, разбирал несколько новых книг, и, наконец, как бы для отдыха и развлечения, охотно предпринимал еще полемические вылазки против своих противников. «Современник» 1861 года особенно богат полемическими статьями Чернышевского. К этому году относятся его известные «Полемические красоты», «Национальная бестактность» (против львовского «Слова»), «Народная бестолковость» (против аксаковского «Дня») и многие полемические заметки в отделе русской и иностранной литературы. На некоторых из этих полемических статей необходимо остановиться.

О «Полемических красотах» мы много говорить не будем. Статьи эти составляют ответ на нападки «Русского Вестника» и «Отечественных Записок». Для историка нашей литературы, конечно, очень интересно будет припомнить, с какими доводами выступали враги «Современника»; для характеристики же Чернышевского нет надобности подробно рассказывать, какие странные и часто решительно ни с чем не сообразные упреки делали ему Катков, Альбертини или Дудышкин. Но в статье, направленной против «Русского Вестника», наш автор высказывает, между прочим, чрезвычайно интересный взгляд на свою собственную литературную деятельность. Мы приведем его здесь. Чернышевский прекрасно знает, что занял в русской литературе выдающееся место. Его противники очень боятся его и временами начинают даже говорить ему комплименты. Но его ни мало не радует его возрастающая известность. Он слишком низко ставит русскую литературу, чтобы считать почетным занимаемое им в ней выдающееся место. Он «совершенно мертв к своей

литературной репутации». Его интересует только один вопрос: сумеет ли он сохранить свежесть мысли и чувства до той лучшей поры, когда литература наша станет действительно полезной обществу. «Я знаю, что будут лучшие времена литературной деятельности, когда будет она приносить обществу действительную пользу, и будет действительно заслуживать доброе имя тот, у кого есть силы. И вот я думаю: сохранится ли у меня к тому времени способность служить обществу как следует! Для этого нужна свежесть сил, свежесть убеждения. А я вижу, что уже начинаю входить в число «уважаемых» писателей, то-есть писателей истаскавшихся, отстающих от движения общественных потребностей. Это горько. Но что делать? Лета берут свое. Дважды молод не будешь. Я могу только чувствовать зависть к людям, которые моложе и смелее меня». Странно встречаться теперь с этими благородными опасениями нам, знающим, что, когда Чернышевский высказывал их, ему оставалось жить на свободе не более года. Приведенные строки были напечатаны в июльской книжке «Современника» за 1861 год, а в июле следующего года он сидел уже в Петропавловской крепости... Но можно представить себе, с каким презрением относился к своим врагам этот человек, который при полном сознании своего огромного превосходства над ними все-таки не придавал цены даже и своим собственным литературным заслугам. И действительно, почти каждая страница «Полемических красот» дышит холодным презрением к порицателям «Современника». Им отличается в особенности ответ «Отечественным Запискам». Чернышевский нисколько не сердится на своих оппонентов из «Отечественных Записок». Он поучает их почти ласково, как поучает добрый педагог провинившегося школьника. Конечно, добрый педагог, журя своего питомца, говорит ему подчас очень горькие истины и нимало не скрывает своего умственного превосходства над ним. Но он делает это единственно в интересах питомца. Так поступает и Чернышевский. Он не забывает ни одной ошибки, ни одного промаха «Отечественных Записок» и отечески журит редакцию за неловкость. Он досадует на них больше всего за ту неосторожную горячность, с какой они кинулись в борьбу с ним. Куда же вам со мной полемизировать, повторяет он им, показавши полнейшую несостоятельность того или другого из возводимых ими на него обвинений. При случае он прямо говорит, что знает гораздо больше и понимает вещи гораздо глубже их, что они просто не в состоянии оценить тех новых идей, которые он проводит в литературе. «Вы хотите знать, как обширны мои знания? — обращается он к Дудышкину, обвинявшему его, со слов

других журналов, в нахальном невежестве.—На это могу отвечать вам только одно: несравненно обширнее ваших. Да это вы и сами знаете. Так зачем же вы добивались получить печатно такой ответ? Нерассудительно, нерассудительно вы подводили себя под него. Да вы, пожалуйста, не примите этого за гордость: есть чем тут гордиться, что знаешь гораздо больше, нежели вы! И опять-таки не примите этого так, что я хочу сказать, будто вы имеете слишком мало знаний. Нет, ничего-таки: кое-что знаете, и вообще вы человек образованный. Только зачем же вы так плохо полемизируете?»—и т. д. Все это было может быть слишком резко, если бы не было безусловно справедливо.

Не щадит теперь Чернышевский и славянофилов, о которых прежде отзывался с уважением. Теперь они уже не кажутся ему искренними друзьями просвещения. Тенденции славянофилов настолько уже выяснились к началу шестидесятых годов, что их скорее можно было назвать обскурантами. Конечно, они по-прежнему защищали общину и отстаивали крестьянское землевладение. Но теперь Чернышевский уже не придавал этому значения. А кроме защиты названных принципов в тогдашней славянофильской литературе были только нелепые выходки против гниющего и лукавого Запада, да приторные восхваления православия, самодержавия и прочих, подобных этому, прелестей самобытной российской действительности. И вот Чернышевский решается дать им урок. Поводом к этому послужило появление газеты И. Аксакова «День», в первых №№ которой было несколько выходок против «Современника». Чернышевский отвечал в статье «*Народная бестолковость*». Грубость выбранного им заглавия он об'ясняет тем, что, проникшись славянофильскими доводами, он решился избегать употребления иностранных слов, которые могли бы, не изменяя названия статьи по существу, придать ему более вежливую форму.

Чернышевский всегда был самым горячим западником. И если сочувствие к общинному землевладению на время и до известной степени сблизило его со славянофилами, то он, тем не менее, всегда прекрасно понимал нелепость их толков о разложении Запада и об обновлении человечества посредством византийских преданий. Уже в «Очерках Гоголевского периода» высказался он на этот счет хотя и мягко, но очень решительно. Источник мнений славянофильских писателей о гниении Запада и о банкротстве его философии он видит в том, что даже лучшие из них незнакомы с истинным положением западно-европейских дел и с направлением передовой западно-европейской мысли. Для Чернышевского Запад не хилый старик; напротив, это—юноша, и юноша

бодрый и свежий, «который (устами своих передовых мыслителей) говорит: кое-что я знаю, но очень многому мне еще остается учиться, я еще горю жаждой большего знания и учусь довольно успешно... Мне еще остается много трудиться, чтобы обеспечить себе прочное, безбедное существование; но трудиться я готов, сил у меня довольно, и, пожалуйста, не отчаивайтесь за мое будущее» [1]). По вопросу о будущности европейского Запада Чернышевский сильно расходился не только со славянофилами,—что понятно само собой,—но даже и с Герценом, для которого не прошли бесследно его сношения с московским славянофильским кружком сороковых годов и который нередко высказывал то опасение, что Запад, додумавшись до социализма, уже не в силах будет осуществить его программу, как древний Рим не в силах, будто бы, был осуществить требований христианства. Само собою разумеется, что ввиду этой мнимой несостоятельности Запада Россия представлялась обетованной страной социализма, призванной к обновлению одряхлевшего человечества. По всей вероятности, именно против этого взгляда Герцена направлена уже цитированная нами статья Чернышевского «*О причинах падения Рима*». Автор прямо говорит в ней, что с такими «чудаками», как славянофилы, о судьбах Запада не стоит уже и спорить, и что он берется за перо, имея в виду других людей, обладающих человеческим смыслом. Этим-то людям со смыслом он и доказывает, что Западная Европа ни в каком случае не могла истощить своих сил, так как ее историческая судьба до самого новейшего времени определялась деятельностью одного только сословия: аристократии. Даже среднее сословие сделалось господствующим на материке Европы лишь в ближайшую к нам эпоху. А за средним сословием стоит еще низший класс, не имевший до сих пор прямого влияния на судьбы Европы. На каком основании думают, спрашивает Чернышевский, что это новое сословие, в свою очередь выступив на историческую арену, не сумеет решить тех общественных задач, которых не могли решить высшие сословия? Думать так нет решительно никакого основания, а, следовательно, нет основания и для опасения за судьбу Запада. Бояться же нового пришествия варваров просто смешно ввиду огромного превосходства сил цивилизованного мира. Наконец, что касается России и ее мнимого призвания к обновлению человечества, то Чернышевский беспощадно разоблачает неосновательность подобного патриотического самообольщения. Единственной достойной сочувствия осо-

[1]) «Современник» 1856 г., февраль, Критика, стр. 75.

бенностью нашего социального быта он признает общинное землевладение. Но и общинное землевладение не находит пощады перед его критикой. Община могла бы, по мнению Чернышевского, принести свою долю пользы в дальнейшем развитии России; однако гордиться ею все-таки нельзя, потому что она есть признак нашей экономической отсталости. Любя пояснять всякую свою мысль примерами, Чернышевский и здесь приводит пример для пояснения своего взгляда на русскую общину. Европейские инженеры, говорит он, пользуются теперь прикладной механикой для постройки висячих мостов. Но вот оказывается, что в какой-то, он сам хорошенько не помнит в какой, отсталой азиатской стране туземные инженеры давно уже строили висячие мосты в подходящих для этого местностях. Значит ли это, что азиатскую прикладную механику можно поставить на один уровень с европейской? Мост мосту — рознь, и висячий мост азиатских инженеров бесконечно далеко отстоит от европейского висячего моста. Конечно, когда в азиатской стране, издавна знакомой с висячими мостами, явятся европейские техники, то им легче будет убедить иного мандарина в том, что новейшие висячие мосты не представляют собою безбожной затеи. Но и только. Несмотря на свои висячие мосты, азиатская страна все-таки останется отсталой страной, а Европа все-таки будет ее учительницей. То же с русской общиной. Она, может быть, облегчит дело развития нашей родины; но главный толчок для него все-таки придет с Запада, и обновлять человечество нам, даже с помощью общины, все-таки не пристало.

Однако «чудаки» славянофилы не только кричали об обновлении Европы русско-византийским духом, но и выставляли практическую программу подобного обновления. По мнению «Дня» И. Аксакова, Россия должна была начать с преподнесения славянам «дара самостоятельного бытия под сению крыл русского орла». Чернышевский доказывает, что подобные мысли представляют собою не более как продукт «народной бестолковости». Во-первых, ему кажется, что у могущественного русского орла очень много своих домашних русских дел, которых он не должен забывать ни для каких обновлений. «Если вы хотите войны,—говорит он,—то рассудите же, дозволяют ли нам думать о войне наши обстоятельства». Во-вторых, он полагает, что наше военное вмешательство вооружило бы против освобождения славян все западные державы: «Ведь турок в Европе только 2 миллиона, а славян 7 или 8 милл. Неужели не могли бы они справиться с турками?.. Им нужна только уверенность, что другие державы не станут

мешать их освобождению». Если бы славянофилы действительно желали добра турецким славянам, то они постарались бы внушить западным державам уверенность, что падение турецкой власти в Европе не послужит к поглощению Дунайских княжеств Россией и не поведет к обращению Константинополя в русский губернский город. Если бы славянофилы сделали это, то турецкие славяне освободились бы и без нашей помощи. То же и относительно австрийских славян. «Неужели было бы мило немцам поддерживать Австрию, если бы не опасались они, что при падении этой империи восточная половина ее подпадет под власть России?» Вы восстанавливаете немцев против освобождения австрийских славян, говорит Чернышевский редакции «Дня» и прибавляет, что ее военный задор вызывается не сочувствием к славянам, а стремлением подчинить славянские племена русской власти.

Мимоходом Чернышевский опровергает также и славянофильские разглагольствования о коварном и злостном отношении Запада к России. Помилуйте, говорит он, разве все серьезные органы европейской печати не относились с большим сочувствием к важнейшим реформам в России? И разве сочувствовать успехам русской общественной жизни значит желать зла России?

В следующем году Чернышевскому пришлось еще резче выступить против славянофилов. Корифеи славянофильства возымели странную мысль обратиться к сербам с целым рядом наивнейших поучений. Поучения эти содержатся в брошюре «К Сербам. Послание из Москвы», под которой подписались решительно все выдающиеся представители славянофильской партии. Некоторые из содержащихся в этой брошюре мыслей просто смешны, другие же не только смешны, но еще и до-нельзя реакционны. Так, например, славянофилы советовали сербам не давать политических прав людям неправославного вероисповедания. Чернышевский отвечал на это «Послание» едкой статьей «*Самозванные старейшины*».

К спорам об отношении России к славянам вообще примешался спор о взаимных отношениях некоторых славянских племен. Известно, что славянофилы очень одобрительно относились к борьбе галицийских русинов против поляков. Чернышевский всегда сочувствовал малороссам. Он видел большую ошибку в отрицательном отношении Белинского к возникавшей малорусской литературе. В январской книжке «Современника» 1861 г. он поместил очень сочувственную статью по поводу появления малорусского органа «*Основа*». Но к борьбе гали-

цийских русинов против поляков он не мог относиться с безусловным одобрением. Ему не нравилось, во-первых, что русины искали поддержки у венского правительства. Не нравилась ему также и влиятельная роль духовенства в движении галицийских русинов. «О мирских делах,—писал он,—надобно заботиться мирским людям». Наконец, не нравилась Чернышевскому и исключительно *национальная* постановка того вопроса, в котором Чернышевский видел прежде всего вопрос *экономический*. В статье «*Национальная бестактность*» («Совр.», 1861, июль), направленной против львовского «Слова», Чернышевский резко напал на излишний национализм этого органа. «Очень может быть, что при точнейшем рассмотрении живых отношений, — писал он, — львовское «Слово» увидело бы в основании дела вопрос, совершенно чуждый племенному вопросу,—вопрос сословный. Очень может быть, что оно увидело бы и на той и на другой стороне и русинов и поляков, — людей разного племени, но одинакового общественного положения. Мы не полагаем, чтобы польский мужик был враждебен облегчению повинностей и вообще быта русских поселян. Мы не полагаем, чтобы чувства землевладельцев русинского племени по этому делу много отличались от чувств польских землевладельцев. Если мы не ошибаемся, корень галицийского вопроса заключается в сословных, а не в племенных отношениях».

Взаимная вражда народностей, входящих в состав Австрии, тем более должна была казаться Чернышевскому бестактною, что венское правительство тогда, как и прежде, извлекало из нее большие выгоды. «Как подумаешь хорошенько, то и не удивляешься долголетнему существованию Австрийской империи,—писал он в политическом обозрении той же книжки «Современника», где помещена статья «Национальная бестактность», — еще бы не держаться ей при таком отличном политическом такте связанных ее границами национальностей». Австрийские немцы, чехи, кроаты и, как мы видели, русины одинаково казались Чернышевскому «несообразительными». Он боялся, что в особенности испытания в 1848 — 1849 г.г. славянская «несообразительность» снова зайдет очень далеко. В начале шестидесятых годов Венгрия вела упорную борьбу с венскими реакционными централистами. Недовольство венгров дошло до такой степени, что одно время можно было ожидать в их стране революционного взрыва. Наш автор не раз высказывал в своих политических обозрениях то опасение, что в случае революционного движения в Венгрии австрийские славяне опять явятся покорными орудиями реакции. Тогдашняя тактика многих сла-

вянских племен Австрии способна была только усилить подобные опасения, так как австрийские славяне позволяли себе хвалиться тою позорною ролью, какую они играли в событиях 1848—1849 г.г. Строго осуждая эту тактику, Чернышевский доказывал, что им выгоднее было бы, наоборот, поддерживать врагов венского правительства, от которых они могли бы получить очень существенные уступки. Это говорил он по поводу отношения кроатов к венграм, это же повторял и русинам. «Сословная партия, враждебная русинам,—читаем мы в статье «Национальная бестактность»,—готова теперь на уступки... Вот об этом-то и не мешало бы подумать львовскому «Слову»; быть может, уступки, на которые искренно готовы люди, кажущиеся ему врагами, может быть, эти уступки так велики, что совершенно удовлетворили бы русинских поселян, а во всяком случае несомненно то, что эти уступки гораздо больше и гораздо важнее всего, что могут получить русинские поселяне от австрийцев».

Наконец, в то время, когда Чернышевский полемизировал против «Слова», в русской Польше также происходило сильное политическое движение, к которому он относился с большим сочувствием. И уже по этому одному выходки русских подданных Габсбургского дома против поляков не могли казаться ему тактичными и своевременными.

Ветви революционной польской организации существовали и в Петербурге, где почти безвыездно жил Чернышевский. Стоял ли он в каких-нибудь определенных, формальных отношениях к польским революционерам? На это нет пока никаких указаний. Очень может быть, что раз'яснению этого вопроса в состоянии были бы способствовать польские историки той эпохи. От русской литературы ждать ничего нельзя по весьма понятным причинам. Со временем скажет, вероятно, кое-что «Русская Старина», но это будет еще не скоро. Не желая пускаться в догадки, мы ограничимся только теми данными для уяснения общих симпатий Чернышевского к польскому делу, какие можно извлечь из его сочинений. Но и таких данных не много.

Мы могли бы совсем не касаться здесь романа «Пролог пролога». Там изображаются дружеские отношения Волгина (Чернышевского) к Соколовскому (Сераковскому). Волгину нравится беззаветная преданность Соколовского своим убеждениям, отсутствие в нем себялюбивой мелочности, умение владеть собою, соединенное с страстной горячностью истинного агитатора. Волгин называет его *настоящим человеком* и думает, что наши либералы могли бы многому у него поучиться. Все это очень интересно, но нимало не раз'ясняет прак-

тических отношений Чернышевского к польскому делу, о котором в романе нет ни слова. Из статей нашего автора, печатавшихся в подцензурном «Современнике», можно видеть только то, что он при случае всегда высказывался в защиту Польши. Он защищает от нападок официальных русских писателей даже старинный польский государственный строй, которому он, при своих демократических взглядах, не мог сильно сочувствовать. Но он хвалит в нем такие стороны общественных отношений, которым не придавал цены в своих более ранних статьях. Как мы уже знаем, в статье «Борьба партий во Франции» он обнаружил совершенное равнодушие к политическим формам. Когда он писал эту статью (в 1858 г.), ему казалось, что демократ не может помириться *только с одной аристократией* и что, несмотря на политическую свободу Англии, демократ должен предпочесть ей Сибирь, где «простонародье» живет будто бы лучше, чем в Англии. Теперь Чернышевский совсем иначе смотрит на вопросы политического устройства. Старинный быт Польши привлекает его политической свободой. «В польском отсутствии бюрократической централизации, — говорит он, разбирая только что вышедшую тогда вторую часть «*Архива юго-западной России*»,—лежит стремление к осуществлению иного порядка общества, чем тот, к которому доходили иные державы (тут, конечно, имеется в виду Московское государство),—порядка, основанного не на принесении личности в жертву отвлеченной идее государства, воплощаемой волею власти, а на соглашении свободных личностей для взаимного благополучия... Тут общественное дело есть результат общественной мысли; тут вечная борьба понятий и убеждений переходит из области размышления и слова прямо в проявления жизни». Положим, что польское общество было совершенно аристократично, «но круг привилегированный мог расширяться более и более и обнять заброшенную, отверженную, лишенную всяких прав массу народа, если бы понятия о гражданственности сделались шире и возросли бы до общечеловеческих идей, не связуемых временными, ограничивающими их полноту предрассудками» [1]). До таких увлечений в защите старого быта Польши не всегда доходили и польские демократы. Ведь весь вопрос сводился именно к тому, каким образом можно было привести польских магнатов к признанию «общечеловеческих идей».

По вопросу об исторических результатах соединения Великого Княжества Литовского с Польшей, Чернышевский также очень сильно

[1]) Совр., 1861 г., апрель, Новые книги, стр. 443 и след.

расходится с нашими официальными историками. «Неужели состояние Руси во времена Ольгердов, Любартов, Скиригайлов, Свидригайлов было лучше, чем при Сигизмундах в XVI и в XVII веках»—восклицает он в ответ историкам, которые соединение с Польшею выставляли единственной причиной всего дурного в Западной России.—«Пора перестать нам быть односторонними, быть несправедливыми к Польше,—продолжает он,—признаем по крайней мере благотворность ее влияния на Русь, хоть по отношению к просвещению. Возьмем степень умственного образования в тех частях русского мира, который соединился с Польшею, и сравним ее с тем, что в этом отношении было в той части нашего общерусского отечества, которая оставалась самобытной — в форме Московского государства. Не из Малороссии ли пошло просвещение в Москву XVII века, и не оно ли приготовило все последующее наше образование? И не под влиянием ли Польши оно возросло в Малороссии?»

В ополячении западной России виноваты, по мнению Чернышевского, также не поляки. Высший класс в западной России имел и права и средства отстоять свою веру и свой язык и спасти от унижения свой народ, впрочем, им же самим порабощенный. Если западно-русская аристократия, тем не менее, совершенно ополячилась, то винить в этом нужно ее и только ее. «Сами не умели себя сохранить,—нечего на других взваливать свою вину»,—замечает наш автор.

X.

Революционное настроение польского общества совпало с сильным возбуждением крайней партии в России. Волновалась учащаяся молодежь, возникали тайные общества, печатавшие революционные программы и прокламации, ждали восстания недовольного «не настоящей волей» крестьянства. Мы видели, что Чернышевский сам верил в возможность подобного восстания; по вопросу об его отношениях к тогдашним тайным обществам в России мы, к сожалению, знаем так же мало, как и об отношениях его к польским организациям. Здесь мы также можем говорить лишь о настроении Чернышевского, выражавшемся полусловами и намеками в его статьях, напечатанных в «Современнике». Настроение это, несомненно, становилось все более и более революционным. Чернышевский, находивший когда-то возможным и полезным раз'яснять правительству его собственные выгоды в деле

крестьянского освобождения, теперь уже и не думает обращаться к правительству. Всякие сделки с ним, всякие расчеты на него справедливо кажутся ему вреднейшим самообольщением. В статье *«Русский реформатор»*, написанной по поводу выхода книги барона М. Корфа *«Жизнь графа Сперанского»*, Чернышевский подробно доказывает, что никакой реформатор в деле серьезных общественных реформ не может рассчитывать у нас на правительство. Тем менее могут рассчитывать на него революционеры. Враги называли Сперанского революционером, но такой отзыв о нем кажется Чернышевскому смешным. У Сперанского были действительно очень широкие планы преобразований, но «смешно называть Сперанского революционером по размеру средств, какими он думал пользоваться для исполнения своих проектов». Он держался исключительно только тем, что успел приобресть доверие императора Александра. Опираясь на это доверие, он и думал совершить свои реформы. И именно поэтому он казался Чернышевскому вредным мечтателем. Мечтатели часто бывают просто смешны, а их самообольщения мелочны, но они «могут быть вредны обществу, когда обольщаются в серьезных делах. В своей восторженной хлопотливости на ложном пути, они как будто добиваются некоторого успеха и тем сбивают с толку многих, заимствующих из этого мнимого успеха мысль итти тем же ложным путем. С этой стороны деятельность Сперанского можно назвать вредною» [1]).

Намекая молодежи на необходимость революционного способа действий, Чернышевский в то же время об'яснял ей, что революционеру, ради достижения его целей, часто приходится становиться в такие положения, до каких никогда не может допустить себя честный человек, преследующий чисто личные задачи. Так, еще в январе 1861 г. Чернышевский, разбирая одну книгу американского экономиста Кэри, неожиданно переходит к рассуждениям об известной еврейской героине Юдифи и горячо оправдывает ее поступок. «Исторический путь не тротуар Невского проспекта, — замечает наш автор, — он идет целиком через поля то пыльные, то грязные, то через болота, то через дебри. Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность: она занятие, благотворное для людей, когда вы думаете действительно о пользе людей, но занятие не совсем опрятное. Правда, впрочем, что нравственную чистоту можно понимать различно: иному, может быть, кажется,

---

[1]) «Современник», 1861 г., октябрь, Русская литература, стр. 249—250.

что, напр., Юдифь не запятнала себя... Расширьте круг ваших соображений, и у вас по многим частным вопросам явятся обязанности, различные от тех, какие следовали бы из изолированного постановления тех же вопрсоов».

По отношению к русскому правительству тон Чернышевского становится все более и более вызывающим. В начале шестидесятых годов правительство решило несколько ослабить цензурные стеснения. Решено было написать новый цензурный устав, и печати позволили высказаться по вопросу об ее собственном обуздании. Чернышевский не замедлил выяснить свое мнение на этот счет,—мнение, сильно расходившееся с обычным либеральным взглядом. Правда, Чернышевский сам едко смеется над теми людьми, которые полагают, что типографский станок имеет какую-то специфическую силу вроде белладоны, серной кислоты, гремучего серебра и т. п. «Наше личное мнение не расположено к ожиданию не натурально-вредоносных результатов от предметов и действий, в которых нет силы производить такие бедствия. Мы думаем, что для произведения общественных бед типографский станок слишком слаб. Ведь нет на нем столько чернил, чтобы, прорвавшись как-нибудь, затопили они страну, и нет в нем таких пружин, чтобы, сорвавшись как-нибудь и хлопнув по литерам, стрельнули они ими, как картечью». Однако Чернышевский признает, что бывают такие эпохи, когда печать может оказаться опасною для правительства данной страны не менее картечи. Это именно такие эпохи, когда интересы правительства *расходятся с интересами общества* и приближается революционный взрыв. Находясь в подобном положении, правительство имеет все основания стеснять печать, потому что печать наравне с другими общественными силами готовит его падение. В таком положении постоянно находились почти все часто сменявшиеся французские правительства нынешнего века. Все это очень обстоятельно и спокойно изложено Чернышевским. О русском правительстве до самого конца статьи нет и речи. Но в заключение Чернышевский неожиданно спрашивает читателя.—«А что если бы оказалось, что законы о печати действительно нужны у нас? Тогда мы вновь заслужили бы имя обскурантов, врагов прогресса, ненавистников свободы, панегиристов деспотизма и т. д., как уже много раз подвергали себя такому нареканию». Поэтому он и не хочет исследовать вопроса о надобности или ненадобности специальных законов о печати у нас. «Мы опасаемся, — говорит он, — что добросовестное исследование привело бы нас к

ответу: да, они нужны»[1]). Вывод ясен: нужны потому, что Россия вступила в революционный период своего развития.

В той же мартовской книжке «Современника», в которой была напечатана цитированная статья, появилась также полемическая заметка: «*Научились ли?*» по поводу известных студенческих беспорядков 1861 года. Чернышевский защищает в ней студентов от упрека в нежелании учиться, который делали им наши «охранители», и по пути высказывает также много горьких истин правительству. Ближайшим поводом к этой полемике послужила статья неизвестного автора в «С.-Петербургских Академических Ведомостях» под заглавием: «*Учиться или не учиться?*». Чернышевский отвечает, что по отношению к студентам такой вопрос не имеет смысла, так как они всегда хотели учиться, но им мешали стеснительные университетские правила. Студентов, — людей, находящихся в том возрасте, когда по нашим законам мужчина может жениться, принимается на государственную службу и «может быть командиром военного отряда», — университетские правила хотели поставить в положение маленьких ребят. Неудивительно, что они протестовали. Им запрещали даже такие совершенно безвредные организации, как товарищества взаимной помощи, безусловно необходимые при материальной необеспеченности большинства учащихся. Студенты не могли не восстать против таких порядков, так как тут дело шло о «куске хлеба и о возможности слушать лекции. Этот хлеб, эта возможность отнимались». Чернышевский прямо заявляет, что составители университетских правил именно хотели отнять возможность учиться у большинства людей, поступающих в студенты университета. «Если автор статьи или его единомышленники считают нужным доказать, что эта цель нисколько не имелась в виду при составлении правил, пусть они напечатают документы, относящиеся к тем совещаниям, из которых произошли правила».

Безыменный автор статьи «Учиться или не учиться?» направил свой упрек в нежелании учиться не только против студентов, но и против всего русского общества. Этим и воспользовался Чернышевский, чтобы свести спор о беспорядках в университете на более общую почву. Противник его допускал, что существуют некоторые признаки желания русского общества учиться. Доказательством этому служили, по его мнению, «сотни» возникающих у нас новых журналов, «десятки» воскресных школ. «*Сотни* новых журналов, да где же это автор насчи-

[1]) «Совр.», 1862 г., март, статья: «Французские законы по делам печати».

тал сотни?—восклицает Чернышевский.—А нужны были бы действительно сотни. И хочет ли автор знать, почему не основываются сотни новых журналов, как было бы нужно? Потому, что по нашим цензурным условиям невозможно существовать сколько-нибудь живому периодическому изданию нигде, кроме нескольких больших городов. Каждому богатому торговому городу было бы нужно иметь несколько хотя маленьких газет; в каждой губернии нужно было бы издаваться нескольким местным листкам. Их нет, потому что им нельзя быть... *Десятки воскресных школ...* Вот это не преувеличено, не то что *сотни новых журналов:* воскресные школы в империи, имеющей более 60 миллионов населения, действительно считаются только десятками. А их нужны были бы десятки тысяч, и скоро могли бы точно устроиться десятки тысяч, и теперь же существовать, по крайней мере, много тысяч. Отчего же их только десятки? Оттого, что они подозреваются, стесняются пеленаются, так что у самых преданных делу преподавания в них людей отбивается охота преподавать».

Сославшись на существование «сотен» новых журналов и «десятков» воскресных школ, как на кажущиеся признаки желания общества учиться, автор разобранной Чернышевским статьи поспешил прибавить, что признаки эти обманчивы. «Послушаешь крики на улицах,—меланхолически повествовал он, — скажут, что вот там-то случилось то-то, и поневоле повесишь голову и разочаруешься...» «Позвольте, г. автор статьи,—возражает Чернышевский,—какие крики слышите вы на улицах? Крики городовых и квартальных,—эти крики и мы слышим. Про них ли вы говорите? *Скажут, что вот там-то случилось то-то...*— что же такое, например? Там случилось воровство, здесь превышена власть, там сделано притеснение слабому, здесь оказано потворство сильному,—об этом беспрестанно говорят. От этих криков, слышных всем, и от этих ежедневных разговоров, в самом деле, поневоле повесишь голову и разочаруешься...»

Обвинитель студентов нападал на их мнимую нетерпимость к чужим мнениям, на то, что они в своих протестах прибегают к свисткам, моченым яблокам и тому подобным «уличным орудиям». Чернышевский возражает ему, что «свистки и моченые яблоки употребляются не как уличные орудия: уличными орудиями служат штыки, приклады, палаши». Он предлагает своему противнику вспомнить, «студентами ли употребляются эти уличные орудии против кого-нибудь, или употреблялись они против студентов... и была ли нужда употреблять их против студентов».

Понятно, какое впечатление должны были производить подобные статьи Чернышевского на русское студенчество. Когда впоследствии студенческие беспорядки повторились в конце шестидесятых годов, то статейка «Научились ли?» читалась на сходках студентов, как лучшая защита их справедливых требований. Понятно также, как должны были встречать подобные вызывающие статьи наши предержащие власти. «Опасное» влияние великого писателя на учащуюся молодежь все более и более становилось для них несомненным.

Кроме текущей журнальной работы, Чернышевский усердно занимался также пропагандой основных теоретических положений своего миросозерцания. Полемика с тогдашними представителями русской вульгарной экономии показало ему, как ничтожен запас экономических сведений в русском образованном обществе. Он решился пополнить этот пробел и принялся за перевод и толкование Милля. Длинный ряд его экономических статей печатался в продолжение двух лет (1860—1861) на страницах «Современника». Мы уже высказали свой взгляд на свойственные Чернышевскому метод и приемы экономического исследования. Во второй статье, которая будет специально посвящена этому предмету, мы сделаем подробный разбор экономического учения нашего автора. Поэтому теперь мы ограничимся только следующим замечанием. Выбора книги Милля, как пособия для распространения в русской читающей публике правильных политико-экономических воззрений, никак нельзя признать удачным. Экономические взгляды Милля так неясны и непоследовательны, что в голове читателя никак не могло остаться ясных экономических понятий, несмотря на все поправки и дополнения, сделанные Чернышевским. Временами на самом Чернышевском заметно отражается влияние свойственного Миллю «синкретизма». Торопясь перейти к критике существующих общественных отношений с точки зрения здравой «теории», Чернышевский пропускает без разбора такие взгляды Милля, которых и тогдашняя наука далеко не могла признать правильными. Местами кажется, что и сам Чернышевский разделяет эти ошибочные понятия. Впрочем, теперь мы не станем пускаться в подробности.

Чернышевский мог бы найти в тогдашней западно-европейской экономической литературе писателей, гораздо более достойных серьезного внимания. По вопросу об отношениях труда к капиталу Родбертус является настоящим гигантом в сравнении с Миллем. По другим отделам полезнее было бы перевести, снабдив ее примечаниями и дополнениями, книгу Рикардо. У Рикардо есть чему поучиться даже сведущему чи-

тателю, между тем как даже сведущий читатель может сбиться с толку под влиянием Милля. Вредное влияние на нашу читающую публику этого человека, всю жизнь свою старавшегося сесть между двух стульев, сделалось особенно заметным впоследствии, когда примечания и дополнения Чернышевского к его книге были запрещены и в продаже оставался один только перевод ее. Почерпая из Милля свои экономические понятия, русская читающая публика не имела, можно сказать, ровно никаких экономических понятий.

Почти одновременно с популяризацией Милля, Чернышевский предпринял перевод на русский язык Шлоссера, очень любимого им и, действительно, очень достойного уважения историка.

XI.

Чернышевскому тогда было около 35 лет. Он находился в полном расцвете своих умственных сил, и до чего не мог бы он дойти в своем развитии! Но уже не долго оставалось ему жить на свободе. Он был признан главою крайней партии, явным проповедником материализма и социализма. Его считали «коноводом» революционной молодежи, его винили за все ее вспышки и волнения. Как это всегда бывает в таких случаях, молва раздувала дело и приписывала Чернышевскому даже такие намерения и действия, каких у него никогда не было. В «Прологе пролога» Чернышевский сам описывает те сочувственно-либеральные сплетни, которые ходили в Петербурге относительно мнимых сношений Волгина (т.-е. его самого) с лондонским кружком русских изгнанников. Сплетни эти возникали по самым ничтожным поводам, не имевшим решительно ничего общего с политикой. И, как водится, сплетнями не ограничивалось дело. «Охранительная» печать давно уже занималась литературными доносами на Чернышевского. В 1862 году «Современник» был на время приостановлен. Потом появились и нелитературные доносы. «Управляющий Третьим Отделением собственной Е. И. В. канцелярии,—говорится в обвинительном акте по делу Чернышевского, — получил безыменное письмо, коим предостерегают правительство от Чернышевского, «этого коновода юношей, хитрого социалиста»; он сам сказал, что его никогда не уличат; его называют вредным агитатором и просят спасти от такого человека; все бывшие приятели Чернышевского, видя, что его тенденции уже не на словах, а в действиях, люди либеральные, отдалились от него. Если не удалите Черны-

шевского,—пишет автор письма,—быть беде, будет кровь; эти шайки бешеных демагогов—отчаянные головы... Может быть, перебьют их, но сколько невинной крови прольется из-за них. В Воронеже, в Саратове, в Тамбове—везде есть комитеты из подобных социалистов, везде они разжигают молодежь. Чернышевского отправьте, куда хотите, но скорее отнимите от него возможность действовать. Избавьте нас от Чернышевского, ради общего спокойствия».

Седьмого июля 1862 года Чернышевского арестовали. Так как, по словам доносчика, он сам сказал, что его никогда не уличат, то синие рыцари 3-го Отделения поспешили состряпать фальшивые улики. Как велось дело Чернышевского, видно из того, что прокурор не постыдился цитировать письмо безыменного доносчика даже в обвинительном акте, между тем как русский закон предписывает «по доносам в безыменных пасквилях и подметных письмах не производить следствия» (ст. 52 кн. II Зак. Уг., т. XV Св. зак., изд. 1857 г.). Еще до ареста Чернышевского схватили какого-то Ветошкина, у которого нашли будто бы письмо Герцена к Серно-Соловьевичу, где есть будто бы такая приписка: «Мы здесь или в Женеве намерены с Чернышевским издавать «Современник». На основании этой приписки и арестовали Чернышевского. А между тем Герцен в номере 193 «Колокола» утверждал, что он ни слова не говорил в письмах о своих планах литературной деятельности вместе с Чернышевским. «Я никогда не находился в переписке с Чернышевским. Я не мог писать, что мы намерены издавать «Современник» с ним, потому что не имел ни малейшего сведения, хочет он или нет издавать «Современник» вне России... Запрещение «Современника» было об'явлено в газетах, мы тотчас предложили громко и открыто издателям «Современника» печатать его на наш счет за границей. На наше предложение никогда не было ни малейшего отзыва. Как же я мог писать об этом положительно и к тому же в Россию? Уж не служу ли после этого и я в тайной полиции?» Но когда же останавливались перед ложью и фальсификациями усердные слуги русского правительства? При обыске у Чернышевского нашли несколько ничего не доказывающих бумаг и писем, привлекли к делу таких, уже всем известных тогда, доносчиков, как Всеволод Костомаров, раскопали даже дневник обвиняемого, в котором он, еще до своей женитьбы, писал, между прочим, что «его каждый день могут взять», — и дельце было обделано. Чернышевского предали суду Сената, обвиняя его: 1) в сношениях с Герценом; 2) в сочинении возмутительного воззвания «К барским крестьянам», переданного будто бы доносчику В. Костомарову для

напечатания, и 3) в приготовлении к возмущению. Интересно, что единственным доказательством «приготовления к возмущению» было доставленное Костомаровым же письмо к какому-то Алексею Николаевичу, в котором в самых неопределенных выражениях говорится, что времени терять нечего, что «теперь или никогда», и что у неизвестного Алексея Николаевича нет энергии. Чернышевский настойчиво отрицал принадлежность ему этого письма, но если бы оно ему даже и принадлежало, то на основании его можно было бы доказать лишь участие его в заведении тайной типографии. «Вы вот уже около года водите нас своим станком и довели до такой минуты, далее которой откладывать мы не можем, если хотим, чтобы наше дело было выиграно». О каком деле говорится в письме,—это совершенно неизвестно. Упоминается в нем, правда, о печатании какого-то манифеста, но ведь не всякий манифест есть «приготовление к возмущению». Казалось бы, даже третье-отделенские юристы должны были понимать, что от заведения тайной типографии и печатания манифестов еще далеко до приготовления к возмущению. Они, конечно, и понимали это. Но еще лучше понимали они, что Чернышевский представляет собою огромную, незаменимую революционную силу.

Ничего невероятного нет в том предположении, что Чернышевский принадлежал к какому-нибудь революционному обществу. Напротив, такое предположение даже вполне вероятно. Но где же в цивилизованном мире *вероятность* считается *юридической уликой*? Нигде, кроме России, да и в России только в политических процессах.

Неразборчивость прокурорского надзора по отношению к уликам в деле Чернышевского показывает, между прочим, следующий факт. Обвинительный акт цитирует письмо подсудимого к жене, писанное им уже из крепости. «Наша с тобою жизнь принадлежит истории,—говорится в нем, — пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы людям, и будут вспоминать о них с благодарностью, когда уже не будет тех, кто жил с нами». Кроме этих слов, ясно указывающих на «приготовление к возмущению», обвинительный акт цитирует еще следующие строки из того же письма. Говоря жене о своем намерении составлять *«Энциклопедию знания и жизни»*,—Чернышевский пишет: «Со времени Аристотеля не было еще делано никем того, что я хочу делать, и буду я добрым учителем людей в течение веков, как был Аристотель». Что доказывают эти строки? Зачем ссылался на них составитель обвинительного акта? Ясное дело! человек, готовый к изданию энциклопедии, совершенно готов и к «возмущению»!

Около 2 лет тянулось следствие по делу Чернышевского. Он упорно отрицал возводимые на него обвинения и надеялся, повидимому, что ему скоро удастся вырваться из когтей русского орла. На эту надежду указывает самое намерение издавать «Энциклопедию». Полон самых светлых надежд и роман «Что делать?», написанный им уже в заключении. Впрочем, в романе этом надежды приурочиваются не к юридическим соображениям о невозможности осудить его по недостатку улик, а к скорому торжеству освободительного движения в России. Намеки на близость этого торжества часто встречаются в романе. В эпилоге есть даже какие-то неясные указания на 1866 г. (роман окончен в апреле 1864 г.), в котором должно произойти в России что-то особенное. Одна дама, являвшаяся в последних сценах романа и носившая траур по близком человеке, очевидно, находившемся в тюрьме или в ссылке, в 1866 г. едет по улицам Петербурга уже веселая и радостная в сопровождении своего освобожденного друга. Мы, разумеется, можем только догадываться, что̀ хотел сказать этим автор.

XII.

Содержания «Что делать?» мы излагать не будем. Кто не читал и не перечитывал этого знаменитого произведения? Кто не увлекался им, кто не становился под его благотворным влиянием чище, лучше, бодрее и смелее? Кого не поражала нравственная чистота главных действующих лиц? Кто после чтения этого романа не задумывался над собственною жизнью, не подвергал строгой проверке своих собственных стремлений и наклонностей? Все мы черпали из него и нравственную силу, и веру в лучшее будущее.

И доверенность великую
К бескорыстному труду...

Наши обскуранты не раз указывали на отсутствие в романе художественных достоинств, на его очевидную тенденциозность. С внешней стороны упреки эти справедливы: роман действительно очень тенденциозен, художественных достоинств в нем очень мало. Но пусть укажут нам хоть одно из самых замечательных, истинно художественных произведений русской литературы, которое по своему влиянию на нравственное и умственное развитие страны могло бы поспорить с романом «Что делать?»! Никто не укажет такого произведения, потому что его

не было, нет и, наверное, не будет. С тех пор как завелись типографские станки в России и вплоть до нашего времени, ни одно печатное произведение не имело в России такого успеха, как «Что делать?». Извольте после этого указывать на тенденциозность автора, извольте повторять, что он не художник! Читающая публика очень основательно заметит вам, что ей до этого нет дела, что всякая беллетристика хороша, кроме скучной, — роман же Чернышевского вызывал в ней восторг, а не скуку; этого с нее совершенно достаточно. Наконец, господа обскуранты, ведь вы также не чуждаетесь тенденциозности в своих беллетристических произведениях. Вы также не прочь написать тенденциозный роман или повесть. Вся беда в том, что *ваших* тенденциозных произведений никто не читает, что ими никто не увлекается. Как вы думаете, откуда происходит это различие? Не показывает ли оно, что тенденция тенденции рознь и что бывают такие тенденции, которые нисколько не мешают успеху окрашенных ими произведений?

В чем заключалась тайна колоссального, неслыханного успеха «Что делать?»? Именно в характере его тенденции, в полной своевременности распространения у нас высказанных автором мыслей. Сами по себе мысли эти были не новы, Чернышевский целиком взял их из западно-европейской литературы. Проповедью свободных и, главное, *искренних, честных* отношений в любви мужчины к женщине гораздо раньше его занималась Жорж Занд во Франции [1]). Лукреция Флориани по нравственным требованиям, пред'являемым ею к любви, ничем не отличается от Веры Павловны. Идеи Жорж Занд еще в сороковых годах встречали у нас самое горячее сочувствие. Белинский был страстным поклонником этой писательницы. В своих статьях он не раз проводил ее взгляды на свободу и искренность в любовных отношениях. Известно, как упрекал он пушкинскую Татьяну в том, что, любя Онегина, но в то же время будучи «другому отдана», она не последовала влечению своего сердца и продолжала жить с нелюбимым стариком-мужем. Лучшие из «людей сороковых годов» в своих отношениях к женщине держались тех же принципов, каким следовали Лопухов и Кирсанов. Но до появления ро-

[1]) Заметим кстати, что «Wahlverwandschaften» Гете и некоторые из его драм также представляют собою слово в защиту свободной любви. Это хорошо понимают многие немецкие историки немецкой литературы, которые, не дерзая хулить такого авторитетного писателя и в то же время не смея согласиться с ним по своему филистерскому благонравию, лепечут обыкновенно нечто совершенно непонятное на счет странных будто бы парадоксов великого немца.

мана «Что делать?» эти принципы разделялись только небольшой кучкой «*избранных*», масса читающей публики совсем не понимала их. Даже Герцен не решился высказать их во всей полноте и ясности в своем романе «*Кто виноват?*». С выходом «*Что делать?*»—вопрос был поставлен до последней степени ясно и резко. Никакие сомнения не могли более иметь места. Мыслящим людям оставалось: или руководствоваться в любви принципами Лопухова и Кирсанова, или, склоняясь пред святостью брака, прибегать, в случае появления у них нового чувства, к старому испытанному средству тайных амурных похождений, или, наконец, совершенно подавлять в себе всякое любовное чувство, ввиду *принадлежности* своей другому, уже нелюбимому человеку. И выбор приходилось делать совершенно сознательно. Чернышевский так раз'яснил этот вопрос, что естественная прежде необдуманность и непосредственность любовных отношений сделались совершенно невозможными. На любовь распространился контроль сознания, сознательный взгляд на отношения мужчины к женщине сделался достоянием широкой публики. И это было особенно важно у нас в эпоху шестидесятых годов. Пережитые Россией реформы перевернули вверх дном не только ее общественные, но и семейные отношения. Лучи света проникли в такие закоулки, которые до того времени оставались совершенно темными. Русские люди вынуждены были оглянуться на себя, посмотреть трезвыми глазами на свои отношения к ближним, к обществу и семье. В семейных отношениях, в любви и дружбе стал играть большую роль новый элемент—*убеждения*, которые имелись прежде лишь у самой маленькой кучки «идеалистов». Различие в убеждениях служило поводом к неожиданным разрывам. Женщина, «отданная» известному человеку, нередко с ужасом открывала, что ее законный «обладатель» есть обскурант, взяточник, низкопоклонный льстец перед начальством. Мужчина, с наслаждением «обладавший» прежде красавицей женою и неожиданно для него самого затронутый потоком новых идей, часто с отчаянием видел, что его прелестная игрушка интересуется вовсе не «новыми людьми» и не «новыми взглядами», а новыми нарядами да танцами, да еще чинами и жалованьем мужа. Все об'яснения и увещания оказываются напрасными, красавица превращается в настоящую мегеру, как только муж попробует заикнуться, что он «служить бы рад», но что «прислуживаться тошно». Как быть? Что делать? Знаменитый роман показывал, как быть и что делать. Под его влиянием люди, считавшие себя прежде законной собственностью других, начинали повторять вместе с его автором: о грязь, о грязь, кто смеет

обладать человеком!—и в них просыпалось сознание человеческого достоинства, и они, часто после жесточайших душевных и семейных бурь, становились на собственные ноги, устраивали свою жизнь сообразно со своими убеждениями и сознательно шли к разумной человеческой цели. Уже ввиду одного этого можно сказать, что имя Чернышевского принадлежит истории, и будет оно мило людям, и будут вспоминать его с благодарностью, когда уже не будет в живых никого из лично знавших *великого русского просветителя*.

Обскуранты обвиняли Чернышевского в том, что он проповедывал будто бы в своем романе «*эмансипацию плоти*». Нет ничего нелепее и лицемернее этого обвинения! Возьмите любой роман из великосветской жизни, припомните любовные похождения дворянства и буржуазии во всех странах и у всех народов,— и вы увидите, что Чернышевскому не было никакой надобности проповедывать давно уже совершившуюся эмансипацию плоти. Его роман проповедует, наоборот, *эмансипацию человеческого духа, человеческого разума*. Никто из людей, проникнувшихся направлением этого романа, не будет иметь склонности к будуарным похождениям, без которых жизнь не в жизнь «светским» людям, проникнутым лицемерным уважением к ходячей морали. Г.г. обскуранты прекрасно понимают строго-нравственный характер произведения Чернышевского и сердятся на него именно за его нравственную строгость. Они чувствуют, что люди, подобные героям «Что делать?», должны считать их величайшими развратниками и испытывать к ним глубочайшее презрение.

Некоторые замечают также, что хорошо было Лопухову и Вере Павловне проявлять свои возвышенные чувства, когда у них не было детей: будь у них дети, им пришлось бы итти по избитой дороге в своих любовных отношениях. Чернышевский и сам говорит, что если бы у Веры Павловны были дети, то она, может быть, поступила бы иначе. Он прекрасно понимал, что вопрос об отношениях мужчины к женщине тесно связан с вопросом о семье, без которой люди не могут жить в существующем теперь обществе. Он знал, что для того, чтобы любовь была вполне свободна, нужно перестроить все семейные, а следовательно, и все общественные отношения. Но он не остановился перед этой мыслью, потому что иное дело те любовные отношения, в которые люди будут вступать впоследствии, иное дело та человечность и разумность, которые уже в настоящее время возможны в браке между развитыми людьми. Если бы потомство Веры Павловны и Лопухова умножилось, как песок морской, то и тогда они остались бы разумными и

гуманными, а следовательно, и не отравляли бы друг другу жизни за невольные, независевшие от их воли уклонения чувства. Чернышевский, может быть, даже нарочно изобразил в своем романе простейший случай: возникновение нового чувства у замужней бездетной женщины. Уяснив на этом случае взаимные обязанности порядочных людей, он затем мог уже ожидать, что понявшие его читатели сами решат, как должны вести себя в подобных случаях имеющие детей брачные пары: под влиянием различных частных соображений они могут поступать различно; но раз они поняли взгляд Чернышевского, они никогда уже не поведут себя подобно людям старого закала.

XIII.

Мы знаем,—распространение в России великих идей правды, и науки, искусства составляло главную, можно сказать, единственную цель в жизни нашего автора. В интересах такого распространения написал он и роман «Что делать?». Ошибочно было бы рассматривать этот роман исключительно только как проповедь разумных отношений в любви. Любовь Веры Павловны к Лопухову и Кирсанову—это только канва, по которой располагаются другие, более важные мысли автора. Мы уже говорили об ассоциациях, заведенных Верой Павловной. Заставляя ее браться за эту деятельность, автор хотел указать своим последователям на практические задачи социалистов в России. В снах Веры Павловны яркими красками рисуются социалистические идеалы автора. Картина социалистического общежития нарисована им целиком по Фурье. Чернышевский не предлагает читателям ничего нового. Он только знакомит их с теми выводами, к которым давно уже пришла западно-европейская мысль. Здесь опять приходится заметить, что взгляды Фурье уже в сороковых годах известны были в России. За фурьеризм судились и были осуждены «Петрашевцы». Но Чернышевский придал идеям Фурье небывалое до тех пор у нас распространение. Он ознакомил с ними широкую публику. Впоследствии у нас даже поклонники Чернышевского пожимали плечами, говоря о снах Веры Павловны. Снившиеся ей фаланстеры казались потом некоторым довольно наивной мечтою. Говорили, что знаменитый писатель мог бы побеседовать с читателем о чем-нибудь более к нам близком и более практичном. Так рассуждали даже люди, называвшие себя социалистами. Признаемся, мы совсем не так смотрим на это дело. В снах

Веры Павловны мы видим такую черту социалистических взглядов Чернышевского, на которую, к сожалению, не обращали до сих пор достаточного внимания русские социалисты. В этих снах нас привлекает вполне усвоенное Чернышевским сознание того, что социалистический строй может основываться только на широком применении к производству технических сил, развитых буржуазным периодом. В снах Веры Павловны огромные армии труда занимаются производством сообща, переходя из Средней Азии в Россию, из стран жаркого климата в холодные страны. Все это, конечно, можно было узнать и из Фурье, но что этого не знала русская читающая публика, видно даже из последующей истории так называемого русского социализма. В своих представлениях о социалистическом обществе наши революционеры нередко доходили до того, что воображали его в виде федерации крестьянских общин, обрабатывающих свои поля тою же допотопною сохою, с помощью которой они ковыряли землю еще при Василии Темном. Но само собою разумеется, что такой «социализм» вовсе не может быть признан социализмом. Освобождение *труда* может совершиться только в силу освобождения человека от «*власти земли*» и вообще природы. А для этого последнего освобождения безусловно необходимы те армии труда и то широкое применение к производству современных производительных сил, о которых говорил в снах Веры Павловны Чернышевский и о которых мы, в своем стремлении к «практичности», совершенно позабыли.

Что социалистические взгляды Чернышевского не были поняты очень многими из его читателей, — видно из прекрасной в литературном отношении статьи Д. И. Писарева: «*Мыслящий пролетариат*», представляющей собою разбор «*Что делать?*»—Писарев в восторге от Веры Павловны, Лопухова и Кирсанова. Для него они являются истинными представителями «базаровского типа», поставленными в наиболее подходящую для них обстановку [1]). Это — новые люди в полном смысле слова. Но как представляет он себе характер и деятельность новых людей? Он схватывается прежде всего за то, что все они занимаются естественными науками. Естественные науки были, как известно, для Писарева альфой и омегой знания. Занимайся одной из этих *настоящих* наук, трудись, устрой разумно свои отношения к жене и друзьям — и

[1]) Впрочем, сам Чернышевский едва ли смотрел на своих героев, как на пендставителей «базаровского типа». «Современник» видел в Базарове карикатуру на молодое поколение» (См. известную статью *М. А. Антоновича*: «Асмодей нашего времени» в мартовской книжке «Современника» 1862 г.).

ты тем самым станешь «мыслящим пролетарием», будешь работать на пользу других, пока еще не мыслящих пролетариев, будешь вполне «*солидарен*» с ними. О том, что у «мыслящего» пролетария могут быть иные, более широкие, задачи по отношению к остальным пролетариям — в статье нет ни слова. Конечно, хорошо завести, подобно Вере Павловне, ту или другую ассоциацию, но главное не в этом, а в разумном устройстве личной жизни и в занятии естественными науками. Рахметова Писарев даже вовсе не понимает. Он, пожалуй, и не прочь и похвалить Рахметова (нельзя не похвалить его, его хвалит сам Чернышевский), но, не понимая этого типа, он невольно обнаруживает свою антипатию к нему. Настоящими, идеальными «новыми людьми» для Писарева все-таки остаются Вера Павловна, Лопухов и Кирсанов. Между тем, по мнению Чернышевского, Рахметов так же относится к Лопухову и его ближайшим друзьям, как огромный дворец относится к обыкновенному дому. Рахметов и выведен для того, чтобы показать относительную заурядность людей, подобных Лопухову. Лопухов — человек личных отношений. Он очень сочувствует социализму, но занимается общественными делами лишь мимоходом, лишь когда случится. Рахметов посвящает общественному делу все свое время и все свои помышления. Он совсем не знает личных печалей и радостей. Он даже решился никогда не сходиться с женщиной. Поэтому он совершенно застрахован от историй, подобных той, в которой обрисовался характер Лопухова и Кирсанова. Это — человек идеи. Только на служении идее и могут обнаружиться богатые силы этого железного характера. В личных отношениях он тяжел, если хотите — просто невыносим, как это без церемонии говорит ему Вера Павловна. Да он и сам сознает это и ни мало не огорчается подобным сознанием. Большому кораблю — большое плавание.

Чернышевский присутствовал при зарождении у нас нового типа «новых людей» — революционера. Он радостно приветствовал появление этого типа и не мог отказать себе в удовольствии нарисовать хотя бы неясный его профиль. Вместе с тем он с грустью предвидел, как много мук и страданий придется пережить русскому революционеру, жизнь которого должна быть жизнью суровой борьбы и тяжелого самоотвержения. И вот Чернышевский выставляет перед нами в Рахметове настоящего аскета. Рахметов положительно мучает себя. Он совсем «бесжалостный до себя», по выражению его квартирной хозяйки. Он решается даже попробовать, сможет ли вынести пытку, и с этой целью лежит всю ночь на войлоке, утыканном гвоздями. Многие, и в том

числе Писарев, видели в этом простое чудачество. Мы согласны, что некоторые частности в характере Рахметова могли быть изображены иначе. Но вся совокупность его характера все-таки остается вполне верной действительности. В каждом из выдающихся русских революционеров была огромная доля рахметовщины.

Теперь революционер из «интеллигентной» среды почти совершенно сыграл свою роль. В нем уже нет оригинальности, он повторяется, мельчает. На смену ему должны притти,—и, конечно, придут,—революционеры из рабочей среды, эти истинные «дети народа». Но он имел свою, полную славы, историю, и потому нельзя не подивиться чуткости Чернышевского, который сумел так хорошо подметить и так верно изобразить по крайней мере главнейшие черты только что нарождавшегося тогда типа.

XIV.

Сенат постановил лишить Чернышевского прав состояния, сослать в каторжную работу в рудниках на 14 лет, а затем поселить в Сибири навсегда. В окончательном приговоре срок каторжной работы был сокращен до 7 лет. 13 июня 1864 года на Мыстинской Площади на Песках происходило чтение приговора над великим русским социалистом. Бледный, исхудалый, измученный, он был выставлен к «*позорному*» столбу и стоял молча, отвернувшись спиной к чиновнику, читавшему приговор. Над осужденным проделан был обряд преломления шпаги, и затем руки его были продеты палачом в кольца, прикованные к эшафотному столбу. В эту минуту на эшафот упал букет, и в толпе, переполнявшей Мыстинскую Площадь, раздались крики сочувствия к осужденному... Чернышевского отправили в Сибирь.

Известный Муравьев-Вешатель хотел было притянуть его к Каракозовскому делу, но Александр II почему-то воспротивился этому, и Чернышевский остался в Сибири. Там он пробыл 20 лет, при чем, по настоянию шефа жандармов, графа Шувалова, его миновали все законы смягчения. По окончании 7-летней каторжной работы он был поселен в Вилюйске, Якутской области, где единственными его собеседниками могли быть только сторожившие его казаки и жандармы. В этом новом заключении в отдаленном и до крайности нездоровом сибирском захолустьи Чернышевский прожил до самого 1883 года, когда ему позволили переехать на житье в Астрахань. Нужно удивляться, как вынес всю массу обрушившихся на него преследований этот физически бессильный, слабогрудый человек

Мы не станем говорить здесь о довольно многочисленных попытках освобождения Чернышевского, так как они достаточно известны публике.

Тотчас по возвращении из Сибири Чернышевский снова деятельно принялся за литературную работу. Он прилежно переводил «Всемирную историю» Вебера и написал несколько статей для периодических изданий. Замечательно, что одной из последних статей, написанных нашим автором до ссылки, были «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», и одной из первых больших статей, написанных им по возвращении из ссылки, было продолжение тех же «Материалов». Очевидно, что воспоминание о безвременно умершем, даровитом и любимом товарище никогда не покидало Чернышевского.

О статьях, написанных им после ссылки, мы поговорим во второй статье. Теперь скажем только, что хотя по языку и манере легко было узнать в этих статьях Чернышевского, но в них уже нет прежнего блеска и прежней глубины его мысли. Его статья о Дарвине положительно слаба, слаба до крайности, до того, что производит самое тяжелое впечатление. Читая ее, чувствуешь, что имеешь дело с писателем, уже окончательно разбитым и надломленным. Небольшая доля свободы, предоставленная ему перед смертью, не могла уже воскресить прежнего Чернышевского. Прежний Чернышевский был убит приговором Сената, и никогда русское правительство не совершило большего преступления по отношению к умственному развитию России. Вот почему, заканчивая эту первую статью, мы с величайшим сочувствием повторим слова Герцена, написанные им, как только ему стал известен приговор по делу Чернышевского: «Да падет проклятием это безмерное злодейство на правительство, на общество, на подлую подкупную журналистику, которая накликала это гонение, раздула его из личностей. Она приучила правительство к убийствам военнопленных в Польше, а в России—к утверждению сентенций диких невежд Сената и седых злодеев Государственного Совета... А тут жалкие люди, люди-трава, люди-слизняки говорят, что не следует бранить эту шайку разбойников и негодяев, которая управляет нами!».

Г. В. ПЛЕХАНОВЪ.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКІЙ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
1910.

Предисловие.

Предлагаемая работа состоит из двух частей: *первая* — только теперь появляется в печати; *первый* отдел второй части тоже написан заново, *второй* же ее отдел («Политико-экономические взгляды Чернышевского») представляет собой перепечатку моих статей о Чернышевском, появившихся вскоре после смерти нашего великого писателя, в одном трехмесячном обозрении [1]), а потом вышедших, с некоторыми необходимыми для немецкой публики дополнениями, в немецком переводе у известного издателя Дитца в Штуттгарте.

Я печатаю теперь этот второй отдел второй части почти без всяких изменений. Только кое-где сделаны мною «*примечания*» к настоящему изданию. Я не считал себя вправе подвергать этот отдел переработке, да, по правде сказать, и не видел в этом нужды. *О праве* на переработку я говорю потому, что отдел en question является своего рода историческим документом: он характеризует собой взгляды некоторого,—правда, очень малочисленного тогда,—слоя нашей интеллигенции в самом начале 90-х годов прошлого века. Слой этот, решительно разорвавший со всеми преданиями утопического социализма, считал своею обязанностью распространять учение Маркса, с точки зрения которого он и смотрел на русскую действительность. Это казалось тогда страшной и непростительной ересью всем декадентам нашего утопизма, группировавшимся под знаменами народничества и «суб'ективной социологии». Покойный С. Н. Кривенко печатно распространялся в половине 90-х годов на ту тему, что самым подходящим занятием для защитников этого взгляда было бы разведение деревенских кабаков и сельского ростовщичества. А г. В. В.,—в некотором роде тоже покойник, хотя он и здравствует до сих пор,—с торжеством провозгласил около того же времени, что ни один уважающий себя жур-

---

[1]) Книжки которого появлялись, однако, не периодически и с немалым опозданием по обстоятельствам, от редакции поистине не зависевшим.

нал не напечатает ничего, отзывающегося некоторою симпатией к указанному еретическому взгляду. Это был период бойкота, непосредственно предшествовавший тому периоду, когда идеи марксизма приобрели в нашей печати, вопреки зловещему пророчеству г. В. В., чрезвычайно широкое распространение и..., по большей части, чрезвычайно вульгарный, «куцый» вид. Атакуемый и бойкотируемый всеми теми, которые мнили себя обладателями наилучших «формул прогресса», немногочисленные русские марксисты вынуждены были, во-первых, прибегнуть к оружию *полемики,* чтобы отражать непосредственно нападение людей, боровшихся с ними при помощи этих формул, а, во-вторых, становиться на преимущественно критическую точку зрения даже там, где при других обстоятельствах им можно и должно было бы смотреть на дело с точки зрения *исторической.*

Это обстоятельство отразилось и на статьях, перепечатываемых теперь во втором отделе второй части предлагаемой работы. В то время, когда писались эти статьи, наши народники и суб'ективисты усердно противопоставляли Чернышевского Марксу и твердили, что тому, кто усвоил себе экономическую теорию автора примечаний к Миллю, нет ни малейшей надобности трудиться над усвоением теории автора «Капитала». Мне самому не раз приходилось слышать такое мнение и оспаривать его в устных стычках с нашими многочисленными противниками. Поэтому, когда скончался Н. Г. Чернышевский и когда естественно возник вопрос о подведении итогов его литературной деятельности, я решился критически разобрать его экономические взгляды и показать, что они принадлежат к той эпохе в истории социализма, которая должна теперь считаться уже отжившей. Это навлекло на меня не мало горьких упреков со стороны некоторых, не по разуму усердных, поклонников Чернышевского, не имевших ни малейшего понятия ни об истории политической экономии, ни об истории социализма, ни об истории русской литературы в ее отношении к литературам Западной Европы. Против меня и моих ближайших единомышленников выдвинуто было то,—не раз выдвигавшееся и после,—обвинение, что мы отказываемся от «наследства 60-х годов». И как знать? Может быть, и теперь иной предубежденный против марксизма вообще или против меня в частности читатель укажет на второй отдел второй части этой книги, как на доказательство моего неумения ценить названное наследство. И именно потому, что это возможно, я не счел себя вправе перерабатывать этот отдел: зачем отнимать вещественные доказательства у того, кто захотел бы выступить против меня в роли обвинителя?

А кроме того, в переработке и не было никакой серьезной нужды. Если указанные мною выше обстоятельства повлияли в свое время на мои статьи об экономических взглядах Чернышевского, то они повлияли на них исключительно только *с внешней,* а не *с внутренней* стороны: со стороны *изложения,* а не со стороны *содержания.* Я и теперь твердо убежден,—как убежден был в начале 90-х годов,—что хотя и весьма замечательны по-своему экономические взгляды Чернышевского, но все-таки они представляют собою критику буржуазной экономии с точки зрения утопического социализма. Я и теперь думаю,—как думал в начале 90-х годов,—что критика буржуазной экономии с утопической точки зрения, вполне естественная в русской литературе в начале 60-х годов, была бы совершенно неестественной и непозволительной в настоящее время, когда каждый из нас может и должен ознакомиться с «Капиталом». Значит с этой, самой существенной, стороны мне нечего было изменять в своих статьях.

Остается вопрос о частностях. Я мог убедиться с течением времени, что мое отношение к тому или другому отдельному экономическому взгляду Чернышевского было неправильно. Поэтому я был обязан заново пересмотреть все мои критические замечания на его отдельные взгляды. Смею сказать, что я исполнил эту свою обязанность. Однако, внимательно перечитав мои статьи, я увидел, что и с этой стороны мне нечего изменять, кроме некоторых отдельных выражений. Поэтому, изменив эти выражения, я, что касается всего остального, говорю словами Понтия Пилата: еже писах, писах!

Под впечатлением смерти Н. Г. Чернышевского я, в вышеупомянутом «трехмесячнике», цитировал следующее место из его «Очерков Гоголевского периода русской литературы»:

«Если у каждого из нас есть предметы, столь близкие и дорогие сердцу, что, говоря о них, он старается наложить на себя холодность и спокойствие, старается избежать выражений, в которых бы слышалась его слишком сильная любовь, наперед уверенный, что, при соблюдении всей возможной для него холодности, речь его будет очень горяча,—если, говорим мы, у каждого из нас есть такие дорогие сердцу предметы, то критика Гоголевского периода занимает между ними одно из первых мест, наравне с Гоголем... Потому-то будем говорить о критике Гоголевского периода как можно холоднее, в настоящем случае нам не нужны и противны громкие фразы: есть такая степень уважения и сочувствия, когда всякие похвалы отвергаются, как нечто, не выражающее всей полноты чувства».

По этому поводу я говорил, что я отношусь к гениальному критику Гоголевского периода,—т.-е. к В. Г. Белинскому,—с таким же глубоким уважением и с такою же горячею любовью, какую питал к нему Чернышевский, так что в этом отношении мне ничего нельзя ни убавить из сделанной выписки, ни прибавить к ней. Но я замечал, что предметом такой же горячей любви и такого же глубокого уважения является для меня сам Чернышевский. «Вот почему, — прибавлял я,—мы последуем его собственному примеру и, говоря о нем, постараемся остаться как можно более холодными и спокойными, так как, действительно, есть такая степень уважения и сочувствия, когда всякие похвалы отвергаются, как нечто, не выражающее всей полноты чувства».

Нечего и говорить, что мое отношение к Н. Г. Чернышевскому не изменилось до сих пор. Я и до сих пор продолжаю питать благоговейное уважение к нему, как к человеку и литературному деятелю. Некоторые читатели,—из проницательных, как выразился бы сам Н. Г.,—находят такое отношение к человеку и писателю несовместимым с критикой его точки зрения. Я смотрю на это иначе, но я не нашел бы нужным оспаривать мнение проницательных читателей, если бы я не считал, что некоторые замечания по его адресу будут полезны для выяснения роли Н. Г. Чернышевского в истории развития нашей общественной мысли.

Мне говорили, что Маркс ставил Чернышевского гораздо выше, нежели ставлю его я. Но откуда же собственно известно, как именно смотрел Маркс на экономические взгляды Чернышевского? Тот факт, что он называл его великим ученым и что он собирался писать о нем, «чтобы вызвать сочувствие к нему в Западной Европе» [1]), еще отнюдь не показывает тождества его точки зрения на экономическую науку с точкой зрения Чернышевского. Более того, резко отрицательное отношение Маркса к Дж. Ст. Миллю,—книгу которого Чернышевский счел полезным перевести для русских читателей, хотя бы и снабдив ее своими критическими примечаниями,—может служить, по крайней мере, одним прямым доказательством того, что не было полного согласия во взглядах автора «Капитала», с одной стороны, и Чернышевского—с другой. Но я прекрасно понимаю, что одного подобного доказательства слишком еще мало для людей, не умеющих или не желающих итти к решению интересующего нас вопроса самым коротким и верным пу-

---

1) См. письма Маркса к г. Николаю — ону. «Минувшие годы» 1908 г., № 1, стр. 56.

тем, т.-е. путем сравнения «*собственным умом*» «Капитала» Маркса с экономическими сочинениями Чернышевского. Поэтому я укажу на одно в высшей степени важное *косвенное* доказательство.

Оно состоит вот в чем.

В письме к г. Николаю — ону, от 9 ноября 1871 года, Маркс говорит: «С сочинениями Добролюбова я отчасти уже знаком. Я сравниваю его как писателя с Лессингом и Дидеро» [1]). На это необходимо обратить внимание.

Миросозерцание Добролюбова ни в чем существенном не отличалось от миросозерцания Н. Г. Чернышевского. Поэтому мы имеем полное право сказать, что этот отзыв Маркса о Добролюбове относится также — *в смысле общей характеристики миросозерцания* — и к Чернышевскому. В чем же состоит существенное содержание этого отзыва? В том, что сочинения Добролюбова заставили Маркса вспомнить о великом французском «просветителе» Дидеро и о великом немецком «просветителе» Лессинге. Но если читатель даст себе труд ознакомиться с содержанием предлагаемой книги, то он увидит, что я именно называю Чернышевского «просветителем» и утверждаю, что его точка зрения была чрезвычайно близка к точке зрения французских «просветителей» XVIII столетия. Это очень похоже на отзыв Маркса о сочинениях Добролюбова. Правда, французские «просветители» не были социалистами. Но это частность, не имеющая значения там, где речь идет об общем миросозерцании данного автора. Ни один понимающий дело человек не откажется признать, что все французские социалисты утопического периода в своем основном взгляде на движущие силы общественного развития целиком стояли на точке зрения «просветителей» XVIII века. Теперь спрашивается: стоял ли Маркс на этой точке зрения? Неизбежный ответ: он покинул ее, чем и совершил переворот в общественной науке.

Еще один вопрос: как должен был бы отнестись Маркс к миросозерцанию «просветителей», если бы кто-нибудь вздумал ссылаться на это миросозерцание для борьбы с его собственным учением? Тут опять не трудно найти ответ: он, конечно, высказал бы свое глубокое уважение к великим «просветителям», но вместе с тем показал бы, что их миросозерцание в настоящее время должно считаться устарелым. Не правда ли? Но ведь это как раз то самое, что сделал я в начале 90-х годов в своих статьях о Чернышевском и что делаю теперь в предлагаемой книге.

---

[1]) Там же, стр. 51.

Внимательный читатель заметит, надеюсь, что мое отношение к Чернышевскому не во всем одинаково. Я защищаю все его философские взгляды, за исключением его взгляда на диалектику; я считаю в высшей степени важными и замечательными некоторые тезисы из его диссертации об «Эстетическом отношении искусства к действительности», но я отвергаю ту точку зрения, с которой он смотрит почти всегда,—читатель увидит, однако, что я нахожу и тут блестящие исключения,—на историю и на политическую экономию. Иначе и быть не может. В философии Чернышевский явился верным последователем Фейербаха, материалистическое учение которого было очень близко к учению французских «просветителей» оттенка Дидеро (последней манеры). В эстетике он продолжал оставаться материалистом, хотя ему и не удалось поставить эстетику на материалистическую основу, вследствие указанных в моей книге важных пробелов в Фейербаховом материализме. Что же касается общественной жизни и ее истории, то он,—опять-таки совершенно подобно всем великим деятелям «просветительных» эпох,—смотрел на них, как идеалист, что опять об'ясняется у меня некоторыми недостатками материалистического учения Фейербаха. Держась точки зрения Маркса, я не мог не заметить этой непоследовательности Чернышевского; но, указывая на нее, я не думал отрекаться от его наследства,—и это вот по какой, весьма понятной причине.

Учение Маркса вышло из философии Фейербаха. Оно устранило недостатки этой философии, но устранило их только потому, что последовательно развило и применило к анализу общественных явлений основные положения этой философии об отношении суб'екта к об'екту. Отсюда ясно, что сторонник учения Маркса и теперь не может не согласиться с верным последователем Фейербаха — Чернышевским в том, что касается взгляда на отношение суб'екта к об'екту, но в то же время не может не видеть слабых сторон его миросозерцания там, где речь заходит о жизни общества. Это, кажется, ясно. Я не отвергаю наследства Чернышевского, но я и не могу довольствоваться им: я дополняю его теми драгоценными приобретениями, которые удалось сделать человеку, шедшему по одной дороге с Чернышевским, но ушедшему дальше его, благодаря более благоприятным обстоятельствам своего развития. Вот и все.

«Не добытый результат важен,—писал Чернышевский в своем «Лессинге» совершенно согласно с духом Гегелевой диалектики,—все добытые человечеством результаты, во всех областях жизни и мысли, как

бы ни казались они блестящи по сравнению с прошедшим, все еще ничтожны сравнительно с тем, что должно быть приобретено мыслью и трудом, для обеспечения материальной жизни, для прояснения знаний и понятий. Важнее всех добытых результатов — стремление к приобретению новых, лучших; важнее всего пытливость мысли, деятельность сил» [1]).

К этим прекрасным строкам надо прибавить только одно: как ни важна пытливость мысли, но и она приносит свои благотворные плоды только тогда, когда направляется в надлежащую сторону. А пытливая мысль Чернышевского направляла свои усилия именно в том направлении, по какому только и могла итти передовая философская мысль XIX века. От Гегеля мысль эта перешла к Фейербаху, от Фейербаха к Марксу. Чернышевский лично пережил две первые фазы этого движения. Пережить третью помешали ему неблагоприятные внешние условия. Но это нимало не мешает современным марксистам чувствовать себя несравненно более близкими к нему, нежели к тем мнимым продолжателям его дела, которые, под предлогом стремления вперед, пошли назад и провозгласили принципы нашего пресловутого «суб'ективизма». Если эти люди воображали при этом, что они защищают оставшееся после Чернышевского теоретическое наследство, то это удивительное недоразумение свидетельствовало лишь об их беспомощной наивности.

Теперь другое. Изложению и критике экономических взглядов Чернышевского часто предшествует у меня изложение соответствующих взглядов Маркса. Но в то время, когда я писал свои статьи о Чернышевском, еще не вышел в свет третий том «Капитала». Поэтому, перепечатывая теперь эти статьи, мне пришлось спросить себя, не нуждается ли мое изложение экономической теории Маркса в каких-нибудь существенных дополнениях. Но и на этот вопрос я не мог ответить себе иначе, как отрицательно.

Известно, что третий том «Капитала» показал нам, каким образом разрешалась у Маркса знаменитая в летописях новейшей экономической науки антиномия между законом стоимости и законом равного уровня прибыли. Но Чернышевского не занимала эта антиномия. Поэтому и я мог не касаться ее в своем изложении Марксовых взглядов. Лично я уже с начала 80-х годов был твердо убежден, что указанная антиномия должна быть разрешена Марксом, вообще говоря, — т.-е.

---

[1]) Полное собрание сочинений *Н. Г. Чернышевского*, Спб. 1907, т. III, стр. 695—696.

отвлекаясь от некоторых неясностей и неправильностей в построениях Родбертуса, — в том же смысле, в каком разрешал ее Родбертус [1]). Это могли бы засвидетельствовать те из моих друзей, с которыми мне приходилось тогда беседовать об экономических вопросах: я всегда говорил им, что, по моему мнению, Маркс *должен* будет решить указанную антиномию приблизительно в том же смысле, в каком она решена у Родбертуса. Мне казалось, что за это ручаются некоторые места в I и во II томах «Капитала» [2]). Если же, тем не менее, Энгельс предлагал заняться ее решением именно последователям Родбертуса, то это об'яснялось, по моему мнению, некоторыми недостатками экономической теории этого последнего, находившимися в тесной связи с его учением о земельной ренте. Я думал, что, предлагая ученикам Родбертуса разрешить знаменитую антиномию, Энгельс просто-на-просто хотел поставить их перед дилеммой: или признать существование этих недостатков и тем самым провозгласить превосходство Марксовой теории стоимости, или же утверждать, что этих недостатков не существует, и тем обнаружить перед всеми внимательными читателями, что Родбертусово решение антиномии между законом стоимости и законом равного уровня прибыли не имеет под собой вполне удовлетворительной теоретической основы. Вот почему я полагал, что печатные выступления марксистов по этому вопросу стали бы уместными лишь после того, как высказались бы родбертусьянцы. Поэтому же я совсем не коснулся этого вопроса, излагая Марксово учение о стоимости в своей работе о Чернышевском. А если бы кто-нибудь сказал мне на этом основании, что мое изложение этого учения не точно, то я ответил бы ему вопросом: разве не точно излагает учение современной астрономии тот, кто, говоря, что планеты движутся по эллипсисам, не считает при этом нужным, в силу тех или других соображений, сделать добавление на счет тех отклонений от эллиптической орбиты, кото-

[1]) Об относящемся сюда взгляде Родбертуса см. в моем сборнике «За двадцать лет» (Спб. 1907, стр. 525): Родбертус «полагает, что меновая стоимость продуктов не всегда «зависит от сравнительного количества труда, необходимого на их производство». Продукты тех отраслей производства, которые обрабатывают более дорогой материал, *всегда* должны, по его мнению, продаваться по цене, несколько превышающей эту норму. И это отклонение от общего правила должно быть достаточно для того, чтобы во всех отраслях промышленности отношение чистого дохода к общей сумме издержек предприятия было одинаково или, другими словами, чтобы уровень прибыли стоял на одной высоте».

[2]) Об этом см. в моей рецензии на книгу С. Франка (сборник «Критика наших критиков», Спб. 1906, стр. 247—256).

рые наблюдаются в действительном движении планет и которые, в свою очередь, находят свое об'яснение в других теоремах науки? В естествознании мы почти на каждом шагу сталкиваемся с тем явлением, что действие одного закона ограничивается и, следовательно, видоизменяется действием другого. И никто этому не удивляется. А когда Маркс в III томе своего «Капитала» сказал, что действие закона стоимости ограничивается и стало быть видоизменяется действием закона равного уровня прибыли, то его противники, вроде г. Бем-Баверка, закричали, что он противоречит сам себе и отвергает основу своего собственного экономического учения. Это просто-на-просто не серьезно.

Раз заговорив о г. Бем-Баверке, я прибавлю еще вот что. В первой главе второго отдела второй части я, говоря о современном состоянии экономической науки, занятой лишь собиранием фактического материала и чуждающейся всяких теоретических обобщений, имею в виду историческую школу политической экономии. По этому поводу мне заметят, пожалуй, что с тех пор, как написаны были мои статьи об экономических взглядах Чернышевского, широко распространилась так называемая австрийская школа, мало занимающаяся фактами, но зато претендующая на глубокую разработку вопросов теории. Но с таким замечанием я могу согласиться только наполовину. Австрийская школа, к числу «светильников» которой принадлежит и только что упомянутый г. Бем-Баверк, в самом деле, мало занимается фактами. Скажу больше: ее представители плохо знают факты и нередко насилуют в своих рассуждениях даже и те из них, которые известны им. Но это не заслуга. Что же касается теоретического значения австрийской школы, то оно равно нулю. «Суб'ективизм» этой школы составляет поучительный pendant к идеализму всех новейших философских школ. Как идеализм, так и «суб'ективизм» знаменуют собой *попятное* движение в области мысли, причиненное известными антагонистическими явлениями в капиталистическом обществе. Учения австрийской школы, несомненно, имеют теперь большой успех. Но почему? На это отвечает, например, такой факт. Когда Уильям Смарт выпустил английский перевод известного сочинения Бем-Баверка «Die positive Theorie des Kapitals», то всемирно известная газета «Times» выразила свое удовольствие по поводу того, что теперь у английского читателя есть противоядие против марксистской теории эксплоатации, «antiodot to the exploitation theories of the Marxist School». Этим сочувственным отзывом лондонская газета раскрыла, можно сказать, всю тайну успеха австрийской школы. Она нравится идеологам капиталистического порядка именно как проти-

воядие против теории эксплоатации [1]). Но каким средством превращается она в такое противоядие? Она превращается в него путем отвлечения от всех общественных отношений производства: когда «теоретик» отвлекается от *всех* отношений производства, тогда он естественно отвлекается *и от тех из них,* которыми обусловливается эксплоатация *производителя* продукта — его *присвоителем.* Но как много сулит науке такое отвлечение, видно из того, что все категории политической экономии являются ни чем иным, как выражением производственных отношений: отвлечься от этих отношений—значит закрыть себе путь к пониманию этих категорий. Естественно поэтому, что у «теоретиков» австрийской школы не получается ничего, кроме бессодержательных рассуждений на «суб'ективные» темы [2]). От таких рассуждений научная теория до сих пор ничего не выиграла, да, конечно, и не может выиграть.

[1]) Приват-доцент Бернского университета д-р Ф. Лившиц справедливо говорит в своей интересной, хотя, к сожалению, довольно поверхностной работе «Zur Kritik der Boehm-Bawerkschen Werttheorie» (Leipzig 1908): «Die Grenznutzentheorie ist eine durch und durch kapitalistische, bzw. von kapitalistischen Tendenzen (bewusst oder unbewusst) getragene Werttheorie. Der moderne Kapitalismus hat ihr auch zu ihrem Erfolg verholfen» (стр. 113).

[2]) Бессодержательность этих рассуждений недурно разоблачается, между прочим, в IV главе только что названной книги г. Лившица (стр. 78—113).

Введение

Мы не будем излагать здесь, какое значение имеет в истории нашей общественности та великая «эпоха 60-х годов», к которой относится лучшая пора жизни и литературной деятельности Н. Г. Чернышевского: надо надеяться, что значение это известно теперь всем и каждому. Точно также мы не имеем в виду писать биографию нашего автора. Правда, в настоящее время в печати можно найти уже немало драгоценных материалов для такой биографии. Но за обработку этих драгоценных материалов естественно должен взяться тот, кому открыт доступ к еще более драгоценным материалам, т.-е. к семейному архиву Чернышевских. Говоря это, мы имеем в виду г. Евг. Ляцкого, уже напечатавшего чрезвычайно интересную статью: «Н. Г. Чернышевский в годы учения и на пути в университет» («Современный Мир», май и июнь 1908 г.). Надо надеяться, что г. Ляцкий будет продолжать свою работу и мало-по-малу опишет всю жизнь величайшего представителя эпохи 60-х годов. Наша работа уже печаталась, когда появилось в «Современном Мире» продолжение интересного труда г. Ляцкого, относящееся к университетским годам Н. Г. Чернышевского. Мы же, с своей стороны, ограничимся здесь немногими, безусловно необходимыми данными.

Николай Гаврилович происходил из духовного звания. Его предки, с незапамятных времен тоже принадлежавшие к духовенству, вели свой род «из великороссиян Чембарского округа, Пензенской губернии», т.-е., — заметим мимоходом, — из той же местности, откуда происходил и В. Г. Белинский. Но сам он родился (12 июля 1828 г.) в Саратове, где отец его был тогда старшим священником Сергиевской церкви. Г. Евг. Ляцкий справедливо говорит, что в истории детства и юности Николая Гавриловича не может не остановить на себе внимания следующая яркая особенность: «Все условия, среди которых развертывалась эта замечательная и своеобразная личность, сложились так естественно и замкнулись в такой цельный круг представлений определен-

ной умственной и моральной культуры, что можно без преувеличения назвать семейную атмосферу Чернышевских редко благоприятной для развития в мальчике независимой мысли и сильной воли, способной управлять здоровым и нормальным чувством. Кажется, все лучшее, что могла дать старо-русская жизнь прошлого века, соединилось в этой семье, чтобы уберечь будущего писателя от тех мрачных сторон русской действительности, борьба с которыми унесла столько горячих жизней» [1]). Тут необходимо сделать только одну оговорку: никакая семья, как бы ни были хороши ее внутренние отношения, не может уберечь ребенка от тех мрачных сторон, которые свойственны окружающему эту семью обществу. Это, впрочем, признает и сам г. Евг. Ляцкий. «Среди занятий и игр подраставшего Николеньки, — говорит он, — не могли ускользнуть от его зоркого сознания и те мрачные стороны окружающей действительности, которые сильно смягчались обстановкой и родительской заботой» [2]). И он же приводит из воспоминаний Пыпина строки, дающие весьма ясное понятие о том, какие именно стороны тогдашней действительности могли произвести наиболее сильное впечатление на даровитого ребенка. Это были «мрачные картины насилия, жестокости, подавления личного и человеческого достоинства» [3]). Но, если это так, то г. Евг. Ляцкий не откажется согласиться с тем, что уже детские и юношеские наблюдения Николая Гавриловича должны были дать ему немало материала для тех самых выводов, на основе которых возникали, обыкновенно, настроения, уносившие «столько горячих жизней». С этой стороны не было никакого контраста между детством и юностью Чернышевского, с одной стороны, и зрелой порой его жизни — с другой. Несомненно только то, что счастливая семейная обстановка дала молодому Чернышевскому возможность накопить такой запас духовных и даже чисто физических сил, каким чрезвычайно редко располагали «молодые жизни», вступавшие в борьбу с некрасивой действительностью.

Что касается внешних впечатлений, то их беспрерывный приток был обеспечен уже тем простым обстоятельством, что Николай Гаврилович воспитание получил довольно, — чтобы не сказать весьма, — демократическое. В среде духовенства его семья считалась очень зажи-

---

[1]) См. упомянутую статью г. *Евг. Ляцкого* «Совр. Мир» 1908 г., май стр. 45—46.

[2]) Там же, стр. 57.

[3]) Там же, та же страница.

точной, и мы сейчас увидим, что эта ее относительная зажиточность внушала даже немалую робость саратовской бедноте духовного сословия. Но как скромна была, на самом деле, степень благосостояния родителей Николая Гавриловича и как демократично было, вследствие ее скромности, его воспитание, показывают его собственные слова. «Мы были очень, очень небогаты, — писал он Ю. П. Пыпиной в письме от 25 февраля 1878 года. — В Петербурге самые бедные из людей виденных вами, — даже нищие, — не знают теперь, что такое был «гривенник» в нашем — не бедном — семействе. Оно было не бедно. Пищи было много. И одежды. Но денег никогда не было. Поэтому ничего подобного гувернанткам и т. п. не могло нашим старшим и во сне сниться. Не было даже нянек. Прислуги было много. Но она была вся занята хозяйственными делами. Она присматривала за детьми лишь редкими и ничтожными урывками, для отдыха от дел, об этом не стоит и говорить.—А наши старшие? Оба отцы [1]) писали с утра до ночи свои должностные бумаги. Они не имели даже времени побывать в гостях. Наши матери — с утра до ночи работали. Выбившись из сил, отдыхали, читая книги. Они желали быть и были нашими нянюками. Но у них была надобность обшить мужей и детей, присмотреть за хозяйством и хлопотать по всяческим заботам безденежных хозяйств.

Итак, урывками, мы имели нянек — читающих, и слушали иногда; а больше сами читали. Никто нас не «приохочивал». Но мы полюбили читать. А кроме этого мы жили себе, как нам вздумается. Были постоянные советы нам, чтобы мы не разбили себе лбов. При малейшем приключении такого рода на помощь нам прибегали взрослые люди, — или наши старшие, или прислуга. Но больших бед не могло быть. Опасных игрушек у нас не было: ничего железного, ничего острого. Это потому, что и вовсе не было у нас покупных игрушек. На игрушки нам не было денег. Поранить себя нам было нечем. А наши старшие были люди смирные; шума, беспорядка не было даже у прислуги: вся прислуга — крепостные матери вашего мужа — были люди истинно благородные. Потому и у нас, росших в обществе честном и скромном, формировались скромные, рассудительные нравы в наших играх. Итак, опасности нам от наших рабов не было. И росли мы, собственно говоря, как проводят время взрослые люди, то-есть: делали все, как нам было угодно» [2]).

---

[1]) Николай Гаврилович имеет здесь в виду, кроме своего отца, отца А. Н. Пыпина, семейство которого жило рядом с семейством Чернышевских.

[2]) «Современный Мир», май, 1908 г., стр. 70—71.

А что же было «угодно» детям? Прежде всего упражнять свои физические силы, играть и резвиться. Ф. В. Духовников в своей статье о жизни Чернышевского в Саратове, говорит, что в детстве Николай Гаврилович с увлечением и страстью предавался играм. То же видно из воспоминаний В. Д. Чеснокова, бывшего его товарищем по детским забавам. Но в воспоминаниях этого последнего о детских и отроческих играх Николая Гавриловича выступает еще одна черта, достойная замечания.

«Начитавшись о жизни греков и римлян, — говорит он, — Николай Гаврилович еще в детстве (14 лет) сознавал важное значение гимнастических упражнений для укрепления организма (о чем он неоднократно говорил товарищам детских игр) и занимался ими, хотя потихоньку от своих родителей, которые, вероятно, запрещали ему подобные занятия. На своем заднем дворе он вместе с другими мальчиками вырыл яму, через которую и прыгали на призы. Кто перепрыгнет яму, тот получает приз: яблоки, орехи, деньги и проч. Обыкновенно перепрыгивал яму Николай Гаврилович, но он сам, как старший из нас, не брал призов, предоставляя их другим мальчикам, или же делился с ними. Другие наши гимнастические упражнения были: перепрыгивание через разные предметы, взлезание на столб, на деревья, метание камня из праща, бегание взапуски, вперегонку и др.» [1]).

Кто знает, как справился бы организм Н. Г. Чернышевского с разрушительными для здоровья условиями, окружившими его во второй половине его жизни, если бы он с детства не был закален этой демократической простотой воспитания и этими гимнастическими упражнениями по примеру «греков и римлян»?

С нравственной стороны свобода делать все, что «угодно», была хороша тем, что давала ребенку полную возможность прямо смотреть на жизнь, не отгороженную от него китайской стеной разного рода условностей. И по всему видно, что даже в самой ранней своей юности Чернышевский умел зоркими глазами смотреть на окружавшую его жизнь. В первой части романа «Пролог», несомненно имеющего автобиографическое значение, он так говорит об отношении своего героя Волгина к «аристократии»: «Он никогда не принадлежал и к мелкому светскому обществу, не только к их высокому, важному. Но какой же

---

[1]) *К. М. Федоров,* «Жизнь русских великих людей. Н. Г. Чернышевский», Асхабад 1904 г., стр. 5—6.

город или городишко не гремел славою их подвигов? Он с детства знал, что это люди буйные, наглые» [1]).

И не одну только «аристократию» наблюдал Волгин (Чернышевский) в своем детстве. Наблюдал он и так называемое простонародье.

«Ему вспоминалось, как, бывало, идет по улице его родного города толпа пьяных бурлаков: шум, крик, удалые песни, разбойничьи песни. Чужой подумал бы — город в опасности, — вот, вот бросятся грабить лавки и дома, разнесут все по щепочке. Немножко растворяется дверь будки, оттуда просовывается заспанное старческое лицо с седыми, наполовину вылинявшими усами, раскрывается беззубый рот и не то кричит, не то стонет дряхлым криком:—«Скоты, чего разорались? Вот я вас!». Удалая ватага притихла, передний за заднего прячется; еще бы такой окрик, и разбежались бы удалые молодцы, величавшие себя «не ворами, не разбойничками—Стеньки Разина работничками», обещавшие, «что как они веслом махнут», то и «Москвой тряхнут», разбежались бы, куда глаза глядят, куда ноги понесут, крикни еще раз инвалид в дверь будки; но старый будочник знает, что перед богом грех был бы слишком пугать удалых молодцев: лбы себе перебьют, ноги переломают, навек бедные искалечатся,—будочник, понюхав табаку, говорит:— «Идите себе, ребята, с богом, только не будите меня старика, не вводите в сердце». И затворяется в будке, — и ватага удалых молодцов, Стеньки Разина бывших работничков, скромно идет дальше, перешептываясь, что будочник, на счастье им, видно, добрый человек» [2]).

Чернышевский говорит, что Волгин в детстве приходил в недоумение от таких сцен.

Ввиду автобиографического характера романа «Пролог» (т.-е., собственно, первой его части — «Пролог пролога»), можно сказать, что уже детские впечатления наталкивали Чернышевского на такие мысли, в результате которых получались не только юмористические картинки во вкусе только что приведенной. Да и эти юмористические картинки не могли остаться без глубокого влияния на то представление взрослого Чернышевского о «простонародье», о котором нам не раз придется говорить ниже. Теперь же мы только заметим, что наблюдать подобные бытовые сцены и приходить от них в недоумение мог только такой ре-

[1]) Полное собрание сочинений *Н. Г. Чернышевского*, т. X, ч. 1, отд. 2, стр. 171.

[2]) Там же, та же страница.

бенок, которому воспитатели его не мешали подходить вплотную к действительности и задумываться над ее явлениями [1]).

Но как ни демократично было воспитание Н. Г. Чернышевского, в нем был один элемент своеобразного аристократизма, заслуживающий полного нашего внимания. Чтобы понять значение этого элемента, надо принять во внимание, например, вот это свидетельство Н. Г. Чернышевского:

«Теперь, как я слышу, во многих, а быть может, и во всех семинариях уменьшилось или совсем вывелось пьянство. Но в мое время в саратовской семинарии никакое сходбище семинаристов не могло не быть попойкой. Николай Александрович [2]) был настолько моложе своих товарищей, что не годился бы быть соучастником попоек, если б жизнь в семействе и не удерживала его от подобной наклонности» [3]).

И дальше: «Когда я перешел в реторику, из моих 122-х человек товарищей только четверо имели по 14 лет и только один был 13 лет,— и мы смотрели на него, как на ребенка. Этот юноша кутил очень сильно и с необычайным усердием выделывал всякие молодецкие штуки» [4]).

Как видите, пьянство было очень соблазнительно для тогдашнего семинариста: оно могло дать ему средство прослыть молодцом в среде товарищей. Но, насколько мы знаем, Чернышевский никогда не поддавался этому соблазну. Почему же? Оставляя в стороне другие возможные здесь предположения, мы напомним читателю о том, что сам Чернышевский говорит о Добролюбове: «По молодости лет Добролюбов не годился бы для участия в семинарских попойках даже в том случае, если бы жизнь в семействе и не удерживала его от них». Эти слова показывают, что, по мнению Чернышевского, жизнь в семействе удерживала молодых людей от наклонности к кутежам. Но семья семье рознь. Чтобы жизнь в семействе избавляла молодых людей от влияния дурных примеров, необходимо, чтобы она сама не давала им таковых. Вот этим-то и хороша была семья Чернышевских. Отец Николая Гавриловича был, конечно, человеком старого закала, но он всегда был трезв,

---

[1]) Г. Евг. Ляцкий говорит: «В Саратове, — а это было в годы детства и юности, — проникся он тем глубоким пониманием народных нужд и стремлений, какое обнаружил он впоследствии в своих статьях по крестьянскому вопросу» («Совр. Мир», 1908 г., май, стр. 57). Нам это кажется совершенно справедливым.

[2]) Речь идет о Добролюбове.

[3]) Сочинения *Н. Г. Чернышевского*, т. IX, стр. 10—11.

[4]) Там же, стр. 11.

трудолюбив и серьезен. Это было очень большим счастьем для мальчика. Но это еще не все. При более тесном сближении со своими товарищами по семинарии Н. Г. Чернышевский все-таки мог бы заразиться их пьяным «ухарством», если бы этому не мешало то, что мы назвали элементом своеобразного «аристократизма» в его положении. Его сближение с товарищами по семинарии не могло итти дальше известных пределов, благодаря относительной зажиточности его семейства. Н. Г. Чернышевский и сам признает великое значение этого элемента, говоря о жизни Добролюбова. И замечательно, что значение это он поясняет именно своим собственным примером.

«Николай Александрович,—говорит он,—был сын городского священника, пользовавшегося почетом у епархиального начальства. Чтобы могли понять это люди, незнакомые с семинарским бытом, скажу о своих отношениях с товарищами. Мой отец был также священник губернского города в богатом (!) приходе (доходы моего отца от службы простирались до 1.500 р. ассигнациями, и мы жили безбедно). Все товарищи были мне приятели; человек десять из них были со мной задушевные друзья. Сколько раз мяли мы бока друг другу в шуточной борьбе,—счета нет; словом сказать, в классе и «бурсе» (куда я ходил чуть не каждый день для дружеской беседы) со мной церемонились товарищи также мало, как и со всяким другим. Но в гости ко мне ходили только двое или трое из товарищей, и то изредка; и надобно сказать, что они вовсе не были из числа ближайших моих друзей: они были не больше как приятели; но они не совестились посещать меня в моем семействе, потому что у них была приличная одежда и обувь. Ничто не может сравниться с бедностью массы семинаристов. Помню, что в мое время из 600 человек в семинарии только у одного была волчья шуба,—и эта необычайная шуба представлялась чем-то даже не совсем приличным ученику семинарии, вроде того, как если бы мужик надел брильянтовый перстень. Помню, как покойный Миша Левицкий, не имевший другого костюма, кроме синего зипуна зимой и желтого нанкового халата летом,—помню, как этот первый мой друг не решался навестить меня, когда я недели три не выходил из дому, будучи болен лихорадкой: а между тем мы с Левицким не могли пробыть двух дней, не видавшись, и когда он не ходил в класс, я каждый день приходил к нему. Короче сказать, как ни умеренна была степень знатности и богатства моей семьи, но почти для всех моих товарищей войти в мой дом казалось так же дико, они чувствовали бы себя в нем такими же бедняками и

ничтожными людьми, как я чувствовал бы себя в салоне герцога девонширского» [1]).

Детская и отроческая жизнь Николая Гавриловича сложилась так, что он мог беспрепятственно наблюдать окружавшую его весьма некрасивую действительность, и в то же время имел счастливую возможность не запачкаться в ее грязи. Это не всем выпадает на долю.

Третьим счастливым обстоятельством этого периода его жизни было то, что отец его, человек весьма образованный, — подготовил его прямо в семинарию и тем позволил ему миновать «духовное училище», в котором дети за малейший проступок подвергались, по тогдашнему обычаю, «физическому воздействию» со стороны почтенных педагогов. В семинарию он поступил 1 сентября 1844 года, в класс реторики. Здесь его занятия вообще пошли очень успешно. Но особенные успехи обнаружил он, повидимому, в сочинениях на темы: «должно обуздывать страсти»; «праведник, яко гора Сион, не подвигнется во веки»; «бог всех нас влечет к спасению» и т. п. Будущий критик и публицист «Современника» развивал эти назидательные темы к полному удовольствию своего учителя словесности. «Можно питать надежду, — находил этот последний,—что автор со временем будет мастер хороший своего дела» [2]).

С переходом в класс философии темы, над которыми упражнялся молодой «автор», становятся еще более глубокомысленными. Наш молодой семинарист пишет рассуждение, в котором доказывается, что «начало премудрости — страх господень»; он пишет также «о начале и значении ветхозаветных приношений», «о сущности мира», «о постепенном превращении Первозданного существа в явления», «о пространстве мира» и т. д. Но интереснее всего, что Николаю Гавриловичу уже в этих своих упражнениях пришлось столкнуться с вопросом, который обратил на себя его серьезное внимание в зрелые годы и которому посвящена одна из статей, написанных им уже по возвращении из Сибири («Характер человеческого знания», о ней речь будет ниже): с вопросом о том, «обманывают ли нас чувственные органы?». Вот что читаем мы об этом у г. Евг. Ляцкого:

«Чернышевский возражал Эккартсгаузену, утверждавшему невозможность определить соответствия наших представлений о предметах самим предметам. Доказательства Эккартсгаузена Чернышевский счи-

---

[1]) Полн. собр. сочин. *Н. Г. Чернышевского*, т. IX, стр. 10.

[2]) *Евг. Ляцкий*, назв. статья: «Совр. Мир», июнь, 1908 г., стр. 38.

тал неубедительными. Если у нас нет доказательств a posteriori, опытных, по свойству самого предмета исследования, то можно воспользоваться доказательствами a priori. Для какой же цели в таком случае даны нам чувства, если они только обманывают нас, следовательно, не помогают, а вредят нам, повергая нас в заблуждения? «А кто же был в таком случае виновником обмана, в который повергали бы нас чувства? Без сомнения, Тот, Кто нам дал их. Но чтобы Бог был виновником лжи и причиной обмана, это решительно невозможно. А если невозможно то, чтобы Бог был виновником лжи, то мы должны согласиться, что Он не дал нам чувственных органов, устроенных так, чтобы они нас обманывали». Учитель оценил сочинение отметкой: «Очень хорошо». Очевидно, ответ на вопрос совершенно удовлетворял требованиям учителя, излишние же умствования не допускались» [1]).

Впоследствии Н. Г. Чернышевский решал этот вопрос, конечно, с помощью других соображений. Но окончательный вывод остался у него, в последнем счете, тот же: он всегда очень пренебрежительно относился к теориям, проповедывавшим непознаваемость внешнего мира.

Однако он не долго радовал семинарское начальство своими успехами в науках. В конце декабря 1845 года он подал прошение об увольнении, а в мае следующего он уже ехал «на долгих» в Петербург для поступления в университет. Сделано было это с полного согласия родителей, у которых на этот счет были свои житейские основания [2]). Что же касается самого Н. Г. Чернышевского, то у нас есть лишь некоторые косвенные указания на причины, побудившие его к отказу от духовной карьеры. Впрочем, указания эти довольно ясны. Он сам писал о себе: «Петр Никифорович Каракозов, священник церкви при Александровской больнице, первый пожелал мне именно того, желанием чего исполнена вся душа моя: говоря о поездке близкой моей в Петербург, он сказал: «Дай Бог нам с вами свидеться, приезжайте к нам оттуда профессором, великим мужем, а мы уже в то время поседеем». К этому он прибавлял: «Как душа моя вдруг тронулась этим! Как приятно видеть человека, который хотя и нечаянно, без намерения, может быть, но все-таки скажет то, что ты сам думаешь, пожелает тебе того, чего ты жаждешь и чего почти никто не пожелает ни себе, ни тебе, особенно в таких летах, как я, и положении» [3]). Встретившись по пути в Петербург

---

[1]) Там же, стр. 40—41.
[2]) Там же, стр. 44—45.
[3]) Там же, стр. 46—47.

с дьяконом М. С. Протасовым, который сказал ему: «Желаю вам, чтобы вы были полезны для просвещения и России», будущий студент опять записывает: «Мне теперь обязанность: быть им с Петром Никифоровичем вечно благодарным за их желание: верно, эти люди могут понять, что такое значит стремление к славе и служба человечеству. Маменька сказала: это уже слишком много, довольно если и для отца и матери; нет, этого еще весьма мало скажут о нем; надобно именно быть полезным и для всего отечества. Я вечно должен их помнить» [1]). К этому можно прибавить, что уже в одном из своих семинарских сочинений Чернышевский высказался, как горячий сторонник «просвещения». Сочинение это было написано на ту тему, что образование человечества зависит от образования молодого поколения. По словам г. Евг. Ляцкого, цитирующего это отроческое сочинение, «Чернышевский ясно и последовательно установил связь между задачами, лежащими на молодом поколении, и тем богатством знания культуры, которое это поколение получает от прошлого» [2]). Он говорил там, что «знание это — неиссякаемый рудник, который доставляет владетелям своим тем большее сокровище, чем глубже будет разработан». Но особенно интересно окончание этого сочинения, в котором юный автор призывал к неутомимой деятельности в области знания. «Подумаем только! — восклицал он, — ход образования целого человечества зависит от нашей деятельности» [3]). Но в то время, к которому относится эта работа, Чернышевский, повидимому, еще не делал различия между светским и так называемым духовным просвещением. А потом его молодая мысль очень скоро заметила это различие, и он увидел, что духовная карьера не соответствует его взглядам на вещи и его стремлениям.

В августе 1846 года он был принят в число студентов петербургского университета. О годах его студенчества мы знаем мало. Кажется, нельзя сомневаться в том, что, как говорит г. К. Федоров: «В течение университетского курса Николай Гаврилович занимался древними языками, словесностью, славянскими наречиями, слушал лекции известного философа и археолога Изм. Ив. Срезневского, и под его руководством составил словарь к Ипатьевской [4]) летописи. Словарь этот был напеча-

---

[1]) Там же, стр. 47.

[2]) Там же, стр. 40.

[3]) Там же, та же страница.

[4]) Тут у г. Федорова опечатка: вместо «*Ипатьевской*» стоит «*Игнатьевской*». Теперь словарь этот перепечатан во 2-й части X тома полного собрания сочинений *Н. Г. Чернышевского.*

тан в «Прибавлениях к «Известиям II отд. Акад. Наук» в 1853 году [1]). Но все это слишком неопределенно. Мы не знаем, например, когда, именно, начались первые литературные опыты Чернышевского. Первый том Полного собрания его сочинений начинается двумя библиографическими заметками (о книгах А. Гильфердинга и Нейкирха), напечатанными в 7-й книжке «Отечественных Записок» за 1853 год. Отсюда можно заключить, что к половине названного года относится начало его литературной деятельности. Но в том же томе, в пространной библиографической заметке о «Справочном Энциклопедическом Словаре» Старчевского мы читаем: «При выходе в свет первого тома этого *Словаря,* мы представили («Отеч. Зап.» 1847 года, № 8) подробный разбор его, доказывавший, что предприятия подобного рода, для того, чтобы на самом деле принести пользу публике, должны быть составляемы по строго обдуманному плану и выполняемы с большой аккуратностью, и что ни тому, ни другому условию *Справочный Словарь* не удовлетворяет. Публика, сколько можем судить, была совершенно согласна с нами» [2]). Что же это значит?

На этот счет можно сделать два предположения, и мы рассмотрим каждое из них в отдельности.

Во-первых, можно предположить, — и это предположение, конечно, прежде всего приходит в голову, — что литературная деятельность Н. Г. Чернышевского началась уже в 1847 году *(если не ранее)* и что, следовательно, только по недосмотру издателя Полного собрания его сочинений заметка о первом томе названного словаря не вошла в это собрание. В таком предположении нет ничего невероятного: в 1847 году Чернышевский имел 19 лет, т.-е. был в таком возрасте, когда вполне возможно написать дельную библиографическую заметку. Приняв это предположение, мы неизбежно сталкиваемся с двумя вопросами. Была ли указанная заметка, в самом деле, первым появившимся в печати произведением нашего автора? И неужели он, напечатав ее в 1847 г., не печатал ничего вплоть до июля 1853 года, когда появились, как мы знаем, в том же журнале его заметки о книгах Гильфердинга и Нейкирха? Мы не можем решить ни одного из этих вопросов; их могли бы решить, вероятно, только М. Н. Чернышевский или г. Евг. Ляцкий [3]).

---

[1]) *К. Федоров.* «Н. Г. Чернышевский», Асхабад 1904, стр. 11.

[2]) Полн. собр. сочинений *Н. Г. Чернышевского,* т. I, стр. 14.

[3]) Находясь под следствием, Чернышевский показывал, что он уже в июле или августе 1846 г. отнес в редакцию «Отеч. Записок» перевод одного фельетона «Journal des Débats», а в конце 1847 года или начале 1848 г. вручил Некрасову

Второе, допустимое здесь, предположение состоит в том, что заметка о «Справочном Энциклопедическом Словаре», напечатанная в I томе сочинений Н. Г. Чернышевского, принадлежит не ему, а какому-нибудь другому сотруднику «Отечественных Записок», которому в таком случае принадлежала бы, разумеется, и появившаяся в 1847 году рецензия о *первом* томе того же словаря. В таком предположении тоже нет ничего невероятного. Рецензии, печатавшиеся тогда в «Отеч. Записках», не подписывались. Правда, о принадлежности данной статьи тому или другому автору можно судить не только по его подписи. На мысль о такой принадлежности, обыкновенно, наводит также ее содержание и язык. Но, руководствуясь этими последними признаками, мы находим второе предположение более вероятным, нежели первое.

Мы понимаем, что трудно судить об языке начинающего писателя, каким был бы Чернышевский в 1847 году: начинающие авторы пишут языком еще не установившимся и потому не характерным для них. Но язык рецензии, напечатанной в 1847 г., кажется нам вполне установившимся. Само по себе и это не могло бы иметь решающего значения: прочитав первые печатные произведения Добролюбова, вряд ли кто скажет, что они написаны новичком в литературе. Но дело в том, что Чернышевский, еще в бытность свою на IV университетском курсе, писал языком гораздо менее установившимся, нежели тот, каким написана интересующая нас рецензия. В этом легко убедиться, прочитав его статью о «Бригадире Фон-Визина», впервые напечатанную во 2-й части X тома его сочинений, но—как это видно из предпосланного ей примечания издателя — относящуюся, именно, ко времени пребывания Чернышевского на IV курсе. Язык этой статьи есть, несомненно, язык писателя, гораздо менее «набившего себе руку», нежели тот, который написал заметку о I томе «Справочного Энциклопедического Словаря».

То же приходится сказать и о содержании этой последней: оно обнаруживает в авторе такую законченность миросозерцания и такое

для напечатания в «Современнике» повесть (содержанием которой были несчастия сироты-девушки, воспитывавшейся в институте и потом попавшей в дурные руки). Повесть эта не была напечатана (*М. К. Лемке*, «Дело Н. Г. Чернышевского».—«Былое», 1906 г., № 4, стр. 161). Вот пока все, что мы знаем. Но эти немногие данные как будто свидетельствуют о том, что других литературных сношений у Чернышевского не было в ту пору ни с Краевским (т.-е. с «Отеч. Записками»), ни с Некрасовым (т.-е. с «Современником»), иначе он упомянул бы о них, а между тем он в своем показании говорит лишь о том, как он увиделся с названными лицами снова только в 1853 году.

богатство сведений, каких мы не видим в статье о «Бригадире». Между тем, статья эта написана Н. Г. Чернышевским, когда он был на IV курсе, а рецензия 1847 года, если бы она принадлежала ему, была бы написана или в конце первого курса, или сейчас же по переходе на второй. Поэтому мы думаем, что издатель его сочинений ошибся, приписав ему заметку, занимающую стр. 14 — 25 первого тома.

Но и это, к сожалению, все-таки не решает вопроса о том, когда начались первые литературные опыты нашего автора. В ожидании его решения, обратимся опять к статье о «Бригадире». На ней очень стоит остановиться.

Почти в самом ее начале молодой автор делает следующую, весьма интересную оговорку:

«О влиянии Фон-Визина на общество я не говорю ничего, потому что если Фон-Визин его и имел, то слишком мало. Нужно, впрочем, согласиться в том, что̀ называть влиянием на общество какого-нибудь литературного произведения: если то, что при появлении нового произведения поговорят о нем, похвалят или осудят автора, то Фон-Визин имел его, и имел особенно «Бригадиром»; он сам говорит в своей исповеди, как много при дворе говорили о его «Бригадире», как друг перед другом наперерыв приглашали вельможи его читать свою комедию,—но, кажется, этого еще нельзя назвать влиянием на общество. Оно бывает только тогда, если идеи, лежащие в основании произведения, входят в живое прикосновение с действительною (умственною, нравственною или практическою, это все равно, но непременно с действительною) жизнью общества, так что, прочитавши это произведение, общество станет чувствовать себя не совсем таким, как прежде, почувствует, что его взгляд на вещи прояснился или изменился, почувствует, что дан толчок его умственной или нравственной жизни» [1]).

В этих словах кратко выражен тот взгляд на задачу литературы, который подробно развивался впоследствии Н. Г. Чернышевским и который был усвоен также Н. А. Добролюбовым [2]). Тут уже виден будущий автор «Гоголевского периода русской литературы»; но этот автор еще не выработал той оригинальной манеры изложения, которая была так характерна для него впоследствии; он только начинает ее выработку. Точно так же и аргументация его далеко не отличается тем обилием

[1]) Полн. собр. сочин. *Н. Г. Чернышевского*, т. X, часть 2, стр. 2.

[2]) По вопросу о значении сатиры см. особенно статью *Добролюбова*: «Русская сатира в век Екатерины» («Современник», 1859 г., № 10), перепечатанную в I томе его сочинений.

сведений, которым поражают читателя его позднейшие сочинения. Сейчас видно, что перед нами все-таки только «проба пера». Но как интересна эта «проба пера», показывают, кроме только что сделанной нами выписки, еще следующие строки:

«Требование: «характеры, выведенные писателем, особенно писателем драматическим, должны непременно развиваться; если они остаются неподвижными, автор виноват, и произведение лишено художественного достоинства», — это требование слышишь беспрестанно, беспрестанно слышишь упреки тому или другому произведению за невыполнение его. Но кажется, что такого требования нельзя поставить всегда приложимым законом художественной красоты литературного произведения. Законы художественности не могут противоречить тому, что есть в действительности, не могут состоять в том, чтобы действительность изображалась не в своем настоящем виде; как она есть, так и должна она отразиться в художественном произведении. А в действительности мы часто встречаемся с такой неглубокой натурой, с таким немногосложным характером, что с первого же раза видишь такого человека насквозь и видишь его всего, решительно всего, так что, если и двадцать лет проживешь с ним, не увидишь в нем ничего, кроме того, что высказалось в первом же его слове, в первом же его взгляде. Каким же образом такой человек будет развивать перед вами свой характер в художественном произведении, когда в действительности не развивает его?» [1]).

Идеи, высказываемые здесь, были идеями Белинского, как они сложились в последнем периоде его литературной деятельности; то же самое внимание к действительности, то же самое убеждение в том, что художник должен изображать действительность, как она есть, без всяких прикрас и недомолвок. С этой стороны, статья о «Бригадире» имеет огромное значение для биографа Н. Г. Чернышевского. Она показывает, что к концу своего университетского курса наш автор был убежденным последователем Белинского, к которому он всегда относился впоследствии с восторженным уважением.

Но можно ли сказать, что он воспитался именно на сочинениях Белинского и его кружка? что он именно из этого источника почерпнул свои взгляды? — Нет, это было бы не совсем правильно. Чернышевский был, несомненно, очень многим обязан Белинскому; но надо все-таки признать, что он был обязан ему далеко не всем.

---

[1]) Полное собр. соч. *Н. Г. Чернышевского*, т. X, ч. 2, стр. 7.

Хотя в своих сочинениях Чернышевский крайне редко касается истории своего умственного развития, но все-таки у него попадаются мимоходом некоторые заметки, проливающие на нее известный свет. К числу этих крайне редких заметок принадлежит письмо, написанное им после смерти Добролюбова, в ответ на статью некоего З - на и напечатанное в февральской книжке «Современника» за 1862 г. В своей статье З - н сказал, между прочим, что покойный Добролюбов был учеником Чернышевского и находился под сильнейшим его влиянием. Чернышевский горячо и даже очень раздражительно отрицает это, говоря, что Добролюбов совершенно самостоятельно пришел к своим взглядам и был гораздо выше его как по своим умственным силам, так и по литературному таланту. Нам не нужно решать теперь, насколько совпадало с истиной это скромное заявление. Говоря по правде, мы, со своей стороны, очень сомневаемся в том, чтобы оно совпадало с нею. Но это нас здесь не касается; из всего письма Н. Г. Чернышевского нас интересует теперь лишь следующее место. Напомнив З - ну, что Добролюбов знал немецкий и французский языки и мог таким образом в подлиннике ознакомиться с наиболее замечательными литературными произведениями Франции и Германии, Чернышевский говорит: «Если же даровитый человек в решительные для своего развития годы читает книги наших общих западных великих учителей, то книги и статьи, писанные по-русски, могут ему нравиться, могут восхищать его (как и Добролюбов восхищался тогда некоторыми вещами, писанными по-русски), но ни в каком случае не могут уже они служить для него важнейшим источником тех знаний и понятий, которые почерпает он из чтения. Что же касается влияния моих статей на Добролюбова, этого влияния не могло быть даже и в той, не очень значительной степени, какую могли иметь статьи Белинского. Я не имел тогда важного влияния в литературе» [1]). На самом деле, в то время, о котором идет здесь у Чернышевского речь, — т.-е. в 1855 — 1856 г.г., — когда уже появились в печати его знаменитые «Очерки Гоголевского периода русской литературы», — его влияние было гораздо сильнее, нежели он утверждает. Но, повторяем, здесь нас это не касается. Для нас здесь важно только то, что он также знал иностранные языки, и что он, в решительные для своего развития годы, также читал книги «наших общих великих западных учителей». Поэтому позволительно думать, что

[1]) «В изъявление признательности», письмо к г. З-ну. Сочинения, т. IX, стр. 101.

и его могли только восхищать некоторые, писанные по-русски, статьи и книги, — между которыми первое место принадлежало сочинениям Белинского, — но что, вместе с тем, и для него они не были «первоначальным источником его понятий и знаний».

Каков же был этот источник? Статья о «Бригадире Фон-Визина» и на это дает некоторые указания. Ее молодой автор говорит:

«Нельзя читать без отрадного чувства «Маленькой Фадетты», «Франсуа ле-Шампи» и других повестей в этом роде величайшего писателя нашего времени: как отдыхаешь в этой прекрасной чистой сфере! Каждого из этих поселян с удовольствием назвал бы своим другом, без скуки прожил бы годы в их обществе, и не пришло бы, кажется, ни разу в голову, что ты выше их по уму и образованию, хотя бы и в самом деле был много выше их: а между тем, не правда ли, что все они (кроме самой Фадетты) люди ограниченные и по большей части очень и очень ограниченные?» [1]).

Это в высшей степени интересное место показывает, что Чернышевский зачитывался романами из крестьянской жизни Жорж Занд, бывшими тогда литературной новинкой [2]). Он ставил Жорж Занд на самое первое место между писателями своего времени. Но читал и изучал он, конечно, не только французских писателей. Встречающиеся в той же статье отзывы его о французской литературе XVII века дают понять, что он тогда уже находился под очень сильным влиянием Лессинга, которому он, несколько лет спустя, посвятил целое сочинение [3]). Впрочем, надо заметить, что отзывы эти очень пристрастны и что если их приходится отнести на счет влияния Лессинга, то лишь с той оговоркой, что молодой русский ученик, в своем увлечении, слишком преувеличил мысли своего немецкого учителя [4]).

Минуя Шиллера и Гете, с которыми Чернышевский познакомился, вероятно, еще в бытность свою в семинарии, скажем, что он, как видно, в ту же до-университетскую эпоху начал изучать классиков немецкой философии, особенно Гегеля. Но, по его собственным словам, он знал

[1]) Сочинения, т. X, ч. 2, стр. 13.

[2]) Роман «La Petite Fadette» вышел в 1848 г., а «François le Champi» — в 1850 г.

[3]) «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность» («Современник», 1856 г., №№ 10—12; 1857 г., №№ 1, 3—6. См. полн. собр. соч., т. III).

[4]) См., например (там же, стр. 15), крайне презрительные замечания о французской комедии XVII века и об ее «знаменитом до сих пор представителе» Мольере, «у которого во всех сочинениях едва ли можно найти две страницы сряду естественного разговора, до того все натянуто и пересолено, чтоб выходило смешное и чтобы «резче» выставлялись характеры».

тогда лишь «русские изложения системы Гегеля, очень неполные». Из его же слов видно, что эти неполные изложения «об'ясняли систему великого немецкого идеалиста в духе левой стороны Гегелевской школы» [1]) (Не были ли это «Письма об изучении природы» А. И. Герцена?). Далее, мы, опять на основании свидетельства самого Чернышевского, знаем, что после Гегеля, — которого он начал изучать на немецком языке по переезде в Петербург и который в подлиннике понравился ему меньше, нежели в русских изложениях, — ему «случайным образом» попалось одно из главных сочинений Людвига Фейербаха. Автор «Сущности христианства» имел на него решительное влияние. Чернышевский сам говорит, что он «стал последователем этого мыслителя» и усердно читал и перечитывал его сочинения.

С Фейербахом он начал знакомиться,—как рассказывает он сам,—лет за шесть до того, как ему представилась житейская надобность написать ученый трактат, т.-е., другими словами, до того, как он сел за свою магистерскую диссертацию по эстетике. А так как диссертация эта была написана им в 1853 году [2]), то выходит, что с Фейербахом он стал знакомиться едва ли уже не на 2-м курсе университета. Во всяком случае, он оставался последователем Фейербаха до самого конца своей жизни, и мы позволим себе обратить внимание г. К. Федорова на то обстоятельство, что влияние этого мыслителя на философские взгляды нашего великого писателя было несравненно сильнее, нежели влияние «известного философа Изм. Ив. Срезневского» (см. выше).

Фейербах дал философскую основу всему миросозерцанию Н. Г. Чернышевского. Но нам уже известно, что наш автор зачитывался романами Жорж Занд. А романами этими затрагивались многие темы, имевшие непосредственное отношение к общественной и семейной жизни. И мы вряд ли ошибемся, предположив, что уже во время пребывания своего в университете Чернышевский много занимался этими темами. Более чем вероятно, что он тогда же познакомился с важнейшими социалистическими системами и начал изучать политическую экономию [3]). У нас пока еще нет никаких прямых указаний на то, как

---

[1]) См. предисловие к 3-му изд. «Эстетических отношений искусства к действительности», напечатанное во 2 ч. X т. Полн. собр. сочинений. Об этом интересном предисловии см. ниже, в главе «Философские взгляды Н. Г. Чернышевского».

[2]) См. примечание издателя на 84 стр. 2 ч. X т. Полного собр. сочинений *Н. Г. Чернышевского.*

[3]) Уже в 1854 г. появляется в «Современнике» (№ 6) очень хорошая заметка его о книге *Льгова:* «О земле, как элементе богатства».

шли его занятия этого рода. Одно можем мы сказать почти с самой полной уверенностью. Хотя, собираясь в Петербург, он пришел в восторг от слов священника Каракозова, пожелавшего ему стать мужем науки, но в более зрелом возрасте он уже не имел намерения стать ученым специалистом. Его влекла к себе деятельность литературного критика и публициста. Еще в семинарии он решил посвятить свои силы работе на благо своей страны. И, может быть, он уже в то время находил, что эта работа должна иметь не столько ученый, сколько публицистический характер. В «Очерках Гоголевского периода» он очень определенно высказывается в этом смысле.

«Многие из великих ученых, поэтов, художников, — говорит он там, — имели в виду служение чистой науке или чистому искусству, а не каким-нибудь исключительным потребностям своей родины. Бэкон, Декарт, Галилей, Лейбниц, Ньютон, Гумбольт и Либих, Кювье и Фаредэ трудились и трудятся, думая о пользах науки вообще, а не о том, что именно в данное время нужно для блага известной страны, бывшей их родиной. Мы не знаем и не спрашиваем себя, любили ли они родину: так далека их слава от связи с патриотическими заслугами. Они как деятели умственного мира космополиты. То же надобно сказать о многих великих поэтах Западной Европы. Укажем в пример на величайшего из них — Шекспира... Назовем Ариоста, Корнеля, Гете. О художественных заслугах перед искусством, а не особенных, преимущественных стремлениях действовать во благо родины, напоминают их имена» [1]). У нас не то. Русские деятели умственного мира находятся, по мнению Чернышевского, в совершенно другом положении. Им еще нельзя быть космополитами, т.-е. нельзя думать об интересах чистой науки или чистого искусства. В этом смысле, по условиям своей страны, им приходится быть «патриотами», т.-е. думать прежде всего о специальных нуждах своей родины. Идеалом «патриота» в этом смысле является для Чернышевского Петр Великий, человек, задавшийся целью перенести в Россию все блага европейской цивилизации. Он думал, что и в его время цель эта далеко еще не вполне была достигнута. «До сих пор для русского человека единственная возможная заслуга перед высокими идеями правды, искусства, науки — содействие распространению их в его родине. Со временем будут и у нас, как у других народов, мыслители и художники, действующие чисто только в интересах науки или искусства; но, пока мы не станем по своему образованию

[1]) Полн. собр. сочин. *Н. Г. Чернышевского*, т. II, стр. 120—121.

наравне с наиболее успевшими нациями, есть у каждого из нас другое дело, более близкое сердцу, — содействие, по мере силы, дальнейшему развитию того, что начато Петром Великим. Это дело до сих пор требует и, вероятно, еще долго будет требовать всех умственных и нравственных сил, какими обладают наиболее одаренные силы нашей родины» [1]). Чернышевский именно и хотел посвятить свои силы распространению на своей родине высоких идей правды, искусства, науки. И по всему видно, что это намерение сложилось гораздо раньше выступления его на литературное поприще. По всей вероятности, оно окончательно окрепло еще на университетской скамье.

Впоследствии, находясь в заключении и обвиняемый в проповеди социалистических учений, Чернышевский писал:

«Я не социалист в серьезном, ученом смысле слова, по очень простой причине: я не охотник защищать старые теории против новых. Я — кто бы я ни был — стараюсь понимать современное состояние общественной жизни и вытекающие из нее убеждения. Распадение людей, занимающихся политической экономией, на школы социалистов и несоциалистов, такой факт в историческом развитии науки, который отжил свое время. Практическое применение этого внутреннего распадения науки также факт минувшего: в Англии — давно, на континенте Западной Европы — с событий 1848 г. Я знаю, что есть многие отсталые люди, полагающие, что это мое мнение подлежит спору; но это спор уже о том, основательны ли мои ученые убеждения, — предмет, чуждый юридического значения. А между тем он введен в дело» [2]).

Никакая нравственность не могла требовать от Н. Г. Чернышевского, чтобы он откровенно изложил перед своими обвинителями самые задушевные свои мысли. Поэтому все данные им показания этого рода могут служит материалом для его биографии лишь в том случае, если биограф сумеет отнестись к ним с надлежащей критикой. В данном случае критика должна выяснить, что значит это заявление: «я не социалист в серьезном, ученом смысле этого слова». На самом деле оно значит, что, по мнению Чернышевского, совершенно отжило свое время известное старое противоположение социализма политической экономии. А это мнение, в свою очередь, означает, что социализм не только не должен бороться против политической экономии, но, напротив, должен обосновать свои требования с помощью ее главнейших поло-

---

[1]) Там же, стр. 130—132.

[2]) *М. К. Лемке*, «Дело Н. Г. Чернышевского» («Былое», 1906, № 5, стр. 102).

жений. Согласно этому своему убеждению, Чернышевский взялся за перевод и за комментирование «Оснований политической экономии» Дж. Ст. Милля. И когда его обвинили в распространении социалистических учений, он сослался на это обстоятельство, как на довод в свою защиту. Это очень хорошо видно из другого места цитированного нами документа.

«В юридическом смысле слова,—говорит там Н. Г. Чернышевский,—в серьезном, ученом смысле, который один имеет юридическое значение, термин «социалист» противоречит фактам моей деятельности. Обширнейшим из моих трудов по политической экономии был перевод трактата Милля, ученика Рикардо; Милль — величайший представитель школы Адама Смита в наше время; он гораздо вернее Адаму Смиту, чем Рошер. Из примечаний, которыми я дополняю перевод, обширнейшее по об'ему — исследование о Мальтусовом законе. Я принимаю его и стараюсь разбить [1]) Мальтусову формулу. Этот принцип — пробный камень безусловной верности духу Адама Смита» [2]).

В *юридическом* смысле слова, конечно, странно, — ввиду уже упомянутого старого противопоставления социализма политической экономии, — обвинять в пропаганде социализма человека, который переводил Милля и требовал от экономической науки безусловной верности духу Адама Смита. Но этим совсем не лишается своего *теоретического* значения вопрос о том, в каком смысле комментировал Чернышевский Милля, и не держался ли он того мнения, что безусловно верная духу Адама Смита экономическая наука должна вести к социализму. Ниже мы показываем, что наш автор комментировал Милля именно в социалистическом смысле. Мы показываем там, кроме того, каким образом делал он социалистические выводы из основных положений политической экономии. Впрочем, это вряд ли будет оспариваться кем-нибудь. Вряд ли кто сомневается в том, что Чернышевский был социалистом. Но, как мы уже сказали в предисловии, до сих пор многие отказываются признать Чернышевского сторонником *утопического* социализма. Мы надеемся, что наше последующее изложение с достаточной ясностью обнаружит перед читателем неосновательность подобного отказа. Здесь же мы заметим лишь вот что:

Н. Г. Чернышевский, в самом деле, считал отжившим старое противопоставление социализма политической экономии. Но это у него

---

[1]) В статье г. Лемке стоит «развить». Но это очевидная опечатка.

[2]) Там же, та же страница.

значило, главным образом, то, что, после опыта 1848 года, нельзя уже возлагать надежд на альтруистические чувства людей: сострадание к угнетенным, сочувствие к ближнему и т. п., а нужно апеллировать к их рассудку и защищать социализм с точки зрения выгоды, экономического «расчета». Но, как мы покажем, такая апелляция к расчету совсем не исключала утопической точки зрения на общественную жизнь.

Во второй части написанного Чернышевским в Сибири романа «Пролог» Левицкий (Добролюбов) заносит в свой дневник после свидания с Волгиным (Чернышевским): «Он не верит в народ. По его мнению, народ так же плох и пошл, как общество» [1]). Если мы не ошибаемся, это значит, что, согласно воспоминаниям самого Чернышевского, его взгляд на народ произвел на Добролюбова впечатление полного «неверия». Ниже мы подробно изложим этот взгляд, и тогда читатель увидит, что Н. Г. Чернышевский, в самом деле, не рассчитывал на народную инициативу ни в России, ни на Западе. Инициатива прогресса и всяких полезных для народа перемен в общественном устройстве принадлежала, по его мнению, «лучшим людям», т.-е. интеллигенции. В этом отношении, — правда, едва ли не только в этом, — его взгляд очень близко подходил к воззрениям, изложенным впоследствии П. Л. Лавровым в «Исторических письмах». Здесь не место критиковать этот взгляд. Но не мешает напомнить читателю, в какую эпоху сложился он у Н. Г. Чернышевского: это была эпоха разочарований, последовавших за крушением тех надежд, которые приурочивались к движению 1848 года,—эпоха, характеризующаяся, правда, временной, но зато полной подавленностью западно-европейского рабочего класса.

Эта эпоха разочарований, конечно, не благоприятствовала возникновению у Чернышевского каких-нибудь преувеличенных надежд на ближайшее будущее. Этим, вероятно, и нужно об'яснить, что, вскоре по окончании университетского курса (в 1850 году), он уехал в Саратов, где получил место старшего учителя в гимназии. Но дневник, который он вел в Саратове и который относится к 1852—1853 г.г., показывает, что, чуждый всяких преувеличенных надежд на ближайшее будущее, Чернышевский, однако, совсем не принадлежал к числу людей, окончательно потерявших всякую веру в более или менее близкое торжество прогрессивных начинаний. Вот пример. Пятого марта 1853 г. он писал: «Наконец, мне должно жениться, чтобы стать осторожнее. Потому что, если я буду продолжать так, как начал, я могу попасться в самом деле. У

[1]) Сочинения, т. X, ч. 1, отд. 2 стр. 215—216.

меня должна быть идея, что я не принадлежу себе, что я не вправе рисковать собою, иначе, почем знать? Разве я не рискну? Должна быть как защита против демократического, против революционного направления, и этою защитою ничто не может быть, кроме мысли о жене» [1]). Он и в самом деле женился на Ольге Сократовне Васильевой 29 апреля 1853 года. Но следует заметить, что он сам вряд ли серьезно рассчитывал на то, что женитьба будет ему защитой «против демократического, против революционного направления». Он предупреждал свою невесту насчет того, что он может погибнуть. Из первой части романа «Пролог» видно, что беседы на такую тему случалось ему вести с Ольгой Сократовной и после того, как она стала его женою. Как же представлялся ему тот ход событий, в связи с которым ему могла бы угрожать гибель? На это отвечает следующее место в «Дневнике Левицкого» (2-я часть романа «Пролог»). Читая это место, нужно помнить, что в нем рассказ ведется от лица Левицкого (Добролюбова), записывающего слова, сказанные ему Волгиным (Чернышевским):

«Прийдет серьезное время. Когда?—Я молод, потому для вопроса обо мне все равно, когда оно прийдет: во всяком случае оно застанет меня еще в полном цвете сил, если я сберегу себя. Как прийдет? Как пришла маленькая передряга Крымской войны; без наших забот, пусть не хлопочу; никакими хлопотами не оттянешь, не ускоришь вскрытие Невы. Как прийдет? Мы говорим о времени силе, — сильна только сила природы.

По воздуху вихорь свободно шумит;
Кто знает, откуда и как он летит.

«Шансы будущего различны. Какой из них осуществится? Не все ли равно? Угодно мне слышать его личное предположение о том, какой шанс вероятнее других? Разочарование общества и от разочарования новое либеральничанье в новом вкусе, по-прежнему мелкое, презренное, отвратительное для всякого умного человека с каким бы то ни было образом мысли; для умного радикала такое же отвратительное, как для умного консерватора пустое, сплетническое, трусливое, подлое и глупое, и будет развиваться, развиваться, все подло и трусливо, пока где-нибудь в Европе, — вероятнее всего во Франции, — не подымется буря и не пойдет по остальной Европе, как было в 1848 году.

---

[1]) Сочинения, т. X, ч. 2, отд. 3, стр. 39. В другом месте он пишет: «Я должен чем-нибудь сдерживать себя на дороге к Искандеру» (там же, стр. 96).

«В 1830 году буря прошумела только по западной Германии; в 1848 году захватила Вену и Берлин. Судя по этому, надобно думать, что в следующий раз захватит Петербург и Москву» [1]).

По всей вероятности, Чернышевский так рассуждал и о самом себе по окончании университетского курса: «Сейчас невозможно предпринять что-нибудь дельное, но серьезное время непременно прийдет под влиянием тех или иных «передряг» международной жизни. Тогда можно будет взяться за общественную деятельность, а теперь пока надо собираться с силами и работать над самим собою, да над теми немногими, преимущественно молодыми, людьми, с которыми приходишь в непосредственное соприкосновение». И он, конечно, работал. Трудно было бы усомниться в том, что он, состоя преподавателем Саратовской гимназии, упускал случай заронить добрые семена в молодые души. Но это делалось в ожидании более широких задач, это был подготовительный период, «пролог» его общественной деятельности. В каком настроении был он, находясь в Саратове, видно из следующих слов, записанных им в своем дневнике, 7 марта 1853 года, после представления «Вильгельма Телля»: «Я был решительно взволнован В. Теллем, даже плакал» [2]). Эти слова могут, пожалуй, даже произвести преувеличенное впечатление на читателя, внушив ему ту мысль, что Чернышевский был безусловным сторонником революционного способа действий. Чтобы предупредить подобную ошибку, мы опять обратимся к «Дневнику Левицкого» и приведем из него место, непосредственно следующее за только что приведенным. Напоминаем читателю, что Левицкий передает мысль Волгина.

«Верно ли это? (т.-е. верно ли то, что будущая европейская буря захватит Петербург и Москву. *Г. П.)* Верного тут ничего нет, только вероятно. Отрадна ли такая вероятность? По его мнению, хорошего тут нет ровно ничего. Чем ровнее и спокойнее ход улучшений, тем лучше. Это общий закон природы: данное количество силы производит наибольшее количество движения, когда действует ровно и постоянно; действие толчками и скачками менее экономно. Политическая экономия раскрыла, что эта истина точно так же непреложна и в общественной жизни. Следует желать, чтобы все обошлось у нас тихо, мирно. Чем спокойнее, тем лучше» [3]).

В романе «Пролог» Чернышевский изображает свое настроение, каким оно было в середине 50-х годов. Далее, мы покажем, что впослед-

[1]) Сочинения, т. X, ч. 1, отд. 2, стр. 214—215.
[2]) Сочинения, т. X, ч. 2, отд. 3, стр. 93.
[3]) Сочинения, т. X, ч. 1, отд. 2, стр. 215.

ствии взгляд его на «толчки» и «скачки» очень значительно изменился. Но у нас нет никаких оснований думать, что в эпоху своего студенчества и в первые годы по окончании университетского курса, он смотрел на «толчки» и «скачки» иначе, чем во время первого своего сближения с Добролюбовым. Поэтому мы и полагаем, что молодой Чернышевский далеко не был принципиальным сторонником революции.

Чтобы покончить с периодом пребывания нашего автора в Саратове, отметим, на основании его собственного дневника, две, очень достойные внимания, черты его характера.

Наши «реаки» обыкновенно представляли его себе «вожаком нигилистов», а «нигилисты» являли собою в их глазах не что иное, как

Сброд воришек и грабителей,
Огорчающих родителей...

Дневник дает несколько иное понятие о «вожаке нигилистов». Намереваясь жениться на О. С. Васильевой, Чернышевский писал о своих родителях: «Они не судьи в этом деле, потому что у них понятия о семейной жизни, о качествах, нужных для жены, об отношениях мужа к жене, о хозяйстве, образе жизни, решительно не те, как у меня. Я человек решительно другого мира, чем они, и как странно было бы слушаться их относительно, напр., политики и религии, так странно было бы спрашивать их совета о женитьбе. Это вообще. В частности — они решительно не знают моего характера и того, какая жена нужна мне. В этом деле никто, кроме меня самого, не может быть судьею, потому что никто не может войти в мой характер и в мои понятия, кроме меня самого» [1]). Против этого трудно теперь что-нибудь возразить, и кажется, что 24-летний Чернышевский мог бы со спокойной совестью жениться по своему собственному усмотрению. Однако совесть его была очень неспокойна, и он не переставал мучиться сомнениями насчет того, как поступить ему, если родители не согласятся на его брак. «Я создан для повиновения, для послушания,—писал он,—но это послушание должно быть свободно. А вы слишком деспотически смотрите на меня, как на ребенка. «Ты и в 70 лет будешь моим сыном и тогда ты будешь меня слушаться, как я до 50 лет слушалась маменьки». Кто же виноват, что ваши... [2]) так велики, что я должен сказать: в пустяках, в том, что все равно, — а раньше этими пустяками были важные вещи, — я был послушным ребенком. Но в этом деле не могу, не вправе, потому

[1]) Сочинения, т. X, ч. 2, отд. 3, стр. 47.

[2]) Тут издатель не разобрал одного слова.

что это дело серьезное. Нет-с, тут я уж не тот сын, которого вы держали так: «Милая маменька, позвольте мне с'ездить к Ник. Ив.» — «Хорошо, ступай!» — «Милая маменька, позвольте мне с'ездить к Анне Ник.». — «Не смей ездить, это гадкая женщина». Нет, в этом деле я не намерен спрашиваться, и если вы хотите приказывать, с сожалением должен сказать вам, что напрасно вы будете приказывать» [1]).

Но так как Чернышевский опасался, что приказывать все-таки станут, то он, на всякий случай, принял такое решение: «Если станете упрямиться, — извольте, спорить не стану, я убью себя. Посмотрим, что тогда будет. И если будет необходимость, я исполню свою угрозу, потому что лучше умереть, чем жить бесчестным в собственных глазах, или рассорившись с теми, кого люблю, с теми, которые, наконец, сами любят тебя, только слишком странны со своей претензией на всезнание и безошибочность своих понятий о людях, и о том, что так, а не так должно тут поступить» [2]).

Правда, несколькими строками ниже сам Чернышевский замечает, что это опасение препятствий браку со стороны родителей есть не более как «дикая фантазия», и что, по всей вероятности, дело уладится легко и скоро. Но все-таки чрезвычайно характерно то беспокойство, в которое его приводила мысль о возможности подобных препятствий, а еще более характерно убеждение о нравственной невозможности для него остаться в живых, «рассорившись» с родителями. Все это так мало похоже на ходячее представление реакционеров о «нигилистах»!

Не более соответствует ему и та черта характера Чернышевского, которая сквозит вот в этих строках его дневника: «Кроме этого, я хочу поступить теперь в обладание своей жене и телом, не принадлежав ни одной женщине, кроме нее. Я хочу жениться девственным и телом, как будет девственна моя невеста» [3]). «Реаки» утверждали, что «люди 60-х годов» пропьедывали половой разврат [4]); многие, даже не из числа «реаков», искренно полагали, что только «чистая» мораль графа Толстого начала отчасти поправлять нравственный вред, причиненный таким разнузданием. Мы видим, насколько это справедливо.

Вскоре после женитьбы Чернышевский переехал в Петербург, где он в течение первого года продолжал свою педагогическую деятель-

---

[1]) Там же, стр. 48—49.

[2]) Там же, стр. 49.

[3]) Там же, стр. 40.

[4]) См., напр., грязный пасквиль проф. *Цитовича:* «Что делали в романе „Что делать?“».

ность, занимая во 2-м кадетском корпусе «должность учителя третьего рода», как выражается о нем одна казенная бумага. Тогда же стали появляться его первые, — известные нам, — печатные произведения. Он писал сначала в «Отечественных Записках», а потом в «Современнике». Начиная с 1855 г. и вплоть до своего ареста Чернышевский работал почти исключительно в «Современнике». Это, можно сказать, общее правило, из которого мы знаем два исключения: в 1858 г. появилась в «Атенее» (№ 3) его критическая статья: «Русский человек на rendez-vous», и в том же году он состоял некоторое время редактором военного сборника. В течение первого года своего пребывания в Петербурге он работал над своей магистерской диссертацией: «Эстетические отношения искусства к действительности». Рассмотрение этой диссертации университетским начальством затянулось, по словам издателя Полного собрания сочинений Н. Г. Чернышевского, до 1855 г. и, насколько мы знаем, кончилось неблагоприятно для молодого ученого: обнаружившееся в его работе направление мысли не понравилось университетскому начальству, и он так и не получил магистерского звания. Но зато именно это злоключение с диссертацией и сблизило, как говорят, ее автора с редакцией «Современника», который скоро попал, по собственным словам Н. Г. Чернышевского, в его полное распоряжение.

О диссертации Н. Г. Чернышевский сообщал своему отцу в письме от 21 сентября 1853 года: «Диссертацию свою пишу об эстетике. Если она пройдет через университет в настоящем своем виде, то будет оригинальна, между прочим, в том отношении, что в ней не будет ни одной цитаты, а всего только *одна* ссылка. Если же найдут это недовольно ученым, то я прибавлю несколько сот цитат в три дня. По секрету можно сказать, что г.г. здешние профессора словесности совершенно не занимались тем предметом, который взял я для своей диссертации, и потому едва ли увидят, какое отношение мои мысли имеют к современному образу понятий об эстетических вопросах. Им показалось бы даже, что я приверженец тех философов, которых мнения оспариваю, если бы я не сказал об этом ясно. Поэтому я не думаю, чтобы у нас поняли, до какой степени важны те вопросы, которые я разбираю, если меня не принудят прямо об'яснять этого. Вообще у нас очень затмились понятия о философии с тех пор, как умерли или замолкли люди, понимавшие философию и следившие за нею» [1]).

[1]) Сочинения, т. X, ч. 2, отд. 1 стр. 84.

В письме от 3 мая 1855 г. он писал отцу же: «Диссертация, для сокращения времени и издержек, напечатана мною в большом формате и очень убористым шрифтом; кроме того и для тех же целей я значительно сократил ее (хотя цензура университетская не зачеркнула ни одного слова), когда рукопись была уже одобрена к печати. Потому вышло всего только 6½ печатных листов, вместо 20, которые были бы наполнены ею без сокращений и при обыкновенном разгонистом печатании... В внешнем отношении она имеет ту особенность, что нет в ней *ни одной* цитаты—наперекор общей замашке шарлатанить этою дешевою ученостью. К числу особенностей принадлежит и то, что она писана мною *прямо набело* — случай, едва ли бывавший с кем-нибудь. Этим всем я хотел себе доставить удовольствие внутренно позабавиться над людьми, которые (не могут) сделать подобного. О содержании пока не пишу — это до другого письма. Заглавие вы знаете: «Эстетические отношения искусства к действительности»... [1]).

Н. Г. Чернышевский был главным публицистом, а до половины 1856 г. и главным литературным критиком «Современника». За Некрасовым и Панаевым навсегда останется та огромная заслуга, что они не сторонились, как это делали почти все остальные «друзья Белинского», от Чернышевского и его единомышленников. Правда, с точки зрения успеха журнала, им не приходилось жалеть о том, что они предоставили его в распоряжение автора «Эстетических отношений». Уже в декабрьской книжке «Современника» за 1855 год появилась первая статья из того, уже не раз упомянутого, ряда «Очерков Гоголевского периода русской литературы», который представляет собою одно из замечательнейших произведений Чернышевского и до сих пор остается лучшим пособием для всякого, желающего познакомиться с критикой Гоголевского периода. Вторая статья из этого замечательного ряда очерков была напечатана в январской, третья — в февральской, четвертая — в апрельской книжках «Современника» за следующий год. В этих четырех статьях была сделана оценка литературной деятельности Полевого, Сенковского, Шевырева и Надеждина. В июльской книжке автор перешел к Белинскому, которому и посвящены остальные пять очерков. В этих статьях имя Белинского впервые названо в печати после 1848 года, когда на Белинского стали смотреть, как на запрещенного писателя. С появлением «Очерков» можно было с отрадной уверенностью и, ни мало не преувеличивая дела, сказать, что у Белинского есть достойный преем-

[1]) Там же, та же страница.

ник. С тех пор, как Чернышевский выступил в качестве критика и публициста «Современника», за этим журналом снова было обеспечено преобладающее место между русскими периодическими изданиями, принадлежавшее ему при жизни Белинского. «Современнику» с интересом и уважением внимала передовая часть читающей публики, к нему естественно тяготели все свежие, нарождавшиеся литературные силы. Так, с половины 1856 года в нем стал писать молодой Добролюбов. Людям нашего времени трудно даже представить себе, как велико было тогда у нас значение журналистики. Теперь общественное мнение значительно уже переросло журналистику; в 40-х годах оно еще не успело дорости до нее. Конец же 50-х и начало 60-х годов является эпохой наибольшего согласия между общественным мнением и журналистикой и наибольшего влияния журналистики на общественное мнение. Только при таком условии и возможно было то горячее увлечение литературной деятельностью и та искренняя вера в значение литературной пропаганды, которые замечаются во всех тогдашних выдающихся писателях. Короче, это был золотой век русской журналистики. Несчастный исход Крымской войны заставил правительство сделать несколько уступок образованному обществу и совершить, по крайней мере, самые насущные, давно уже ставшие необходимыми реформы. Вскоре на очередь поставлен был вопрос об освобождении крестьян, самым недвусмысленным образом затрогивающий интересы всех сословий. Нужно ли говорить, что Николай Гаврилович с жаром принялся за разработку этого вопроса? К 1857—1858 г.г. относятся его замечательные статьи о крестьянском деле. Теперь довольно уже хорошо известно взаимное отношение наших общественных сил в эпоху уничтожения крепостного права. Поэтому мы будем говорить о нем лишь мимоходом, лишь поскольку это нужно для выяснения роли, принятой на себя в этом деле нашей передовой журналистикой, во главе которой стоял тогда Н. Г. Чернышевский. Всем известно, что эта журналистика горячо защищала крестьянские интересы. Наш автор писал одну за другой статьи, в которых отстаивал освобождение крестьян с землею и утверждал, что выкуп земель, отходящих в надел крестьянам, не может представить для правительства никакой трудности. Он доказывал это положение и общими теоретическими соображениями, и самыми подробными примерными вычислениями. «Каким это образом выкуп земли может быть в самом деле затруднителен? Как может он превышать силы народа? Это не правдоподобно, — писал он в статье «Труден ли выкуп земли?». — Это противоречит основным понятиям народного хозяйства. Полити-

ческая экономия прямо говорит, что все те материальные капиталы, какие достаются известному поколению от предшествовавших поколений, составляют ценность не очень значительную по сравнению с тою массою ценностей, какая производится трудом этого поколения. Например, вся земля, принадлежащая французскому народу, со всеми зданиями и всем, находящимся в них, всеми кораблями и грузами, всем скотом и всеми деньгами и всеми другими богатствами, принадлежащими этой стране, едва ли представляет стоимость во сто миллиардов франков, а труд французского народа ежегодно производит ценность в пятнадцать или более миллиардов франков, т.-е. не более как в семь лет французский народ производит массу ценностей, равную ценности целой Франции, как она есть, от Ламанша до Пиренеев. Стало быть, если бы французам нужно было бы выкупить у кого-нибудь всю Францию, они могли бы сделать это в продолжение одного поколения, употребляя на выкуп только одну пятую часть своих доходов. А у нас о чем идет дело? Разве целую Россию должны мы выкупить со всеми ее богатствами? Нет, только одну землю. И разве всю русскую землю? Нет, выкуп относится только к тем губерниям одной Европейской России, в которых укоренилось крепостное состояние» и т. д.[1]). Показав затем, что земли, подлежащие выкупу, составляли бы не более шестой части пространства, занимаемого Европейской Россией, он предлагает целых восемь планов выкупной операции По его словам, принявши один из этих планов, правительство могло бы выкупить надельные земли не только без обременения крестьян, но и с большою выгодою для государственного казначейства. В основе всех планов Чернышевского лежало соображение о «*необходимости держаться возможно умеренных цен при определении величины выкупа*». Мы знаем теперь, насколько наше правительство имело в виду интересы крестьянства при уничтожении крепостного права и насколько оно последовало советам Чернышевского относительно умеренности при определении выкупных платежей. Если при освобождении крестьян наше правительство ни на минуту не позабыло выгод государственного казначейства, то об интересах крестьян оно думало очень мало. При выкупной операции имелись в виду исключительно только фискальные и помещичьи интересы. И это совершенно понятно, так как никому нет ни нужды, ни охоты думать об интересах того сословия (в данном случае крестьянского), которое само не может энергично и систематически отстаивать их. Но в ту пору, когда еще

[1]) Сочинения, т. IV, стр. 335—336.

только шли толки о крестьянском освобождении, самые передовые люди России думали несколько иначе. Им казалось, что само правительство без большого труда могло бы понять, до какой степени его собственные выгоды совпадают с интересами крестьянства. Подобные надежды довольно долго питал, между прочим, Герцен. Питал их и Чернышевский. Отсюда происходила и та настойчивость, с которою он возвращался в своих статьях к крестьянскому вопросу, и то усердие, с которым он выяснял правительству его собственные интересы. Но Чернышевский был первым, по времени, русским писателем, понявшим, что он обольщался несбыточной надеждою, и переставшим убеждать тех, которые не обращали ни малейшего внимания на его доводы. Это тоже не малая заслуга.

Мы не будем здесь излагать и разбирать взгляд на русскую общину, изложенный Чернышевским в его статьях по крестьянскому вопросу. Ниже он подробно рассматривается нами. Мы только прибавим здесь, что даже в период наибольшего своего увлечения общиной Чернышевский во взгляде на нее оставался чужд тех полуславянофильских крайностей, до которых доходил Герцен или, — под очевидным влиянием Герцена,—М. Л. Михайлов в своем воззвании «К молодому поколению» (1861 г.) [1]).

Чернышевский очень скоро приобрел влияние в нашей передовой литературе. Но как ни велико было это влияние, единомышленников, в настоящем смысле этого слова, у него было очень мало. Думать так нам дают повод следующие слова Волгина, обращенные к Нивельзину в первой части романа «Пролог»: «У всех у наших господ просвещателей публики чепуха в голове; пишут ахинею, сбивают с последнего толка русское общество, которое и без того уже находится в полупомешательстве. Нет между ними ни одного, которого бы можно было взять в товарищи. Поневоле принужден один писать все статьи, которыми выражается мнение журнала. И не успеваю. Нет человека с светлою головою, да и кончено!» [2]). Только Добролюбов был такой светлой головой, на которого мог вполне положиться Чернышевский. Оттого наш автор и любил его такой поистине восторженной любовью [3]).

---

[1]) См. второе приложение к сборникам «Государственные преступления в России». Русская историческая библиотека, № 5 (Paris 1905), стр. 5 и след.

[2]) Сочинения, т. X, отд. 2, стр. 89.

[3]) С каким доверием отнесся он с первой же встречи к Добролюбову как писателю, показывает следующая сцена в «Дневнике Левицкого». Левицкий записывает: «После вчерашнего я не мог сомневаться, что кажусь ему (Волгину. *Г. П.*)

Впоследствии хорошим помощником Чернышевского явился М. А. Антонович, к которому наш «холодный» автор тоже, как видно, привязался очень скоро. Но Добролюбов скоро умер, и эта утрата осталась для «Современника» незаменимой.

Н. Г. Чернышевский очень любил полемизировать. Он признается, что даже друзья его всегда замечали в нем чрезвычайную, «по их мнению, даже излишнюю, любовь к разрешению спорных вопросов горячею полемикой» [1]). Полемика всегда казалась ему очень удобным, а вернее сказать — необходимым орудием проведения в общество новых понятий [2]). Тем не менее, в начале своей литературной деятельности, он, как будто, избегал полемики. «Очерки Гоголевского периода» написаны спокойным и примирительным тоном. Только к Шевыреву, известному московскому критику времен Белинского, относится он там с едкой иронией, да еще о Сенковском (бароне Брамбеусе) высказывается с презрительным сожалением, как о человеке, затратившем свои огромные силы на бесплодное литературное фиглярство. О других же писателях Гоголевской эпохи он отзывается, большей частью, с похвалой. Даже в литературной деятельности Погодина, — которого так не любил и над которым так смеялся кружок Белинского, — находит он полезные

хорошим сотрудником. Но эти слова удивили меня: «Вы предоставляете мне полную волю в журнале?»—«А разве были бы вы очень нужны мне, если б не так? Сотрудников, которых надобно водить на помочах, можно иметь, пожалуй, хоть сотню, да что в них пользы? Пересматривай, поправляй,—такая скука, что легче писать самому».— Вы не будете просматривать моих статей?»—«А что будет в них любопытного? Признаться вам сказать, не буду читать и напечатанных, не только до напечатания. И без того приходится читать слишком много пустяков,—ха-ха-ха!—благодарите за комплимент».— Но я могу делать ошибки».—«А ну вас и с вашими ошибками! Только время теряю с вами—ха-ха-ха! Ну, прощайте. Приходите послезавтра. Поговорим еще, хоть не о чем» (Сочинения, т. X, ч. 1, отд. 2, стр. 210—211).

1) Сочинения, т. IV, стр. 304.

2) В «Очерках Гоголевского периода» он защищает Надеждина от упреков, которые многие делали ему за его страсть к резкой полемике. «Зачем Надоумко (псевдоним Надеждина) говорил таким резким тоном? Разве не мог он высказать то же самое в мягких формах? Удивительное дело — наши литературные да и всякие другие понятия! Вечно предлагаются вопросы, почему земледелец пашет поле грубым железным плугом или сошником! Да чем же иначе можно вспахать плодородную, но тяжелую на под'ем почву? Ужели можно не понимать, что без войны не решается ни один важный вопрос, а война ведется огнем и мечем, а не дипломатическими фразами, которые уместны только тогда, когда цель борьбы, веденной оружием, достигнута? Беззаконно нападать только на безоружного и беззащитного, на старцев и калек, а поэты и литераторы, против которых выступил Надеждин были не таковы» (Сочинения, т. II, стр. 130).

и похвальные черты. О славянофилах же он говорит с неподдельным уважением. Несмотря на все их, очевидные для него, ошибки, он считает их искренними друзьями просвещения и горячо сочувствует их отношению к русской поземельной общине.

Не касаясь здесь взгляда его на общину, мы заметим, однако, что уже в спорах об этой форме землевладения он вынужден был покинуть свой спокойный добродушный тон и выступить во всеоружии своего полемического таланта. Плохо пришлось тогда патентованным представителям либеральной экономии, в особенности редактору «Экономического Указателя», Вернадскому. Чернышевский положительно обессмертил этого «С. С.» (статского советника) и «Д-ра ист. н., пол. эк. и стат.» (т.-е. доктора исторических наук, политической экономии и статистики; так подписывался гордый своими чинами и дипломами Вернадский). Разбитый на-голову ученый не только бежал с поля битвы, но, к довершению комизма, начал уверять в своем уважении того самого Чернышевского, которого он в начале спора позволял себе третировать, как дерзкого и невежду. Надо признаться, что едва ли возможно вести защиту какого бы то ни было дела искуснее, чем Чернышевский защищал общину. Он сказал в ее пользу решительно все, что можно было сказать. И если его решение спорного вопроса теперь не может быть признано удовлетворительным, то это об'ясняется лишь крайней отвлеченностью той точки зрения, с которой он смотрел на этот вопрос. Надо, впрочем, заметить, что, как мы увидим ниже, он защищал русскую поземельную общину лишь весьма условно.

Начавшись с общинного землевладения, спор Чернышевского с нашими либеральными экономистами скоро принял более широкий характер и перешел к общим вопросам экономической политики. Либеральные экономисты отстаивали принцип государственного невмешательства; Чернышевский оспаривал его. И вышло опять так, что спор о невмешательстве государства в экономическую жизнь народа послужил поводом для нового торжества нашего автора. Его статья «Экономическая деятельность и законодательство» [1]) может считаться одним из наиболее блестящих опровержений теории «laissez faire, laissez passer», не только в русской, но и во всемирной экономической литературе. Чернышевский пускает в ней в дело всю свою диалектическую силу и всю свою полемическую ловкость. Он как бы забавляется этой борьбой, в которой он с такою легкостью отражает удары противников. Он играет

[1]) Перепечатана в IV томе Полного собр. сочинений, стр. 422—463.

с ними, как кошка с мышью, делает им всевозможные уступки, выражает готовность согласиться с любым из их положений, принять любое толкование всякого данного положения, и уже только потом, — давши им, повидимому, все шансы победы, поставив их в самые благоприятные для их торжества условия, — переходит в наступление, и тремя-четырьмя силлогизмами приводит их к нелепости. Затем начинаются новые уступки, новые, еще более благоприятные истолкования того же положения и новые доказательства его нелепости. А в конце статьи Чернышевский, по своему обыкновению, читает своим противникам назидание и дает им почувствовать, до какой степени они не имеют понятия не только о строгих приемах научного мышления, но и о самых первоначальных требованиях простого здравого смысла. Замечательно, что принцип государственного невмешательства, имевший у нас таких горячих сторонников в конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов, вскоре был почти совершенно оставлен русскими экономистами. Это в значительной степени об'ясняется как общим состоянием нашей промышленности и торговли, так и последующим влиянием на наших теоретиков немецкой катедер-социалистической школы. Но, несомненно, много значит в этом случае и то, что названный принцип уже при самом начале его распространения в русской литературе встретил такого могучего противника, как Н. Г. Чернышевский. Раз получивши хороший урок, русские манчестерцы почли благоразумным смолкнуть, стушеваться и сойти со сцены.

Конечно, если бы мы захотели сравнить доводы, выдвинутые Чернышевским в этой полемике, с той аргументацией, которой пользуется Маркс, напр., в «Речи о свободе торговли», то мы опять должны были бы признать, что точка зрения нашего автора страдает отвлеченностью. Но это уже общий недостаток его экономических воззрений, о котором речь пойдет во 2-й части нашей работы.

Не по одним только экономическим вопросам приходилось Чернышевскому вести ожесточенную полемику. И притом противниками его были не одни только либеральные экономисты. Чем влиятельнее становился кружок «Современника» в русской литературе, тем более нападок сыпалось с самых различных сторон и на этот кружок вообще, и на нашего автора в частности. Сотрудников «Современника» считали опасными людьми, готовыми ниспровергнуть все пресловутые «основы». Некоторые из «друзей Белинского», вначале еще считавшие возможным итти рядом с Чернышевским и его единомышленниками, отшатнулись от «Современника», как от органа «нигилистов», и стали кри-

чать, что Белинский никогда не одобрил бы принятого им направления. Так поступил И. С. Тургенев [1]). Даже Герцен заворчал на «паяцев» в своем «Колоколе». Он предупреждал их насчет того, что, «истощая свой смех на обличительную литературу, милые паяцы наши забывают, что по этой скользкой дороге можно «досвистаться» не только до Булгарина и Греча, но и до Станислава на шею». Герцен утверждал, что в «обличительной литературе», над которой насмехались «паяцы», были превосходные вещи. «Вы воображаете, что все рассказы Щедрина и некоторые другие так и можно теперь огулом бросить с Обломовым на шее в воду? Слишком роскошничаете, господа!» [2]). Указание на Щедрина было весьма неудачно, так как сам Чернышевский хорошо умел ценить его произведения. Вообще, по всему видно, что Герцена ввели в заблуждение его либеральные друзья, вроде Кавелина. «Паяцы» — или «свистуны», как их называли в России — смеялись не над обличениями, а над теми наивными людьми, которые не могли и не хотели итти дальше невинных обличений, забывая мораль крыловской басни «Кот и Повар» [3]).

Герцен сам должен был скоро увидеть, как плохи в политическом смысле были те либеральные друзья, которые рассматривали его отношения с Чернышевским. Когда ему пришлось разорвать с К. Д. Кавелиным, он, может быть, и сам сказал себе, что «желчевики» были не совсем неправы [4]).

Впрочем, большинство статей в «Свистке», вызывавшем особенное неудовольствие благовоспитанных либералов, принадлежало не Н. Г. Чернышевскому. Он только изредка принимал в нем участие, так как был завален другой работой. В последние годы своей литературной деятельности он не только аккуратно писал для каждой книжки «Современника», но чаще всего в каждой книжке было несколько его статей. По различным отделам журнала статьи его, обыкновенно, распределялись так: он давал, во-первых, статью по какому-нибудь общему теорети-

[1]) Чернышевский рассказывает, что Тургенев мог еще выносить его до некоторой степени, но зато уже окончательно не терпел Добролюбова. «Вы—простая змея, а Добролюбов—очковая»,—говорил он Чернышевскому (См. уже цитированное письмо «В изъявление признательности»,—Сочинения, т. IX, стр. 103).

[2]) Статья «Very dangerous!!» в № 44 «Колокола».

[3]) О статье «Very dangerous!!» и об ее более или менее гадательных последствиях см., между прочим, в книге г. *Ветринского*: «Герцен». (Спб. 1908 г., стр. 354).

[4]) Историю этого разрыва можно проследить по письмам К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену, изданным М. Драгомановым в Женеве в 1892 году.

ческому вопросу, затем писал политическое обозрение, разбирал несколько новых книг и, наконец, как бы для отдыха и развлечения, предпринимал еще полемические вылазки против своих противников. «Современник» 1861 года особенно богат его полемическими статьями. К этому году относятся его известные «Полемические красоты», «Национальная бестактность» (против Львовского «Слова»), «Народная бестолковость» (против Аксаковского «Дня»; об этой статье мы еще будем говорить) и многие полемические заметки в отделе русской и иностранной литературы.

В «Полемических красотах» особенно интересен теперь взгляд нашего автора на свою собственную литературную деятельность. Мы приведем его здесь. Чернышевский прекрасно знает, что занял в русской литературе выдающееся место. Его противники очень боятся его и временами начинают даже говорить ему комплименты. Но его нимало не радует его возрастающая известность. Он слишком низко ставит русскую литературу, чтобы считать почетным занимаемое им в ней выдающееся место. Он «совершенно мертв к своей литературной репутации». Его интересует только один вопрос: сумеет ли он сохранить свежесть мысли и чувства до той лучшей поры, когда литература наша станет действительно полезной обществу. «Я знаю, что будут лучшие времена литературной деятельности, когда будет она приносить обществу действительную пользу, и будет действительно заслуживать доброе имя тот, у кого есть силы. И вот я думаю: сохранится ли у меня к тому времени способность служить обществу, как следует? Для этого нужна свежесть сил, свежесть убеждения. А я вижу, что уже начинаю входить в число «уважаемых» писателей, то-есть писателей истаскавшихся, отстающих от движения общественных потребностей. Это горько. Но что делать? Лета берут свое. Дважды молод не будешь. Я могу только чувствовать зависть к людям, которые моложе и свежей меня...» [1]). Как-то странно встречаться теперь с этими благородными опасениями нам, знающим, что, когда Чернышевский высказал их, ему оставалось жить на свободе не более года. Приведенные строки были напечатаны в июльской книжке «Современника» за 1861 год, а в июле следующего года он сидел уже в Петропавловской крепости... Но можно представить себе, с каким презрением относился к своим врагам этот человек, который, при полном сознании своего огромного превосходства над ними, все-таки не придавал цены даже и своим собственным литературным заслугам. И

1) Сочинения, т. VIII, стр. 231.

действительно, почти каждая страница «Полемических красот» дышит холодным презрением к порицателям «Современника». Им отличается в особенности ответ «Отечественным Запискам». Чернышевский нисколько не сердится на своих оппонентов из «Отечественных Записок». Он поучает их почти ласково, как поучает добрый педагог провинившегося школьника. Конечно, добрый педагог, журя своего питомца, говорит ему подчас очень горькие истины и нимало не скрывает своего умственного превосходства над ним. Но он делает это единственно в интересах питомца. Так поступает и Чернышевский. Он не забывает ни одной ошибки, ни одного промаха «Отечественных Записок» и отечески журит редакцию за неловкость. Он досадует на них больше всего за ту неосторожную горячность, с какой они кинулись в борьбу с ним. Куда же вам со мной полемизировать, повторяет он им, показавши полнейшую несостоятельность того или другого из возводимых ими на него обвинений. При случае он прямо говорит, что знает гораздо больше и понимает вещи гораздо глубже их, что они просто не в состоянии оценить те новые идеи, которые он проводит в литературе. «Вы хотите знать, как обширны мои знания?—обращается он к Дудышкину, обвинявшему, его, со слов других журналов, в нахальном невежестве.—На это могу отвечать вам только одно: несравненно обширнее ваших. Да это вы и сами знаете. Так зачем же вы добивались получить печатно такой ответ? Нерассудительно, нерассудительно вы подводили себя под него. Да вы, пожалуйста, не примите этого за гордость: есть чем тут гордиться, что знаешь гораздо больше, нежели вы. И опять-таки не примите этого так, что я хочу сказать, будто вы имеете слишком мало знаний. Нет, ничего-таки: кое-что знаете, и вообще вы человек образованный. Только напрасно вы так плохо полемизируете» [1]) и т. д. — Все это было бы, пожалуй, слишком резко и самонадеянно, если бы не было безусловно справедливо.

Тем временем настроение поднималось, по крайней мере, в некоторой части русского «общества». Волновалась учащаяся молодежь, возникали тайные революционные организации, печатавшие свои воззвания и программы и ждавшие близкого восстания крестьянства. Мы уже знаем, что Чернышевский вполне признавал возможность наступления «серьезного времени» в России, и мы еще увидим, как сильно под'ем общественного настроения отразился на его публицистической деятельности. Но имел ли он какие-нибудь отношения к тайным обществам?

---

1 Сочинения, т. VIII стр. 270.

На этот вопрос пока еще нельзя отвечать с уверенностью, да и кто знает, будут ли у нас когда-нибудь данные для его решения? По мнению г. М. Лемке, прекрасно изучившего дело Н. Г. Чернышевского, «можно *предполагать* (курсив его), что этим последним было написано то воззвание «К барским крестьянам», в составлении которого суд признал его виновным». Г. М. Лемке подтверждает свою догадку указанием на язык и на содержание этой прокламации. Мы находим эти указания не лишенными основательности. Но мы спешим повторить вместе с г. Лемке, что «все это более или менее вероятные соображения, и только» [1]). Довольно основательным кажется нам и то мнение г. Лемке, что известный листок «Великорусс» был, отчасти, делом рук Чернышевского. Г. Лемке подтверждает свое предположение словами г. Стахевича, который прожил вместе с Чернышевским несколько лет в Сибири и который пишет: «Я заметил, что Чернышевский с явственным сочувствием относится к листкам, выходившим в неопределенные сроки под заглавием «Великорусс»; вышло, помнится, три номера. Слушая разговоры Николая Гавриловича, я иногда замечал, что и содержание мыслей, и способ их выражения сильнейшим образом напоминают мне листок «Великорусс», и я про себя решил, что он был или автором, или, по меньшей мере, соавтором этих листков, проповедывавших необходимость конституционных преобразований» [2]). Мы вполне согласны с г. Стахевичем: своим языком и содержанием «Великорусс» в самом деле очень напоминает публицистические статьи Чернышевского. И если Чернышевский, в самом деле, был его автором, то этим, конечно, и об'ясняется то обстоятельство, что «Великорусс» был гораздо умнее и тактичнее других подобных ему «листков» того времени.

Одновременно с возбуждением крайней партии в России росло и революционное движение в Польше. Находился ли Чернышевский в каких-нибудь формальных отношениях к польским революционерам, которых немало было тогда в Петербурге? На это опять нет никаких указаний. Не желая пускаться в догадки, мы ограничимся только теми данными для уяснения общих симпатий Чернышевского к польскому делу, какие можно извлечь из его сочинений, но и таких данных не много.

Известно, что славянофилы очень одобрительно относились к борьбе галицийских русинов против поляков. Чернышевский всегда сочув-

---

[1]) *М. К. Лемке*, «Дело Н. Г. Чернышевского»,—«Былое», 1906 г., № 4, стр. 179.

[2]) *М. К. Лемке*, «Процесс Великоруссцев»,—«Былое», 1906 г., № 7, стр. 92. Статья г. Стахевича помещена в «Закаспийском Обозрении» 1905 г., № 143.

ствовал малороссам. Он видел большую ошибку в отрицательном отношении Белинского к возникавшей малорусской литературе. В январской книжке «Современника» за 1861 г. он поместил очень сочувственную статью по поводу появления малорусского органа «Основа». Но к борьбе галицийских русинов против поляков он не мог относиться с безусловным одобрением. Ему не нравилось, во-первых, что русины искали поддержки у венского правительства. Не нравилась ему также и влиятельная роль духовенства в движении галицийских русинов. «О мирских делах, — писал он, — надобно заботиться мирским людям». Наконец, не нравилась Чернышевскому и исключительно *национальная* постановка того вопроса, в котором Чернышевский видел прежде всего вопрос *экономический*. В статье «Национальная бестактность» («Современник», 1861 г., июль), направленной против львовского «Слова», Чернышевский резко напал на излишний национализм этого органа. «Очень может быть, что при точнейшем рассмотрении живых отношений, — писал он, — львовское «Слово» увидело бы в основании дела вопрос, совершенно чуждый племенному вопросу, — вопрос сословный. Очень может быть, что оно увидело бы и на той и на другой стороне и русинов, и поляков — людей разного племени, но одинакового общественного положения. Мы не полагаем, чтобы польский мужик был враждебен облегчению повинностей и вообще быта русинских поселян. Мы не полагаем, чтобы чувства землевладельцев русинского племени по этому делу много отличались от чувств польских землевладельцев. Если мы не ошибаемся, корень галицийского вопроса заключается в сословных, а не в племенных отношениях».

Взаимная вражда народностей, входящих в состав Австрии, тем более должна была казаться Чернышевскому бестактною, что венское правительство тогда, как и прежде, извлекало из нее большие выгоды. «Как подумаешь хорошенько, то и не удивляешься долголетнему существованию Австрийской империи, — писал он в политическом обозрении той же книжки «Современника», где помещена статья «Национальная бестактность», — еще бы не держаться ей при таком отличном политическом такте связанных ее границами национальностей». Австрийские немцы, чехи, кроаты и, как мы видели, русины одинаково казались Чернышевскому «несообразительными». Он боялся, что в особенности испытанная в 1848—1849 г.г. славянская «несообразительность» снова зайдет очень далеко. В начале шестидесятых годов Венгрия вела упорную борьбу с венскими реакционными централистами. Недовольство венгров дошло до такой степени, что одно время можно было ожидать

в их стране революционного взрыва. Наш автор не раз высказывал в своих политических обозрениях то опасение, что, в случае революционного движения в Венгрии, австрийские славяне опять явятся покорными орудиями реакции. Тогдашняя тактика многих славянских племен Австрии способна была только усилить подобные опасения, так как австрийские славяне позволяли себе хвалиться тою позорною ролью, какую они играли в событиях 1848—1849 г.г. Строго осуждая эту тактику, Чернышевский доказывал, что им выгоднее было бы, наоборот, поддерживать врагов венского правительства, от которых они могли бы получить очень существенные уступки. Это говорил он по поводу отношений кроатов к венграм, это же повторял и русинам. «Сословная партия, враждебная русинам, — читаем мы в статье «Национальная бестактность», — готова теперь на уступки... Вот об этом-то и не мешало подумать львовскому «Слову»; быть может, уступки, на которые искренно готовы люди, кажущиеся ему врагами, может быть, эти уступки так велики, что совершенно удовлетворили бы русинских поселян, а во всяком случае несомненно то, что эти уступки гораздо больше и гораздо важнее всего, что могут получить русинские поселяне от австрийцев».

Принципы, высказанные в этой статье, разумеется, имели в глазах Чернышевского не только местное, галицийское значение. Он, очевидно, хотел бы положить их также в основу всех отношений малороссов к полякам, и таким образом его статья «Национальная бестактность» являлась как бы предостережением для малороссов, входящих в состав Российской империи.

В том же году напечатан был в апрельской книжке «Современника» разбор только что вышедшей тогда второй части «*Архива юго-западной России*». Автор этого разбора касается, между прочим, вопроса о старинном быте Польши и говорит: «В польском отсутствии бюрократической централизации лежит стремление к осуществлению иного порядка общества, чем тот, к которому доходили иные державы (тут, конечно, имеется в виду Московское государство)—порядка, основанного не на принесении личности в жертву отвлеченной идее государства, воплощаемой волею власти, а на соглашении свободных личностей для взаимного благополучия... Тут общественное дело есть результат общественной мысли; тут вечная борьба понятий и убеждений переходит из области размышления и слова прямо в проявления жизни». Положим, что польское общество было совершенно аристократично, «но круг привилегированный мог расширяться более и более и обнять заброшенную, отверженную, лишенную всяких прав массу народа, если бы понятия о

гражданственности сделались шире и возросли бы до общечеловеческих идей, не связуемых временными, ограничивающими их полноту, предрассудками» [1]). До таких увлечений в защите старого быта Польши не всегда доходили и польские демократы. Ведь весь вопрос сводился именно к тому, каким образом можно было привести польских магнатов к признанию «общечеловеческих идей».

По вопросу об исторических результатах соединения Великого Княжества Литовского с Польшей, автор разбора также очень сильно расходится с нашими официальными историками. «Неужели состояние Руси во времена Ольгердов, Любартов, Скиригайлов, Свидригайлов было лучше, чем при Сигизмундах в XVI и в XVII веках?» — восклицает он в ответ историкам, которые соединение с Польшею выставляли единственной причиной всего дурного в Западной России.—«Пора перестать нам быть односторонними, быть несправедливыми к Польше,—продолжает он,—признаем, по крайней мере, благотворность ее влияния на Русь хоть по отношению к просвещению. Возьмем степень умственного образования в тех частях русского мира, который соединился с Польшею, и сравним ее с тем, что в этом отношении было в той части нашего общерусского отечества, которая оставалась самобытной — в форме Московского государства. Не из Малороссии ли пошло просвещение в Москву XVII века, и не оно ли приготовило все последующее наше образование? И не под влиянием ли Польши оно возросло в Малороссии?»

В ополячении Западной России виноваты, по мнению автора разбора, тоже не поляки. Высший класс в Западной России имел и права, и средства отстоять свою веру и свой язык и спасти от унижения свой народ, впрочем, им же самим порабощенный. Если западно-русская аристократия, тем не менее, совершенно ополячилась, то винить в этом нужно ее и только ее. «Сами не умели себя сохранить, — нечего на других взваливать свою вину»,—замечает автор.

До выхода в свет Полного собрания сочинений Чернышевского мы были убеждены, что этот разбор вышел из-под его пера. Но он не вошел в Полное собрание. Поэтому надо полагать, что мы ошиблись. Однако мы думаем, что взгляды автора разбора были очень близки к тогдашним взглядам Чернышевского: иначе они вряд ли появились бы в «Современнике».

Наконец, в первой части романа «Пролог» изображается дружеское отношение Волгина к Соколовскому (Сераковскому?). Волгину

---

[1]) «Современник», 1861 г., апрель, Новые книги, стр. 443 и след.

нравится беззаветная преданность Соколовского своим убеждениям, отсутствие в нем себялюбивой мелочности, умение владеть собою, соединенное с страстной горячностью истинного агитатора. Волгин называет его *настоящим человеком* и думает, что наши либералы могли бы многому у него поучиться. Все это очень интересно [1]), но и это нисколько не раз'ясняет практических отношений Чернышевского к польскому делу.

Чернышевскому было тогда около 34 лет. Он находился в полном расцвете своих умственных сил, и, кто знает, до какой высоты он мог бы подняться в своем развитии! Но уже не долго оставалось ему жить на свободе. Он был признанным главою крайней партии, чрезвычайно влиятельным проповедником материализма и социализма. Его считали «коноводом» революционной молодежи, его винили за все ее вспышки и волнения. Как это всегда бывает в таких случаях, молва раздувала дело и приписывала Чернышевскому даже такие намерения и действия, каких у него никогда не было. В «Прологе пролога» Чернышевский сам описывает те сочувственно-либеральные сплетни, которые ходили в Петербурге относительно мнимых сношений Волгина (т.-е. его самого) с лондонским кружком русских изгнанников. Сплетни эти возникали по самым ничтожным поводам, не имевшим решительно ничего общего с политикой. И, как водится, сплетнями не ограничилось дело. «Охранительная» печать давно уже занималась литературными доносами на Чернышевского. В 1862 году «Современник» был на время приостановлен. Потом появились и нелитературные доносы. «Управляющий Третьим Отделением собственной Е. И. В. канцелярии, — говорится в обвинительном акте по делу Чернышевского,—получил безыменное письмо, коим предостерегают правительство от Чернышевского, «этого коновода юношей, хитрого социалиста»; «он сам сказал, что его никогда не уличат»; его называют вредным агитатором и просят спасти от такого человека; «все бывшие приятели Чернышевского, видя, что его тенденции уже не на словах, а в действиях, люди либеральные... отдалились от него. Если не удалите Чернышевского, — пишет автор письма, — быть беде, будет кровь; эта шайка бешеных демагогов — отчаянные головы... Может быть, перебьют их, но сколько невинной крови прольется из-за них... В Воронеже, в Саратове, в Тамбове — везде есть комитеты из подобных социа-

[1]) Волгин особенно ценил в Соколовском его «*рассудительность*», проявившуюся в том, что в 1848 году на Волыни он один, между всеми своими единомышленниками, не потерял головы и совершенно хладнокровно обдумал шансы вооруженного восстания, оказавшиеся близкими к нулю.

листов, везде они разжигают молодежь... Чернышевского отправьте, куда хотите, но скорее отнимите у него возможность действовать... Избавьте нас от Чернышевского ради общего спокойствия».

7 июля 1862 года Чернышевского арестовали. Мы не станем излагать ход его дела: он очень подробно и очень хорошо изложен у г. Лемке [1]). Сенат постановил лишить Н. Г. Чернышевского всех прав состояния и сослать в каторжные работы в рудниках на 14 лет и затем поселить в Сибири навсегда. Определение Сената было передано в Государственный Совет, который вполне одобрил его. Император Александр II сократил срок каторжных работ наполовину.

В конце 1864 года Чернышевский уже прибыл в Кадаю, в Забайкайлье, куда позволили приехать его супруге, Ольге Сократовне, с малолетним сыном Михаилом для трехдневного свидания с ним. После трехлетнего пребывания в Кадае, Чернышевского перевели на Александровский завод Нерчинского округа, а по окончании срока каторги он был поселен в Вилюйске в 450 верстах от Якутска. В Россию Николай Гаврилович вернулся уже в 1883 году, когда ему позволили поселиться в Астрахани. Там он прожил около 6 лет и, наконец, в июне 1889 года он, с разрешения начальства, переехал в родной город Саратов.

В. Г. Короленко в своих воспоминаниях о Н. Г. Чернышевском говорит: «Поляки, с которыми я встречался и жил в Якутской области, сделали интересное наблюдение. Один из них рассказывал мне, что почти все возвращавшиеся по манифестам прямо на родину, после того как много лет прожили в холодном якутском климате, умирали неожиданно быстро. Поэтому, кто мог, старался смягчить переход, останавливаясь на год, на два или на три в южных областях Сибири и в северо-восточных Европейской России.

«Верно это наблюдение, или эти смерти — простые случайности, но только на Чернышевском оно подтвердилось. Из холодов Якутска Чернышевский приехал в знойную Астрахань здоровым. Мой брат видел его там таким, каков он на портрете. Из Астрахани он переехал в Саратов уже таким, каким мы его увидали, сгорбившимся, с землистым цветом лица, с жестоким недугом в крови, который вел его уже к могиле» [2]).

Он скончался в том же 1889 году в ночь с 16 на 17 октября в 12 ч. 37 мин. По словам г. К. Федорова, бывшего у него секретарем в послед-

[1]) См. уже цитированную статью «Дело Н. Г. Чернышевского», — «Былое», 1906 г., март, апрель, май.

[2]) *В. Короленко,* «Отошедшие», Спб., изд. «Русского Богатства», 1908 г., стр. 75.

ние годы его жизни, «похороны его состоялись на 4-ый день после смерти в присутствии многочисленной публики, после отпевания в Сергиевской церкви, на Воскресенском кладбище, где похоронен и отец его, умерший осенью 1861 г. В день похорон, равно как и после, было возложено на могилу покойного масса венков, между которыми в особенности выделялся венок или, вернее, два венка, соединенные между собою связью,— от русских и польских студентов варшавского университета и ветеринарного института» [1]).

Неутомимый труженик, Чернышевский усердно работал как во время заключения в крепости, так и в Сибири. В крепости им написан, между прочим, знаменитый роман «Что делать?», а то, что уцелело от написанного им в Сибири — составляет большой том в 757 страниц [2]). Как усердно трудился он по возвращении из Сибири, видно, между прочим, из воспоминаний г. К. Федорова. «Работал Чернышевский, — говорит он, — в особенности за последние три года до своей смерти, очень много. День обыкновенно начинался следующим образом: в 7 часов утра он уже был на ногах, пил чай и в это же время или читал корректуру, или же просматривал подлинник перевода, затем с 8 час. до 1 ч. дня переводил, диктуя своей «пишущей машине», как он меня шутя называл за скорое писание под диктовку. В 1 ч. дня мы, т.-е. супруги Чернышевские и я, обедали. Страдая давнишним недугом — катарром желудка, он во время обеда ел очень мало и питался исключительно молоком и легкой кашицей. После обеда, который продолжался не более 30 — 40 мин., Чернышевский прочитывал газеты и журналы, а с трех часов до 6 часов вечера, т.-е. до вечернего чая, продолжалась работа. И если «пишущая», т.-е. я, и «диктующая» (Чернышевский) не уставали, то занятия иногда затягивались далеко за полночь. В особенности это почти всегда бывало перед окончанием перевода каждого тома истории Вебера» [3]).

С 1885 по 1889 год Чернышевский успел перевести одиннадцать томов «Всеобщей истории» Вебера, при чем к некоторым томам сделаны были им интересные приложения. Мы рассмотрим их в своем месте, равно как и две статьи его, которые были написаны в тот же период времени и напечатаны — одна в «Русских Ведомостях» (1885 г.), а другая в «Русской Мысли» (1888 г.). Теперь же мы хотим сказать несколько слов об его беллетристических произведениях.

[1]) *К. М. Федоров*, «Н. Г. Чернышевский», стр. 67– 68.
[2]) См. Полное собрание сочинений, т. X, ч. 1.
[3]) *К. М. Федоров*, «Н. Г. Чернышевский», стр. 58—59.

Находясь под следствием, Н. Г. Чернышевский писал, стараясь разрушить доводы своих обвинителей, ссылавшихся на захваченные у него бумаги:

«Я издавна готовился быть, между прочим, и писателем беллетристическим. Но я имею убеждение, что люди моего характера должны заниматься беллетристикою только уже в немолодых годах — рано им не получить успеха. Если бы не денежная необходимость, возникшая от прекращения моей публицистической деятельности моим арестованием, я не начал бы печатать романа и в 35-летнем возрасте. Руссо ждал до старости. Годвин также. Роман — вещь, назначенная для массы публики, дело самое серьезное, самое стариковское из литературных занятий. Легкость формы должна выкупаться солидностью мыслей, которые внушаются массе. Итак, я готовил себе материалы для стариковского периода моей жизни» [1]).

Мы уже заметили, что человек, находившийся в тогдашнем положении Чернышевского, имел полное право не быть откровенным и что, вследствие этого, необходима большая осмотрительность в пользовании его показаниями как материалом для его биографии. Но тому, что он издавна готовился быть беллетристом, поверить можно, тем более, что перед ним был пример Лессинга, деятельность которого служила ему идеалом литературной деятельности. И вышло в самом деле так, что наш автор лишь поздно принялся за беллетристику. Но раз принявшись за нее, он занимался ею, как видно, очень усердно. Упомянутая выше 1 часть X тома его сочинений наполнена преимущественно беллетристикой; там есть даже стихи, напр., «Гимн Деве Неба», появившийся первоначально в «Русской Мысли», в № 7, за 1885 г. В письме к А. Н. Пыпину (без даты, рукою Пыпина помечено: «получено в июле 1870 г.») Чернышевский, сообщая о своих беллетристических произведениях, писал, что у него «много, много наработано», и прибавлял: «талант положительно есть. Вероятно, сильный» [2]). Это последнее замечание, конечно, надо отнести на счет привычки Н. Г. Чернышевского подшучивать над самим собою. Но даже в ссылке он не стал бы тратить свое время на писание беллетристических произведений, если бы считал себя совсем неспособным к этому. Вероятно, он признавал кое-какие достоинства за этими своими произведениями, а главное — надеялся иметь через них полезное влияние на читателей. Надо признать, что,

---

[1]) *М. К. Лемке*, «Дело Н. Г. Чернышевского»,—«Былое», 1906 г., май, стр. 105.
[2]) Сочинения, т. X, ч. 1, стр. 28.

за исключением романа «Пролог», интересного уже потому, что он представляет собою нечто вроде воспоминаний, облеченных в беллетристическую форму, его сибирская беллетристика вышла неудачной. Едва ли она найдет много читателей. Рассудочность — эта отличительная черта «просветителя», еще с детства в сильнейшей степени свойственная нашему автору, — доходит здесь до самой крайней степени и не только лишает действующих лиц признаков «живой жизни», но отражается даже на их языке, который у всех один и тот же и у всех очень тяжел, вследствие их непобедимой склонности подробно анализировать и не менее подробно об'яснять собеседнику каждый свой шаг и каждое свое душевное движение: они не живут, а все об'ясняют, почему им хочется жить так, а не иначе. Если, принимаясь за свои сибирские беллетристические произведения, Чернышевский ставил перед собою цель пропаганды, то цель эта, наверно, останется недостигнутой [1]).

Совсем другое значение имел написанный в крепости роман «Что делать?». На его долю выпал огромный успех, и он имел поистине колоссальное и в высочайшей степени благотворное влияние на молодых читателей 70-х и 80-х годов. Наши обскуранты и декаденты имели привычку презрительно пожимать плечами по поводу этого знаменитого произведения ввиду, будто бы, полного отсутствия в нем художественных достоинств. Но замечательно, что даже с этой стороны их приговор не вполне справедлив: характер Марьи Алексеевны Розальской, матери Веры Павловны, очерчен довольно удачно. Кроме того, в романе вообще много наблюдательности, юмора и того неподдельного воодушевления, а лучше сказать, энтузиазма, который захватывает читателя и заставляет его с неослабевающим увлечением следить за судьбой главных действующих лиц, несмотря на несомненную слабость художественного дарования автора. Само собою разумеется, что легко вынести уничтожающий приговор роману «Что делать?», сравнив его, скажем, с «Анной Карениной». Но плох тот критик, который сравнивает одно с другим два совершенно несоизмеримых литературных произведения. Роман «Что делать?» уместнее было бы сравнить, например, с тем или другим философским романом Вольтера. И если мы подойдем к нему с таким мерилом в руках, то мы немедленно увидим, как неудачно судили о нем строгие судьи, обскуранты и декаденты.

В чем заключалась тайна необычайного успеха «Что делать»? В том же, в чем вообще заключается тайна успеха литературных произве-

[1]) Повторяем, что это суждение не распространяется на роман «Пролог».

дений, в том, что роман этот давал живой и общепонятный ответ на вопросы, сильно интересовавшие значительную часть читающей публики. Сами по себе мысли, высказанные в нем, были не новы; Чернышевский целиком взял их из западно-европейской литературы. Проповедью свободных, а главное, искренних, честных отношений в любви мужчины к женщине гораздо раньше его занималась Жорж Занд во Франции [1]). Лукреция Флориани по нравственным требованиям, пред'являемым ею к любви, ничем не отличается от Веры Павловны Лопуховой-Кирсановой. А что касается романа «Жак», то легко было бы сделать из него довольно длинный ряд выписок, показывающих, что в романе «Что делать?» почти целиком воспроизводятся подчас мысли и рассуждения свободолюбивого и самоотверженного героя Жорж Занд [2]). Да и не одна Жорж Занд проповедывала свободу в отношениях этого рода. Их проповедывали, как известно, также Роберт Оуэн и Фурье, имевшие решающее влияние на миросозерцание Чернышевского [3]). И все эти идеи еще в 40-х годах встречали у нас горячее сочувствие. Белинский не раз с жаром высказывался в своих статьях за свободу и искренность в любовных отношениях. Читатель помнит, конечно, как горько упре-

---

[1]) Заметим, кстати, что «Wahlverwandschaften» Гете тоже представляет собой слово в защиту таких отношений. Это хорошо понимают некоторые немецкие историки немецкой литературы, которые, не дерзая хулить такого авторитетного писателя, и в то же время не смея согласиться с ним по своему филистерскому благонравию, лепечут обыкновенно нечто совершенно непонятное насчет странных будто бы парадоксов великого немца.

[2]) В своем дневнике Чернышевский записал 26 марта 1853 года следующий разговор свой с невестой: «Неужели вы думаете, что я изменю вам?»—«Я этого не думаю, я этого не жду, но я обдумывал и этот случай».—«Что ж бы вы тогда сделали?»—Я рассказал ей «Жака» Жорж Занд. «Что ж бы вы тоже застрелились?»—«Не думаю»; и я сказал, что постараюсь достать ей Жорж Занд (она не читала его, или, во всяком случае, не помнит его идей)» (Сочинения, т. X, ч. 2, отд. 3, стр. 78). Считаем не лишним отметить еще одно место из разговоров Чернышевского со своей невестой: «А каковы будут эти отношения—она третьего дня сказала: «У нас будут отдельные половины, и вы ко мне не должны являться без позволения». Это я и сам хотел бы так устроить, может быть, думаю об этом серьезнее, чем она;—она понимает, вероятно, только то, что не хочет, чтобы я надоедал ей, а я понимаю под этим то, что и вообще всякий муж должен быть чрезвычайно деликатен в своих супружеских отношениях к жене» (Там же, стр. 82). Почти буквально такой же разговор ведет Вера Павловна с Лопуховым в романе «Что делать?».

[3]) Едва ли нужно напоминать, какую энергичную проповедь вел Роберт Оуэн в этом направлении. Что касается Фурье, то мы приведем здесь следующие его глубокомысленные слова: «les coutumes en amour... ne sont que formes temporaires et variables, et non pas fond immuable» Oeuvres complètes de *Ch. Fourier*, t. IV, p. 84).

кал «неистовый Виссарион» пушкинскую Татьяну в том, что, любя Онегина, но в то же время будучи «другому» отдана, она не последовала влечению своего сердца и продолжала жить с нелюбимым стариком-мужем. Лучшие из людей «40-х годов» в своих отношениях к женщине держались тех же принципов, каким следовали Лопухов и Кирсанов. Но до появления романа «Что делать?» эти принципы разделялись только горстью «избранных»; масса читающей публики их совсем не понимала. Даже Герцен не решился высказать их во всей полноте и ясности в своем романе «Кто виноват?». А. Дружинин в своей повести «Поленька Сакс» [1]) решает вопрос определеннее. Но повесть эта слишком бледна, притом же ее действующие лица, принадлежащие к так называемому высшему, — чиновному и титулованному, — обществу, были совсем не интересны для «разночинцев», составивших, после падения Николаевского режима, левое крыло читающей публики. С выходом «Что делать?» все изменилось, все стало ясно, резко и определенно. Никакие сомнения не могли более иметь место. Мыслящим людям оставалось: или руководствоваться в любви принципами Лопухова и Кирсанова, или, склоняясь перед святостью брака, прибегать в случае появления у них нового чувства к старому, испытанному средству тайных амурных похождений, или, наконец, совершенно подавлять в себе всякое любовное чувство, ввиду *принадлежности* своей другому, уже нелюбимому человеку. И выбор приходилось делать совершенно сознательно. Чернышевский так раз'яснил этот вопрос, что естественная прежде необдуманность и непосредственность любовных отношений сделались совершенно невозможными. На любовь распространился контроль сознания, сознательный взгляд на отношения мужчины к женщине сделался достоянием широкой публики. И это было особенно важно у нас в эпоху шестидесятых годов. Пережитые Россией реформы перевернули вверх дном не только наши общественные, но и семейные отношения. Лучи света проникли в такие закоулки, которые до того времени оставались совершенно темными. Русские люди вынуждены были оглянуться на себя, посмотреть трезвыми глазами на свои отношения к ближним, к обществу и семье. В семейных отношениях, в любви и дружбе стал играть большую роль новый элемент: *убеждения,* которые имелись прежде лишь у самой маленькой кучки «идеалистов». Различие в убеждениях служило поводом к неожиданным разрывам. Женщина, «отданная» известному человеку, нередко с ужасом открывала, что ее закон-

[1]) «Современник», 1847 г., № 12.

ный «обладатель» есть обскурант, взяточник, низкопоклонный льстец перед начальством. Мужчина, с наслаждением «обладавший» прежде красавицей женою и неожиданно для него самого затронутый потоком новых идей, часто с отчаянием видел, что его прелестная игрушка интересуется вовсе не «новыми людьми» и не «новыми взглядами», а новыми нарядами да танцами, да еще чинами и жалованьем мужа. Все об'яснения и увещания оказываются напрасными, красавица превращается в настоящую мегеру, как только муж попробует заикнуться, что он «служить бы рад», но что «прислуживаться тошно». Как быть? Что делать? Знаменитый роман показывал, как быть и что делать. Под его влиянием люди, считавшие себя прежде законной собственностью других, начинали повторять вместе с его автором: о грязь, о грязь, кто смеет обладать человеком! — и в них просыпалось сознание человеческого достоинства, и они, часто после жесточайших душевных и семейных бурь, становились на собственные ноги, устраивали свою жизнь сообразно со своими убеждениями и сознательно шли к разумной человеческой цели. Уже ввиду одного этого можно сказать, что имя Чернышевского принадлежит истории, и будет оно мило людям, и будут вспоминать его с благодарностью, когда уже не будет в живых никого из лично знавших *великого русского просветителя*.

Обскуранты обвиняли Чернышевского в том, что он проповедывал будто бы в своем романе «*эмансипацию плоти*». Нет ничего нелепее и лицемернее этого обвинения! Возьмите любой роман из великосветской жизни, припомните любовные похождения дворянства и буржуазии во всех странах и у всех народов — и вы увидите, что Чернышевскому не было никакой надобности проповедывать давно уже совершившуюся эмансипацию плоти. Его роман проповедует, наоборот, *эмансипацию человеческого духа, человеческого разума*. Никто из людей, проникшихся направлением этого романа, не будет иметь склонности к будуарным похождениям, без которых жизнь не в жизнь «светским» людям, проникнутым лицемерным уважением к ходячей морали. Г.г. обскуранты прекрасно понимают строго-нравственный характер произведения Чернышевского и сердятся на него именно за его нравственную строгость. Они чувствуют, что люди, подобные героям «Что делать?», должны считать их величайшими развратниками и испытывать к ним глубочайшее презрение.

Мы знаем, — распространение в России великих идей правды, науки, искусства составляло главную, можно сказать, единственную цель в жизни нашего автора. В интересах такого распространения написал он

и роман «Что делать?». Ошибочно было бы рассматривать этот роман исключительно только как проповедь разумных отношений в любви. Любовь Веры Павловны к Лопухову и Кирсанову — это только канва, по которой располагаются другие, более важные мысли автора. В снах Веры Павловны яркими красками рисуются социалистические идеалы автора. Картина социалистического общежития нарисована им целиком по Фурье. Чернышевский опять не предлагает читателям ничего нового. Он только знакомит их с теми выводами, к которым давно уже пришла западно-европейская мысль. Здесь опять приходится заметить, что взгляды Фурье уже в сороковых годах известны были в России. За фурьеризм судились и были осуждены «петрашевцы». Но Чернышевский придал идеям Фурье небывалое до тех пор у нас распространение. Он ознакомил с ними широкую публику. Впоследствии у нас даже поклонники Чернышевского пожимали плечами, говоря о снах Веры Павловны. Снившиеся ей фаланстеры казались потом некоторым довольно наивною мечтою. Говорили, что знаменитый писатель мог бы побеседовать с читателем о чем-нибудь более к нам близком и более практичном. Так рассуждали даже люди, называвшие себя социалистами. Признаемся, мы совсем не так смотрим на это дело. В снах Веры Павловны мы видим такую черту социалистических взглядов Чернышевского, на которую, к сожалению, не обращали до последнего времени достаточного внимания русские социалисты. В этих снах нас привлекает вполне усвоенное Чернышевским сознание того, что социалистический строй может основываться только на широком применении к производству технических сил, развитых буржуазным периодом. В снах Веры Павловны огромные армии труда занимаются производством сообща, переходя из Средней Азии в Россию, из стран жаркого климата в холодные страны. Все это, конечно, можно было вообразить и с помощью Фурье, но что этого не знала русская читающая публика, видно даже из последующей истории так называемого русского социализма. В своих представлениях о социалистическом обществе наши революционеры нередко доходили до того, что воображали его в виде федерации крестьянских общин, обрабатывающих свои поля той же допотопной сохой, с помощью которой они ковыряли землю еще при Василии Темном. Но само собою разумеется, что такой «социализм» вовсе не может быть признан социализмом. Освобождение пролетариата может совершиться только в силу освобождения человека от «*власти земли*» и вообще природы. А для этого последнего освобождения безусловно необходимы те армии труда и то широкое применение к производству современных

производительных сил, о которых говорил в снах Веры Павловны Чернышевский и о которых мы, в своем стремлении к «практичности», совершенно позабыли.

Чернышевский присутствовал при зарождении у нас нового типа «новых людей». Этот тип выведен им в лице Рахметова. Наш автор радостно приветствовал появление этого нового типа и не мог отказать себе в удовольствии нарисовать хотя бы неясный его профиль. В то же время он с грустью предвидел, как много мук и страданий придется пережить русскому революционеру, жизнь которого должна быть жизнью суровой борьбы и тяжелого самоотвержения. И вот Чернышевский выставляет перед нами в Рахметове настоящего аскета. Рахметов положительно мучает себя. Он совсем «безжалостный до себя», по выражению его квартирной хозяйки. Он решается даже попробовать, сможет ли вынести пытку, и с этой целью лежит всю ночь на войлоке, утыканном гвоздями. Многие, и в том числе Писарев, видели в этом простое чудачество. Мы согласны, что некоторые частности в характере Рахметова могли быть изображены иначе. Но вся совокупность характера остается все-таки вполне верной действительности: почти в каждом из выдающихся наших социалистов 60-х и 70-х годов была немалая доля рахметовщины.

Заканчивая наше введение, мы скажем, что значение Чернышевского в русской литературе до сих пор не нашло себе надлежащей оценки. Как плохо понимают его у нас даже многие из тех, которые относятся к нему весьма благожелательно, показывает воспоминание о нем В. Г. Короленко. Этот талантливый и умный автор изобразил его каким-то «рационалистическим экономистом», который при этом верит «в силу устроительного разума по Конту» [1]). Если слова насчет «устроительного разума» имеют какой-нибудь смысл, то они означают, что Чернышевский смотрел на общественные явления с идеалистической точки зрения, с какой на них смотрел и сам Конт. Но человек, смотрящий на общественные явления с точки зрения *идеализма,* не может быть назван *экономистом* по той простой причине, что название это применяется, — хотя, впрочем, тоже не совсем правильно, — к людям, которые, не веря в силу устроительного разума, верят в устроительную силу экономики. «Экономист», верящий в силу устроительного разума, был бы похож на дарвиниста, принимающего моисееву космогонию. Но это не самое важное. Важнее всего здесь то, что «экономизму» Чернышевского

[1]) *Короленко,* «Отошедшие», стр. 78.

г. Короленко противопоставляет социологические взгляды наших «суб'ективистов». «Перестав быть «рационалистическими экономистами», мы тоже не остановились на месте. Вместо схем чисто экономических, литературное направление, главным представителем которого является Н. К. Михайловский, раскрыло перед нами целую перспективу законов и параллелей биологического характера, а игре экономических интересов отводилось подчиненное место» [1]).

Действительно, «*не остались на месте*»! Раскрытая Михайловским «перспектива законов и параллелей биологического характера» *была огромным шагом назад* в сравнении с общественными взглядами Чернышевского [2]). Н. К. Михайловский был учеником П. Л. Лаврова, который, — как это показано нами в книге «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», — был по своим взглядам на ход общественного развития последователем Бруно Бауэра. Поэтому, кто хочет выяснить себе, как относится миросозерцание Н. Г. Чернышевского к миросозерцанию наших «суб'ективистов», должен прежде всего постараться понять, как относится ко взглядам Бруно Бауэра философия Фейербаха, которой держался Чернышевский. А тут дело ясно и просто: Фейербах далеко опередил Бруно Бауэра.

Эпиграфом к нашей первой статье о Чернышевском, написанной под свежим впечатлением известия об его смерти и совершенно переработанной в настоящем издании, мы взяли следующие слова нашего автора из его письма к своей жене: «Наша с тобою жизнь принадлежит истории, пройдут сотни лет, а наши имена все будут милы людям, и будут вспоминать о них с благодарностью, когда уже не будет тех, кто жил с нами». Это письмо писано 5 октября 1862 года, т.-е. в то время, когда его автор находился уже в заключении. Его обвинители приводили их потом, как доказательство его крайнего самомнения. Он возражал им, что они берут всерьез такие строки его письма, которые написаны им совершенно не серьезно [3]).

В свою очередь, мы совершенно оставляем в стороне вопрос о том: может ли подходить самомнение под какую бы то ни было статью какого бы то ни было уголовного кодекса. И мы вполне верим, что цитированные нами строки письма Чернышевского имели *для их автора* значение простой шутки. Но мы находим, что они имеют теперь другое

---

[1]) Там же, стр. 79—80.

[2]) Неудивительно, что Чернышевский, по свидетельству того же г. Короленко относился совершенно отрицательно к этим «законам и параллелям».

[3]) *М. К. Лемке*, «Былое», 1906 г., стр. 103.

вполне серьезное значение. Жизнь Н. Г. Чернышевского в самом деле принадлежит истории, и его имя никогда не перестанут вспоминать с благодарностью все те, которые интересуются судьбами русской литературы и которые умеют ценить ум, талант, знания, мужество и самоотвержение.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ФИЛОСОФСКИЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗГЛЯДЫ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ

Философские взгляды Н. Г. Чернышевского

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Чернышевский и Фейербах

В первом издании этого сочинения, — первая статья которого, говорившая, между прочим, о философских взглядах Чернышевского, написана была в конце 1899 года, — мы высказали то убеждение, что по своим философским взглядам наш автор был последователем Фейербаха. Это наше убеждение основывалось, разумеется, прежде всего, на сравнении со взглядами Фейербаха тех мыслей Чернышевского, которые имели более или менее близкое отношение к философии. Мы имели возможность опереться также на собственное свидетельство нашего автора. Правда, применяясь к цензурным условиям того времени, Чернышевский всегда говорил об этом предмете лишь намеками; но для человека, понимавшего дело, его намеки были как нельзя более ясны. Так, например, в споре с Дудышкиным (в статье «Полемические красоты») Чернышевский говорил, что придерживается философской системы, «составляющей самое последнее звено в ряду философских систем» и «вышедшей из Гегелевской системы точно так же, как Гегелевская вышла из Шеллинговой». Не трудно было догадаться, что эти слова намекают на Фейербаха. Но Чернышевский не рассчитывал на догадливость своего противника и потому хотел сделать свой намек еще более прозрачным. «Но вам все-таки, может быть, еще не ясно дело? — спрашивает он. — Вам, вероятно, хотелось бы узнать, кто же такой этот учитель, о котором я говорю? Чтобы облегчить вам поиски, я, пожалуй, скажу вам, что он не русский, не француз, не англичанин; не Бюхнер, не Макс Штирнер, не Бруно Бауэр, не Молешотт, не Фохт, — кто же он такой?

Вы начинаете догадываться: «Должно быть Шопенгауэр!» — восклицаете вы, начитавшись статей г. Лаврова. — Он самый и есть, угадали». Эти строки не оставляли уже никакого сомнения насчет того, что своим учителем в философии Чернышевский считал именно Фейербаха.

В одной из статей, посвященных «судьбам нашей критики», мы доказывали, что знаменитая диссертация Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» представляет собой интересную и единственную в своем роде попытку построить эстетику на основе материалистической философии Фейербаха [1]). С этим тоже трудно было не согласиться человеку, имевшему понятие о Фейербаховой философии. Но, во-первых, людей, имеющих понятие об этой философии, у нас крайне мало, а во-вторых, как ни основательны были наши соображения о родстве философских взглядов Чернышевского с философскими взглядами автора «Сущности христианства», соображения эти все-таки не опирались тогда ни на одно прямое, ничем не прикрытое показание самого Чернышевского. Теперь такое показание у нас есть, и мы спешим обратить на него внимание читателя.

В уже упомянутом выше предисловии к 3-му изданию «Эстетических отношений искусства к действительности» «Чернышевский говорит [2]):

«Автор брошюры, к третьему изданию которой пишу я предисловие (т.-е. сам Н. Г. Чернышевский. *Г. П.*), получил возможность пользоваться хорошими библиотеками и употреблять несколько денег на покупку книг в 1846 году. До того времени он читал только такие книги, какие можно доставать в провинциальных городах, где нет порядочных библиотек. Он был знаком с русскими изложениями системы Гегеля, очень неполными. Когда явилась у него возможность ознакомиться с Гегелем в подлиннике, он стал читать эти трактаты. В подлиннике Гегель понравился ему гораздо меньше, нежели ожидал он по русским изложениям. Причина состояла в том, что русские последователи Гегеля излагали систему в духе левой стороны Гегелевской школы. В подлиннике Гегель оказывался более похож на философов XVII века

[1]) Статья эта предназначалась для «Нового Слова», но «по независящим от редакции обстоятельствам» напечатана была только одна ее половина. Полностью она появилась в 1905 г. в моем сборнике «За двадцать лет», где и перепечатывалась в последующих изданиях.

[2]) Издатель сочинений своего отца, М. Н. Чернышевский, сообщает: «Предисловие это не было пропущено цензурою, так как о Фейербахе писать не полагалось. Третье издание «Эстетических отношений» было решено поэтому не печатать». Предисловие помечено 1888 годом.

и даже на схоластиков, чем на того Гегеля, каким он являлся в русских изложениях его системы. Чтение было утомительно по своей явной бесполезности для сформирования научного образа мыслей. В это время случайным образом попалось желавшему сформировать себе такой образ мыслей юноше одно из главных сочинений Фейербаха. Он стал последователем этого мыслителя; и до того времени, когда житейские надобности отвлекли его от ученых занятий, он усердно читал и перечитывал сочинения Фейербаха».

Эти строки, составляющие как бы философский curriculum vitae Н. Г. Чернышевского, показывают нам, какое огромное значение имела немецкая философия вообще и философия Фейербаха в частности в истории развития его миросозерцания. А строки, непосредственно за ними следующие, обнаруживают перед нами влияние Фейербаха на эстетические воззрения нашего автора.

Чернышевский продолжает, по-прежнему говоря о себе в третьем лице:

«Лет через шесть после начала его знакомства с Фейербахом представилась ему житейская надобность написать ученый трактат. Ему казалось, что он может применять основные идеи Фейербаха к разрешению некоторых вопросов по отраслям знаний, не входившим в круг исследований его учителя.

«Предметом трактата, который нужно было ему написать, должно было быть что-нибудь относящееся к литературе. Он вздумал удовлетворить этому условию изложением тех понятий об искусстве и в частности о поэзии, которые казались ему выводами из идей Фейербаха. Таким образом брошюра, предисловие к которой пишу я, — попытка применить идеи Фейербаха к разрешению основных вопросов эстетики.

«Автор не имеет ни малейших притязаний сказать что-нибудь новое, принадлежащее лично ему. Он желал только быть истолкователем идей Фейербаха в применении к эстетике» [1]).

Читатель видит, что мы правильно поняли отношения Чернышевского к Фейербаху. Но какова точка зрения самого Фейербаха? Выше мы назвали его материалистом. И материалистом же считали его те люди, которые ополчались у нас на Чернышевского за его проповедь философских взглядов Фейербаха. Но в настоящее время в философской литературе очень распространено то мнение, что Фейербах никогда не был «настоящим» материалистом. Это мнение, — внешним поводом для

---

[1]) Сочинения, т. X, ч. 2, стр. 192.

которого послужили некоторые «афоризмы» и некоторые термины самого Фейербаха, — высказано было, между прочим, и в известной «Истории материализма» Ланге. Однако оно совсем неосновательно. Мы сейчас увидим это.

Фейербах говорит в своих «Grundsätze»: «*Новая* (т.-е. его. *Г. П.*) *философия делает человека со включением природы, как базиса человека, единственным всеобщим и высшим предметом философии, — стало быть, антропологию, со включением физиологии, универсальною наукою*».

В этих словах Фейербаха Ланге видит черту, идущую от Гегелевской философии и отделяющую Фейербаха от материалистов, в собственном смысле слова. Он замечает, что «природа человека для материалиста есть лишь частный случай в цепи физических процессов жизни». Кроме того, по мнению Ланге, настоящий материалист будет мало склонен придавать, — как это делает Фейербах, — человеческой природе божеские аттрибуты [1]). Но что значат у Фейербаха эти божеские аттрибуты? Он сам говорит, что его «антропология» представляет собой лишь указание на то, что человек принимает за бога свою собственную сущность [2]). Ввиду этого «божественность» аттрибутов человеческой природы утрачивает всякий спиритуалистический смысл: остается лишь известное злоупотребление термином, очень нежелательное в интересах правильного развития философских понятий, но нимало не изменяющее истинного содержания учения Фейербаха. Фейербах никогда не отрицал того, что природа человека «есть лишь частный случай в цепи физических процессов». Это положение лежит в основе всей его философии. И если тем не менее он счел нужным взять за свою точку исхода именно человеческую природу, то это прекрасно об'ясняется его же собственными словами: «В споре между материализмом и спиритуализмом речь идет о человеческой голове... Раз мы узнали, что̀ представляет собою та материя, из которой состоит мозг, мы скоро придем к ясному взгляду и насчет всякой другой материи, насчет материи вообще» [3]). Эти строки показывают, как плохо поняли Фейербаха те люди, которые отказались признать его учение материализмом и окрестили его ничего не говорящим именем *гуманизма*. Правда, сам Фейербах иногда отказывается признать себя материалистом. «Ма-

---

[1]) «История материализма», перевод Н. Н. Страхова, т. II, стр. 82.

[2]) «Feuerbach's Werke», VI, 249.

[3]) «Ueber Spiritualismus und Materialismus», Werke, X, 129.

териализм,—говорит он,—есть совсем неподходящее название, которое ведет за собою неправильное представление и может быть оправдано лишь желанием противопоставить нематериальности мысли ее материальность; но для нас существует только органическая жизнь, только органическое действие, только органическое мышление. Поэтому правильнее было бы говорить — *организм*. Последовательный спиритуалист отрицает, что для мышления нужен орган, между тем как при естественном взгляде на дело оказывается, что без органа нет и деятельности» [1]). В тех же афоризмах, откуда мы взяли эти строки, Фейербах заявляет, что он лишь до известного предела идет вместе с материалистами и что материализм составляет только основу человеческой сущности и человеческого знания, но еще не самое знание, как это думают некоторые естествоиспытатели, напр., Молешотт. Но тут нужно заметить, что на самом деле термин «организм», предлагаемый Фейербахом, выражает совершенно тот же философский взгляд, какой выражается словом «*материализм*». Естествоиспытатели «в узком смысле этого слова» потому не удовлетворяют Фейербаха, что они, по его мнению, все сводят к мозгу, а мозг есть не более как физиологическая абстракция; он лишь до тех пор является органом мышления, пока соединен с головою и с телом» [2]). Но кто же из естествоиспытателей отрицал когда-либо, что мозг перестает мыслить, будучи отделен от головы и тела? Никто и никогда. В этом случае Фейербах просто-напросто несправедлив к естествоиспытателям [3]). Нельзя оспаривать то, что в лице таких естествоиспытателей, как Молешотт, Бюхнер и Фохт, материализм страдал подчас значительной узостью и делал серьезные теоретические ошибки. Но несправедливо было бы относить на счет материализма вообще—недостатки, свойственные одной из его школ. Это понимал, как видно, и сам Фейербах, который в своем сочинении: «Ueber Spiritualismus und Materialismus, besonders in Beziehung auf die Willensfreiheit» относит то, что представлялось ему слабой стороной материализма, собственно на счет *французской* материалистической школы, противопоставляя ей *немецкий* материализм, пользующийся полным его сочувствием. В действительности, упреки, делаемые

---

[1]) «Nachgelassene Aphorismen», напечатанные у *Грюна*: «Ludwig Feuerbach in seinem Briefwechsel und Nachlass», Zweiter Band, S.S. 307—308.

[2]) Werke, II, 362.

[3]) О том, как стоит этот вопрос в современном естествознании, дает понятие небольшая, но интересная работа *Феликса Ле-Дантека:* «Le déterminisme biologique et la personnalité consciente. Esquisse d'une théorie chimique des épiphé épiphénomènes»

им там французской школе материализма, совсем незаслужены этой последней и с гораздо бо́льшим основанием могут быть направлены по адресу немецких материалистов вроде Бюхнера или Фохта. Но это — частность, об'ясняющаяся тем, что Фейербах, воспитанный на немецкой философии, был плохо знаком с французским материализмом. Частность эта не мешала Фейербаху стоять в своей «антропологии» на чисто материалистической точке зрения. В только что цитированном нами сочинении «Ueber Spiritualismus und Materialismus» он, сам того не сознавая, высказывается в духе французского материализма, как тот выразился в сочинениях Ламеттри и Дидеро [1]).

ГЛАВА ВТОРАЯ

«Антропологический принцип в философии»

Как бы там ни было, а Н. Г. Чернышевский понимал Фейербаха в *материалистическом* смысле. На этот счет не допускает никаких сомнений его знаменитая философская статья, появившаяся в №№ 4—5 «Современника» за 1860 год. Вот как поясняет он здесь смысл заглавия своей статьи: «*Антропологический принцип в философии*». Принцип этот состоит в том, что на человека надобно смотреть, как на одно существо, имеющее только одну натуру, чтобы не разрезывать человеческую жизнь на разные половины, принадлежащие разным натурам, чтобы рассматривать каждую сторону деятельности человека, как деятельность или всего его организма, от головы до ног включительно, или, если она оказывается специальным отправлением какого-нибудь особенного органа в человеческом организме, то рассматривать этот орган в его натуральной связи со всем организмом.

Поясняя антропологический принцип, можно сказать, словами самого Фейербаха, Чернышевский замечает, что до сих пор большинство мыслителей, занимающихся нравственными науками, продолжают работать «по прежнему фантастическому способу ненатурального дробления человека на разные половины, происходящие из разных натур». Но именно потому, что ученые в своем большинстве еще не сознали важного значения антропологического принципа, их труды лишаются

[1]) Подробнее об этом см. у нас в сборнике «За двадцать лет» (ст. «Эстетическая теория» Н. Г. Чернышевского) и в брошюре «Основные вопросы марксизма». стр. 1—25.

всякого серьезного значения. «Пренебрежение к антропологическому принципу отнимает у них всякое достоинство, — говорит он, — исключением служат творения очень немногих прежних мыслителей, следовавших антропологическому принципу, хотя еще и не употреблявших этого термина для характеристики своих воззрений на человека: таковы, например, Аристотель и Спиноза».

Людям, держащимся вульгарного взгляда на сущность материалистического учения, этот отзыв нашего автора об Аристотеле и Спинозе должен представляться совершенно неожиданным и даже смешным. В середине 90-х годов прошлого века, г. А. Волынский в своей книге «Русские критики» произнес по поводу этого отзыва следующий величественный приговор: «Из всех мыслителей прошедшего времени Чернышевский, по какой-то странной ассоциации идей и, без сомнения, ошибочных воспоминаний, готов признать только Аристотеля и Спинозу. В своем фантастическом представлении о системах этих двух действительно великих творцов в области человеческой мысли, он полагает, что, следуя вышеописанному антропологическому принципу, он является их продолжателем при новых данных положительного знания» (стр. 271).

Этот величественный отзыв о будто бы фантастических представлениях Чернышевского свидетельствует лишь о том, что г. А. Волынский ровно ничего не понял в философских взглядах Н. Г. Чернышевского.

Мы уже знаем, что этот последний стоял на точке зрения Фейербаха. Как же относился Фейербах к Спинозе? В своей истории новой философии он излагал учение Спинозы с величайшим сочувствием, а в своих «Grundsätze», — относящихся к 1843 году, — он высказал ту совершенно справедливую мысль, что пантеизм Спинозы есть теологический материализм, т.-е. такое отрицание теологии, которое продолжает стоять на теологической точке зрения. В этом смешении материализма с теологией заключалась, по мнению Фейербаха, непоследовательность Спинозы; но эта его непоследовательность не помешала ему, однако, найти «правильное, по крайней мере для своего времени, выражение для материалистических понятий новейшей эпохи». Поэтому Фейербах называл Спинозу Моисеем новейших свободных мыслителей и материалистов [1]).

---

[1]) Werke, II, 291. Подробнее об этом см. «Основные вопросы марксизма» стр. 9—13.

После этого понятно, почему Чернышевский относил Спинозу к числу тех, очень немногих прежних мыслителей, которые держались антропологического принципа, хотя еще не употребляли этого термина для характеристики своих философских взглядов: поступая так, он следовал примеру своего учителя, справедливо считавшего Спинозу Моисеем новейшего материализма. Что касается Аристотеля, то Чернышевский в самом деле ошибался, считая его философию родственной с учением Фейербаха. Аристотель гораздо ближе к идеалистам, нежели к материалистам, но и тут не следует забывать, что между учениками Аристотеля были люди, истолковывавшие его систему в смысле, очень близком к материализму [1]). Таковы были Аристоксен, Дикеарх и особенно Стратон. Вероятно, Чернышевский считал их толкование философии Аристотеля правильным и потому об'явил их учителя сторонником антропологического принципа. Повторяем, это мнение нельзя признать верным; но нужно все философское невежество г. Волынского, чтоб увидеть в нем доказательство того, что Чернышевский совсем не знал философии [2]).

Итак, в основе философии Чернышевского лежит идея единства человеческого организма. Чернышевский — решительный противник всякого дуализма. По его словам, философия, — т.-е. излагаемая и защищаемая им философия Фейербаха, — видит в человеческом организме то, что видят в нем естественные науки. «Эти науки доказывают,—говорит он, — что никакого дуализма в человеке не видно, а философия прибавляет, что если бы человек имел, кроме реальной своей натуры, другую натуру, то эта другая натура непременно обнаруживалась бы в чем-нибудь, и так как она не обнаруживается ни в чем, так как все происходящее и проявляющееся в человеке происходит по одной реальной его натуре, то другой натуры в нем нет». Но единство человеческой природы не мешает существованию в организме человека двух различных родов явлений: явлений так называемого материального порядка и

---

[1]) Об этом см. *Ed. Zeller:* «Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung», II Th., II Abtheilung, II Auflage, Tübingen 1862. S.S. 717, 719, 720, 732, 742. Сравни также *Ueberweg:* «Grundriss der Geschichte der Philosophie», I Theil Berlin 1876, S.S. 218—219.

[2]) Что в 60-х годах прошлого века не один Чернышевский склонен был преуменьшать значение идеалистического элемента в философии Аристотеля, показывает не лишенная интереса книга *А. Лебле:* «Matérialisme et Spiritualisme», входящая в состав «Bibliothèque de philosophie contemporaine» и снабженная предисловием Литтрэ (см. стр. 48—54). Книга эта вышла в 1865 году.

явлений так называемого нравственного порядка. И вот перед Чернышевским встает вопрос: как относятся один к другому эти два порядка явлений? Не опровергается ли их существованием принцип единства человеческой природы? Чернышевский категорически отвечает, что нет: «Делать такую гипотезу мы не имеем основания, потому что нет предмета, который имел бы только одно качество; напротив, каждый предмет обнаруживает бесчисленное множество разных явлений, которые мы для удобства суждений о нем подводим под разные разряды, давая каждому разряду имя качества, так что в каждом предмете очень много разных качеств». Тут опять обнаруживается полное единство его философских взглядов со взглядами Фейербаха. Известно, что, по учению этого последнего, организм есть суб'ект, а мышление—свойство («предикат») этого суб'екта, так что мыслит не то отвлеченное существо, с которым оперировала некогда идеалистическая философия, а существо действительное, *тело*. Но что такое человеческий организм? Это «очень многосложная химическая комбинация,—отвечает Чернышевский,—находящаяся в очень многосложном химическом процессе, называемом жизнью». Некоторые части этого процесса до сих пор остаются довольно плохо раз'ясненными. Но из этого вовсе не следует, по замечанию Чернышевского, «чтобы мы уже не знали положительным образом очень многого и о тех частях его, исследование которых находится теперь даже в самом несовершенном виде». Знание некоторых сторон жизненного процесса позволяет нам делать, по крайней мере, отрицательные выводы относительно тех сторон, которые пока еще плохо исследованы. Такие отрицательные выводы имеют, по словам Чернышевского, большую важность во всех науках; но особенно важны они в нравственных науках и в метафизике, потому что там они устраняют много вредных ошибок. Чтобы пояснить эту важную мысль, предоставим слово самому Чернышевскому. «Говорят: естественные науки еще не достигли такого развития, чтобы удовлетворительно об'яснить все важные явления природы,— пишет он. —Это совершенная правда; но противники научного направления в философии делают из этой правды вывод вовсе не логический, когда говорят, что пробелы, остающиеся в научном об'яснении натуральных явлений, допускают сохранение каких-нибудь остатков фантастического миросозерцания. Дело в том, что характер результатов, доставленных анализом об'ясненных наукою частей и явлений, уже достаточно свидетельствует о характере элементов, сил и законов, действующих в остальных частях и явлениях, которые еще не вполне об'яснены: если бы в этих необ'ясненных ча-

стях и явлениях было что-нибудь иное, кроме того, что найдено в об'ясненных частях, тогда и об'ясненные части имели бы не такой характер, какой имеют».

Это рассуждение опять направляется против дуализма. Как ни мало исследованы так называемые психические явления, но мы уже теперь можем с достоверностью сказать, что ошибались мыслители, относившие их на счет особой субстанции. Такой особой субстанции не существует. Психические явления представляют собою не более как результат деятельности человеческого организма. Таково положение, красной нитью проходящее через всю статью Чернышевского.

Но тут полезно будет сделать следующую оговорку. В статье Чернышевского есть строки, которые могли подать,— и действительно подали,— повод к недоразумениям. Вот эти строки: «Мы знаем, в чем состоит, например, питание; из этого мы уже знаем приблизительно, в чем состоит, например, ощущение: питание и ощущение так тесно связаны между собою, что характером одного определяется характер другого». Прочитав эти строки, можно, пожалуй, подумать, что Чернышевский разделял взгляд тех будто бы материалистов, которые утверждали, что мысль, а следовательно, и ощущения есть не более как движение вещества. Но на самом деле он, как и Фейербах, был очень далек от *такого* материализма. *Его* материалистический взгляд лучше всего выражается словами Фейербаха: «Что́ для меня, или суб'ективно, есть чисто духовный, нематериальный, нечувственный акт, то́ само по себе, об'ективно, есть акт материальный, чувственный» [1]). Чтобы читатели не заподозрили нас в намерении приписать Чернышевскому такие взгляды, каких у него не было, мы приведем следующие слова самого Чернышевского: «Ощущение по самой натуре своей непременно предполагает существование двух элементов мысли, связанных в одну мысль: во-первых, тут есть внешний предмет, производящий ощущение, во-вторых, существо, чувствующее, что в нем происходит ощущение». Вдумаемся в эти слова. Существо, чувствующее, что в нем происходит ощущение, есть материальное существо, организм, испытывающий на себе действие внешнего предмета. Действие это состоит в том, что так или иначе приходят в движение те или другие части организма. Это движение известных частей организма *вызывает* известное ощущение, но оно *не тождественно* с ощущением: оно представляет собою лишь *об'ективную сторону* того

[1]) Werke, II, 350.

самого явления, которое, *с суб'ективной стороны,— т.-е. тому существу, в котором совершается этот процесс движения,*—представляется как ощущение. У Чернышевского, как и у Фейербаха, эти две стороны явления,— суб'ективная и об'ективная,— теснейшим образом связаны между собою; но они не отождествляются одна с другой. Напротив, Чернышевский подобно Фейербаху восстал бы против такого отождествления, потому что справедливо увидел бы в нем бессознательное повторение одной из коренных ошибок идеализма — мнимое разрешение антиномии между суб'ектом и об'ектом посредством устранения одного из ее элементов [1]).

Ниже мы увидим, что противники Чернышевского, обрушившиеся на него за статью «Антропологический принцип в философии», крайне плохо выяснили себе взгляд его на отношения между суб'ектом и об'ектом. Но сейчас мы вынуждены ограничиться указанием на то, что Чернышевский не одобрял свойственного позитивистам воздержания от рассмотрения вопроса о взаимном отношении между материей и духом. Так, например, он отказывается признать Дж. Ст. Милля «представителем современной философии» по той причине, что Милль никогда не занимался указанным вопросом: «Он преднамеренно отклоняется,— говорит о нем Чернышевский,— от высказывания всякого мнения о подобных предметах, как будто считая их недоступными точному исследованию». Последние слова показывают, что, по мнению Чернышевского, вопросы этого рода были вполне доступны исследованию.

Идем дальше. Мы знаем, что Чернышевский смотрел на человеческий организм, как на «очень многосложную химическую комбинацию, находящуюся в очень многосложном химическом процессе, называемом жизнью». Сложность этого процесса так велика, что занимающаяся им отрасль химии выделилась в особую науку, получившую название физиологии. Но это обстоятельство нимало не подрывает мысли, что человек составляет лишь часть природы. «Отношение физиологии к химии можно сравнить,— говорит Чернышевский, — с отношением отечественной истории к всеобщей истории. Разумеется, русская история составляет только часть всеобщей; но предмет этой части особенно близок нам, потому она сделана как будто особенною наукою: курс русской истории в учебных заведениях читается отдельно от курса всеобщей, воспитанники получают на экзаменах особенный балл из русской истории; но не следует забывать, что эта внешняя раз-

[1]) Ср. «Основные вопросы марксизма», стр. 9.

дельность служит только для практического удобства, а не основана на теоретическом различии характера этой отрасли знания от других частей того же самого знания. Русская история понятна только в связи с всеобщею, об'ясняется ею и представляет только видоизменение тех же самых сил и явлений, о каких рассказывается во всеобщей истории. Так и физиология только видоизменение химии, а предмет ее только видоизменение предметов, рассматриваемых в химии». К этому надо прибавить, что и физиология не ограничивается исследованием жизненного процесса, совершающегося в человеческом организме. Физиология человеческого организма есть лишь часть одного отдела физиологии — физиологии животных. Между человеком и животным существенной разницы нет ни со стороны материальных процессов организма, ни даже со стороны так называемых духовных процессов. «Действительно научный анализ, — поясняет Чернышевский,—открывает несправедливость голословных фраз, будто животные вовсе лишены разных почетных качеств, как, например, некоторой способности к прогрессу. Обыкновенно говорят: животное всю жизнь остается тем, чем родилось, ничему не научается, не идет вперед в умственном развитии. Такое мнение разрушается фактами, известными каждому: медведя научают плясать и выкидывать разные штуки, собак — подавать поноску и танцовать; слонов даже выучивают ходить по канату; даже рыб приучают собираться в данное место по звонку, — этого всего обученные животные не делали без ученья; ученье дает им качества, которых без него не имели бы они. Не только человек учит животных — сами животные учат друг друга; известно, что хищные птицы учат своих детей летать». Не находя нужным слишком распространяться здесь об этом вопросе, мы только прибавим, что в своей статье Чернышевский высказал по его поводу много таких соображений, которые можно встретить в вышедшей значительно позже книге Дарвина «Происхождение человека».

Если человеческий организм по существу ничем не отличается от организма животного, то этот последний, в свою очередь, ничем существенным не отличается от растительного организма. Чернышевский говорит: «В наиболее развитых формах своих животный организм чрезвычайно отличается от растения; но читатель знает, что млекопитающие и птицы связаны с растительным царством множеством переходных форм, по которым можно проследить все степени развития так называемой животной жизни из растительной: есть растения и животные, почти ничем не отличающиеся друг от друга, так что трудно сказать, к какому царству отнести их». Более того. В первое время

своего существования все животные почти одинаковы с растениями в первой поре их роста. Чернышевский указывает, что зародышем животного, как зародышем растений, служит «ячейка», и, заметив, что зародыш животного трудно отличить от зародыша растения, он продолжает: «Итак, мы видим, что все животные организмы начинают с того же самого, с чего начинает растение, и только впоследствии некоторые животные организмы приобретают вид очень различный от растений и в очень высокой степени проявляют такие качества, которые в растении так слабы, что открываются только при помощи научных пособий. Так, например, в дереве есть зародыш движения: соки в нем движутся, как в животных; корни и ветви тянутся в разные стороны; правда, это перемещение происходит только в частях, а целый организм растения не переменяет места; но и полип также не переменяет места: полипняк способностью перемещения не превосходит дерево. Но есть даже и такие растения, которые переменяют свое место: сюда принадлежат некоторые виды семейства Mimosa».

Мы не скажем, что мысли, высказанные в этом случае Чернышевским, были совсем новы для своего времени: их можно встретить как у Гегеля, так и особенно у некоторых натурфилософов школы Шеллинга. Чернышевский знал немецкую идеалистическую философию; неудивительно, что ему были известны и эти мысли. Но под его пером они до такой степени освободились от всяких метафизических примесей, до такой степени окрасились в материалистический цвет естествознания, что сам собою возникает вопрос: не был ли Чернышевский уже в то время знаком с зоологическими теориями Ламарка и Жоффруа Сент-Илера? Прямых указаний на это мы в его сочинениях не находим, но недаром же он, выступив, по своем возвращении из Сибири, против «теории благотворности борьбы за жизнь», подписался «*Старым трансформистом*», и недаром он называл тогда Ламарка гениальным биологом. Очень вероятно, что уже и в 60-х годах биологическая теория трансформизма была хорошо знакома ему в трудах некоторых предшественников Дарвина.

Закончим изложение относящихся сюда взглядов Чернышевского напоминанием о том, что в его глазах органическая жизнь вообще есть лишь очень сложный химический процесс. Этим определяется его отношение к витализму. Никакой особой жизненной силы не существует. Химические процессы, совершающиеся в организме, только своею сложностью отличаются от химических процессов, происходящих в так называемой неорганической природе. «Еще не очень давно казалось,—

замечает Чернышевский,—что так называемые органические вещества (например, уксусная кислота) существует только в органических телах; но теперь известно, что при известных условиях они возникают и вне органических тел, так что разница между органическою и неорганическою комбинациею элементов несущественна, и так называемые органические комбинации возникают и существуют по одним и тем же законам, и все они одинаково возникают из неорганических веществ. Например, дерево отличается от какой-нибудь неорганической кислоты собственно тем, что кислота, это — комбинация немногосложная, а дерево — соединение многих многосложных комбинаций. Это как будто разница между 2 и 200,— разница количественная, не больше».

Чернышевский мало писал собственно о философских вопросах, хотя знал философию несравненно лучше, нежели огромнейшее большинство наших передовых писателей конца 60-х, 70-х и 80-х годов, напр., Н. К. Михайловский. Философия интересовала его главным образом, как теоретическая основа известных практических требований. Вот почему и в своей статье «Антропологический принцип в философии» он не упускает из виду этих требований, не раз заговаривая о них. И вот почему также он посвящает в ней много внимания тем вопросам философской теории, которые имеют непосредственное отношение к задачам практической жизни. Таков, например, вопрос о философской основе нравственности, а прежде всего о воле.

Чернышевский доказывает, что первым следствием вступления «нравственных знаний» в область точных наук явилось устранение некоторых старых взглядов на поступки людей. «Положительно известно, например, — говорит он, — что все явления нравственного мира проистекают одно из другого или из внешних обстоятельств по закону причинности, и на этом основании признано фальшивым всякое предположение о возникновении какого-нибудь явления, не произведенного предыдущими явлениями и внешними обстоятельствами. Поэтому нынешняя психология не допускает, например, таких предположений: «Человек поступил в данном случае дурно, потому что захотел поступить дурно, а в другом случае хорошо, потому что захотел поступить хорошо». Она говорит, что дурной поступок или хороший поступок был произведен непременно каким-нибудь нравственным или материальным фактом или сочетанием фактов, а «хотение» было тут только субъективным впечатлением, которым сопровождается в нашем сознании возникновение мыслей или поступков из предшествующих мыслей, поступков или внешних фактов». Иначе сказать, смотря на человека,

как на невольный продукт окружающей среды, Чернышевский относился с величайшей гуманностью даже к таким некрасивым сторонам человеческого характера, в которых идеалисты видели лишь злую волю, заслуживающую строгой кары. По мнению Чернышевского, все зависит от общественных привычек и обстоятельств, а так как общественные привычки тоже складываются под влиянием обстоятельств, то этими последними в конце концов и определяются все действия людей. «Вы вините человека, — писал он, — всмотритесь прежде, он ли в том виноват, за что вы его вините, или виноваты обстоятельства и привычки общества, — всмотритесь хорошенько, быть может, тут вовсе не вина его, а только беда его». «Охранители» хотели видеть в подобных словах Чернышевского защиту нравственной распущенности, но, разумеется, только доказали этим свое собственное непонимание дела. На самом деле Чернышевский и тут лишь излагал и развивал не имеющие ничего общего с распущенностью взгляды своего учителя Фейербаха. Известны афоризмы этого последнего вроде: «Во дворце думается иначе, чем в хижине, низкий потолок которой как бы давит на мозг. На вольном воздухе мы иные люди, чем в комнате; теснота сдавливает, простор расширяет сердце и голову. Где нет случая проявить талант, там нет и талантов; где нет простора для деятельности, там нет и стремления, по крайней мере истинного стремления к деятельности»; или: «если вы хотите улучшить людей, то сделайте их счастливыми». Но не всем известно, что афоризмы и теория этого рода явились в XIX веке лишь повторением и отчасти применением к изменившимся обстоятельствам учений материалистов XVIII века. Маркс еще в 40-х годах указал на тесную связь между материалистическими учениями, с одной стороны, и социалистическими — с другой. «Если человек,—писал он,—несвободен в материалистическом смысле этого слова, т.-е. если его свобода заключается не в отрицательной способности избегать тех или других поступков, а в положительной возможности проявления своих личных свойств, то надо, стало быть, не карать отдельных лиц за их преступления, а уничтожить противообщественные источники преступлений и отвести в обществе свободное место для деятельности каждого отдельного человека. Если человеческий характер создается обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать эти обстоятельства достойными человека».

В частности у Чернышевского взгляд на характер человека, как на продукт обстоятельства, выработался не только под влиянием Фейербаха, но также и под влиянием современных ему западно-европейских социалистов, особенно Роберта Оуэна, который, как известно, написал

целое исследование об образовании человеческого характера («A New View of Society or Essays on the Principle of the Formation of the Human charakter») и который во всей своей практической деятельности всегда исходил из того убеждения, что злые поступки людей составляют не вину их, а их беду.

Но если человеческий характер есть продукт обстоятельств, то легко видеть, как следует отвечать на вопрос о том, добр или зол человек по своей природе. Ни добр, ни зол сам по себе, а становится добрым или злым, смотря по обстоятельствам. Чернышевский говорит: «Можно находить, что Иван добр, а Петр зол; но эти суждения прилагаются только к отдельным людям, а не к человеку вообще, как прилагаются только к отдельным людям, а не к человеку вообще, понятия о привычке тесать доски, уметь ковать и т. д. Иван—плотник, но нельзя сказать, что такое человек вообще: плотник или не плотник. Петр умеет ковать железо, но нельзя сказать о человеке вообще, кузнец он или не кузнец. Тот факт, что Иван стал плотником, а Петр кузнецом, показывает только, что при известных обстоятельствах, бывших в жизни Ивана, человек становится плотником, а при известных обстоятельствах, бывших в жизни Петра, становится кузнецом. Точно так при известных обстоятельствах человек становится добр, при других — зол».

Отсюда, разумеется совсем близко до практических выводов в направлении, отмеченном Марксом. Чернышевский для примера ставит пред собой вопрос о том, каким образом люди могли бы стать добрыми, так чтобы недобрые люди сделались на свете чрезвычайной редкостью, и отвечает на него так: «Психология говорит, что самым изобильным источником обнаружения злых качеств служит недостаточность средств к удовлетворению потребностей, что человек поступает дурно, т.-е. вредит другим, почти только тогда, когда принужден лишить их чего-нибудь, чтобы не остаться самому без вещи, для него нужной». Если бы общество было организовано так, чтобы порядочным образом удовлетворялась потребность человека в пище, то уже одно это привело бы к устранению по крайней мере $^{9}/_{10}$ всего того зла, которое существует в нынешнем обществе. Говорят, что это невозможно по несовершенству технических искусств, но если этот довод и был когда-нибудь основательным, то при нынешнем состоянии механики и химии он утратил всякое значение: «земля могла бы производить в каждой стране умеренного пояса несравненно больше пищи, чем сколько нужно для изобильного продовольствия числа жителей, в десять и двадцать раз большего, чем нынешнее население этой страны». Чернышевский не находит

возможным разбирать, почему до сих пор ни одно человеческое общество не позаботилось о надлежащем удовлетворении такой настоятельной потребности, как потребность в пище. Но ему казалось, что изложенного им было достаточно для раз'яснения того, «в каком положении находятся теперь нравственные науки». И, действительно, этого было совершенно достаточно для того, чтоб дать читателю понятие о точке зрения нашего автора [1]).

Написанная, — в силу необходимости, слишком хорошо знакомой русскими писателями, — эзоповским языком, но все-таки смелая и яркая по своему содержанию, статья «Антропологический принцип в философии» должна была произвести очень сильное впечатление как в среде читателей, сочувствовавших направлению Чернышевского, так и, может быть, еще более, между людьми, восставшими против него. Неудивительно, что она вызвала горячую полемику.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Полемика с Юркевичем и другими

Из более или менее видных противников взглядов Чернышевского прежде всего надо отметить профессора Киевской духовной академии П. Юркевича, ополчившегося на него в большой статье «Из науки о человеческом духе», напечатанной в 4-й книге «Трудов Киевской духовной академии» за 1860 год. Статья эта тогда же вызвала горячее одобрение со стороны Каткова в «Русском Вестнике», и даже П. Л. Лавров, который был весьма далек от последовательного образа мыслей Чернышевского, как видно, находил доводы Юркевича довольно убедительными. Впоследствии философский поход почтенного профессора духовной академии против Чернышевского был воспет г. Волынским в его вышеназванном сочинении «Русские критики». Г. Волынский твердо

[1]) Здесь, как и везде, Чернышевский вполне верен Фейербаху. Для читателей, не знакомых с сочинениями немецкого мыслителя, полезно будет привести следующее место из предисловия, написанного Фейербахом к собранию своих сочинений, первый том которого вышел в 1846 году: «Das Uebel sitzt nicht im Kopf oder Herzen, sondern im Magen der Menschheit... Ich fühlte es, sagte eine Verbrecherin, wie mir die bösen Gedanken aus dem Magen aufstiegen. Diese Verbrecherin ist das Bild der heutigen menschlichen Gesellschaft. Die einen haben Alles, was nur immer ihr lüsternder Gaumen begehrt, die Andern haben Nichts, selbst nicht das Nothwendige in ihrem Magen. Daher kommen alle Uebel und Leidens elbst die Kopf- und Herzenskrankheiten der Menschheit» (Vorwort, XV, изд. 1846 г.).

убежден в том, что Чернышевский был, как говорится, в пух и прах разбит Юркевичем. А так как г. Волынский является как бы предтечей всех тех многочисленных теперь в нашей литературе философских недоучек, которые под самыми разноцветными идеалистическими знаменами ведут атаку против материализма, — всех этих г.г. Струве, Трубецких, Ивановых, Луначарских, Базаровых, Юшкевичей, Берманов, Валентиновых, Философовых и проч., и проч., и проч., — то мы довольно подробно рассмотрим, что собственно показалось убедительным г. Волынскому в доводах киевского теолога.

Во-первых, г. Волынскому очень нравится та мысль Юркевича, что между фактами внешнего и внутреннего опыта лежит целая бездна и что всякая попытка судить об одном предмете с точки зрения другого должна быть изгнана из науки. Чернышевский упустил это из виду и потому сделал целый ряд ошибок. По его словам, философия видит в человеческом организме то же, что видят в нем естественные науки. Юркевич спрашивал по этому поводу, какая же в таком случае надобность в философии, «которая еще раз видит то, что уже прежде ее видели другие науки»? Со своей стороны, г. Волынский с совершенно удовлетворенным видом прибавляет: «Такова первая ошибка автора «Антропологического принципа» по простому и ясному об'яснению Юркевича» [1]).

Что об'яснение Юркевича было просто — это так. Но ясным оно может казаться в настоящее время только тому, кто незнаком с вопросом.

Чернышевский стоял на точке зрения Фейербаха. А вопрос об отношении философии к естествознанию представлялся Фейербаху в следующем виде. Он считал, что философия должна уступить место естествознанию: «Моя философия, — говорил он, — состоит в том, что не нужно никакой философии». Но для того, чтобы философия могла с пользой для дела уступить место естественным наукам, необходимо, чтобы сами натуралисты усвоили те выводы философии, которые приводят ее к своему собственному отрицанию. Иначе сказать, необходимо, чтобы естествоиспытатели перестали быть узкими специалистами. Но до этого еще далеко. Огромнейшее большинство естествоиспытателей не выходит в своем мышлении за пределы своей специальной науки, продолжая держаться отживших философских и общественных понятий. Пока не устранен этот их недостаток, философия не может слиться с естество-

[1]) «Русские критики», Спб. 1896 г., стр. 282.

знанием. В этом смысле Фейербах и говорил, что он идет с натуралистами лишь до известного предела. Он вернее выразил бы свою мысль, если бы сказал, что современные ему естествоиспытатели неспособны были итти за ним дальше известного предела. Но как бы там ни было, а мысль эта у него была, и в ней заключался ответ на вопрос Юркевича. Чернышевскому эта мысль была, разумеется, хорошо известна. В доказательство сошлюсь на следующие его строки: «Те натуралисты, которые воображают себя строителями всеоб'емлющих теорий, на самом деле остаются учениками и обыкновенно слабыми учениками старинных мыслителей, создавших метафизические системы, и обыкновенно мыслителей, системы которых уже были разрушены отчасти Шеллингом и окончательно Гегелем... Когда натуралисты перестанут говорить этот и тому подобный метафизический вздор, они сделаются способны вырабатывать и, вероятно, выработают на основании естествознания систему понятий, более точных и полных, чем те, которые изложены Фейербахом. А пока лучшим изложением научных понятий о так называемых основных вопросах человеческой любознательности остается то, которое сделано Фейербахом». Эти строки взяты нами из цитированного уже выше предисловия к предполагавшемуся, но несостоявшемуся третьему изданию «Эстетических отношений искусства к действительности». Предисловие это написано в 1888 году. Но в приведенных нами строках речь идет о взгляде, который высказан был Фейербахом еще в 1845 году и который, конечно, был хорошо известен Чернышевскому, когда он писал статью «Антропологический принцип в философии». Повторяем, в этом взгляде заключается ответ на вопрос о том, какая надобность в философии, еще раз видящей то, что уже видели естественные науки. Этот ответ мог остаться неизвестным Юркевичу, который был, так сказать, ex professo отсталым человеком. Но каким образом он мог остаться неизвестным г. Волынскому, который захотел выступить в роли мыслителя самоновейшей чеканки? В том-то и беда, что наши мыслители самоновейшей чеканки совсем не знают тех, действительно передовых, авторов, которых они «критикуют». Они зовут читателя вперед, а сами пятятся назад, разогревая старые философские блюда. Таких людей немало было и в Германии во время Фейербаха. Фейербах называл их Wiederkäuer (жвачными). Но, к сожалению, у нас в настоящее время таких «жвачных» несравненно больше; от них буквально нет проходу в нашей литературе. Это, вероятно, очень весело их предтече — г. Волынскому; но от этого должно тошнить людей, философской жвачкой не занимающихся.

Во-вторых, г. Волынский, вслед за Юркевичем, находит, что «Чернышевский плохо обрисовал вопрос об единстве человеческой природы». Тут дело вот в чем. Юркевич приписывает Чернышевскому ту мысль, что между материальными и психическими явлениями *нет никакой разницы,* и с победоносным видом вопрошает, каким образом ощущения рождаются в результате движения нерва. Это — старый вздор, с которым давно уже пристают к материалистам, и из которого следует только то, что люди, желающие «критиковать» материализм, не знают даже его азбуки. Чернышевский нигде не говорит в своей статье, что нет никакой разницы между так называемыми физическими явлениями, с одной стороны, и явлениями психическими, с другой. Напротив, он категорически признает существование этой разницы; но он думает, что она не дает никакого права относить психические явления насчет особого нематериального фактора. Нам уже известно его замечание, согласно которому в каждом предмете очень много разных качеств. Теперь мы изложим его подробнее. «Напр., — говорит Чернышевский, — дерево растет, горит; мы говорим, что оно имеет два качества: растительную силу и удобосгораемость. В чем сходство между этими качествами? Они совершенно различны; нет такого понятия, под которое можно было бы подвести оба эти качества, кроме общего понятия — качество; нет такого понятия, под которое можно было бы подвести оба ряда явлений, соответствующих этим качествам, кроме понятия — явление. Или, например, лед тверд и блестящ; что общего между твердостью и блеском? Логическое расстояние от одного из этих качеств до другого безмерно велико, или, лучше сказать, нет между ними никакого, близкого или далекого, логического расстояния, потому что нет между ними никакого логического отношения. Из этого мы видим, что соединение совершенно разнородных качеств в одном предмете есть общий закон вещей». То же и с тем качеством, которое мы называем способностью к ощущению и мышлению. Его расстояние от так называемых физических качеств живого организма безмерно велико. Но это не мешает ему быть качеством того же организма, который в то же время обладает протяженностью и способностью к движению. Тяжкий грех против логики совершает тот, кто полагает, что так как ощущение и мышление совсем не похожи на движение и протяжение, то они должны быть отнесены на счет другой субстанции (духа), совершенно отличной от той (материи), к которой приурочивается протяжение и движение. Такова мысль Чернышевского, и если бы г. Волынский имел «качество», необходимое для ее понимания, то он сразу увидел бы, как несостоятельна, больше того, как жалка

была та аргументация Юркевича, вся мнимая сила которой заключалась в умышленном или неумышленном искажении взглядов русского сторонника антропологического принципа. Но в том-то и дело, что «качеств», нужных для понимания Чернышевского, не было у г. Волынского, как не было и нет их у наших нынешних «жвачных» любомудров, наивно, но твердо убежденных в том, что философские взгляды Чернышевского давно уже «*устарели*».

Еще Дж. Пристлей говорил в своих «Disquisitions», что была бы очень большим злоупотреблением материалистического учения та мысль, что вибрации мозга тождественны с восприятием. «Легко составить себе, — говорил он, — представление о вибрациях, не сопровождающихся восприятием. Но мы предполагаем (it is supposed), что мозг, кроме своей *способности к вибрациям,* имеет также способность *воспринимать или чувствовать;* мы решительно не знаем, почему он не мог бы обладать такой способностью» [1]). Это и есть точка зрения всех выдающихся материалистов нового времени со включением, разумеется, Фейербаха и Чернышевского. Противникам материализма, — последовательным и непоследовательным, сознательным и бессознательным идеалистам, — следовало бы в своей критике этого учения прежде всего убедить нас в том, что они знают на этот счет больше Пристлея, и показать нам, какие именно основания мешают им признать вместе с Пристлеем, что мозг, кроме способности к вибрациям, может обладать еще способностью к восприятию. Такие основания у них, несомненно, существуют. Но они сводятся к тому спиритуалистическому предрассудку, что, сама по себе, — т.-е. не будучи оживотворена духом, — материя мертва и неспособна не только к восприятию, но даже и к движению. Ссылаться в споре с материалистами на подобные основания, значит совершать очевидную petitio principii, т.-е. опираться на то самое положение, какое именно и нужно доказать. Более или менее смутно чувствуют это сами противники материализма. Поэтому они обыкновенно очень остерегаются выдвигать на вид основания, мешающие им признать способность к восприятию одним из свойств материи, и предпочитают опровергать то, чего ни один видный материалист не говорил, по крайней мере, в новое время, т.-е. что восприятие есть то же, что движение [2]).

[1]) «Disquisitions relating to Matter and Spirit». By *Joseph Pristley*, Vol. I, The second edition, Birmingham MDCCLXXX, II, p. 121.

[2]) Мы допускаем, что у *античных* материалистов,—напр., у Демокрита и Эпикура,—могли быть известные неясности на этот счет, хотя это далеко еще не доказано: ведь надо помнить, что взгляды этих мыслителей дошли до нас в неполном виде.

Предоставляем судить читателю о подобной критике, а эта критика у нас теперь в ходу более, чем где бы и когда бы то ни было.

Итак, еще раз,—Чернышевский вовсе не отождествляет восприятия с движением, но считает способность к восприятию таким же свойством материи, как и способность ее к движению. Теперь спрашивается, какой характер имеют те условия, при наличности которых материя, имеющая *способность* воспринимать, становится *воспринимающей на самом деле*. Чернышевский отвечает, что эти условия до сих пор плохо еще изучены, но что, во всяком случае, мы теперь уже с полной уверенностью можем приписать им материальный характер. Способность к восприятию обнаруживается лишь в организмах, а мы уж знаем, что, по мнению Чернышевского, жизнь организма есть прежде всего известный химический процесс. Этим и об'ясняется, по мнению Чернышевского, то обстоятельство, что организмы обнаруживают такую способность, какой мы не замечаем в неорганизованной материи.

Это очень важный вопрос, и мы приглашаем читателя отнестись к нему с полным вниманием. Чернышевский пишет: «Во время химического процесса тела обнаруживают такие качества, каких совершенно незаметно в них при состоянии неподвижного соединения. Например, дерево само по себе не жжет; трут, кремень и огниво также не жгут; но если частичка стали, раскаленная трением (ударом) о кремень и оторванная от огнива, попадает в трут и, чрезвычайно возвысивши температуру некоторой частички этого трута, дает условие, нужное для начала в этой частичке трута химического процесса, называемого горением, то постепенно весь кусок трута, вовлекаясь в этот химический процесс, начинает жечь, чего не делал, когда в нем не было химического процесса; будучи подвинут к дереву во время этого процесса, он также вовлекает его в свой химический процесс горения, и дерево во время этого процесса также жжет, светит и обнаруживает другие качества, каких не замечалось в нем до начала процесса. Возьмем, например, процесс брожения. Пивное сусло стоит спокойно в своем чану; дрожжи также неподвижны в своей кружке. Положите дрожжи в сусло, начинается химический процесс, называемый брожением, — сусло бурлит, пенится, бьется в своем сосуде».

Эти доводы Чернышевского напоминают мнение тех французских и английских материалистов XVIII века, которые полагали, что способность к ощущению и мышлению является как результат известного

состояния организованного тела [1]). Но это мнение не имеет в себе у Чернышевского ровно ничего исключительного. Чернышевский прекрасно понимает, что нет резкой разницы между «химическим процессом», с одной стороны, и «состоянием неподвижного соединения» — с другой. Ввиду огромной важности этого предмета, мы опять видим себя вынужденными сделать длинную выписку из статьи «Антропологический принцип в философии».

«Разумеется, — признает Чернышевский, — когда мы говорим о различии состояния тел во время химического процесса и в такое время, когда не находятся они в процессе, мы говорим только о количественной разнице между сильным, быстрым ходом процесса и очень медленным, слабым ходом его. Собственно говоря, каждое тело постоянно находится в состоянии химического процесса; например, бревно, если и не будет зажжено, не сгорит в печи, а будет спокойно, как будто без всяких перемен, лежать в стене дома, все-таки когда-нибудь придет к тому же концу, к какому приводит его горение: оно постепенно истлеет, и из него останется тоже только пепел (пыль гнилушки, которая, наконец, оставит от себя на прежнем месте только минеральные частицы пепла). Но если этот процесс, как, например, при обыкновенном тлении бревна в стене дома, происходит чрезвычайно медленно и слабо, то и качества, свойственные телу, находящемуся в процессе, обнаруживаются с микроскопической слабостью, которая в житейском быту совершенно неуловима. Например, при медленном истлевании дерева, лежащего в стене дома, также развивается теплота; но то количество ее, которое при горении сосредоточилось бы в течение нескольких часов, тут разжижается (если можно так выразиться) на несколько десятков лет, так что не достигает никакого результата, удобоуловимого на практике: существование этой теплоты ничтожно для практических суждений. Это то же самое, как винный вкус в целом пруде воды, в который брошена одна капля вина: с научной точки зрения этот пруд содержит в себе смесь воды с вином; но в практике надобно принимать, что вина в нем как будто вовсе нет».

Эти замечательные строки позволяют думать, что для Чернышевского и с этой стороны не было никакой пропасти между организованной

[1]) К этой мысли склонялся, напр., Гольбах, и ее же категорически высказывал Дж. Пристлей. Этот последний говорит: «my idea now is that sensation and thought do necessarily result from the organisation of the brain, when the powers of mere life are given to the system». Loc. cit. p. 150. Ср. весь вообще 13-ый отдел Disquisitions: «Of the Connection between Sensation and Organisation».

материей, с одной стороны, и неорганизованной—с другой. Конечно, организм животного, — а в особенности животного, стоящего на самом верху зоологической лестницы, — человека, — обнаруживает в интересующем нас отношении такие свойства, которые совершенно чужды неорганизованой материи. Но ведь и процесс горения дерева сопровождается многими явлениями, несвойственными процессу его медленного тления. Однако существенной разницы между этими двумя процессами нет. Напротив, в сущности это — один и тот же процесс; но только в первом случае он совершается очень скоро, а во втором — чрезвычайно медленно. Поэтому качества, свойственные телу, находящемуся в этом процессе, в первом случае имеют большую силу, а во втором — отличаются «микроскопической слабостью, которая в житейском быту совершенно неуловима». В применении к вопросу о психических явлениях это значит, что и в неорганизованном виде материя не лишена той основной способности к «ощущению», которая приносит такие богатые «духовные» плоды у высших животных. Но в неорганизованной материи эта способность существует в крайне слабой степени. Поэтому она совершенно неуловима для исследователя, и мы можем, совершенно не рискуя впасть в сколько-нибудь заметную ошибку, приравнивать ее к нулю. Но все-таки не надо забывать, что способность эта вообще свойственна материи и что вследствие этого нет оснований смотреть на нее, как на что-нибудь чудесное там, где она проявляется с особой силой, как это мы видим, напр., у высших животных вообще, а преимущественно у человека. Высказывая, — с осторожностью, необходимой при тогдашних условиях нашей печати, — такую мысль, Чернышевский сближался с такими материалистами, как Ламеттри и Дидеро, которые, в свою очередь, стояли на точке зрения спинозизма, освобожденного от ненужных теологических привесок.

Г. Волынский думает, что Юркевич высказывал бог знает какую мудреную мысль, говоря, что превращения движения воздуха в звук и вибрации эфира в свет непременно предполагают ощущающее существо, умеющее превращать количественные движения в качества звука и света. Но Чернышевский и сам очень хорошо знал это; он только полагал, что таким ощущающим существом является известным образом организованная материя, а против этого предположения ни г. Волынский, ни превозносимый им Юркевич не выдвинули ни одного разумного довода.

Юркевич утверждал также, что количественные различия превращаются в качественные не в самом предмете, а в отношении его к

чувствующему суб'екту. Но это — очень грубая логическая ошибка. Чтобы измениться в своем отношении к чувствующему суб'екту, об'ект должен предварительно измениться в самом себе. Если лед имеет для нас не те свойства, какими обладает водяной пар, то это об'ясняется тем, что взаимные отношения водяных частиц в первом случае совершенно не таковы, как во втором. Но довольно об этом.

В-третьих, г. Волынский находит, что Юркевич был прав, упрекая Чернышевского в забвении той главной черты, которой человек отличается от других животных и которая состоит в том, что человек проявляет себя «как *личный* дух». Об этом мы совсем не считаем нужным спорить с г. Волынским, отсылая читателя к таким сочинениям, как «Происхождение человека» Дарвина или книге Романеса, посвященной исследованию умственного развития у человека и животных. Стоит только сравнить выводы Дарвина и Романеса с выводами Чернышевского, чтобы видеть, как твердо стоял наш защитник «Антропологического принципа в философии» на точке зрения естествознания.

Известно, как презрительно отнесся Чернышевский к доводам Юркевича. Он не стал, — да по цензурным условиям и не имел возможности, — разбирать эти доводы, а просто об'явил их устарелыми и нимало не убедительными.

«Я сам семинарист,— писал он в своих «Полемических красотах».— Я знаю по опыту положение людей, воспитывающихся, как воспитывался Юркевич. Я видел людей, занимающих такое положение, как он. Потому смеяться над ним мне тяжело: это значило бы смеяться над невозможностью иметь в руках порядочные книги, над совершенной беспомощностью в деле своего развития, над положением, невообразимо стесненным во всех возможных отношениях.

«Я не знаю, каких лет г. Юркевич; если он уже немолодой человек, заботиться о нем поздно. Но если он еще молод, я с удовольствием предлагаю ему тот небольшой запас книг, каким располагаю».

Г. Волынский до сих пор находит такой ответ до последней степени неудовлетворительным. Ему кажется, что Чернышевский отвечал так единственно вследствие неспособности своей обстоятельно опровергнуть Юркевича. Так же, как видно, рассуждали и некоторые журналисты начала 60-х годов. Вот, например, Дудышкин в «Отечественных Записках», перечислив по пунктам будто бы неопровержимые доводы Юркевича, писал, обращаясь к Чернышевскому:

«Кажется, ясно; дело идет уже не о ком-либо другом, а о вас, не о философии и физиологии вообще, а о вашем незнании этих наук. К

чему же тут громоотвод о семинарской философии? Зачем смешивать вещи совершенно разные и говорить, что вы все это знали уже в семинарии и даже теперь помните наизусть?»

На это Чернышевский отвечал, что незнакомство Дудышкина с семинарскими тетрадками не позволило ему понять, в чем дело. «Если бы потрудились вы просмотреть эти тетрадки, — продолжает он, — вы увидели бы, что все недостатки, которые г. Юркевич открывает во мне, открывают эти тетрадки в Аристотеле, Бэконе, Гассенди, Локке и т. д., и т. д., во всех философах, которые не были идеалисты. Следовательно, ко мне, как отдельному писателю, эти упреки вовсе не относятся, они относятся собственно к теории, которую популяризировать я считаю полезным делом. Если вы не верите, загляните в принадлежащий тому же, как г. Юркевич, направлению «Философский словарь», издаваемый г. С. Г.,—вы увидите, что там про каждого не-идеалиста говорится то же самое: и психологии-то он не знает, и естественные-то науки ему неизвестны, и внутренний-то опыт он отвергает, и перед фактами-то он падает во прах, и метафизику-то он с естественными науками смешивает, и человека-то он унижает и т. д. и т. д. Скажите же, какая мне надобность серьезно смотреть на автора ли известной статьи, на людей ли его хвалящих, когда я вижу, что лично против меня они повторяют вещи, испокон века повторяемые про каждого мыслителя школы, которой я держусь? Я должен судить так: или они не знают, или они притворяются незнающими, что эти упреки не против меня, а против целой школы; следовательно, они или люди плохо знакомые с историей философии, или только действуют по тактике, фальшивость которой сами знают. В том или другом случае такие противники недостойны серьезного спора». Это было вполне справедливо.

Не менее прав был Чернышевский, когда писал в той же статье, что теория, которую он считал справедливой, составляла самое последнее звено в ряду философских систем и что она вышла из Гегелевской теории так же, как Гегелевская вышла из Шеллинговой. Он с гордостью говорил, что считает свою философскую теорию не только самой новой, но также самой полной и самой справедливой.

Нужно быть г. Волынским или одним из его нынешних многочисленных «жвачных» последователей, чтобы считать доводы Юркевича неопровержимыми. На самом деле эти доводы даже не поколебали, — об опровержении нечего уже и говорить, — ни одного из основных положений Чернышевского—Фейербаха. Но надо признать, что некоторые выводы, сделанные Чернышевским из основных положений своей материа-

листической философии, были недостаточно разработаны, а потому односторонни и, — в силу своей односторонности, — не вполне правильны. Таковы были выводы, относившиеся к учению о нравственности.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Учение о нравственности

«При внимательном исследовании побуждений, руководящих людьми, оказывается, что все дела, хорошие и дурные, благородные и низкие, геройские и малодушные, происходят во всех людях из одного источника: человек поступает так, как приятнее ему поступать, руководится расчетом, велящим отказываться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения большей выгоды, большего удовольствия». В подтверждение этой своей мысли Чернышевский приводит несколько примеров. Когда жена оплакивает смерть любимого мужа, то мысль о себе составляет основу ее печали: «Что я буду без тебя делать, без тебя мне тошно жить на свете» и т. д. То же мы видим и в скорби матери, потерявшей ребенка: «Погибла в тебе моя надежда, отнята у меня всякая радость» и т. д. Тут очень ясна, по словам Чернышевского, эгоистическая основа чувства. Несколько затруднительнее случаи так называемого самопожертвования. Жители Сагунта перерезались, чтобы не сдаться Аннибалу. Это был геройский поступок; но этот геройский поступок не противоречит эгоистическому расчету: «Они все равно были бы истреблены, если не своими, то карфагенскими руками, но карфагеняне стали бы долго мучить их варварскими пытками, и здравый расчет их справедливо предпочел легкую и быструю смерть медленной и тяжелой». Или возьмем Лукрецию, которая закололась, подвергшись насилию со стороны Секста Тарквиния. Чернышевский находит, что и она поступила очень расчетливо: «Муж мог бы наговорить ей много успокоительных и ласковых слов, но ведь все подобные слова — чистый вздор, свидетельствующий о благородстве говорящего их, но нисколько не изменяющий непременных последствий дела. Коллатин мог сказать жене: «Я считаю тебя чистой и люблю тебя по прежнему»; но при тогдашних понятиях, слишком мало изменившихся до сих пор, он не в силах был оправдать своих слов делом: волею или неволею, но он уже потерял очень значительную часть прежнего уважения, прежней любви к жене; он мог прикрывать эту потерю преднамеренным увеличением

нежности в обращении с нею; но такого рода нежность обиднее холодности, горьче побоев и ругательств. Лукреция справедливо нашла, что лишиться жизни составляет гораздо меньшую неприятность, чем жить в положении унизительном, по сравнению с тем, к какому она привыкла. Чистоплотный человек охотнее будет терпеть голод, чем прикоснется к пище, осквернённой какой-нибудь гадостью; для человека, привыкшего уважать себя, смерть гораздо легче унижения» [1]).

Приведя эти доводы, Чернышевский оговаривается. Он вовсе не стремится к уменьшению той великой похвалы, какой заслуживают жители Сагунта и Лукреция. Он только доказывает, что их геройские поступки были также и умными поступками. А доказывать это — вовсе еще не значит, по его мнению, отнимать цену у геройства и благородства. Это совершенно верно, и когда люди, подобные Юркевичу, упрекали его в том, что он не умеет ценить эти чувства, они обнаруживали только свою собственную неспособность понять взгляды нашего автора. Учение Чернышевского о нравственности совсем не отнимало цены у геройства и благородства; наоборот, оно хотело поднять эту цену указанием на то, что путь, избираемый героем, есть именно тот путь, который предписывается правильным расчетом. Но это не устраняет из соображений Чернышевского свойственной им логической ошибки. В самом деле, примерами жителей Сагунта и Лукреции Чернышевский хочет убедить нас в том, что благородные поступки совсем не безрассудны. Мы нимало не сомневаемся в этом. Но мы утверждаем, что иное дело поступок, основанный на расчете, а иное дело тот поступок, последствия которого так же благоприятны для лица его совершившего, как и последствия такого поступка, который был бы основан исключительно на расчете. Мы допускаем, что для Лукреции в самом деле было выгоднее лишить себя жизни, но мы очень сомневаемся в том, что она могла перед своим самоубийством предаваться сколько-нибудь основательным расчетам выгоды. Для таких расчетов необходимо хладнокровие, а хладнокровной Лукреция быть не могла. Не вернее ли предположить, что в ее поступке расчет, т.-е. *рассудок,* играл гораздо меньшую роль, нежели чувство, сложившееся под влиянием современных ей отношений, привычек и взглядов? Человеческие чувства и привычки так приспособляются обыкновенно к существующим общественным, — а также, конечно, и семейным, — отношениям, что совершаемые под их влиянием поступки могут показаться подчас плодом самых основательных расчетов, между тем

[1]) Сочинения, VI, стр. 230—231.

как в действительности они вовсе не были вызваны расчетливостью. Это до такой степени верно, что Чернышевский сам подтверждает это своими соображениями: он говорит, как мы видели, что для человека, привыкшего уважать себя, смерть гораздо легче унижения. И это опять верно. Но ведь нельзя же отождествлять привычку с расчетом, и нельзя сказать, что человек, поступающий в силу известной похвальной привычки, «руководится расчетом, велящим отказываться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения большей выгоды или большего удовольствия». Вообще во взгляде Чернышевского на разумный эгоизм очень заметно свойственное всем «просветительным периодам» (Aufklärungsperioden) стремление искать в рассудке опоры для нравственности, а в более или менее основательной расчетливости отдельного лица об'яснение его характера и его поступков. Иногда относящиеся сюда рассуждения Чернышевского, как две капли воды, похожи на рассуждения Гельвеция и его единомышленников. Почти так же сильно напоминают они собою рассуждения типичного представителя эпохи просвещения в древней Греции, Сократа, который, выступая защитником дружбы, доказывал, что друзей иметь *выгодно,* так как они могут пригодиться в несчастии. Подобные крайности рассудочности об'ясняются тем, что просветители обыкновенно не умели стать на *точку зрения развития* [1]).

Мы знаем, что, согласно теории Чернышевского, человек по своей природе ни добр, ни зол, а делается добрым или злым, смотря по обстоятельствам [2]). Если б мы признали, что человек в своих поступках всегда руководится расчетом, то мы должны были бы иначе формулировать взгляд Чернышевского на человеческую природу: мы должны были бы сказать, что человек по своей природе ни добр и ни зол, а только расчетлив, при чем это его свойство достигает большей или меньшей

---

[1]) Подробнее об этом см. в нашей книге: «Beiträge zur Geschichte des Materialismus—Holbach, Helvetius und Karl Marx». Stuttgart 1896.

[2]) Не мешает, впрочем, заметить, что прежде наш автор высказывал другой взгляд на человеческую природу. Согласно этому взгляду, человек есть «существо по натуре своей наклонное уважать и любить правду и добро и гнушаться всем дурным, существо, могущее нарушать законы добра и правды только по незнанию, заблуждению или по влиянию обстоятельств сильнейших, нежели его характер и разум, но никогда не могущее добровольно и свободно предпочесть зло добру» (см. статью о «Губернских очерках» Щедрина,—«Современник», 1857 г., № 6; перепечатана в «Полном собрании сочинений», т. III. Цитированные строки находятся на стр. 221—222 этого тома). Это ближе к Сократу, нежели к нынешнему учению о развитии.

силы в зависимости от обстоятельств. Но подобная формулировка вряд ли понравилась бы нашему автору.

Что такое добро, что такое зло, по его теории? На этот вопрос отвечает та же, — как видит читатель, весьма содержательная, — статья «Антропологический принцип в философии». «Отдельный человек,— говорит там Чернышевский,— называет добрыми поступками те дела других людей, которые полезны для него; в мнении общества добром признается то, что полезно для всего общества или для большинства его членов; наконец, люди вообще без различия наций и сословий называют добром то, что полезно для человека вообще». Нередко случается, что интересы разных наций и сословий противоречат друг другу или общечеловеческим интересам; также нередко случается, что интересы одного сословия противоположны интересам целой нации. Как же решить здесь, где добро и где зло? Теоретически решить этот вопрос очень нетрудно: «общечеловеческий интерес стоит выше выгод отдельной нации, общий интерес целой нации стоит выше выгод отдельного сословия, интерес многочисленного сословия выше выгод малочисленного». А как бывает на практике? На практике люди называют полезный для них поступок добрым, а вредный дурным, редко справляясь о том, как относится он к более широким интересам целого. Но Чернышевский убежден, что люди, сословия или нации, предпочитающие свои частные интересы интересам общим, в конце концов сами же и страдают от этой «теоретической лжи». Он говорит: «Те случаи, в которых отдельная нация попирает для своей выгоды общечеловеческие интересы, или отдельное сословие—интересы целой нации, всегда оказываются в результате вредными не только для стороны, интересы которой были нарушены, но и для той стороны, которая думала доставить себе выгоды их нарушением: всегда оказывается, что нация губит сама себя, порабощая человечество, что отдельное сословие приводит себя к дурному концу, принося в жертву себе целый народ». Мы не станем разбирать здесь те исторические и экономические примеры, с помощью которых он хочет подтвердить это свое положение: мы коснемся этого предмета ниже, когда речь пойдет у нас об исторических взглядах Чернышевского. Теперь же мы ограничимся тем замечанием, что как бы ни было верно или ошибочно это его положение, несомненно, что сказанное им об отношении интересов части к интересам целого дает нам возможность поставить вопрос об эгоизме более правильно, нежели это сделано в его статье. В самом деле, предположим, что мы имеем дело с обществом, не разделенным на сословия или классы. В таком обществе добрыми будут считаться те поступки

отдельных лиц, которые совпадают с интересами целого, а дурными те, которые противоречат этим интересам. Стало быть, в основе суждений о добре и зле будет лежать то, что можно назвать эгоизмом целого, *общественным эгоизмом*. Но эгоизм целого отнюдь не исключает альтруизма отдельного лица, *индивидуального альтруизма*. Напротив, он является его источником: общество стремится воспитать отдельных своих членов так, чтобы они ставили общественный интерес выше своего частного; чем более поступки данной личности будут *удовлетворять* этому требованию общества, тем самоотверженнее, нравственнее, альтруистичнее будет эта личность. А чем более ее поступки будут *нарушать* это требование, тем более своекорыстной, безнравственной, эгоистичной она окажется. Это и есть тот критерий, который всегда, — с большей или меньшей сознательностью, — применялся и применяется людьми при суждении о том, альтруистичен или эгоистичен данный поступок данного лица: вся возможная здесь разница сводится к тому, что́ именно представляет собою то целое, интересы которого ставятся в данном случае выше интересов отдельных лиц.

Но когда общество применяет свой, основанный на интересах целого, критерий к оценке поступков отдельных лиц, оно хочет, чтобы выгодное для него действие было продиктовано внутренним влечением лица, его совершившего, а не соображениями этого лица о своей собственной пользе. Пока лицо, служащее интересам целого, руководствуется своей личной пользой, оно обнаруживает бо́льшую или меньшую сметливость, бо́льшую или меньшую предусмотрительность, но не бо́льший или меньший альтруизм. Воспитание человека в духе нравственности состоит именно в том, что поступки, полезные обществу, становятся для него инстинктивной потребностью («категорический императив» Канта). И чем сильнее эта потребность, тем нравственнее отдельное лицо. Героями называются такие люди, которые не могут не повиноваться этой своей потребности даже тогда, когда ее удовлетворение решительно идет вразрез с их самыми существенными интересами, грозя им, например, смертью. Это обыкновенно упускалось из виду «просветителями» и в их числе Чернышевским. Можно, впрочем, прибавить, что не менее «просветителей» ошибался и Кант, утверждавший, что нравственные побуждения не имеют никакого отношения к пользе. Он тоже не умел стать в этом случае на точку зрения развития и вывести *индивидуальный альтруизм* из *общественного эгоизма*.

Замечательно, что Чернышевский, утверждавший, что человек всегда руководствуется соображениями выгоды, в последнем счете думал со-

вершенно то же, что говорим мы, но плохо формулировал свою мысль вследствие указанной неправильности своих логических посылок. Вот посмотрите, как характеризуют себя Лопухов и Кирсанов в романе «Что делать?». Вера Павловна, познакомившись с Кирсановым, спрашивает его, очень ли он любит Лопухова. По этому поводу между ними завязывается следующий разговор:

— Я? Я никого, кроме себя, не люблю, Вера Павловна.

— И его не любите?

— Жили — не ссорились, и того довольно.

— И он вас не любил?

— Не замечал что-то. Впрочем, спросим у него: Ты любил что ли меня, Дмитрий?

— Особенной ненависти к тебе не имел [1]).

Кирсанов «никого, кроме себя» не любит, а Лопухов ограничивается тем, что не чувствует к своему лучшему другу «особенной ненависти». Как видите, они эгоисты до конца ногтей. И такими же «эгоистами» они остаются... во всех своих разговорах и заявлениях. Лопухов, решившийся отказаться от предстоящей ему ученой карьеры для того, чтобы женитьбой на Вере Павловне избавить ее от родительской власти, убеждает самого себя в том, что он никакой жертвы не приносит: «И не думал жертвовать. Не был до сих пор так глуп, чтобы приносить жертвы, — надеюсь, и никогда не буду. Как для меня лучше, так и сделал. Не такой человек, чтобы приносить жертвы. Да их и не бывает, никто не приносит; это фальшивое понятие; жертва — сапоги в смятку. Как приятнее, так и поступаешь. Так вот поди ты, растолкуй это. В теории-то оно понятно; а как видит пред собою факт, человек-то и умиляется: вы, говорит, мой благодетель» [2]).

Как приятнее, так и поступаешь. Кто следует этому правилу? Все люди. Но каждый человек есть «я», и у каждого человека каждое соображение о том или другом своем поступке не отделимо от сознания этим человеком своего «я». Это неоспоримое обстоятельство истолковывается Чернышевским, — как всегда истолковывалось оно «просветителями» разных стран, — в пользу своей теории разумного эгоизма. Убедив себя в том, что ему даже выгодно будет отказаться от ученой карьеры и жениться на Вере Павловне, Лопухов заканчивает свои размышления на этот счет следующим торжествующим замечанием: «Ведь как верно, что *я* всегда на первом плане—и начал с себя, и кончил собою. И с чего

[1]) Сочинения, т. IX, отд. 2, стр. 92.

[2]) Там же, стр. 85.

начал: «жертва» — какое плутовство; будто я от ученой известности отказываюсь, и от кафедры — такой вздор! Не все ли равно, буду так же работать, и так же получу кафедру, и так же послужу медицине. Приятно человеку, как теоретику, замечать, как играет эгоизм с его мыслями на практике» [1]).

Здесь весьма выпукло обнаруживается логическая ошибка Чернышевского. Из того, что сознание своего «я» никогда не покидает человека в его соображениях о своих действиях, вовсе еще не следует, что все его действия эгоистичны. Если данное «я» видит свое счастье в счастье других; если оно имеет «пристрастие» к этому счастью, то такое «я» называется альтруистичным, а не эгоистичным. И стремиться затушевать глубокое различие между эгоизмом и альтруизмом только на том основании, что альтруистические действия также сопровождаются у людей сознанием ими своего «я», значит желать внести логическую неясность туда, где безусловно необходима полная ясность. А до какой степени она необходима, показывает собственный пример Чернышевского. Приравняв альтруизм к эгоизму, он видит себя вынужденным искать другого критерия для различения тех поступков, которые обыкновенно называются *эгоистичными*, от тех, которым присвоено название *альтруистичных*. И что же он находит?

В своих «*Заметках о журналах*» (январь 1857 года) он говорит, определяя разницу между Печориным и Рудиным: «Один эгоист, не думающий ни о чем, кроме своих личных наслаждений; другой — энтузиаст, совершенно забывающий о себе и весь поглощаемый общими интересами; один живет для своих страстей, а другой для своих идей. Это — люди, составляющие совершенный контраст один другому» [2]). Совершенно справедливо! Но именно ввиду возможности подобных контрастов и ошибочно было говорить, что все люди — эгоисты и что они отличаются между собою лишь большею или меньшею расчетливостью.

---

[1]) Там же, стр. 86. Подобным же образом Вера Павловна, об'ясняя швеям свое намерение устроить кооперативную мастерскую, говорит: «Это потому, что у меня нет большого пристрастия к деньгам; ведь, вы знаете, что у разных людей разные пристрастия, не у всех же только к деньгам: у иных пристрастие к балам, у других—к нарядам или картам, и все такие люди готовы даже разориться для своего пристрастия,—и многие разоряются, и никто этому не дивится, что их пристрастие им дороже денег. А у меня пристрастие вот к тому, чем заняться я с вами пробую». (Там же, стр. 117). У нее то же дело изображается так, что она всегда будто бы ставит свое «я» на первом плане.

[2]) Сочинения, т. III, стр. 66.

Не по расчету Рудин жил для своих идей, и точно так же не по расчету Печорин жил для своих страстей.

Другой пример. Выйдя замуж за Лопухова, Вера Павловна целых шесть месяцев не видала своих родителей; потом она навестила их, и вот как описывает наш автор впечатление, вынесенное ею из этого визита: «Полгода Вера Павловна дышала чистым воздухом, грудь ее уже совершенно отвыкла от тяжелой атмосферы хитрых слов, из которых каждое произносится по корыстному расчету, от слушания мошеннических мыслей, низких планов, и страшное впечатление произвел на нее ее подвал. Грязь, пошлость, цинизм всякого рода — все это бросалось теперь ей с резкостью новизны.

«Как у меня доставало силы жить в таких гадких стеснениях? Как я могла дышать в этом подвале? И не только жила, даже осталась здорова. Это удивительно, непостижимо. *Как я могла тут вырасти с любовью к добру? Непонятно, невероятно»*, — думала Вера Павловна, возвращаясь домой, и чувствовала себя отдыхающей после удушья» [1]).

Прежде Вера Павловна жила в «атмосфере хитрых слов, из которых каждое произносится по корыстному расчету». Теперь ей тяжело дышится в этой атмосфере. Почему же тяжело, если люди вообще ничем не руководствуются, кроме расчета? Ей тяжело потому, что расчет, которым руководятся люди, подобные ее родителям, есть нехороший, «*корыстный*» расчет, совершенно чуждый «*любви к добру*». Оказывается, стало быть, что, сведя все к расчету, Чернышевский принужден различать корыстный расчет, «чуждый любви к добру», от бескорыстного, пропитанного этой любовью [2]). Иначе сказать: он возвращается к старому различению эгоизма от альтруизма. С ним случилось то же, что гораздо раньше произошло с Гольбахом и другими просветителями XVIII века, тоже сводившими все к расчету и тоже оказавшимися в логической необходимости противопоставить корыстному расчету бескорыстный.

В цитированной уже выше статье Чернышевского о «Губернских очерках» мы находим следующую, как нельзя более верную мысль: «привычки и правила, руководящие обществом, возникают и сохраняются

[1]) Там же, стр. 108.

[2]) В другом месте того же романа он обнаруживает большое недовольство людьми, «привыкшими понимать слово «интерес» в слишком узком смысле обыденного расчета» (Соч., IX, 169). Теперь оказывается, стало быть, что, кроме обыденного расчета, есть какой-то необыденный. Чем же отличается он от обыденного? Тем, что люди, руководствующиеся им, принимают, между прочим, в соображение интересы своей «совести». (Там же, та же страница.)

вследствие каких-нибудь фактов, независимых от воли человека, им следующего: на них надобно смотреть непременно с исторической точки зрения» [1]). Но если привычки и правила, руководящие *обществом,* возникают независимо от воли его членов и если на них непременно надо смотреть с исторической, а не с рационалистической точки зрения, то совершенно так же надо смотреть и на привычки и правила, обусловливающие собою поступки отдельных лиц; они, в свою очередь, складываются независимо от воли, а следовательно, и от *расчета* человека, и человек нередко повинуется им, несмотря на то, что этим нарушаются его личные интересы.

Но в сущности Чернышевский именно это и хочет сказать, заставляя своих героев уверять нас в том, что они никогда никого не любили, кроме себя. Этому уверению его героев как будто противоречит то, что воображаемая невеста Лопухова, — о которой он говорит с Верой Павловной, танцуя с ней в день ее рождения, — называет себя «любовью к людям» [2]). Но в действительности тут нет никакого противоречия: Чернышевский просто хочет сказать, что любовь к людям совершенно пропитала собою все нравственное существо его героев, вследствие чего поступки, подсказываемые этою любовью, составляют настоятельную потребность их «я». Стремление к бескорыстным действиям до такой степени свойственно Лопухову и Кирсанову, что, уступая этому стремлению, они не переживают никакой внутренней борьбы, а просто следуют своему хорошему инстинкту, вследствие чего и воображают себя людьми, думающими только о самих себе [3]).

Их логическая ошибка причиняется именно тем, что они в своих поступках руководствуются не логикой, а чувством. И у *них* такая ошибка, можно сказать, неизбежна. Но, берясь за оценку их характера, мы вовсе не обязаны повторять их логическую ошибку. Мы должны понимать, что на самом деле эти люди вовсе не эгоисты, и что тот, кто верит им и считает их эгоистами, смешивает такие понятия, без различия которых невозможно правильное учение о нравственности.

---

[1]) Сочинения, т. III, стр. 214.

[2]) Там же, стр. 70. «Первый сон Верочки».

[3]) Обдумывая свое отношение к Вере Павловне, Кирсанов так рассуждает сам с собою: «Если я раз поступлю против всей своей человеческой натуры, я навсегда утрачу возможность спокойствия, возможность довольства собою, отравлю всю свою жизнь». (Там же, стр. 151). Кирсанов забывает только прибавить, что, обладая такой «натурой», нет надобности прибегать к расчету выгоды; такая «натура» не нуждается в расчете для того, чтобы решиться на хороший поступок.

Тот процесс, благодаря которому индивидуальный альтруизм вырастает на почве общественного эгоизма, есть *диалектический процесс*, обыкновенно ускользающий от внимания «просветителей». Как люди, преследующие прежде всего практические цели, «просветители» вообще мало интересуются диалектикой явлений и понятий. Мы сейчас увидим это на примере нашего автора. Теперь же, расставаясь с его учением о нравственности, мы скажем, что, какова бы ни была логическая ошибка, свойственная этому учению, оно все-таки, как небо от земли, далеко от проповеди практического эгоизма. Этого не поняли люди, подобные Юркевичу, в то время, когда появилась статья «Антропологический принцип в философии». Этого не понимают теперь люди, подобные предтече наших «жвачных» любомудров, — г. Волынскому. И, обнаруживая это свое непонимание, люди этого разряда сами выдают себе свидетельство об умственной бедности. Чернышевский имел полное право презирать их. И он широко пользовался этим правом. Насмешкам над этими людьми отведены целые страницы в его романе «Что делать?», и эти страницы можно без всякого преувеличения назвать блестящими. Нам хочется отчасти воспроизвести одну из них.

Характеризуя отношения Лопухова к Вере Павловне в период, предшествовавший его браку с ней, Чернышевский притворяется возмущенным его бессердечностью и говорит, что не только нельзя оправдать его, но нехорошо даже пытаться его оправдывать. Иные могли бы сказать в его извинение, что он был медик и занимался естественными науками, которые располагают, как известно, к материализму. На это Чернышевский иронически возражает, что к материализму ведут все науки, но что, к счастью, далеко не все ученые—материалисты. «Стало быть, — заключает он, — Лопухов не избавляется от своей вины. Сострадательные люди, не оправдывающие его, могли бы также сказать ему в извинение, что он не совершенно лишен некоторых похвальных признаков: сознательно и твердо решился отказаться от всяких житейских выгод и почетов для работы на пользу другим, находя, что наслаждение такою работою — лучшая выгода для него; на девушку, которая была так хороша, что он влюбился в нее, он смотрел таким чистым взглядом, каким не всякий брат глядит на сестру; но против этого извинения его материализму надобно сказать, что ведь вообще нет ни одного человека, который был бы совершенно без всяких признаков чего-нибудь хорошего, и что материалисты, каковы бы там они ни были, все-таки материалисты, а этим самым уж решено и доказано, что они люди низкие и безнравственные, которых извинять нельзя, потому что изви-

нять их значило бы потворствовать материализму. Итак, не оправдывая Лопухова, — извинить его нельзя. А оправдать его тоже не годится, потому что любители прекрасных идей и защитники возвышенных стремлений, об'явившие материалистов людьми низкими и безнравственными, в последнее время так отлично зарекомендовали себя со стороны ума, да и со стороны характера, в глазах всех порядочных людей, материалистов ли, или нематериалистов, что защищать кого-нибудь от их порицаний стало делом излишним, а обращать внимание на их слова стало делом неприличным» [1]).

ГЛАВА ПЯТАЯ

Чернышевский и диалектика

В своей работе о Лессинге Чернышевский говорит:

«Если был когда-нибудь человек, по устройству головы предназначенный для философии, то это был Лессинг. А между тем он почти ни одного слова не написал собственно о философии, ни одной страницы не посвятил ей в своих сочинениях и в письмах своих говорит о ней почти только с Мендельсоном, ограничиваясь тем, что нужно было для Мендельсона. Неужели, в самом деле, лично он сам, наперекор своей натуре, так мало интересовался философией? Напротив: он выдал нам, чем была занята лично его мысль, когда чертил на даче Глейма классическое «hen kai pân» (единое и все),—а между тем он толковал с Глеймом о его «Песнях Гренадера» и его поэме «Халладат». Дело в том, что не время еще было чистой философии стать средоточием немецкой умственной жизни, — и Лессинг молчал о философии: умы современников были готовы оживиться поэзиею, а не были еще готовы к философии,— и Лессинг писал драмы и толковал о поэзии» [2]).

Эти слова почти целиком могут быть применены к самому Чернышевскому. Правда, по своей способности проникать в самую глубину философских вопросов он уступал гениальному Белинскому [3]). Но все-таки «по устройству головы» он имел много данных для чрезвычайно плодотворного занятия философией, и уж, конечно, он сделал бы в этом

---

[1]) Сочинения, т. IX, стр. 63.

[2]) Сочинения, т. III, стр. 755.

[3]) Чернышевский и сам писал, что Белинского «невозможно не признать гениальным» (Сочинения, т. II, стр. 122).

отношении несравненно больше, нежели удалось сделать, например, П. Лаврову. И он, как видно, любил философию: недаром он говорил, что в ком есть философский дух, кто раз заинтересовался философией, тому уже трудно оторваться от ее великих вопросов для мелочных сравнительно с ними вопросов частных наук. Но при составлении программы своих занятий этот «эгоист», так часто говоривший о «расчете», руководился, подобно Лессингу, не своими личными вкусами, а потребностями общественного развития. Современное ему общество очень мало интересовалось философией и сравнительно много интересовалось литературой. Вот почему первые свои труды он посвятил главным образом литературным вопросам, пользуясь своими философскими выводами для освещения вопросов именно этого рода. Так возникли его «Эстетические отношения искусства к действительности». Потом на сцену выступили экономические и отчасти, — особенно в том, что касалось иностранных дел, — политические вопросы. И Чернышевский перешел к этим вопросам, взявшим у него даже значительно больше времени, нежели вопросы литературные. Таким образом он не имел фактической возможности посвящать много времени философии. Памятником его тогдашнего интереса к ней остается лишь статья «Антропологический принцип». Но и в других статьях его встречаются страницы, показывающие, что интерес к философии никогда не умирал в нем и что он хорошо знал этот предмет. В этом отношении с ним не могут выдержать даже отдаленного сравнения наши «передовые» писатели последующего времени, например, Н. Михайловский и его «суб'ективные» единомышленники [1]).

Н. Михайловский и его «суб'ективные» единомышленники умели только презрительно пожимать плечами по поводу «метафизики» Гегеля, о которой они, кстати сказать, не имели ровно никакого понятия. А Чернышевский знал Гегеля и очень высоко ценил его философию. Вот как он сам характеризует свое и своего учителя Фейербаха отношение к Гегелю:

---

[1]) Интерес к философии, столь сильный у нас в 30-х и 40-х годах, был совершенно ничтожен в течение четырех последующих десятилетий. Как относился к этому упадку сам Чернышевский, показывают следующие его строки: «Философские стремления теперь почти забыты нашею литературою и критикою. Мы не хотим решать, насколько литература и критика выиграли от этой забывчивости,— кажется, не выиграли ровно ничего, потеряв очень много» (Сочинения, т. II, 183). Теперь у нас опять ожил интерес к философским вопросам. Но наша предыдущая и продолжительная беззаботность насчет философии привела к тому, что каждая философская ветошь встречается у нас, как важная философская новость.

«Часто мы видим, что продолжатели ученого труда восстают против своих предшественников, труды которых служили исходною точкою для их собственных трудов. Так Аристотель враждебно смотрел на Платона, так Сократ безгранично унижал софистов, продолжателем которых был. В новое время этому также найдется много примеров. Но бывают иногда отрадные случаи, что основатели новой системы понимают ясно связь своих мнений с мыслями, которые находятся у их предшественников, и скромно называют себя их учениками; что, обнаруживая недостаточность понятий своих предшественников, они с тем вместе ясно выказывают, как много содействовали эти понятия развитию их собственной мысли. Таково было, например, отношение Спинозы к Декарту. К чести основателей современной науки должно сказать, что они с уважением и почти сыновнею любовью смотрят на своих предшественников, вполне признают величие их гения и благородный характер их учения, в котором показывают зародыши собственных воззрений. Г. Чернышевский понимает это и следует примеру людей, мысли которых применяет к эстетическим вопросам» [1]).

После всего сказанного нами выше едва ли нужно повторять, что под основателями современной науки наш автор понимает именно Фейербаха, примеру которого он и следует не только в смысле глубочайшего уважения к Гегелю, но также и в смысле критического отношения к его системе.

То, что он говорит о Гегеле в своих «Очерках Гоголевского периода русской литературы», не всегда правильно, но всегда умно и интересно. Мы находим там, например, вот эти строки, очень напоминающие отзыв Энгельса о двойственном характере философии Гегеля: «Принципы Гегеля были чрезвычайно мощны и широки, выводы — узки и ничтожны: несмотря на всю колоссальность его гения, у великого мыслителя достало силы только на то, чтобы высказать общие идеи, но не достало уже силы неуклонно держаться этих оснований и логически развить из них все необходимые следствия. И не только выводов из своих принципов не мог он сделать, — самые принципы представлялись ему еще не во всей своей ясности, были для него туманны. Следующее поколение мыслителей сделало еще шаг вперед, и принципы, неопределенно, односторонне и отвлеченно высказанные Гегелем, явились во всей своей полноте и

[1]) Мы берем эту выписку из критической статьи, посвященной Чернышевским в 5-м номере «Современника» за 1855 год своей собственной диссертации «Об эстетических отношениях» (Сочинения, т. X, ч. 2, 175).

ясности: тогда колебаниям не осталось места, двойственность исчезла, фальшивые выводы, внесенные в науку непоследовательностью Гегеля в развитии основных положений, были отстранены, и содержание приведено в гармонию с основными истинами» [1]).

Тут можно только рукоплескать обнаруживаемой нашим автором ясности взглядов. Но когда он начинает характеризовать диалектический метод Гегеля, то мы, к сожалению, остаемся неудовлетворенными. Вот что говорит он об этом методе:

«Сущность его состоит в том, что мыслитель не должен успокаиваться ни на каком положительном выводе, а должен искать, нет ли в предмете, о котором он мыслит, качеств и сил, противоположных тому, что представляется этим предметом на первый взгляд: таким образом мыслитель был принужден обозревать предмет со всех сторон, и истина являлась ему не иначе, как следствием борьбы всевозможных противоположных мнений. Этим способом, вместо прежних односторонних понятий о предмете, мало-по-малу являлось полное, всестороннее исследование, и составлялось живое понятие о всех действительных качествах предмета. Об'яснить действительность стало существенною обязанностью философского мышления. Отсюда явилось чрезвычайное внимание к действительности, над которою прежде не задумывались, без всякой церемонии искажая ее в угодность собственным односторонним предубеждениям. Таким образом добросовестное, неутомимое изыскание истины стало на место прежних произвольных толкований. Но в действительности все зависит от обстоятельств, от условий места и времени,—и потому Гегель признал, что прежние общие фразы, которыми судили о добре и зле, не рассматривая обстоятельств и причин, по которым возникало данное явление, — что эти общие, отвлеченные изречения неудовлетворительны: каждый предмет, каждое явление имеет свое собственное значение, и судить о нем должно по соображению той обстановки, среди которой оно существует; это правило выражалось формулою: отвлеченной истины нет; истина конкретна, т.-е. определительное суждение можно произносить только об определенном факте, рассмотрев все обстоятельства, от которых он зависит» [2]).

---

[1]) Сочинения, т. II, стр. 184—185.—Ср. первую главу переведенной нами на русский язык и изданной г. Львовичем брошюры Энгельса «Людвиг Фейербах».

[2]) Сочинения, т. II, стр. 187.—В примечании цитируемой страницы Чернышевский поясняет свою мысль следующим примером: «Например: «благо или зло дождь?». Это—вопрос отвлеченный; определительно отвечать на него нельзя: иногда дождь приносит пользу, иногда, хотя реже, приносит вред; надобно спраши-

Тут очень много справедливого. Диалектический метод в самом деле совершенно непримирим с «общими отвлеченными изречениями», опираясь на которые люди судили, — да, к сожалению, до сих пор слишком часто судят,—об явлениях, не рассматривая обстоятельств и причин, по которым они возникают. И Чернышевский, разумеется, совершенно прав, видя в этом огромное преимущество диалектического метода. Но именно потому, что он прав в этом случае, надо признать, что он был неправ, видя *главную* отличительную черту диалектического метода во внимательном отношении к действительности, принуждающем мыслителя обозревать предмет со всех сторон. Внимательное отношение к действительности составляет, конечно, необходимое условие правильного мышления. Но диалектический метод характеризуется прежде всего и главным образом тем, что он в самом явлении, а не в тех или других симпатиях и антипатиях исследователя, ищет сил, обусловливающих собой развитие этого явления. К этому сводятся все главные преимущества диалектического метода, а между ними и то, что он не оставляет места «для общих, отвлеченных изречений, опирающихся на суб'ективное пристрастие исследователя». Диалектический метод материалистичен по своей природе, и под его влиянием даже исследователи, стоящие на идеалистической точке зрения, в своих рассуждениях являются подчас несомненными материалистами. Лучшим примером этого может служить сам Гегель, который, в своей философии истории, нередко покидает почву идеализма и становится, как выразились бы теперь люди, злоупотребляющие терминологией Маркса, экономическим материали-

---

вать определительно: «после того, как посев хлеба окончен, в продолжение пяти часов шел сильный дождь, — полезен ли был он для хлеба?»—только тут ответ ясен и имеет смысл: «этот дождь был очень полезен». — «Но в то же лето, когда настала пора уборки хлеба, целую неделю шел проливной дождь, — хорошо ли было это для хлеба?» Ответ также ясен и также справедлив: «нет, этот дождь был вреден». Точно так же решаются в Гегелевой философии все вопросы. «Пагубна или благотворна война?»—«Вообще, нельзя отвечать на это решительным образом надобно знать, о какой войне идет дело, все зависит от обстоятельств времени и места. Для диких народов вред войны менее чувствителен, польза ощутительнее, для образованных народов война приносит обыкновенно менее пользы и более вреда. Но, например, война 1812 года была спасительна для русского народа; Марафонская битва была благодетельнейшим событием в истории человечества. Таков смысл аксиомы: «отвлеченной истины нет, истина конкретна»; — конкретно понятие о предмете тогда, когда он представляется со всеми качествами и особенностями и в той обстановке, среди которой существует, а не в отвлечении от этой обстановки и живых своих особенностей как представляет его отвлеченное мышление, суждения которого поэтому не имеют смысла для действительной жизни)»

стом [1]). Но для того, чтобы понять во всей ее полноте материалистическую природу диалектического метода, нужно выяснить себе, что его сила заключается в сознании того, что ход идей определяется ходом вещей и что поэтому суб'ективная логика мыслителя должна следовать за об'ективной логикой исследуемого явления. Белинский чувствовал это, когда писал свою статью о Бородинской годовщине и когда, — не умея «развить идею отрицания», т.-е. не умея найти для этой идеи теоретическое оправдание в об'ективном ходе общественного развития, — резко осудил оторванные от действительности суб'ективные стремления. Но именно потому, что Белинский не сумел «развить идею отрицания», он сам в своей критике общественных отношений руководствовался больше своими суб'ективными, — разумеется, *вполне законными* и достойными всякого уважения, но все-таки лишь суб'ективными, — пристрастиями. При этом у него не могла не исчезать из виду указанная нами главная особенность диалектического метода: сознание зависимости хода идей от хода вещей. Исчезала она из виду,—и, как мы поясним ниже, по той же причине, — и у Чернышевского, который в своей характеристике этого метода сводит его к канону, — как выразился бы Кант, — заставляющему мыслителя обозревать предмет со всех сторон. Но сознание необходимости обозревать предмет со всех сторон еще далеко не равносильно сознанию того, что ход такого обозрения должен всецело определяться логикой развития самого предмета. А тот исследователь, который не вполне сознал эту вторую истину, легко может остаться идеалистом даже при самом внимательном отношении к предмету и при всестороннем его изучении. И мы увидим ниже, что Чернышевский, бывший в философии решительным материалистом, оставался идеалистом в своих исторических и общественных взглядах. В философии главное его внимание привлек к себе вопрос об отношении суб'екта к об'екту. И этот вопрос он решил в материалистическом смысле. Но его сравнительно мало интересовал вопрос о том методе, которого должен держаться исследователь, проникшийся материалистическим взглядом на отношение суб'екта к об'екту. Поэтому он, сознавая важное значение диалектического метода, все-таки далек был от понимания его главного преимущества и потому не сумел подвергнуть его той переработке, какую он получил у Маркса и Энгельса. Чернышевский был материалистом; но в его философских взглядах замечается лишь зародыш, — правда, вполне

[1]) Подробнее об этом см. в моей статье, посвященной философии истории Гегеля и напечатанной в книге «Критика наших критиков».

жизнеспособный зародыш, — материалистической диалектики. Это не удивит нас, если мы припомним, что таким же недостатком страдало и миросозерцание его учителя Фейербаха. Только Марксу и Энгельсу, тоже прошедшим в свое время школу Фейербаха, удалось устранить этот недостаток и сделать новейший материализм *учением диалектическим по преимуществу*.

Но скажем еще раз: в философских взглядах Чернышевского уже есть жизнеспособный зародыш материалистической диалектики. Об этом свидетельствуют, например, следующие красноречивые строки в статье «Критика философских предубеждений против общинного землевладения»: «Вечная смена форм, вечное отвержение формы, порожденной известным содержанием или стремлением, вследствие усиления того же стремления, высшего развития того же содержания, — кто понял этот великий, вечный, повсеместный закон, кто приучился применять его ко всякому явлению, — о, как спокойно призывает он шансы, которыми смущаются другие! Повторяя за поэтом:

Ich hab' mein' Sach'—auf Nichts gestellt,
Und mir gehört die ganze Welt...,

он не жалеет ни о чем, отживающем свое время, и говорит: пусть будет, что будет, а будет все-таки на нашей улице праздник» [1]).

В своей статье о «Пиитике» Аристотеля Чернышевский, отдав полную справедливость проницательности и многосторонности Аристотелева ума, делает следующую знаменательную оговорку: «Но, при всей своей гениальности, часто он впадает в мелочность от всегдашнего своего стремления найти глубокое философское об'яснение не только главным явлениям, но и всем их подробностям. Это стремление, выразившееся в аксиоме одного новейшего философа, соперника Аристотелева: «все действительное разумно, и все разумное действительно», часто заставляло обоих мыслителей придавать важное значение мелочным фактам только потому, что эти факты хорошо подходили под их систему» [2]). Новейший философ, Аристотелев соперник, есть не кто иной, как Гегель. Выходит, стало быть, что знаменитое положение Гегеля о разумности всего действительного и о действительности всего разумного представлялось Чернышевскому результатом «мелочности» великого германского мыслителя, заставлявшей его искать глубокого об'яснения даже для не-

[1]) Сочинения, т. IV, стр. 332—333.
[2]) Сочинения, т. I, 38.

значительных частностей. Это лучше всего показывает, что Чернышевский был дальше от понимания Гегеля, нежели Белинский, инстинктом почуявший в Гегелевом учении о разумности всего действительного единственно возможную основу общественной науки.

В статье «Критика философских предубеждений» Чернышевский выступает блестящим диалектиком. Но и здесь его диалектика не вполне материалистична. И только потому, что она не была вполне материалистична, только потому, что Чернышевский считает здесь возможным рассматривать вопрос об общинном землевладении с точки зрения какого-то развития вообще, независимого от условий времени и места,—его блестящая статья была понята читателями, как защита *русского* общинного землевладения, на которое наш автор в то время (конец 1858 года), повидимому, уж совершенно махнул рукой. Но об этом ниже.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Теория познания

Мы сказали, что различные практические вопросы отвлекали Чернышевского от занятий философией. Попавши в ссылку, он уже не имел возможности посвящать свое время так называемым вопросам дня. Тут он, как видно, отдался теории, насколько можно было отдаться ей при неизбежных в его положении препятствиях и поскольку его сил не привлекала к себе беллетристика. Очерки, приложенные им ко многим томам переведенной им «Всеобщей истории» Вебера, показывают, что он много занимался в Сибири историей и так называемым доисторическим бытом человечества. Но у нас есть прямые указания также на то, что он не переставал заниматься философией и следить за распространением философских взглядов в среде современных ученых. Такими указаниями являются: во-первых, статья «Характер человеческого знания», напечатанная в 1885 году в «Русских Ведомостях» №№ 63, 64, а, во-вторых, уже знакомое нам предисловие к предполагавшемуся, но не состоявшемуся третьему изданию «Эстетических отношений искусства к действительности».

Первую из названных статей Чернышевский начинает приведением к абсурду того «критического» взгляда, согласно которому мы знаем только наши представления о предметах, а не самые предметы, вследствие чего нам остается неизвестным, сходны ли с этими предметами наши представления о них. Он доказывает, что этот взгляд должен вести

к отрицанию реальности человеческого организма. Мы имеем известное представление о руке; поэтому надо думать, что существует нечто, возбуждающее в нас это представление. Но сходно ли это неизвестное нечто с нашими представлениями о нем? Достоверный ответ на этот вопрос невозможен. Может быть сходно, а может быть нет. Если сходно, то нечто, представляющееся нам в виде руки, есть действительно рука, и в таком случае мы в самом деле имеем руки. Если же не сходно, то, собственно, рук у нас не существует: «вместо рук у нас есть какие-то группы чего-то, какие-то, не похожие на руки, группы чего-то неведомого нам, но рук у нас нет; и достоверно об этих группах чего-то лишь то, что их две. То, что их две, достоверно потому, что для каждого из двух наших представлений, каждое из которых — особое представление об особой руке, — должно быть особое основание: следовательно, существование двух групп чего-то не подлежит сомнению. Итак, есть у нас руки или нет, — вопрос не разрешимый; мы знаем только, что если у нас есть руки, то у нас, действительно, две руки, а если у нас нет рук, то число групп чего-то, существующих у нас вместо рук, тоже не какое-нибудь иное число, а число два».

Чернышевский называет иллюзионизмом ту теорию познания, которая в логическом развитии должна привести к отрицанию реальности человеческого организма. Он называет ее новой формой средневековой схоластики и утверждает, что она рассказывает ту же самую фантастическую сказку, какую рассказывала некогда схоластика. С логической стороны происхождение этой теории об'ясняется у него — совершенно в духе Фейербаха — тем, что вместо человека, т.-е. материального организма, берется отвлеченное существо, «я», о котором нам ничего не известно, кроме того, что оно имеет представление, составляющее содержание нашего мышления. А если мы знаем об этом отвлеченном существе только то, что оно имеет представления, то ясно, что нам вовсе неизвестно, имеет ли оно реальный организм со свойственной ему реальною жизнью. Но защитники этой теории познания не решаются категорически сказать: мы не имеем организма. Поэтому они ограничиваются двусмысленным определением, в котором через схоластический туман проглядывает лишь логическая возможность усомниться в существовании человеческого организма. И этим характеризуется вся эта теория познания. Вся она сводится к уловкам схоластической силлогистики, к софизмам, к обозначению одним и тем же термином разных понятий. В кратком изложении Чернышевского учение иллюзионизма приобретает такой вид:

«Анализируя наши представления о предметах, кажущихся нам существующими вне нашей мысли, мы открываем, что в составе каждого из этих представлений находятся представления о пространстве, о времени, о материи. Анализируя представление о пространстве, мы находим, что понятие о пространстве противоречит самому себе. То же самое показывает нам анализ представлений о времени и о материи: каждое из них противоречит самому себе. Ничего противоречащего самому себе не может существовать на самом деле. Потому не может существовать ничего подобного нашим представлениям о внешних предметах. То, что представляется нам как внешний мир — галлюцинация нашей мысли, ничего подобного этому призраку не существует вне нашей мысли и не может существовать. Нам кажется, что мы имеем организм, — мы ошибаемся, как теперь видим. Наше представление о существовании нашего организма — галлюцинация, ничего подобного которой нет на самом деле и не может быть».

Но если это так, если эта теория познания есть просто нелепая сказка о несообразной с действительностью умственной жизни небывалого существа, то естественно возникает вопрос: почему же многие естествоиспытатели склоняются в настоящее время именно к этой теории? Это об'ясняется влиянием на них ученых, занимающихся специально философией. «Масса образованных людей, — говорит Чернышевский, — вообще расположена считать наиболее соответствующими научной истине те решения вопросов, какие приняты за истинные большинством специалистов по науке, в состав которой входит исследование этих вопросов. И натуралистам, как всем другим образованным людям, мудрено не поддаваться влиянию господствующих между специалистами по философии философских систем».

Большинство специалистов по философии держится иллюзионизма. Чернышевский не хочет винить их за это. Характер философии, господствующей в каждое данное время, определяется общим характером умственной и нравственной жизни передовых наций. Другими словами: специалисты по философии, в свою очередь, испытывают на себе влияние окружающей их общественной среды. Тут позволительно спросить себя, почему же умственная жизнь передовых наций складывается в настоящее время так, что в них под видом философии все более и более распространяется нелепая сказка иллюзионизма? На этот вопрос Чернышевский не дает в своей статье ответа. А так как он чрезвычайно интересен, и так как найти хотя бы только *возможный* ответ на него нашего автора значит содействовать определению миросозерцания этого по-

следнего, то мы вернемся к статье «Антропологический принцип в философии».

В начале этой статьи Чернышевский, разбирая ту мысль Жюля Симона, что политические теории создаются теперь под влиянием общественной борьбы, говорит, что в этом нет ничего удивительного, так как не только политические теории, но даже философские системы всегда создавались под преобладающим влиянием общественных отношений, и что каждый философ был представителем какой-нибудь из политических партий, боровшихся между собою за преобладание над современным ему обществом. Наш автор не считает нужным указывать на мыслителей, занимавшихся преимущественно философией политики, так как их принадлежность к политическим партиям очевидна и без указания. Гоббс был абсолютист; Локк — виг; Мильтон — республиканец; Монтескьё — либерал в английском вкусе и т. д. Он обращается к философам, собственно так называемым, и утверждает, что они подчинялись тем же влияниям: «Кант, — говорит он, — принадлежал к той партии, которая хотела водворить в Германии свободу революционным путем, но гнушалась террористическими средствами. Фихте пошел несколькими шагами дальше: он не боится и террористических средств. Шеллинг — представитель партии, запуганной революцией, искавшей спокойствия в средневековых учреждениях, желавшей восстановить феодальное государство, разрушенное в Германии Наполеоном I и прусскими патриотами, оратором которых был Фихте. Гегель — умеренный либерал, чрезвычайно консервативный в своих выводах, но принимающий для борьбы против крайней реакции революционные принципы в надежде не допустить до развития революционный дух, служащий ему орудием к ниспровержению слишком ветхой старины. Мы говорим не то одно, чтобы эти люди держались таких убеждений, как частные люди,— это было бы еще не очень важно, но их философские системы насквозь проникнуты духом тех политических партий, к которым принадлежали авторы систем. Говорить, будто бы не было и прежде всего того же, что теперь, говорить, будто бы только теперь философы стали писать свои системы под влиянием политических убеждений — это чрезвычайная наивность...» [1]).

[1]) Сочинения, т. VI, стр. 180. В статье «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь», о которой у нас речь будет ниже, Чернышевский даже развитие естественно-научных теорий ставит в связь с развитием общественных отношений и стремлений. В последние годы XVIII и в первые десятилетия XIX века большинство естествоиспытателей отворачивались от учения об изменяемости

Оставляя в стороне содержащиеся здесь характеристики отдельных философов, к тому, что сказал здесь Чернышевский, можно сделать только одно добавление: сама политическая борьба, определявшая собою направление философской мысли, велась не в силу каких-нибудь отвлеченных принципов, а под непосредственным влиянием нужд и стремлений тех слоев общества, к которым принадлежали боровшиеся между собой политические партии. Но этого не стал бы оспаривать и Чернышевский. Ниже, излагая его исторические взгляды, мы убедимся, что он умел, — по крайней мере временами, — давать себе очень ясный отчет о влиянии классового положения мыслителей на ход их мыслей. А ввиду этого мы имеем право предположить, что и нынешнее состояние философии приводилось им в связь с классовым положением людей, специально ею занимающихся. Иначе сказать, очень вероятно, что Чернышевский ставил широкое теперь распространение философского «иллюзионизма» в причинную связь с упадком того общественного класса, идеологами которого служат, в огромнейшем большинстве своем, философы нашего времени. А если это так, то выходит, что наш автор несравненно лучше понимал зависимость философской мысли от общественной жизни, нежели те наши нынешние «критики Маркса», которые не могут сообразить, что идеология пролетариата никак не может срастись в одно органическое целое с философскими доктринами, заимствуемыми из идеологии падающей буржуазии. То правда, что эти «критики» сами принадлежат к числу «иллюзионистов».

Как хорошо понимал Чернышевский нынешнее печальное положение философской мысли, видно из его предисловия к 3-му изданию «Эстетических отношений». Там он, высказав сожаление о том, что большинство нынешних натуралистов повторяет «метафизическую теорию Канта о суб'ективности нашего знания», прибавляет:

«Когда натуралисты перестанут говорить этот и тому подобный метафизический вздор, они сделаются способными вырабатывать и, вероятно, выработают, на основании естествознания, систему понятий более точных и полных, чем те, которые изложены Фейербахом. А пока лучшим изложением научных понятий о так называемых основных

видов, «подчиняясь духу времени, стремившемуся восстановить предания. Главный тогдашний противник теории трансформизма, Кювье, был в естествознании представителем того направления мыслей, которому желал дать господство в умственной жизни Наполеон и которое получило владычество над нею при Реставрации» (Сочинения, т. X, ч. 2, стр. 23 и 21

вопросах человеческой любознательности остается то, которое сделано Фейербахом» [1]).

Но когда же натуралисты перестанут говорить метафизический вздор? Очевидно, только тогда, когда изменятся те общественные отношения, под влиянием которых «образованные классы» боятся материализма, как философской истины, совершенно несовместимой с их общественными интересами. Чернышевский и сам сознавал, что это будет еще не так скоро. Вот почему предпочитал он «пока» оставаться на точке зрения Фейербаха. И по-своему он был совершенно прав: по сравнению с разными Махами, Авенариусами, Клиффордами и Бергсонами Фейербах до сих пор остается представителем самой глубокой и наиболее современной,—т.-е. наиболее соответствующей нынешнему состоянию естествознания, — философской теорией. Правда, философия Фейербаха была подвергнута дальнейшей и в высшей степени плодотворной переработке Марксом и Энгельсом. С этой стороны она в некоторых своих частях является уже «превзойденною ступенью» философского развития. Но эта сторона дела осталась, как это по всему видно, неизвестной нашему автору. Винить за это нужно, разумеется, не его, а те условия, в которых он прожил вторую половину своей жизни.

Однако вернемся к статье «О характере человеческого знания». Чернышевский спрашивает в ней: «но что же такое эта система превращения наших знаний о природе в мираж посредством миражей схоластической силлогистики? Неужели же приверженцы иллюзионизма считают его системой серьезных мыслей?». На это он отвечает, что, конечно, есть между иллюзионистами и такие чудаки, которые берут всерьез свою будто бы философскую систему. Но в большинстве случаев они и сами не придают ей никакого серьезного значения. Их отношение к своей собственной философской системе могло бы быть выражено приблизительно такими словами: «философская истина — истина собственно философская, а не какая-нибудь другая. С житейской точки зрения она не истина, и с научной точки зрения тоже не истина. То-есть им нравится фантазировать. Но они помнят, что они фантазируют» [2]).

Это как нельзя более метко. Серьезные представители «иллюзионизма» в самом деле так относятся к своим собственным философским воззрениям. Но «чудаков», принимающих эти воззрения всерьез, суще-

---

[1]) Сочинения, т. X, ч. 2, отд. 1, стр. 196.

[2]) Там же, отд. 4, стр. 10.

ствует на свете несравненно больше, нежели думал Чернышевский. Кто же скажет, что наши Богдановы, Валентиновы, Юшкевичи, Берманы и tutti frutti не серьезно относятся к тому, что представляется им самой передовой философской истиной наших дней? Мы думаем, что они вполне искренно верят в то, что говорят. А как много их теперь в России, да и не в одной России! Нет, чудаков на свете гораздо больше, нежели думал даже Чернышевский, преувеличивавший, как мы знаем, роль расчета в поведении людей.

Расставаясь с «иллюзионистами», Чернышевский формулирует свой собственный взгляд на характер человеческого знания: «Наши знания—человеческие знания. Познавательные силы человека ограничены, как и все его силы. В этом смысле слова, характер нашего знания обусловливается характером наших познавательных сил. Будь органы наших чувств более восприимчивы и наш разум более силен, мы знали бы больше, нежели знаем теперь, и, разумеется, некоторые из нынешних наших знаний видоизменились бы, если бы наши знания были обширнее нынешних. Расширение знаний вообще сопровождается видоизменением некоторого из прежнего запаса их. История наук говорит, что очень многие из прежних знаний видоизменились, благодаря тому, что теперь мы знаем больше, чем знали прежде» [1]).

Но, хотя очень многие из наших прежних знаний видоизменились, их существенный характер остался неизменным, поскольку они были собственно *фактическими* знаниями. Для примера Чернышевский берет расширение знаний о воде.

Теперь мы знаем, благодаря термометру, при какой именно температуре вода закипает и при какой она замерзает. Прежде люди не знали этого. Запас знаний о воде расширился. Но в каком смысле изменился он? Лишь в том, что получил такую определенность, какая прежде была ему несвойственна, так как прежде люди знали только то, что вода закипает, нагревшись до некоторой степени, и замерзает при охлаждении. Далее химия открыла нам, что вода есть соединение кислорода с водородом, прежде это было неизвестно людям. Но вода не перестала быть водой оттого, что мы узнали ее химический состав. И все те знания о воде, которые были у людей до открытия ее химического состава, остались верны и после этого открытия. «Видоизменение их ограничилось тем, что к ним присоединилось определение состава воды»,—говорит Чернышевский.

---

[1]) Там же, стр. 10—11.

Мы—существа, способные ошибаться. Поэтому каждый из нас,—как в житейских делах, так и в науке,—должен внимательно всматриваться и вдумываться в явления, чтоб не наделать ошибок. Осмотрительность необходима. Но Чернышевский настаивает на том, что и осмотрительности должен быть положен предел. «Разум подвергает проверке все, — говорит он. — Но у каждого образованного человека есть множество знаний, которые уже проверены его разумом и оказались по проверке немогущими подлежать для него ни малейшему сомнению, пока он останется человеком здравого рассудка» [1]).

Закончим изложение этой статьи указанием на следующее замечание, мимоходом сделанное в ней нашим автором: «схоластика, это по преимуществу — диалектика» [2]). Это замечание очень характерно для мыслителя, в философских взглядах которого был, как мы уже сказали, недостаточно разработан диалектический элемент. Можно подумать, что, по мнению Чернышевского, — и вопреки тому, что говорил он о диалектическом методе в «Очерках Гоголевского периода русской литературы», — диалектика сводилась к простой игре логическими понятиями. Но если схоластика в известном смысле, — т.-е. в смысле анализа понятий, — и являлась диалектикой, то не нужно забывать, что эта диалектика была «служанкой теологии» и именно потому не могла и не хотела звать пред свое судилище те основные положения, на почве которых она совершала свои логические операции. Ее зависимое положение нередко превращало ее в софистику; но по своему существу,—как справедливо заметил еще Гегель, и как думал, повидимому, сам Чернышевский, когда писал свои «Очерки Гоголевского периода»,—она не имеет с софистикой ничего общего, так как она показывает недостаточность тех отвлеченных рассудочных определений, на неизбежной односторонности которых опирается всякая софистика [3]). Мы сейчас увидим, как невыгодно отразилось на некоторых суждениях самого Чернышевского это недостаточно вдумчивое отношение его к природе диалектики.

---

[1]) Там же, стр. 15.

[2]) Там же, стр. 9.

[3]) Ср. Гегеля: «Die Dialektik ist nun ferner nicht mit der blossen Sophistik zu verwechseln, deren Wesen gerade darin besteht, einseitige und abstrakte Bestimmungen in ihrer Isolirung für sich geltend zu machen, je nachdem solches das jedesmalige Interesse des Individuums und seiner besondern Lage mit sich bringt... Die Dialektik ist von solchem Thun wesentlich verschieden, denn diese geht gerade darauf aus, die Dinge an und für sich zu betrachten, wobei sich sodann die Endlichkeit der einseitigen Verstandesbestimmungen ergiebt» (*G. Hegel*, «Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften», 1-er Theil, Berlin 1843, S. 153).

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Благотворность борьбы за жизнь

Как уже сказано выше, Чернышевский по возвращении своем из ссылки писал, между прочим, и по вопросу о трансформизме. Его статья, подписанная: «Старый трансформист» и озаглавленная: «*Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь (Предисловие к некоторым трактатам по ботанике, зоологии и наукам о человеческой жизни)*», не имеет прямого отношения к тому, что называлось у него собственно философией, т.-е. к «теории решения самых общих вопросов науки, обыкновенно называемых метафизическими, например, вопросов об отношениях духа к материи, о свободе человеческой воли, о бессмертии души и т. д.» [1]). Автор посвятил ее критике теории Дарвина, и мы могли бы предоставить специалистам по биологии судить о том, насколько удачна эта критика. Но в статье, посвященной тому, что́ можно назвать философией биологии, не могут не встретиться некоторые общие философские понятия, имеющие большой интерес не для одних биологов. Такие понятия мы находим и в названной статье Чернышевского, а потому мы считаем нелишним ее рассмотрение в этом отделе.

Чернышевский называет теорию Дарвина—теориею благотворности борьбы за жизнь и относится к ней с самым резким отрицанием. Это резко отрицательное отношение сказывается уже в самом начале статьи. Чернышевский утверждает там, что названная теория имеет своим основанием «блистательную в логическом отношении мысль»: вредное полезно. Так как мысль эта, по мнению Чернышевского, совершенно нелепа, то нелепы и выводы, из нее вытекающие. «Теория благотворности борьбы за жизнь,—говорит наш автор,—противоречит всем фактам каждого отдела науки, к которому прилагается, и, в частности, с особенною резкостью противоречит всем фактам тех отделов ботаники и зоологии, для которых была придумана и из которых расползлась по наукам о человеческой жизни.

Она противоречит смыслу всех разумных житейских трудов человека и, в частности, с особенною резкостью противоречит смыслу всех фактов сельского хозяйства, начиная с первых забот дикарей об охранении прирученных ими животных от страданий голода и других

---

[1]) Сочинения, т. VI, стр. 193, примечание.

бедствий и с первых усилий их разрыхлять заостренными палками почву для посева» [1]).

Основываясь на некоторых словах Дарвина, Чернышевский утверждает, что теория борьбы за жизнь заимствована была знаменитым английским натуралистом у Мальтуса, написавшего свою пресловутую книгу «О народонаселении» в угоду высшим классам английского общества. Однако и Мальтуса плохо понял Дарвин. Мальтус в своей книге старался доказать, что бедствия людей составляют следствие их чрезмерного размножения. Но Мальтусу и в голову не приходило называть происходящие от излишнего размножения бедствия благотворными. Он считал их бедствиями и только бедствиями. Дарвин же, применивши идею Мальтуса к биологии, вообразил, что бедствия, причиняемые в среде живых существ их взаимной борьбой за существование, становятся для них источником блага, т.-е. прогресса, состоящего в усовершенствовании их организации. Дарвин вообще держался того образа мыслей, согласно которому бедствия считаются благами или, по крайней мере, источниками благ. «Такой способ понимать вещи называется оптимистическим,—говорит Чернышевский.—Держась этого образа мыслей и не предполагая возможности иного, Дарвин был убежден, что Мальтус думает о бедствиях подобно ему, считает их или благами, или источниками благ. Те бедствия, о которых говорит Мальтус,—голод, болезни и производимые голодом драки из-за пищи, убийства, совершаемые для утоления голода, смерть от голода,—сами по себе, очевидно, не блага для подвергающихся им; а так как они, очевидно, не блага, то из этого, по понятиям Дарвина, следовало, что их должно считать источниками благ. Таким образом у него вышло, что бедствия, о которых говорит Мальтус, должны производить хорошие результаты, а коренная причина этих бедствий, чрезмерность размножения, должна считаться коренною причиною всего хорошего в истории органических существ, источником совершенствования организации, тою силой, которая произвела из одноклеточных организмов такие растения, как роза, липа и дуб, таких животных, как ласточка, лебедь и орел, лев, слон и горилла. На основании такой удачной догадки относительно смысла заимствованной у Мальтуса мысли построилась в фантазии Дарвина теория благотворности борьбы за жизнь» [2]). Дарвин сделал громадную научную ошибку, вообразив, что природа действует подобно хозяину, который сохраняет животных,

[1]) Сочинения, т. X, ч. 2.
[2]) Там же, стр. 43.

имеющих нужные ему особенности, а уничтожает особей, такими способностями не обладающих. На самом деле, хозяин поступает совсем не так, как поступает природа: «если, например, он бьет обухом по лбу тех коров, которых убивает, он не наносит таких же ударов обуха по лбу тем коровам, которых сохраняет». А что мы видим в природе? «Самая обыкновенная форма естественного отбора—вымирание излишних существ от недостатка пищи; одни ли умирающие существа подвергаются в этом случае голоду? Нет, все. Так ли поступает хозяин со своим стадом? Улучшалось ли бы его стадо, если б он сдерживал размножение, подвергая всех животных голоду? Переживающие животные слабели бы, портились бы, стадо ухудшалось бы» [1]).

Чернышевский называет Дарвинову теорию борьбы за существование теорией, достойной Торквемады, и говорит, что, когда грубые, невежественные, злые мальчики мучат мышенка, они не думают, что действуют на пользу мышам, а Дарвин учит их думать это: «Изволите видеть: мыши бегают от этих мальчиков; благодаря тому, в мышах развивается быстрота и ловкость движений, развиваются мускулы, развивается энергия дыхания, совершенствуется вся организация. Да, злые мальчики, кошки, коршуны, совы—благодетели и благодетельницы мышей. Полно, так ли?» [2]). Чернышевский говорит, что это совсем не так: от чрезмерного беганья организм мышей слабеет, как слабеет он от того, что мыши стараются избегнуть преследований своих врагов, прячась в душных норах. И такая порча организма, возрастающая из поколения в поколение, ведет к *вырождению*. А так как вырождение есть несомненное зло, то естественный отбор также зло, а вовсе не благо. Насколько видоизменяются организмы действием естественного отбора, настолько они вырождаются. Если бы этот отбор имел преобладающее влияние в истории органических существ, то не могло бы быть никакого повышения организации, а так как это повышение все-таки имело место, то ясно, что была какая-то сила или комбинация каких-то сил, противоположная действию естественного отбора и перевешивавшая его. Некоторые из этих сил были открыты трансформистами, предшествовавшими Дарвину. Со временем будут открыты еще другие. Но каковы бы ни были сделанные или предстоящие открытия на этот счет, Чернышевский не сомневается в том, что силами, повышающими строение органического существа, могут быть только такие силы, которые содействуют «хоро-

[1]) Там же, стр. 35.
[2]) Там же, стр. 43—44.

шему ходу функций его организма и, если это существо имеет способность ощущения, возбуждают в нем своим действием ощущение физического и нравственного благосостояния, довольства жизнью и радости» [1]). Таков окончательный вывод нашего автора. Дарвин замечателен был, по его мнению как «монографист», а не как теоретик трансформизма. Из теоретиков же трансформизма Чернышевский ставил на первое место, повидимому, Ламарка, сочинение которого «Philosophie zoologique» он называет гениальным трудом [2]). В числе упреков, выдвигаемых Чернышевским против Дарвина, немалую роль играет упрек в том, что Дарвин не знал учений предшествовавших ему трансформистов, т-е., стало быть, между прочим и того же Ламарка [3]).

Тут мы вынуждены сделать прежде всего фактическую поправку. Дарвин говорит с большой похвалой о сочинениях Ламарка в исторической заметке, предшествующей введению в его книгу о происхождении видов. Там же говорит он и о других своих предшественниках. Мы не имеем под рукой первого издания этой книги и потому не можем проверить, была ли уже в этом издании названная заметка. Очень возможно, что ее не было, и что ее отсутствием об'ясняется упрек, делаемый Чернышевским Дарвину за игнорирование им трудов прежних трансформистов. Но, по нашему мнению, отсутствие этой заметки в первом издании еще не доказывало бы, что до выхода этого издания, т.-е. до ноября 1859 года, Дарвину оставались неизвестными труды Ламарка и хотя бы некоторых других прежних трансформистов. Правда, в своей заметке Дарвин ссылается на «превосходную историю Изидора Жоффруа Сент-Илера» («Histoire naturelle générale»), датированную 1859 годом. Но он не говорит, что ему только из нее стали известны идеи Ламарка: он говорит только то, что из нее заимствовал он сведения о времени выхода первого сочинения Ламарка. Это, конечно, не одно и то же: можно хорошо знать идеи данного писателя, не будучи осведомленным насчет того, когда именно вышло первое его сочинение. Но допустим, что, работая над своей книгой, Дарвин оставался в полной неизвестности по части своих предшественников. Хорошего тут, разумеется, не было бы ничего; но нужно быть справедливым: в подобном грехе, к сожалению, повинны очень многие писатели. Так, например, сам Фейербах, которого

[1]) Там же, стр. 46.
[2]) Там же, стр. 22.
[3]) Там же, стр. 41.

так высоко ставил Чернышевский, плохо знал историю материализма, т.-е. того самого учения, на почву которого он перешел, разорвав с абсолютным идеализмом Гегеля: он насмехался над «трюфельным паштетом Ламеттри» в том самом сочинении, в котором его материалистические взгляды приняли вид, наиболее близкий к французскому материализму. А меж тем на этом основании Чернышевский едва ли решился бы обвинить своего любимого учителя в легкомыслии. И он был бы прав, потому что как ни достойны сожаления подобные пробелы в знаниях людей, занимающихся широкими теоретическими вопросами, но наличность их все-таки еще не исключает возможности серьезного отношения к делу. Таким отношением отличался Фейербах, и такое же отношение было в не меньшей мере свойственно Дарвину, к которому так несправедлив Чернышевский.

У Чернышевского вопрос о значении естественного отбора в истории развития животных и растительных видов принимает такую формулировку, какой он вовсе не имел у Дарвина. Дарвину и в голову не приходило спрашивать себя, должен или не должен быть признан «*злом*» несомненный естественно-исторический факт борьбы за жизнь между живыми существами. И, вероятно, так же мало спрашивал он себя, следует или не следует признавать «*благом*» последствия такой борьбы. Для него вопрос заключался в том, содействует или препятствует естественный отбор приспособлению животных к условиям их существования. А на вопрос, формулированный таким образом, можно было дать только утвердительный ответ: да, естественный отбор необходимо должен содействовать указанному приспособлению. Приводимый Чернышевским пример с мышенком очень мало убедителен. Разумеется, вполне возможны и даже неизбежны такие случаи, когда данные естественные условия вообще совершенно неблагоприятны для существования данного вида. Тогда начинается то, что Чернышевский назвал вырождением и что, пожалуй, вернее было бы назвать исчезновением этого вида. Дарвин совсем не отрицает возможности и неизбежности таких случаев. Но когда естественные условия недостаточно неблагоприятны, чтобы повести к исчезновению всего вида, но вместе с тем невыносимы для особей, к ним менее приспособленных, тогда выживают, очевидно, только более приспособленные особи. Будет ли процесс такого приспособления процессом усовершенствования данного вида, т.-е. усложнением организации принадлежащих к нему особей? Дарвин не говорит ни «да», ни «нет»: для него тут все зависит от обстоятельств. Процесс приспособления паразитов к специальным условиям их существования чаще всего бывает

процессом «понижения» организации, т.-е. ее *упрощения*. До сих пор условия жизни на земле благоприятствовали появлению видов, отличавшихся все более и более «совершенною» организациею. Но это бесспорное обстоятельство не изменяет собой существенного содержания Дарвиновой теории. Она по существу осталась бы той же, если бы условия жизни,—скажем, например, вследствие все большего и большего охлаждения нашей планеты, — оказались бы неблагоприятными для сложных организмов. Тогда процесс приспособления к среде был бы процессом упрощения организации живых существ. И только. Понятие: «организм, наиболее приспособленный к среде», вовсе не покрывается у Дарвина понятием: организм наиболее сложный.

Что Дарвин преувеличил роль естественного отбора в развитии видов, это теперь едва ли может подлежать сомнению. Но, возражая английскому биологу, наш автор все-таки представлял себе эту роль гораздо проще, нежели она представлялась самому Дарвину. Чернышевский говорит, что самой обыкновенной формой естественного отбора является вымирание излишних существ от недостатка пищи. Но Дарвин так не думал. Он говорил: «само собой разумеется, что количество пищи определяет собой крайний предел размножения всякого вида, но среднее число индивидуумов данного вида чаще всего определяется не трудностью добывания пищи, а легкостью, с которой эти индивидуумы становятся добычей других животных» [1]). Если бы Чернышевский обратил внимание на эти слова Дарвина, то значение естественного отбора, вероятно, представилось бы ему в другом виде. В самом деле, вообразим, что между особями данного вида, подвергающимися постоянным нападениям хищников, стали появляться такие, которые по своей окраске менее заметны для неприятельского взора. У этих особей будет больше шансов избежать когтей хищников. Они будут выживать, между тем как особи, отличающиеся более заметной окраской, будут гибнуть. Наследственность передаст благоприятный признак потомкам сохранившихся особей, и таким образом придет такое время, когда все особи данного вида получат окраску, благоприятную для их сохранения. Этот случай не похож на приводимый Чернышевским пример с мышенком: тут отбор не «бьет обухом по голове» всех особей вида, а между тем случаям, подобным указанному нами, Дарвин отводит весьма широкое место в своей теории. Возьмем другой пример. Уоллэс говорит, что на острове Мадейре многие насекомые совсем или почти совсем утратили крылья,

1) «L'origine des espèces». Trad. par E. Barbier, p. 74.

между тем как насекомые того же вида, живущие на материке Европы, до сих пор обладают совершенно развитыми крыльями. Уоллэс об'ясняет это явление тем, что Мадейра, как и многие океанические острова умеренного пояса, часто испытывает на себе действие внезапных ураганов, вследствие которых насекомые, обладающие крыльями и, конечно, пользующиеся ими для летания, подвергались опасности быть унесенными в море. «Таким образом, — говорит Уоллэс, — из года в год особи, обладавшие короткими крыльями или реже пользовавшиеся ими для летания, оказывались сохраненными, и таким образом возник вид, лишенный крыльев или обладающий лишь несовершенными крыльями» [1]). Тут естественный отбор опять не «бьет обухом по голове» всех особей данного вида, а между тем и тут он содействует их приспособлению к естественным условиям их существования. Таких примеров можно было бы привести великое множество. И если б Чернышевский внимательно отнесся к ним, то он вряд ли решился бы отстаивать ту свою мысль, что Дарвинова теория борьбы за жизнь «противоречит всем фактам тех отделов ботаники и зоологии, для которых была придумана и из которых расползлась по наукам о человеческой жизни».

Совершенно верно то, что «теория борьбы за существование расползлась по наукам о человеческой жизни» далеко не к пользе этих наук. И позволительно думать, что явное раздражение Чернышевского против Дарвина, — сказавшееся, между прочим, в замечании о том, что Дарвиновская теория достойна Торквемады,—об'ясняется больше всего вредным влиянием так называемого дарвинизма на развитие общественной науки. Но нельзя делать Дарвина ответственным за промахи дарвинистов. Его теория борьбы за жизнь вовсе не может служить оправданием той «войны всех против всех», которую проповедывали некоторые дарвинисты-социологи. Дарвин находил, что развитие общественных инстинктов «крайне полезно» для сохранения вида в его борьбе за существование. Примените эту его мысль к общественным отношениям, и вы получите нечто прямо противоположное тому крайнему индивидуализму, который составляет неизбежный логический вывод из учений социологов-дарвинистов. Конечно, сам Дарвин плохо разбирался в общественных вопросах. Этим, — как заметил еще Энгельс в своем споре с Дюрингом [2]),—об'ясняется тот факт, что он без всякой критики принял учение

[1]) «Le Darwinisme», par *Alfred Russel Wallace*, Paris 1891, p. 138—139.

[2]) «Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft», 5-е издание, стр. 60.

Мальтуса о народонаселении. Но его огромный ум предохранял его от тех крайностей, в которые впадали многие из его учеников. Правда и то, что Дарвина можно, пожалуй, принять за обыкновенного манчестерца, когда он, рассуждая о жизни человеческих обществ, говорит: «Для человека должна существовать открытая конкуренция, и закон и обычаи не должны мешать наиболее способным иметь решительный успех в жизни и оставлять наибольшее число потомков» [1]). И по всему видно, что он в самом деле склонялся к манчестерству, которое, кажется, представлялось ему самой передовой общественной теорией. Это было заблуждение; но это заблуждение ничего не говорит против того метода, которым пользовался Дарвин, изучая явления органической жизни. И напрасно стали бы ссылаться на его слова о конкуренции сторонники социальной войны всех против всех. Есть конкуренция и конкуренция. Сэнсимонисты тоже стояли за конкуренцию, но именно ради конкуренции они требовали коренного преобразования отношений собственности.

Мы не считаем нужным вдаваться в дальнейший разбор взгляда Чернышевского на теорию Дарвина. После того, что уже сказано нами по поводу этого взгляда, нам достаточно будет обратить внимание читателя на ироническое отношение Чернышевского к Дарвинову оптимизму. Он приписывает Дарвину убеждение в том, что всякое зло непременно ведет ко благу. Этому оптимизму он противопоставляет ту свою мысль, что вредное всегда вредно, и никогда не полезно. Мы еще встретимся с этою мыслью, рассматривая исторические взгляды Чернышевского. Тогда мы дольше остановимся на ней и постараемся между прочим решить вопрос о том, в какой мере применима она с тем,— как мы видели выше, очень одобряемым Чернышевским,— положением Гегеля, что *отвлеченной истины нет, что истина всегда конкретна и что все зависит от обстоятельств времени и места.* Здесь же мы пока скажем, что сам Чернышевский не всегда рассуждал по формуле: «вредное всегда вредно; только полезное полезно». Во втором сне Веры Павловны он заставляет ее мать Марью Алексеевну говорить: «Слушай же ты, Верка, что я скажу. Ты ученая — на мои воровские деньги учена. Ты о добром думаешь, а как бы я не злая была, так бы ты и не знала, что̀ такое добром называется. Понимаешь?» [2]). Из этих слов выходит, что и злое порождает иногда благие последствия. А

---

[1]) Собрание сочинений, т. II. Пер. Сеченова, Спб. 1899 г., стр. 420.

[2]) Сочинения, т. IX, стр. 113.

ведь Чернышевский в данном случае вполне согласен с Марией Алексеевной. Продолжая свое об'яснение с дочерью, Марья Алексеевна повторяет: «Видишь, у нее (Марья Алексеевна говорит здесь о себе в третьем лице. *Г. П.)* были дурные мысли, но из них выходит польза человеку: ведь тебе вышла польза? А у других злых не так»[1]). Здесь устами Марьи Алексеевны опять говорит сам Чернышевский. И если то, что он говорит — справедливо, — а оно на самом деле справедливо, — то и здесь выходит, что злое не всегда имеет злые последствия. А это противоречит тому отвлеченному положению, во имя которого Чернышевский критиковал Дарвина. Впрочем, мы считаем нелишним повторить, что у самого Дарвина вопрос об естественном отборе никогда не переносился на почву соображений о зле и о добре. И это не было, конечно, ошибкой Дарвина.

Но каковы бы ни были в этом частном случае некоторые промахи Чернышевского и каковы бы ни были также некоторые общие недостатки, свойственные его методу, он все-таки был одним из самых замечательных мыслителей, выступавших в нашей литературе. Слабой стороной его философских взглядов была та недостаточная разработанность в них диалектического элемента, который составлял также слабую сторону системы его учителя Фейербаха. Чернышевскому не пришлось ознакомиться с философией Маркса и Энгельса, выросшей из Фейербаховской философии. А так как философия Маркса и Энгельса представляла собою, несомненно, большой шаг вперед сравнительно с системой Фейербаха, то можно сказать, что последнее слово философской мысли осталось, к сожалению, неизвестным нашему автору. Но в то время оно было и на Западе известно лишь немногим. А если не сравнивать взглядов Чернышевского со взглядами Маркса и Энгельса, если сопоставлять с ними лишь взгляды, например, П. Л. Лаврова и других более или менее прогрессивных его современников, то нужно будет признать, что он далеко опередил их, и что, когда он сошел со сцены, в нашей литературе начался в философском, — да, к сожалению, и не только в философском, — отношении *период упадка.* Одним из проявлений этого упадка явился впоследствии пресловутый суб'ективизм Николая Михайловского, которого многие до сих пор пресерьезно ставят на одну доску с Чернышевским. На самом деле Михайловский, особенно в философии, был настоящим карликом по сравнению с автором статьи «Антропологический принцип».

---

[1]) Там же, стр. 114.

Чернышевского знают у нас, как публициста, отчасти, как историка литературы,—т.-е. как автора «Очерков Гоголевского периода» и статей о Лессинге,—но его совсем не знают, как философа. Это об'ясняется, во-первых, тем, что он мало писал о философии, а во-вторых, его манерой изложения своих мыслей. Он писал так просто и ясно, что некоторые его читатели наивно отказывались именно по этой причине признать за философию то, что он излагал в статье «Антропологический принцип». Это не предположение, а факт, хотя и смешной факт: такие читатели были в то время. И вот доказательство. Когда появился в 4-й книжке «Современника» за 1861 год разбор философии Лаврова, сделанный Антоновичем, «Отечественные Записки» пренебрежительно заметили: «Никакого умственного напряжения не надо, чтобы понять все, что говорит г. Антонович. Ясность этой статьи поразила всех». Цитируя этот отзыв полемизировавшего с ним журнала, Чернышевский со своей стороны писал: «Вы наслушались, что философия — предмет головоломный. Вы пробовали читать философские статьи, вроде произведений г. Лаврова, и ровно ничего не понимали. А г. Лавров был по вашему мнению хороший философ. Вот и состроился у вас в уме силлогизм такого рода: «философии я не понимаю; следовательно, то, что я могу понимать,—не философия» [1]). В силу этого же силлогизма не считались философскими даже те страницы Чернышевского, которые имели самое прямое отношение к философии: страницы эти отличались слишком ясным изложением. Нечего и прибавлять, что и до сих пор не перевелись у нас «проницательные читатели», судящие о философских статьях на основании указанного Чернышевским силлогизма. Это приводит нам на память анекдот о человеке, который страдал зубною болью и у которого столичный врач легко и скоро вырвал больной зуб. «Сколько с меня следует?»—спросил пациент.— Рубль,— отвечал зубной врач. — «Как рубль! — возопил больной.—Меня наш уездный дантист целый час таскал по кабинету за больной зуб, да и то взял только четвертак, а вы моментально вырвали, да просите рубль!» Чернышевский напрасно убеждал наивных читателей: «О каком бы предмете ни заговорил человек, образ мыслей которого туманен (здесь имеется в виду Лавров. *Г. П.*), речь его будет туманная, головоломная. А сама по себе философия, быть может, и не бог знает какая непонятная наука» [2]). Наивные читатели этому не

---

[1]) Сочинения, т. VIII, стр. 266 — 267.

[2]) Там же, стр. 267.

верили и до сих пор не верят. И до сих пор, если вы спросите среднего русского «интеллигента», были ли философами Лавров и Владимир Соловьев, вы тотчас услышите: конечно, были. А если вы скажете такому «интеллигенту», что Чернышевский тоже был философ и притом гораздо более глубокий, нежели Лавров и Соловьев, то вы приведете его в немалое изумление. Философия Чернышевского была недостаточно туманна...

ОТДЕЛ ВТОРОЙ

Исторические взгляды Н. Г. Чернышевского

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Историческая наука и естествознание

При рассмотрении исторических взглядов Чернышевского полезно будет прежде всего выяснить себе, как представлялось ему состояние современной ему исторической науки. Хорошее понятие об этом дает следующий отрывок из его статьи о Грановском:

«Чем ближе вникаем мы в труды, совершенные поныне для истории, тем более убеждаемся, что ныне мы имеем только идею о том, чем должна быть эта наука, но едва еще видим первые односторонние опыты осуществить эту идею. Не будем рассматривать причин, по которым практика так отстала в этом случае от теории: это завлекло бы нас слишком далеко; скажем только, что, с одной стороны, затруднением служат скудость и необработанность материалов для истории тех элементов жизни, которые до сих пор упускались из виду. С другой стороны, едва ли не важнейшим еще препятствием надо считать узкость и отвлеченность обыкновенного взгляда на человеческую жизнь. Антропология только еще начинает утверждать свое господство над отвлеченною моралью и односторонней психологиею» [1]).

Заметьте, что Чернышевский и здесь стремится стать на точку зрения «антропологии». Мы уже знаем, что провозгласившая «антропологический» принцип философия Фейербаха-Чернышевского видела в человеке то же самое, что видят в нем естественные науки. Чернышевский хочет, чтоб история, в свою очередь, взглянула на человека с

[1]) Сочинения, т. II, стр. 410.

точки зрения естествознания. «При той чрезвычайной важности, какую играет в жизни и должна приобрести в истории натуральная сторона человеческого быта, — говорит он, — понятно, что влияние естественных наук на историю должно со временем сделаться неизмеримо сильным. В настоящее время еще очень немногие историки предчувствуют это. Грановский принадлежит к числу их». Для пояснения своего взгляда на метод исследования исторических явлений, Чернышевский указывает на Гизо, который стоит, по его словам, выше других историков нашего времени. Чтения Гизо об истории цивилизации страдали тем недостатком, что предметом их, кроме политической истории, являлась только умственная жизнь народа, да и то не во всей своей полноте. О материальной же стороне жизни программа этих чтений совсем даже не упоминает. Гизо хочет излагать историю внутренней жизни человека и его отношений к другим людям. Он забывает об отношении человека к природе. «А между тем, — говорит Чернышевский, — в природе источники человеческой жизни, и вся жизнь коренным образом определяется отношениями к природе» [1]).

Тут Чернышевский, как будто, неправ в своем отзыве о Гизо. Указанные им чтения Гизо по истории цивилизации в самом деле слишком мало обращают внимания на материальную сторону народов; но если бы Чернышевский обратился к другим сочинениям того же историка, например, хотя бы к его «Essais sur l'histoire de France», то он увидел бы, что Гизо совсем не пренебрегал материальной стороной жизни народов, а, напротив, приписывал ей преобладающее влияние. Гизо говорил: «Чтобы понять политические учреждения, надо изучить различные слои, существующие в обществе, и их взаимные отношения. Чтобы понять эти различные общественные слои, надо знать природу поземельных отношений» [2]).

Изучать природу поземельных отношений не значит игнорировать материальную сторону общественной жизни. Но тут необходимо сделать терминологическую оговорку.

У Чернышевского выражение «материальная сторона жизни» употреблено здесь не в том смысле, в каком употребляем его мы, говоря об исторических взглядах Гизо. Существующий в данной стране аграрный строй характеризует собою не отношение людей к природе, а

[1]) Там же, примечание.

[2]) «Essais», 2-e édition, Paris 1860, p.p. 75—76. Об этом см. подробнее во 2-й главе моей книги «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю».

их собственные взаимные отношения в обществе. Между тем Чернышевский под материальной стороной жизни понимает те отношения, которые существуют между человеком и природой. Это очень большая и чрезвычайно существенная разница. Но мы сейчас увидим, что относящиеся к этому предмету дальнейшие рассуждения нашего автора почти совсем сглаживают эту разницу.

Почему Чернышевский приписывает такую большую важность вопросу об отношении между человеком и природой? Он поясняет это длинной цитатой из речи Грановского «О современном состоянии и значении всеобщей истории», произнесенной в торжественном собрании Московского университета 12 января 1852 года. Так как эта цитата весьма важна для характеристики интересующего нас здесь взгляда Чернышевского, то мы, со своей стороны, воспроизведем по крайней мере одну ее часть.

Грановский говорил: «Географические обзоры, о которых мы упомянули, редко соединены органически с дальнейшим изложением. Предпослав труду своему беглый очерк описываемой страны и ее произведений, историк с спокойной совестью переходит к другим, более знакомым ему предметам и думает, что вполне удовлетворил современным требованиям науки. Как будто действие природы на человека не есть постоянное, как будто оно не видоизменяется с каждым великим шагом его на пути образованности? Нам еще далеко не известны все таинственные нити, привязывающие народ к земле, на которой он вырос и из которой заимствует не только средства физического существования, но значительную часть своих нравственных свойств. Распределение произведений природы на поверхности земного шара находится в теснейшей связи с судьбою гражданских обществ. Одно растение условливает иногда целый быт народа. История Ирландии была бы, бесспорно, иная, если бы картофель не составлял главного пропитания для ее жителей. То же можно сказать о некоторых животных для других стран» [1]).

Далее у Грановского идет очень важная ссылка на статью академика Бера о влиянии внешней природы на социальные отношения отдельных народов и историю человечества. Самое заглавие этой статьи показывает, что Бер хотел рассматривать связь между человеком и природой преимущественно со стороны влияния естественных

[1]) Это место находится на 34-й стр. I тома Сочинений *Грановского*, изд. 1866 года.

условий на общественные отношения. Совершенно то же влияние имеет в виду сам Грановский, указывая, что вся история некоторых стран зависит от их флоры или фауны. Правда, он говорит еще о некоторых таинственных нитях, «привязывающих народ к земле» и даже определяющих собою его нравственные склонности.

Тут можно подумать, что Грановский признает непосредственное влияние природы на взаимные отношения людей в обществе. И это тем более, что на одной из предыдущих страниц он не отказывается признать, как вывод естествознания, «историческое бессилие целых пород, не призванных к благороднейшим формам гражданской жизни» [1]). Но Чернышевский, впоследствии бывший, как мы увидим ниже, самым решительным противником теории рас, вряд ли и в то время, когда писал свою статью о Грановском, — т.-е. в 1856 году, — хотя бы отчасти склонялся к этой теории [2]). Всего вернее, что речь Грановского понравилась ему совсем не своей готовностью признать историческое бессилие некоторых человеческих пород, а своим настойчивым указанием на зависимость общественных отношений народов от естественных условий их существования. А если это так, то мысль Чернышевского о влиянии природы на человека совершенно сближается с нашим взглядом на тот же предмет: естественные условия влияют на людей, определяя собою их взаимные отношения в обществе. Этот взгляд был прекрасно формулирован Марксом уже за несколько лет до того, как Грановский произнес в Московском университете свою речь о состоянии и значении всеобщей истории. «Многоразличные отношения,—писал Маркс в своей брошюре «Наемный труд и капитал»,— в которые становятся люди при производстве продуктов, не ограничиваются отношением их к природе. Производство возможно лишь при известного рода совместности и обоюдности действий производителей. Чтобы производить, люди вступают в определенные взаимные связи и отношения, и только внутри и через посредство этих общественных связей и отношений возникают воздействия людей на природу, необходимые для производства» [3]). Взаимные же отношения людей в

---

[1]) Там же, стр. 33.

[2]) Еще за год до того, — в библиографической заметке об «Архиве историко-юридических сведений» *Н. Калачева*, — он указывал на фальшивость «всевозможных тевтономаний, галломаний, англоманий, чехоманий, булгароманий» (Сочин., I, 428). Отсюда, как говорится, рукой подать до отрицательного отношения вообще ко всей теории рас.

[3]) См. «Наемный труд и капитал», изд. «Пролетариат», стр. 20.

процессе производства определяются состоянием их производительных сил, которые, в свою очередь, находятся в теснейшей зависимости от естественных условий существования данного народа, т.-е. от той географической среды, в которой он живет. Таков вывод, к которому приходит наука, исследуя вопрос о влиянии природы на «общественного человека». Этот вывод, повидимому, был не во всей своей полноте ясен Грановскому. Были, неоспоримо, насчет него значительные неясности и у Чернышевского в ту пору, когда он начал применять к истории «антропологический» принцип. Но как бы то ни было, логическое развитие взгляда Грановского и Чернышевского должно было бы вести к только что указанному выводу Маркса. А так как Гизо со своей стороны приближался к этому выводу, хотя далеко не сделал его во всей полноте, то Чернышевский был неправ, обвинив его в игнорировании материальной стороны жизни. Но для нас здесь важно не то, прав или не прав был Чернышевский в своем взгляде на Гизо, а то, что его справедливый или несправедливый взгляд на Гизо характеризует собою его собственные исторические воззрения. Вот почему мы еще вернемся к рассмотрению этого взгляда. Теперь же мы еще раз подчеркиваем то обстоятельство, что во имя своего «антропологического» принципа наш автор уже в самом начале своей литературной деятельности требовал от историков внимательного отношения к «материальной стороне жизни» народов. Весь вопрос о последующем развитии его исторических взглядов сводится к вопросу о том, какой вид приняло у него самого представление об этой стороне.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Материализм в исторических взглядах Чернышевского

В 1855 году, в большой критической статье о третьей и четвертой книгах очень известного в свое время сборника Леонтьева «Пропилеи», Чернышевский, оспаривая мнение Куторги, считавшего земледельческий быт первоначальным бытом человечества, писал:

«Предания всех народов свидетельствуют о том, что прежде, нежели узнали они земледелие и сделались оседлыми, они бродили, существуя охотою и скотоводством. Чтобы ограничиваться греческими преданиями и относящимися именно к Аттике, укажем на миф о Церере и Триптолеме, которого научила она земледелию, — очевидно, что по

воспоминаниям греческого народа нищенское и грубое состояние дикарей-охотников было первым, а с благоденствием оседлой земледельческой жизни познакомились люди уже впоследствии. Такие общие всем народам предания совершенно подтверждаются для всего европейского отдела индоевропейских племен исследованиями Гримма, которые справедливо считаются безусловно верными в своих главных выводах. То же самое прямым образом доказывают положительные факты, записанные в исторических памятниках: мы не знаем ни одного народа, который, став раз на степень земледельческого, ниспал потом в состояние одичалости, не знающей земледелия; напротив того, у многих из европейских народов достоверная история записала почти с самого начала весь ход распространения земледельческого быта» [1]). Европейские путешественники по Африке не раз встречали негритянские племена, которые, будучи вытеснены из своего старого местожительства и попав в новую географическую среду, мало благоприятную для земледелия, покидали земледельческий быт и становились пастухами или охотниками. Поэтому Чернышевский ошибается, полагая, что, раз достигнув ступени земледелия, ни один народ не может спуститься на низшую ступень. Но он совершенно прав, когда говорит, что невозможно считать земледелие первым шагом в истории развития производительных сил. Точно также прав он, когда об'являет экономическое развитие общества причиной, вызывающей развитие правовых его учреждений. «У пастушеских народов, беспрестанно перекочевывающих с места на место, — говорит он, — личная поземельная собственность недостаточна, стеснительна и потому не нужна. У них только община (племя, род, орда, улус, юрта) хранит границы своей области, которая остается в нераздельном пользовании у всех ее членов, отдельные лица не имеют отдельной собственности. Совершенно не то в земледельческом быте, который делает необходимостью личную поземельную собственность. Потому-то от кочевого состояния ведет начало связь земли с племенными и, впоследствии, с государственными правами» [2]). Тут как нельзя более верно указывается решающее влияние материальной стороны жизни народов на другие стороны этой жизни. Но могут заметить, пожалуй, что здесь у Чернышевского речь идет собственно только о связи между «экономикой» и «политикой». И это, конечно, так. Однако, когда выяснена эта связь,

---

[1]) Сочинения, т. I, стр. 389.

[2]) Т. м же, стр. 389. Ср. стр. 428 того же тома.

тогда понятно в своих главных чертах то, что называется общественным строем. А когда понят общественный строй, как результат экономического развития общества, то уж легко понять и влияние «экономики» на мысли и чувства людей: ведь еще с начала XIX века было признано, что их мысли и чувства находятся в причинной зависимости от общественной среды, т.-е. от общественных отношений. И мы уже видели, что Чернышевский умел об'яснять развитие философской мысли ходом политической борьбы, т.-е. опять-таки развитием общественной среды. Мы знаем также еще из статьи «Антропологический принцип в философии», что всякое данное общество, равно как и всякая данная органическая часть общества, считает полезным и справедливым то, что полезно этому обществу или этой его части. Чернышевскому стоило только последовательно применить этот свой взгляд к истории идейного развития человечества, чтобы ясно увидеть, каким образом это развитие обусловливается столкновением человеческих интересов в обществе, т.-е. «экономикой» этого общества. И Чернышевский в самом деле ясно видел это, — по крайней мере в некоторых случаях. Вот что пишет он, например, в большой библиографической статье о «Началах народного хозяйства» В. Рошера, напечатанной в 4-й книжке «Современника» за 1861 год:

«Возьмите какую хотите группу людей, ее образ мыслей бывает внушен (верными или ошибочными, как мы заметили, все равно) представлениями об ее интересах. Начнем хоть с классификации людей по народностям. Масса французов полагает, что Англия есть «коварный Альбион», погубивший Наполеона I из ненависти к французскому благосостоянию. Масса французов находит, что рейнская граница — естественная и необходимая граница Франции. Она также находит, что присоединение Савойи с Ниццею — дело прекрасное. Масса англичан находит, что Наполеон I хотел погубить Англию, ничем не виновную, что борьба с ним была ведена Англиею лишь для собственного спасения. Масса немцев находит претензию французов на рейнскую границу несправедливою. Масса итальянцев считает отторжение Савойи с Ниццею от Италии делом несправедливым. Отчего такое различие взглядов? Просто от противоположности (конечно, мнимых, фальшивых, но считаемых у той нации действительными) интересов наций. Или возьмем классификацию людей по экономическому положению. Производители хлеба в каждой стране находят справедливым делом, чтобы другие страны допускали ввоз хлеба этой страны беспошлинно, и столь же справедливым, чтобы ввоз хлеба в их страну был запрещен.

Производители мануфактурных товаров в каждой стране находят справедливым, чтобы иностранный хлеб допускался в их страну беспошлинно. Источник этого противоречия опять-таки все тот же: выгода. Производителю хлеба выгодно, чтобы хлеб был дороже. Производителю мануфактурных товаров выгодно, чтобы он был дешевле. Увеличивать число таких примеров было бы напрасно, — каждый может сам набрать их тысячи и десятки тысяч» [1]).

Если у каждого человека всегда оказывается хорошим, несомненным и вечным все то, что практически выгодно для группы людей, представителем которых он служит, то этим же «психологическим законом» нужно, по мнению Чернышевского, об'яснять и смену школ в политической экономии. Писателям школы Адама Смита казались очень хорошими и достойными вечного господства те формы экономического быта, которыми обусловливалось господство среднего класса. «Писатели этой школы были представители стремлений биржевого или коммерческого сословия в обширном смысле слова: банкиров, оптовых торговцев, фабрикантов и всех вообще промышленных людей. Нынешние формы экономического устройства выгодны для коммерческого сословия, выгоднее для него всяких иных форм; потому школа, бывшая представительницей его, и находила, что формы эти самые лучшие по теории; натурально, что при господстве такого направления являлись многие писатели, высказывавшие общую мысль еще с большею резкостью, называвшие формы эти вечными, безусловными» [2]).

Когда о вопросах политической экономии начали задумываться люди, бывшие представителями массы, тогда явилась в науке другая экономическая школа, которую зовут, — неизвестно на каком основании, как замечает Чернышевский, — школой утопистов. С появлением этой школы, экономисты, представлявшие интересы среднего класса, увидели себя в положении консерваторов. Когда они выступали против средневековых учреждений, противоречащих интересам среднего класса [3]), они взывали к разуму. А теперь к разуму стали взывать, в свою очередь, представители массы, не без основания упрекавшие представителей среднего класса в непоследовательности. «Про-

---

[1]) Сочинения, т. VIII, стр. 137.

[2]) Там же, стр. 138.

[3]) Имея в виду общественные *классы*, Чернышевский всегда употребляет, однако, термин: *сословие*.

тив средневековых учреждений, — говорит Чернышевский, — разум был для школы Адама Смита превосходным оружием, а на борьбу с новыми противниками это оружие не годилось, потому что перешло в их руки и побивало последователей школы Смита, которым прежде было так полезно» [1]). Вследствие этого ученые представители среднего класса перестали ссылаться на разум и начали ссылаться на историю. Так возникла историческая школа в политической экономии, одним из основателей которой был Вильгельм Рошер.

Чернышевский утверждает, что такое об'яснение истории экономической науки несравненно более правильно, нежели обычное ее об'яснение с помощью ссылок на больший или меньший запас знаний у той или другой школы. Он насмешливо замечает, что это второе об'яснение похоже на тот способ, каким оценивают учеников на экзаменах: такую-то науку данный ученик знает хорошо, такую-то плохо. «Будто в самом деле, — спрашивает Чернышевский, — малое знакомство с историей могло лишать политико-экономов знания о том, что существовали иные формы экономического быта, различные от нынешних, и будто через это отнималась у таких людей возможность чувствовать потребность новых, совершеннейших форм, отнималась возможность признавать нынешние формы не безусловными?» [2]). Дело не в сведениях, а в том, каковы чувства данного мыслителя или той группы людей, которую он представляет. Фурье знал историю не лучше, нежели Сей, а между тем пришел совсем к другим, нежели он, выводам. «Нет,— заключает Чернышевский, — кому хорошо настоящее, у того нет мысли о переменах; кому оно дурно, у того она есть, независимо от обладания историческими знаниями или хотя бы полнейшего отсутствия их» [3]).

Нельзя говорить яснее. Не сознание определяет собою бытие, а бытие определяет собою сознание. Это положение, составляющее основу философии Фейербаха, прилагается Чернышевским к об'яснению истории экономической науки, политической теории и даже философии. Чернышевский видит, что в общественном бытии есть взаимно-противоположные элементы; он видит также, каким образом борьба этих взаимно-противоположных общественных элементов вызывает и определяет взаимную борьбу теоретических идей. Но этого мало. Он видит не

---

1) Там же, стр. 139.
2) Там же, стр. 138.
3) Там же, стр. 138.

только то, что развитие всякой данной науки определяется развитием соответствующей категории общественных явлений. Он понимает, что взаимная классовая борьба должна накладывать свою глубокую печать на всю внутреннюю историю общества. Вот интересное доказательство этого.

В своих «Очерках политической экономии» он, об'яснив законы существующего в современных передовых странах «трехчленного распределения продуктов» и делая из своих об'яснений краткий заключительный вывод, высказывает следующий, чрезвычайно замечательный взгляд на внутренние пружины новейшей истории Европы: «Мы видели, что интересы ренты противоположны интересам прибыли и рабочей платы вместе. *Против сословия, которому выделяется рента, средний класс и простой народ всегда были союзниками.* Мы видели, что интерес прибыли противоположен интересу рабочей платы. Как только одерживает в своем союзе верх над получающим ренту классом сословие капиталистов и работников, история страны получает главным своим содержанием борьбу среднего сословия с народом» [1]).

Тут взгляды нашего автора поразительно совпадают со взглядами Маркса и Энгельса. Да оно и неудивительно. Чернышевский прошел ту же школу, что Маркс и Энгельс: от Гегеля он перешел к Фейербаху. Но Маркс и Энгельс подвергли философию Фейербаха коренной переработке, а Чернышевский на всю жизнь остался последователем этой философии в том ее виде, какой она имела у самого Фейербаха. Фейербаху принадлежит известное—в свое время вызвавшее много шума и негодования — выражение: Der Mensch ist, was er isst (человек есть то, чем он питается). Выше мы привели некоторые другие положения Фейербаха насчет влияния образа жизни людей на их образ мыслей. Все это совершенно материалистические положения. Однако эти положения остались у Фейербаха в совершенно неразвитом виде даже в его учении о религии. Чернышевский применил взгляды Фейербаха к эстетике, и тут он достиг, как мы увидим ниже, результатов, в известном смысле весьма замечательных. Но и здесь его выводы не были вполне удовлетворительны, потому что совершенно правильное понятие об эстетическом развитии человечества предполагает предварительную выработку общего понимания истории. Что же касается этого общего понимания истории, то Чернышевскому удалось сделать лишь

[1]) Курсив наш. Сочинения, т. VII. 415.

несколько, — правда, очень верных, — шагов в направлении к его выработке. Примерами таких шагов могут служить только что сделанные нами большие выписки из его сочинений. Эти выписки ясно показывают, что Чернышевский умел давать блестящее приложение материалистическим мыслям своего учителя. Но материалистические мысли его учителя страдали отвлеченностью там, где они касались общественных отношений людей. И эта слабая сторона мыслей Фейербаха привела к тому, что исторические взгляды его русского ученика оказались недостаточно стройными и последовательными. Главный недостаток этих исторических взглядов состоит в том, что материализм чуть не на каждом шагу уступает в них место идеализму, и наоборот, при чем окончательная победа все-таки достается идеализму.

Нам хорошо известно, как об'ясняет историю Чернышевский в тех случаях, когда он остается верным своей материалистической философии. Теперь посмотрим, как об'ясняет он ее, переходя на идеалистическую точку зрения.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Идеализм в исторических взглядах Чернышевского

Вот что читаем мы у него в статье, посвященной известной книге В. П. Боткина: «Письма об Испании» («Современник», 1857 г., кн. 2):

«Разделение народа на враждебные касты бывает одним из сильнейших препятствий улучшению его будущности, — в Испании нет этого пагубного разделения, нет непримиримой вражды между сословиями, из которых каждое было бы готово пожертвовать самыми драгоценными историческими приобретениями, лишь бы только нанести вред другому сословию, — в Испании вся нация чувствует себя одним целым. Эта особенность так необычайна среди народов Западной Европы, что заслуживает величайшего внимания, и уже одна, сама по себе, может считаться ручательством за счастливую будущность страны» [1]).

Это не описка, потому что несколькими страницами ниже Чернышевский в той же статье говорит: «Над большею частью цивилизован-

[1]) Сочинения, т. III, стр. 38.

ных наций испанский народ имеет бесспорное преимущество в одном, чрезвычайно важном отношении: испанские сословия не разделены между собою ни закоренелою ненавистью, ни существенною противоположностью интересов; они не составляют каст, враждебных одна другой, как это видим во многих других западных европейских землях; напротив, в Испании все сословия могут дружно стремиться к одной цели» [1]).

В той же статье Чернышевский категорически утверждает: «Невежество — вот коренная язва Испании» [2]), и сообразно с этим вся надежда его на возможное в будущем развитие Испании приурочивается к успехам в этой стране просвещения.

Под этими его мнениями охотно подписался бы каждый «просветитель» XVIII века и каждый социалист-утопист XIX столетия, точно так же как под вышеприведенными соображениями его о причинной зависимости общественной мысли от общественной жизни охотно подписался бы каждый марксист наших дней.

Социалисты-утописты, а отчасти также и просветители XVIII века, не закрывали глаз на *факт* борьбы классов в цивилизованном обществе. Не закрывает глаз на него и Чернышевский. Но социалисты-утописты, констатируя *факт* борьбы классов, не считали возможным опираться на него для осуществления своей программы. Им казалось, напротив, что борьба классов явится препятствием на пути к осуществлению их программы и что эта последняя гораздо скорее и легче осуществится при дружном содействии всех общественных классов. Поэтому они призывали все классы к об'единению под знаменем предстоящей социальной реформы [3]). Мы видим, что в своем отзыве о взаимоотношении классов в Испании Чернышевский очень приближается к точке зрения социалистов-утопистов.

---

[1]) Там же, стр. 44

[2]) Там же, стр. 45.

[3]) *Буржен*, в своей интересной книге: «Fourier». Contribution à l'étude du socialisme français, Paris 1905, говорит, что система Фурье заключает в себе теорию борьбы классов (стр. 596). Но Буржэн смешивает *признание факта* борьбы классов с *отношением к этому факту*. Социалисты-утописты видели факт борьбы классов, но не видели того, что Der Widerspruch ist das Fortleitende (противоречие ведет вперед), как говорил Гегель. Они не понимали, что классовая борьба есть именно тот фактор, с помощью которого осуществляется весь прогресс во внутренних отношениях общества, разделенного на классы. Только Бланки понимал историческое значение борьбы классов; но социализм Бланки составляет в этом отношении переход к научному социализму.

В своем «Манифесте» Маркс и Энгельс очень метко характеризовали эту точку зрения. «Собственно социалистические и коммунистические системы, системы Сэн-Симона, Фурье, Оуэна и т. д., появились в первый, неразвитый период борьбы между пролетариатом и буржуазией, о котором мы говорили выше. Творцы этих систем видели уже антагонизм классов, равно как и влияние разрушительных элементов внутри самого господствующего общества. Но они не видели в пролетариате никакой исторической самодеятельности, никакого, свойственного ему, политического движения».

Именно потому, что социалисты-утописты не видели в пролетариате никакой исторической самодеятельности, они обращались безразлично ко всем классам современного общества. И именно потому, что они обращались ко всем классам общества, они в пропаганде своих практических планов указывали не на то, что разъединяет эти классы, а на то, что могло бы их об'единить. А так как современное общество построено на антагонизме классов, то главные усилия пропагандистов-утопистов естественно направлялись на изображение преимуществ *будущего* общественного порядка, в котором исчезнет классовый антагонизм, уступив место всеобщей солидарности. Чтобы понять преимущества этого будущего общественного порядка, нужно только вдуматься в социальные законы, открытые данным социальным реформатором. Социалистам-утопистам казалось, как говорит уже цитированный нами «Манифест», «что достаточно было понять их системы, чтобы немедленно признать их наилучшими планами наилучшего общественного устройства». Но если вся дальнейшая история общества сводилась для социалистов-утопистов к пропаганде и практическому осуществлению их реформаторских планов, то она по необходимости представлялась им в свете идеализма. C'est l'opinion qui gouverne le monde (мнения правят миром), говорили французские просветители XVIII века. Социалисты-утописты охотно повторяли это их положение. Так, например, даже Луи Блан, которого покойный Михайловский расположен был считать «экономическим материалистом», писал в своей «Истории десяти лет»: «Истинная история нашего века заключается в истории его идей. Дипломатические подвохи, придворные интриги, шумные споры, уличная борьба, — все это не более, как волнения обществ (l'agitation des sociétés). Их жизнь не там. Она находится в таинственном развитии общих стремлений, она состоит в этой глухой выработке учений, приготовляющих революции. Ибо всегда есть глубокая причина для всех этих событий, которые, раз совершившись,

кажутся нам порожденными случайностью» [1]). В другом месте он уверяет, что история делается книгами (L'histoire est faite par des livres). Ввиду этого не удивительно, что социалисты-утописты смотрели с идеалистической точки зрения на всю дальнейшую судьбу современного им общества. Они были убеждены, что судьба этого общества будет решена «мнением», т.-е. взглядом его членов на план общественного переустройства, предлагаемый тем или другим реформатором. Они не спрашивали себя, отчего же зависит то, что в данном обществе господствуют те, а не другие взгляды. Поэтому у них не было и охоты подвергать дальнейшей разработке те элементы материалистического об'яснения истории, которые, несомненно, в бо́льшем количестве заключались в их учениях. Напротив, у них являлось предрасположение смотреть с идеалистической точки зрения и на прошлую историю человечества. Вследствие этого мы в их рассуждениях об этой истории очень не редко наталкиваемся на самые несомненные и, казалось бы, самые очевидные противоречия: факты, которые истолковывались, повидимому, в совершенно материалистическом смысле, вдруг получают совершенно идеалистическое об'яснение; и, наоборот, идеалистические об'яснения сплошь да рядом прорываются вполне материалистическими отступлениями. Эта неустойчивость, этот постоянный, заметный для современного читателя, но незаметный для автора переход от материализма к идеализму и от идеализма к материализму дают себя чувствовать и в исторических рассуждениях Чернышевского, который в этом отношении очень напоминает великих утопистов Запада. В последнем счете он, подобно им, склоняется, повторяем, к идеализму.

Это хорошо видно из его интересной статьи «О причинах падения Рима (подражание Монтескье)», напечатанной в «Современнике» 1861 г. (5-я книга). В ней он энергически восстает против того, очень распространенного мнения, что Западная Римская империя погибла вследствие своей внутренней неспособности к дальнейшему развитию, между тем как варвары, положившие конец ее существованию, принесли с собою новые семена прогресса. «Да подумайте только, что́ такое значит прогресс и что́ такое значит варвар! — восклицает Чернышевский. — Прогресс основывается на умственном развитии; коренная сторона его прямо и состоит в успехах и развитии знаний... Развивается математика, от этого развивается и прикладная механика; от развития прикладной механики совершенствуются всякие фабри-

[1]) «Histoire de dix ans», т. III, Paris 1844, p.. 89.

кации, мастерства и т. д... Разрабатывается историческое знание; от этого уменьшаются фальшивые понятия, мешающие людям устраивать свою общественную жизнь, и она устраивается успешнее прежнего. Наконец, всякий умственный труд развивает умственные силы человека, и чем больше людей выучивается читать, получает привычку и охоту читать книги, тем больше становится в ней число людей, способных порядочно вести дела, какие бы то ни было, — значит, улучшается и ход всяких сторон жизни в стране. Стало быть, основная сила прогресса — наука; успехи прогресса соразмерны степени совершенства и степени распространенности знаний. Вот что такое прогресс—результат знания. Что же такое варвар? Человек, еще погрязший в глубочайшем невежестве; человек, который занимает средину между диким зверем и человеком сколько-нибудь развитого ума... Какая польза для общественной жизни, если учреждения, — дурные или хорошие, но все-таки человеческие, все-таки имеющие в себе хоть что-нибудь, хоть несколько разумное, — заменяются животными?» [1]).

Здесь и речи нет ни о внутренних социальных отношениях Рима, причинивших его слабость и указанных еще тем же Гизо в первой статье его «Essais sur l'histoire de France», ни о тех формах общежития, которыми обусловливалась сила германских варваров в эпоху падения Западной Римской империи. Чернышевский забыл даже знаменитые им же самим цитируемые в другом месте, слова Плиния: latifundia perdidere Italiam (латифундии погубили Италию). В его «формуле прогресса», — как стали выражаться у нас впоследствии, — не оказывается места для внутренних отношений данной страны. Все дело сводится к умственному развитию. Чернышевский решительно заявляет, что прогресс основывается на умственном развитии, и что «коренная сторона его прямо и состоит в успехах и развитии знаний». Ему даже и в голову не приходит, что «успехи и развитие знаний» могут зависеть от социальных отношений, в иных случаях способствующих этому успеху и этому развитию, а в других — препятствующих им. Социальные отношения изображаются у него, как простое последствие распространения известных мнений. Мы только что прочли это: «Разрабатывается историческое знание; от этого уменьшаются фальшивые понятия, мешающие людям устраивать свою общественную жизнь, и она устраивается успешнее прежнего». Это очень непохоже на то, что говорил наш автор в статье о книге Рошера. Там у него

---

[1]) Сочинения, т. VIII, стр. 158.

выходило, кроме того, что невозможно и даже смешно судить об ученых, как о школьниках: не знал такой-то науки и потому составил себе ошибочный взгляд. Там у него выходило, кроме того, что дело не в количестве знаний у данного ученого, а в том, каковы интересы той группы, которую он представляет. Словом, там выходило, что общественные взгляды определяются общественными интересами, общественная мысль — общественною жизнью. Теперь выходит наоборот. Теперь оказывается, что общественная жизнь определяется общественною мыслью, и что если общественный строй имеет известные недостатки, то это происходит оттого, что общество, подобно школьнику, плохо или мало училось и потому составило себе ошибочные понятия. Нельзя придумать более поразительного противоречия.

И замечательно, что статья «О падении Рима» появилась в 5-й, а статья о книге Рошера в 4-й книжке «Современника» за 1861 год. Так что здесь нельзя сказать, что Чернышевский в разное время держался разных взглядов на интересующий нас здесь вопрос. Нет! Он держался разных взглядов в одно и то же время, и это характерно для него, как для человека, еще не успевшего свести к одному принципу свои исторические взгляды и потому, так сказать, одновременно державшегося и материализма, и идеализма в своих рассуждениях о ходе истории.

«Говорят, обществу стеснительны были укоренившиеся формы, — рассуждает Чернышевский далее, — значит, в обществе была прогрессивная сила, была надобность в прогрессе» [1]). На это можно возразить, — и, конечно, возражали люди, не разделявшие в этом случае идеалистического взгляда Чернышевского, — что иное дело надобность в прогрессе, а иное дело наличность в обществе силы, способной дать удовлетворение этой надобности. Нельзя смешивать эти два понятия, совершенно различные по своему содержанию: одно из них есть чисто отрицательное («надобность в прогрессе» указывает лишь на стеснительность существующих форм), другое — положительное, так как присутствие в обществе прогрессивной силы, способной совершить необходимую переделку форм общежития, предполагает известную степень умственного, нравственного и политического развития того класса или тех классов, на которых формы эти обрушиваются своими невыгодными сторонами. Если бы эти понятия были тождественны, то дело человеческого прогресса упрощалось бы до крайности, и мы не встре-

[1]) Там же, стр. 160.

чали бы в истории печального зрелища народов, падающих под тяжестью таких форм общежития, которые, при всей своей несомненной вредоносности, не могли быть устранены, потому что не было в народе живых сил, способных совершить это дело. Само собою разумеется, что мы не говорим здесь о формах, вредных решительно для всех классов данного общества. Подобные формы устраняются, можно сказать, сами собою. Но чаще всего особенно вредными для дальнейших успехов общества оказываются иные формы, невыгодные для большинства и очень выгодные для привилегированного меньшинства. Устранить подобные формы можно только в том случае, если страдающее большинство обладает хоть некоторою способностью к политической самодеятельности. А оно не всегда обладает ею. Способность эта вовсе не есть необходимое свойство угнетенного большинства. Она сама создается *экономией* данного общества. Казалось бы, не было ничего выгоднее для римских пролетариев, как поддержать законопроекты Гракхов. Но они не поддержали и не могли поддержать их, потому что социальная обстановка, в какую ставило их экономическое развитие Рима, не только не содействовала их политическому развитию, но, напротив, постоянно понижала его уровень. Что же касается высших классов, то, во-первых, смешно было бы ожидать от них политических действий, враждебных их экономическим интересам, а, во-вторых, и сами они развращались все более и более под влиянием того же хода экономического развития, который, создавая римский пролетариат, превращал его в кровожадную и тупую чернь. В конце концов дело пришло к тому, что римляне, эти всемирные завоеватели, стали мало способны к военной службе, и легионы пополнялись теми самыми варварами, которые и положили, наконец, предел существованию заживо разложившейся империи [1]). Таким образом в падении Рима, вопреки об'яснениям Чернышевского, нет ничего случайного, так как оно пред-

[1]) *Эдуард Мейер* говорит совершенно справедливо: «Erst als das Reich innerlich bereits völlig zersetzt war, haben die Barbaren, die es selbst hereingerufen, denen es das Schwert in die Hand gegeben hatte, ihm die westlichen Provinzen entrissen» («Die wirtschaftliche Entwickelung des Altertums», Jena 1895, S. 50). Ср. также стр. 52 — 63. По тому же вопросу см. небольшую, но интересную работу *А. Ф. Секретана:* «La Dépopulation de l'empire romain et les invasions germaniques». Lausanne 1908. Ср. также *Родбертуса:* «Zur Geschichte der agrarischen Entwickelung Roms» («Hildebrandts Jahrbücher für Nationalökonomie», II); в русской литературе вопрос о падении Римской империи рассматривается у проф. *Д. Петрушевского:* «Очерки из истории средневекового общества и государства», второе издание, Москва 1908 стр. 1—189.

ставляло собою естественный конец давно уже начавшегося историко-экономического движения.

Но Чернышевский совершенно иначе смотрит на вопрос о тех силах, с помощью которых могла бы быть удовлетворена общественная потребность в прогрессе. По его мнению, такие силы всегда находятся на-лицо там, где они нужны.

Наличность их обеспечивается всякому данному обществу, *во-первых, законами физиологии.* «Отживает свою жизнь организм отдельного человека; но с каждым вновь родившимся человеком является новый организм с новыми свежими силами, и при каждой смене поколений возобновляются силы народа... Пожалуйста, не противоречьте физиологии, не утверждайте, что бывают народы, состоящие из людей безголовых или не имеющих желудка, или исключительно из одних стариков, или исключительно из одних молодых людей, — ведь каждая из этих четырех фраз одинаково нелепа. Что за охота выказывать себя глупцом или лгуном» [1]).

Во-вторых, Чернышевский доказывает свою мысль еще с помощью следующего *логического соображения.* Он спрашивает себя, чьею силою были созданы те формы общежития, которые стоят на пути прогресса. На этот вопрос он с уверенностью отвечает: силою общества. А отсюда он делает тот вывод, что так как количество сил в обществе не уменьшается, то оно не может стать и бессильным над тем, над чем прежде оно было сильно: «Разве разрушать труднее, чем создавать? Подумайте, что̀ вы говорите: каменщики, построившие дом, не в силах разломать его; столяр, сделавший стол, кузнец, сковавший якорь, не в силах разрушить его» [2]).

Не все силы, существующие в данном обществе, действуют в одном направлении. История показывает, что «каменщики», «столяры» и т. д., принимающиеся за переделку «домов», «столов» и пр., должны преодолеть сопротивление тех общественных групп, которые заинтересованы в том, чтобы «дома» и «столы» сохраняли свой прежний вид. В других случаях, — т.-е. когда он был верен материалистической точке зрения, — Чернышевский сам хорошо сознавал и удачно оттенял это обстоятельство. Но «подражание Монтескье» увлекло его на точку зрения XVIII века, и он стал рассуждать, как самый чистокровный идеалист.

---

[1]) Сочинения, т. VIII, стр. 159.

[2]) Там же, стр. 160.

Окончательный вывод Чернышевского тот, что древний мир был убит исключительно волнением, овладевшим всеми кочевниками от Рейна до Амура. «Тут было ни больше, ни меньше как погибель страны от наводнения. Никакой внутренней необходимости в смерти не было. Напротив, жизнь была свежа, прогресс безостановочен. Погибель Римской империи — такая же геологическая катастрофа, как погибель Геркулана и Помпеи, как погибель страны, по которой гуляют теперь волны Зейдер-зе» [1]).

Обыкновенно считают, что статья Чернышевского «О причинах падения Рима» была направлена против Герцена, который после неудачи революции 1848 — 1849 годов разочаровался в Западной Европе и ждал осуществления социализма преимущественно от России с ее крестьянскою общиною. В своей недавно вышедшей книге о Герцене г. Ч. Ветринский с уверенностью говорит, что в статье Чернышевского нельзя не признать Герцена в воображаемом противнике, которого автор затрудняется как назвать — глупцом или лгуном [2]). Г. Ветринский не совсем точно характеризует полемический прием Чернышевского. Этот последний не говорит, что его воображаемый противник — или дурак, или лгун. Он только советует ему не признавать известных положений, признать которые может только глупец или лгун... Это, конечно, тоже крайне резко; но эта крайняя резкость не имеет того характера личного оскорбления, который она приобретает в изложении г. Ч. Ветринского. Впрочем, само по себе то предложение, что в своей статье Чернышевский оспаривал именно Герцена, и нам кажется более, чем вероятным [3]). Правда, ввиду того, что Чернышевский ополчается в своей статье против хвастовства российской самобытностью и ликования по ее поводу, можно было бы подумать, что он метит в славянофилов. Но у него на этот счет есть оговорка, заставляющая решительно отвергнуть эту мысль. Вот эта оговорка: «Мы тут говорим, разумеется, не о славянофилах: у славянофилов зрение такого осо-

---

[1]) Там же, стр. 167—168.

[2]) *Ч. Ветринский*, Герцен, Спб. 1908, стр. 355.

[3]) Герцен принял статью «О падении Рима» на свой счет, равно как и Огарев, который в одном из своих писем говорил по ее поводу, что «это стыдно продавать так Христа, т.-е. правду и дело, непозволительно. Это то, что христиане называли преступлением против духа» (См. ст. *М. К. Лемке*: «Дело Н. Г. Чернышевского», «Былое», 1906 г., № 3). С этим, разумеется, ни в каком случае нельзя согласиться. Восставать против полуславянофильства Герцена и Огарева еще совсем не значило «грешить против духа».

бенного устройства, что на какую у нас дрянь ни посмотрят они, всякая наша дрянь оказывается превосходной и чрезвычайно пригодной для оживления умирающей Европы... Мы говорим не о таких людях: их мало, и спорить с ними не стоит, мы говорим не про чудаков, а про людей, рассуждающих по обыкновенному человеческому смыслу» [1]). Уже отсюда видно, что Чернышевский не имел о своем воображаемом противнике такого низкого мнения, какое приписывает ему г. Ветринский. Но это мимоходом. Важно здесь то, что, по словам Чернышевского, его «воображаемый противник», кроме общинного землевладения, не видит в России ничего такого, чему полезно было бы распространиться от нас на передовые страны и чем мы могли бы содействовать их оживлению. Это позволяет почти с полною уверенностью сказать, что статья Чернышевского направлялась против известного взгляда Герцена об отношении России к «старому миру». Чернышевский решительно отвергает этот взгляд: Европе нечему учиться у нас, «потому что сама она гораздо лучше нас понимает, какие новые порядки ей нужны, как их устроить и какими способами вводить. Значит — оживлять нам ее ровно уж нечем» [2]).

Это было совершенно правильно, как правильно было и то, что у нас нет никакого основания хвастаться нашей самобытностью, сводящейся к страшной отсталости. За Чернышевским навсегда останется заслуга борьбы с таким хвастовством, от кого бы оно ни исходило. Взгляд Герцена на отношение России к «старому миру» составился под сильным влиянием славянофилов и был ошибочным. Но и к ошибочному взгляду можно притти, держась более или менее правильного метода, точно так же, как правильный взгляд может получиться в результате употребления более или менее ошибочного метода. Поэтому позволительно спросить себя, как относился тот метод, с помощью которого Герцен выработал свой ошибочный взгляд, к тому методу, который привел Чернышевского к совершенно заслуженному отрицанию и осмеиванию этого взгляда.

Половина ответа на этот вопрос у нас уже готова: мы видели, что в своих рассуждениях о причинах падения Рима Чернышевский держался *чисто-идеалистического метода*. А так как мы считаем этот метод ошибочным по существу, то мы скажем, что хотя Чернышевский был прав в своем резко отрицательном отношении к полуславянофиль-

[1]) Сочинения, т. VIII, стр. 173.

[2]) Там же, та же страница.

скому взгляду Герцена на судьбы, ожидающие Западную Европу, но этот правильный результат был все-таки получен у него с помощью ошибочного метода. А что можно сказать в этом случае о Герцене?

Ход его мыслей был таков: западные народы живут при одних экономических условиях; русский народ при совершенно других. На Западе господствует мелко-буржуазная собственность; русский народ склоняется к общинной собственности. Поэтому западные народы насквозь пропитаны мещанским духом, непримиримо враждебным социализму, между тем как русский народ есть едва ли не наиболее антимещанский народ в мире и, вследствие этого, едва ли не более всех других народов способен к осуществлению социалистического идеала.

В этих рассуждениях Герцена было очень много фактических ошибок и очень не мало логических промахов. Поэтому они и привели его к ошибочным результатам. Но как бы ни были ошибочны те результаты, к которым они привели Герцена, нельзя все-таки не признать, что они отчасти опирались на ту верную, хотя и не продуманную до конца мысль, что *сознание определяется бытием*. И *поскольку* Герцен держался этой совершенно правильной мысли, — повторяем, она далеко не достигла у него полной ясности и далеко не была продумана до конца, — *постольку* он был ближе, нежели Чернышевский, к тому материалистическому об'яснению истории, которое одно только и может открыть нам истинные пружины общественного развития [1]).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Ход общественного развития

Мы сейчас видели, что статья «О причинах падения Рима» была направлена против полуславянофильского хвастовства российской самобытностью. Теперь пора прибавить, что она направлялась не только против него. Чернышевский восставал в ней также против того, что он считал неосновательным и вредным оптимизмом в теориях западно-

[1]) Герцен писал, что судьба Запада зависит от того, победит или же будет побежден народ в своей борьбе с высшими классами. «Если народ сломится, Новый Китай (Англия. *Г. П.*) и Новая Персия (Франция. *Г. П.*) неминуемы. Но если народ сломит, неминуем *социальный переворот* («Колокол», №№ 40 и 41, 15 апр. 1859, ст. «Дж. Ст. Милль и его книга „On Liberty“»). Против таких положений нельзя возражать ссылками на «*физиологию*», тут необходимо апеллировать к *общественной экономии*, чего именно здесь-то и не делает Чернышевский.

европейских историков школы Гизо. Не мешает напомнить читателю, что внешним поводом для появления названной статьи послужил выход, в русском переводе г. М. Стасюлевича, первой части «*Истории цивилизации во Франции от падения Западной Римской империи*» Гизо. Оспаривая взгляд Герцена, Чернышевский выступает в то же время решительным противником исторического оптимизма. Высказав твердое убеждение в том, что погибель Римской империи была «геологической катастрофой» вроде той, от которой погибли Геркулан и Помпея, он говорит:

«Подобные случаи погибели предмета, погибели дела от внешних разрушительных сил, как бы ни здорово было дело, как бы ни исполнен был жизни предмет, встречаются ежедневно в частном быту, встречаются бесчисленное число раз в истории, только никогда не происходила эта гибель в известной нам истории в таком огромном размере, как при погибели всего древнего цивилизованного мира. Не толкуйте же о разумности, о благотворности этих катастроф. Лошадь ударила человека подковою по виску, и он умер, — какая тут разумность, какие тут внутренние причины смерти? Лиссабон разрушен землетрясением, виноваты ли в том достоинства или недостатки португальской цивилизации? Поднимается самум, заносит песком караван в сахарской степи, — не доказывайте, что верблюды и лошади были плохи, люди глупы, товары не хороши» [1]).

В историческом оптимизме Гизо Чернышевского возмущала склонность находить, что победители всегда правы, а побежденные виноваты. Чернышевский называет эту склонность пошлостью и говорит, что на свете всяко бывает: иногда побеждают правые, а иногда и виноватые. Он применяет к истории слова Шиллера «В торжестве победителей»:

Скольких добрых жизнь поблекла!
Скольких низких рок щадит!
Нет великого Патрокла,
Жив презрительный Терсит!

Германские варвары, разрушившие Западную Римскую империю, остаются в изображении Чернышевского чем-то вроде «презрительного Терсита», по крайней мере, до тех пор, пока они не покидают своих варварских порядков. Он так характеризует общественный по-

[1]) Сочинения, т. VIII, стр. 168.

рядок, водворившийся после крушения римского государства: «По завоевании римских провинций, каждый человек из племени завоевателей разбойничает, грабит и режет, кого ему вздумается, из завоеванного ли населения, из своих ли товарищей, пока кто-нибудь зарежет его, а вождь между тем рубит головы у всех, кто попадется ему в лапы» [1]). Из этого разбоя, продолжавшегося несколько веков, вышел, наконец, феодализм. Но и феодальный порядок вовсе не был прогрессом сравнительно с тем общественным бытом, какой существовал в Римской империи. В Риме все-таки была некоторая законность, а феодализм был грабежом, возведенным в систему, междоусобицей, подчиненной известным правилам. Конечно, даже и феодализм был шагом вперед по сравнению с VI и VII столетиями. Но, по замечанию Чернышевского, он был шагом вперед лишь в том смысле, в каком старинные итальянские разбойники, бравшие выкуп, были лучше прежних разбойников, резавших без выкупа. Когда феодализм уступил свое место централизованной бюрократии, что случилось не раньше XVII века, в новой Европе утвердилась та форма, которая господствовала в Риме уже в третьем веке.

«Вот теперь и рассуждайте о благодетельном влиянии завоевания римских провинций варварами, — заключает Чернышевский. — Вся благотворность этого события состояла в том, что передовые части человеческого рода низвергнуты были в глубочайшую бездну одичалости, из которой едва успели вылезть до прежнего положения после неимоверных 14-вековых усилий» [2]). Эти строки показывают, что в исторических взглядах нашего автора отводится чрезвычайно широкое место *случайности*. Можно сказать, что все направление западно-европейской истории в продолжение 14 веков, последовавших за падением Римской империи, определилось, по его мнению, одной колоссальной случайностью или, как выражается он в другом месте, геологической катастрофой: нашествием варваров. Выражение «геологическая катастрофа» приводит нам на память Кювье, у которого геологическими катастрофами об'яснялись судьбы фауны и флоры земного шара. Мы уже знаем, что Чернышевский отвергал теорию Кювье, держась точки зрения трансформизма. И вот спрашивается, каким образом трансформизм уживался в его исторических взглядах с учением о случайностях и катастрофах, на целые столетия определяющих собой исторические судьбы народов?

[1]) Там же, стр. 169.
[2]) Там же, стр. 171.

Ставя этот вопрос, мы вовсе не хотим намекнуть на то, что трансформизм не согласим с понятием о катастрофах. Если под катастрофами понимать *перерывы в постепенности развития,* — так называемые скачки в природе или в истории, — то непростительно было бы забывать, что еще Гегель очень ясно показал в своей «Логике» полную неизбежность «катастроф» во всякой сколько-нибудь стройной теории развития. Нам много раз случалось высказываться об этом предмете в других своих сочинениях, и мы не считаем нужным возвращаться к нему теперь. Но если «катастрофы» логически неизбежны во всякой сколько-нибудь стройной теории развития, то этим бесспорным обстоятельством вовсе еще не определяется, в какой мере может быть признана стройной данная теория, отводящая место «катастрофам». Когда мы спрашиваем, как уживался трансформизм Чернышевского с его учением о «катастрофах», мы хотим выяснить себе, умел ли он взглянуть на «катастрофы», как на один из моментов развития. Это—один из самых важных вопросов, возникающих при оценке всякой данной общественной или исторической теории.

Ответ на этот вопрос надо искать в библиографической заметке Чернышевского о другом сочинении Гизо, тоже посвященном истории цивилизации, но уже не специально во Франции, а во всей Европе. Русский перевод этого сочинения вышел в 1861 году, и в 9-й книжке «Современника» за тот же год Чернышевский дал о нем свой отзыв.

Гизо характеризуется в этой заметке, как серьезный ученый, глубоко изучивший те предметы, о которых он говорит. Если у него много несправедливых мыслей, то каждую из этих мыслей Чернышевский все-таки считает заслуживающей внимательного разбора. Главная особенность и главное достоинство исторических трудов Гизо состоят в том, что их автор устраняет из своего плана рассказ об отдельных событиях и сосредоточивает все свое внимание на характеристике общего духа событий, учреждений и понятий в каждую данную эпоху. Главным же недостатком этих трудов, в глазах Чернышевского, является, как мы уже знаем, излишний оптимизм в суждениях об исторических событиях [1]). Ученым основанием излишнего оптимизма послужило у Гизо одностороннее понятие о прогрессе. Какова бы ни была Западная Европа в XIII веке, но все-таки ее положение было тогда лучше, нежели в X веке. То же можно сказать о XVII столетии: положение Европы было тогда лучше, нежели 400 лет тому назад. Наконец, нынешнее время,

[1]) Сочинения, т. VI, стр. 347.

каково бы оно ни было само по себе, все-таки лучше XVII столетия. Судьбы европейского человечества постоянно, хотя и медленно улучшаются. Это неоспоримо. Но из этого неоспоримого факта оптимисты, подобные Гизо, делают неправильные выводы.

Причина постоянных, хотя и медленных улучшений в быте европейского человечества лежит, по словам Чернышевского, «в натуре самих европейских народов, которые, подобно всем другим народам, не лишены стремлений к просвещению, к правде и ко всему другому хорошему» [1]. К числу хороших свойств человеческой природы относится также врожденная способность и охота трудиться. Всеми этими хорошими качествами человеческой природы и об'ясняется постепенное улучшение судеб человечества. «Масса трудится, и понемногу совершенствуются производительные искусства. Она одарена любознательностью или, по крайней мере, любопытством, и постепенно развивается просвещение; благодаря развитию земледелия, промышленности и отвлеченных знаний, смягчаются нравы, улучшаются обычаи, потом и учреждения; всему этому причина одна — внутреннее стремление массы к улучшению своего материального и нравственного быта» [2].

Но это внутреннее стремление массы к улучшению своего быта осуществляется при условиях, — Чернышевский говорит: под влиянием форм, — не всегда для него благоприятных. Условия эти, по словам нашего автора, «происходят из совершенно других начал и поддерживаются совершенно иными средствами». Для примера Чернышевский берет феодализм: «Что общего имел он с трудолюбием или любознательностью? Произошел он из завоевания, целью его было присвоение плодов чужого труда, поддерживался он насилием, ученых стремлений феодалы не имели; они хотели проводить в лености все время, остававшееся у них от войн, турниров и тому подобных занятий» [3]. Поэтому нельзя утверждать, что феодализм был полезен труду в каком бы то ни было отношении. Если труд достигал каких-либо результатов, то это происходило наперекор феодализму, а не благодаря ему. То же надо сказать и об успехах знаний. Если эти успехи имели место, то опять-таки не благодаря феодализму, а вопреки ему. Этим об'ясняется медленность прогресса; этим об'ясняется то, что цивилизация до сих пор остается неудовлетворительною. Чернышевский говорит: «Ни в чем,

[1]) Там же, стр. 348.
[2]) Там же, та же страница.
[3]) Там же, та же страница.

кроме натуры человека, не находила себе цивилизация поддержки, а люди, трудом и любознательностью которых вырабатывалась она, находились в положении чрезвычайно стесненном, так что деятельность их была очень слаба и беспрестанно подвергалась помехам, уничтожавшим большую часть даже того немногого, что успевала она произвести. Едва приобретает она некоторые успехи в городах верхней Италии, как идут на нее полчища немцев, и результатом борьбы императоров с папами оказывается подчинение ломбардских и тосканских городов игу кондотьеров; едва начинает расцветать трудолюбие и наука в южной Франции, как Иннокентий III указывает полчищам северной Франции эти цветущие области, провозглашая истребление альбигойцев. Так или иначе, та же самая история постоянно повторялась повсюду в Западной Европе» [1]).

Хотя прогресс совершался *благодаря* человеческой природе и *вопреки* тем формам, при которых ей приходилось осуществлять свои стремления, однако историки, склонные к оптимизму, относили его именно на счет этих форм, повторяя логическую ошибку, выражающуюся в формуле: post hoc, ergo propter hoc. Они говорили: «прогресс совершился при этой форме, значит он был вызван ею». Чернышевский замечает, что, следуя такой логике, нужно было считать зиму причиной теплоты, сохраняющейся в жилищах наперекор влиянию внешнего холода. И он находит, что Гизо более всех других историков повинен в таком грехе против логики: у него каждый значительный факт непременно оказывается содействовавшим прогрессу [2]).

Не касаясь тех причин, которыми Чернышевский об'ясняет оптимизм Гизо, мы постараемся анализировать его собственные рассуждения.

Прежде всего мы заметим, что в основе всех его, относящихся сюда, рассуждений лежит мысль, противоречащая тому, что мы узнали из статьи «Антропологический принцип в философии». Там он говорил, что человек по своей природе не добр, не зол, а делается добрым или злым, смотря по обстоятельствам. Теперь оказывается, что человеческая природа стремится «к просвещению, к правде, ко всему хорошему» и что она настойчиво осуществляет это стремление, вопреки неблагоприятным для нее обстоятельствам. А в чем состоят эти обстоятельства? В поступках людей, которые убивают своих ближних,

[1]) Там же, та же страница.
[2]) Там же, стр. 448—449.

грабят их и прерывают их полезный труд всяческими насилиями. Но если поступки такого рода, в свою очередь, об'ясняются природой человека, то неполна делаемая здесь Чернышевским характеристика человеческой природы: тогда надобно сказать, что в природе человека лежит стремление не только ко всему хорошему, но также и ко всему дурному. А раз мы дополнили таким образом характеристику природы человека, перед нами неизбежно возникает вопрос: почему же в одних случаях брали верх свойственные этой природе хорошие стремления, а в других — дурные? Если мы скажем, — как это говорит наш автор в статье «Антропологический принцип в философии», — что тут все зависело от обстоятельств, то это будет справедливо. Но тогда перед нами немедленно возникнет вопрос о том, каковы же были обстоятельства, позволившие проявиться тем злым началам человеческой природы, которые привели, например, к возникновению феодализма. На этот вопрос в рассуждениях Чернышевского вовсе нет ответа; но зато в них встречаются замечания, дающие нам повод думать, что он вряд ли согласился бы отнести на счет человеческой природы злые поступки вроде резни, завоеваний, эксплоатации чужого труда и т. п. Он утверждает, как мы видели, что формы быта, при неблагоприятном влиянии которых «вырабатывается прогресс», происходят из совершенно других начал. Откуда берутся эти начала, остается неизвестным. Но откуда бы ни выводил их здесь наш автор, ясно, что, только покинув ту точку зрения, которая защищалась им в статье «Антропологический принцип в философии», мог он отказаться выводить их из человеческой природы.

Пойдем далее. Формы, при которых совершается прогресс, не всегда благоприятны для него. Хорошо. Какие же это формы? Чернышевский указывает на феодализм. Но феодализм представляет собою целую и довольно сложную совокупность общественных отношений. Какую же сторону этих отношений имеет в виду Чернышевский? Он больше всего останавливается на войнах, грабежах, завоеваниях и т. п. Всмотримся и мы в эту сторону феодальных отношений.

Конечно, война до известной степени определяет собою общественный строй, но, прежде чем определять его, она сама определяется им. Поэтому, — и только поэтому, — она имеет различный характер на различных ступенях общественного развития: дикари воюют между собою иначе, нежели варварские племена, а варварские племена иначе, нежели цивилизованные народы. Последствия завоевания также не одинаковы на различных ступенях общественного развития. Когда нор-

манны завоевали Англию, то последствия получились одни, а когда немцы завоевали Эльзас-Лотарингию, то последствия получились совершенно иные. Общественные последствия завоевания всегда зависели от общественных отношений, господствовавших в среде завоевателей с одной стороны и в среде завоеванных — с другой. Что касается собственно феодализма, рассматриваемого с интересующей нас здесь стороны, то нужно помнить, что появление особого сословия, на обязанности которого лежало занятие военным делом, предполагало длинный процесс социального развития, состоявший в изменении имущественных, главным образом поземельных, отношений и в обусловленном этим изменением разделении общественного труда [1]). И этот процесс совершался на известной экономической основе, которая странным образом совершенно упускается из виду нашим автором. Он говорит, что, следуя своему хорошему стремлению, средневековые люди трудились и что их труду мешали такие «формы», как феодализм. Но положим, что не было бы феодализма и других подобных ему неблагоприятных для труда «форм». Спрашивается, какой вид приняла бы тогда общественная группировка? Какие «формы» сложились бы под влиянием не встречающего препятствия стремления к труду? Чернышевский, вероятно, ответил бы, что тогда процвели бы те или другие разновидности общинного быта. Но каковы были бы пределы общин, развивающихся при столь благоприятных обстоятельствах. И нет ли основания предполагать, что возникли бы трения между общинами? А если есть такие основания, то не имеем ли мы право думать, что эти трения привели бы к войнам, к угнетению слабых сильными и ко всем тем явлениям, наличностью которых Чернышевский об'яснял медленное развитие цивилизации?

Отводя насилию преувеличенную роль в средневековой истории западно-европейских обществ, Чернышевский следовал примеру своих учителей — социалистов утопического периода, со своей стороны следовавших примеру французских историков времен реставрации.

Эти историки очень хорошо умели ценить роль борьбы классов в развитии европейского общества. Гизо говорил, что вся история Франция сделана борьбою классов [2]). На Великую Французскую революцию французские историки названной эпохи тоже смотрели, как на резуль-

---

[1]) Ср. названное выше соч. *Д. Петрушевского* «Очерки из истории средневекового общества и государства», стр. 234—256 и 290—309.

[2]) Интересно, что эту сторону взглядов Гизо Чернышевский оставил без внимания.

тат борьбы «третьего сословия» со светской и духовной аристократией. Так как они были идеологами буржуазии, то естественно, что все их симпатии были на стороне «третьего сословия». Как ни склонен был, например, Гизо к оптимизму, но и его оптимизм сводился в сущности к тому убеждению, что вся история Европы со времени падения Западной Римской империи так или иначе подготовляла торжество «третьего сословия» или, — как точнее выражался Гизо, — средних классов. И поскольку эти ученые смотрели на эту историю, как на закономерный процесс, постольку они видели в ней именно процесс, подготовляющий торжество буржуазии. Достаточно напомнить Огюстэна Тьерри с его превосходной для этого времени «Историей третьего сословия». Стоя на точке зрения средних классов, Огюстэн Тьерри и другие современные ему великие французские историки не питали никакой симпатии к феодализму. И хотя они вполне готовы были признать закономерность его исторического появления, однако оно было изучено ими плохо и об'яснялось преимущественно завоеванием. Одни из них, например Гизо, очень легко мирились с фактом завоевания и весьма охотно распространялись об его благих последствиях, которые, впрочем, как уже сказано, состояли преимущественно в том, что подготовляли более или менее отдаленное торжество среднего класса. Другие, например, Огюстэн Тьерри, относились к факту завоевания с большой и даже почти страстной антипатией. Но, как бы там ни было, все они об'ясняли возникновение феодализма именно завоеванием, в противность буржуазному порядку, развитие которого об'яснялось у них преимущественно экономическими причинами. С точки зрения современной экономической науки, открывшей экономические причины возникновения феодализма, эта особенность, свойственная взглядам французских историков времен реставрации, конечно, должна быть признана слабой стороной этих взглядов. Но социалисты-утописты смотрели на этот вопрос иначе. Слабая сторона взглядов французских историков представлялась им, наоборот, сильною их стороною, доставлявшей им новые доводы против основ существующего общественного порядка: собственность, оказывающаяся последствием завоевания, лишалась того священного вида, какой старались придать ей консерваторы. Поэтому социалисты-утописты вовсе не расположены были пополнять указанный пробел во взглядах историков. Не расположен был к этому, — как мы только что видели, — и Чернышевский. Он, подобно всем социалистам-утопистам, приписывал завоеванию преувеличенное значение. Он не замечал, до какой степени несогласим его взгляд на

«формы», подобные феодализму и будто бы противные природе человека, с тем, что говорилось в очень одобренной им речи Грановского о значении истории. Читатель помнит, что в этой речи исторические судьбы народов и даже их социальный быт ставились в причинную зависимость от свойств географической среды. И мы уже отметили, что влияние этой среды самим Чернышевским принималось в смысле облегчения или затруднения *экономического* развития общества, как главнейшей основы его строя.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Чернышевский и Маркс

Мы уже не раз говорили, что Чернышевский, подобно Марксу, прошел школу Фейербаха. Мы говорили также, что, между тем как Чернышевский продолжал держаться взглядов Фейербаха, применяя их к некоторым отдельным отраслям знания, — например, к эстетике, — Маркс, в сотрудничестве с Энгельсом, подверг эти взгляды коренной переработке, в особенности с той их стороны, которая имела отношение к истории. Интересно сравнить результаты, к которым пришли Маркс и Энгельс в своем об'яснении истории, с теми выводами, к которым пришел в той же области наш автор. Материал для весьма наглядного сравнения может дать большая и чрезвычайно содержательная рецензия Маркса на сочинение Гизо: «Pourquoi la révolution d'Angleterre a-t-elle réussi? Discours sur l'histoire de la révolution d'Angleterre», Paris 1850, появившаяся первоначально в *журнале* Маркса «Neue Rheinische Zeitung» и переизданная Мерингом в III томе «Литературного наследства Маркса, Энгельса и Лассаля».

Главный упрек, делаемый Марксом Гизо в этой рецензии, состоит в том, что французский ученый применяет к об'яснению истории Англии обычные фразы, употребляющиеся во французских парламентских спорах, упуская из вида экономическое развитие этой страны и обусловленную его ходом борьбу классов внутри английского общества. Говоря о влиянии религиозных учений на ход английской революции. Гизо забывает, что учения эти стояли в тесной причинной связи с развитием гражданского общества. Изгнание Стюартов из Англии тоже изображается без всякой связи даже с его ближайшими экономическими причинами, например, с опасениями поземельной аристократии за те земли, которые достались ей вследствие секуляриза-

ции церковных имений и которые, разумеется, были бы отобраны у нее, если бы восторжествовал католицизм, пользовавшийся поддержкой Стюартов, и т. д.[1]). О человеческой природе, о том, как относятся к ней некоторые формы общественного быта, в этой рецензии Маркса нет и речи: очевидно, он уже в то время, к которому она относится, твердо держался принципа, высказанного им потом в «Капитале» и гласящего, что, благодаря воздействию человека на внешнюю природу в процессе производства, изменяется его собственная природа. Короче, Маркс уже в 1850 году, — когда была написана им эта рецензия, — судит о Гизо, как материалист, между тем как Чернышевский в заметках, написанных 10 лет спустя, противопоставляет рассуждениям французского историка лишь чисто идеалистические соображения.

Заметим мимоходом, что Маркс был не совсем прав в своем отношении к Гизо. Этот последний далеко не так чужд приемов материалистического об'яснения исторических событий, как это можно подумать на основании рецензии Маркса. Впоследствии Энгельс гораздо справедливее высказывался о французских историках времен реставрации. Но для Маркса характерно в указанной рецензии даже его слишком строгое отношение к Гизо: оно вызвано было ничем иным, как раздражением при виде элементов идеализма, несомненно занимавших очень большое место в исторических взглядах французского историка. Чернышевский тоже раздражается против Гизо, но он раздражается не тем, что Гизо все-таки оставался в конце концов идеалистом, а тем, что суждения этого ученого не всегда были достаточно пропитаны той разновидностью идеализма, которой придерживались социалисты утопического периода и в силу которой они не *об'ясняли* истории, а только порицали или одобряли те или другие исторические явления.

Характеризуя диалектический метод, Чернышевский говорил, что в действительности все зависит от условий места и времени и что поэтому неудовлетворительны те общие, отвлеченные положения, с помощью которых люди судили прежде (до Гегеля) о добре и зле. Критикуя взгляды Гизо, он сам начинает судить об исторических событиях с точки зрения этих отвлеченных положений. Но в том-то и дело, что ему редко случалось смотреть на историю с диалектической точки зрения.

Маркс и Энгельс никогда не отрицали исторического значения развития идей вообще и научных понятий в частности. Однако они твердо

---

[1]) «Aus dem literarischen Nachlass von Karl Marx, Friedrich Engels und Ferdinand Lassale», Dritter Band, Stuttgart 1902, S. 412—413.

помнили, что не бытие определяется сознанием, а сознание бытием, и что, следовательно, не история идеологий об'ясняет собою историю общества, а, наоборот, история общества об'ясняет собою историю идеологий. Чернышевский также хорошо видел это в отдельных случаях. Мы уже знаем тому блестящие примеры. Но, когда он сводил в одно целое свои отдельные исторические взгляды, он как будто совсем забывал свои материалистические мысли и ставил развитие бытия в причинную зависимость от развития сознания. Самые замечательные в этом отношении страницы его находятся в его рецензии на книгу Новицкого «Постепенное развитие древних философских учений в связи с развитием языческих верований» («Современник», 1860 год, № 6, перепечатана в Полн. собр. сочин.).

В этой рецензии Чернышевский сравнивает историю человечества с военными походами. При военных походах появляются обыкновенно отсталые, число которых все более и более увеличивается, по мере того как все более и более подвигается вперед армия со своим генеральным штабом. При быстрых наступлениях бывает иногда так, что большинство солдат остается назади. Эти отсталые уже не участвуют в битвах и только обременяют собою своих, находящихся в строю, товарищей, на плечи которых и падает вся тяжесть борьбы. Но когда их борьба оканчивается победой, когда враги приводятся к покорности, а победители получают возможность отдохнуть, — тогда отсталые мало-по-малу нагоняют передовых, и в конце концов вся армия опять соединяется под своими знаменами, как это было в начале похода. То же самое замечается и в умственном движении человечества. Сначала все народы идут наравне: древние греки имели некогда такие понятия, какие и теперь свойственны готтентотам. Потом некоторые народы стали уходить вперед, а другие отставать от них. Греки, изображенные Гомером, были уже передовым народом сравнительно с какими-нибудь троглодитами или лестригонами. Далее и между греками стали появляться отсталые и передовые. Так, например, уже в эпоху Солона спартанцы далеко отставали от афинян. Потом и в среде самих афинян возникло разделение. «Мудрость Солона, — говорит Чернышевский, — была понятна и доступна каждому афинскому гражданину, а Сократ кажется уже вольнодумцем большинству своих соотечественников» [1]). То же видим мы и в новой истории. Первоначально вся масса людей, населявшая провинции бывшей Западной Римской импе-

[1]) Сочинения, т. VI, 265.

рии, имела одинаковый взгляд на вещи: «Папа в VII или VIII веке отличается от самого необразованного французского или ирландского поселянина только тем, что больше его помнит текстов и молитв, а не тем, чтобы иначе разумел смысл их». Через несколько времени дело изменяется: «различие сословий по материальному положению производит разницу и в их умственной жизни» [1]). Церковные богатства дают возможность образоваться теологам, между которыми самые даровитые принимаются уже за переделку старых понятий. Вместе с этим идет вперед и наука, которая тоже развивает в себе содержание, понятное лишь для специалистов и потому недоступное массе. Эти успехи знаний «основаны на материальных средствах, которыми располагает духовенство и среднее сословие; горожане участвуют и в произведении новой поэзии, уже недоступной всему народу, остающемуся при прежних сказках и песнях: в городских цехах составляются компании мастеров поэзии, мейстерзингеров; но еще больше содействуют этой перемене богатства феодальных баронов, у которых являются придворные поэты-трубадуры» [2]). Но в средние века расстояние между передовыми людьми и массой было все-таки меньше, нежели оно стало в новое время, когда наука начала развиваться с замечательною быстротою, между тем как огромное большинство населения продолжало оставаться в невежестве, очень близком к тому, в каком оно находилось в IX или X веке. Не менее быстро развивалась и поэзия образованных сословий, между тем как масса оставалась при искаженных клочках общенародной поэзии средних веков. Подобное же отношение существует даже в среде образованных людей. Чернышевский приводит пример Шекспира. «Мы видим, — говорит он, — что очень немногие английские поэты прошлого века понимали Шекспира и очень немногие люди в образованной публике умели ценить этого поэта. Остальные очень долго продолжали держаться надутой реторики или холодной прилизанности, которая принадлежала степени поэтического развития несравненно низшей, чем Шекспировская натуральность. То же самое происходило и продолжает происходить повсюду во всех направлениях умственной жизни [3]).

Отсталость всегда была до сих пор участью большинства. Так продолжает быть и теперь. Но отсюда еще не следует, что так всегда

---

[1]) Там же, стр. 266.
[2]) Там же, та же стр.
[3]) Там же, 267.

будет. Завоеванная истина так проста, так понятна каждому, что принять ее гораздо легче, нежели открыть. И она будет принята массой, когда дойдет до ее сведения.

Чернышевский так резюмирует свой взгляд на ход умственного развития человечества: «Дело начинается постепенным выделением людей высшего умственного развития из толпы, которая все дальше и дальше отстает от их быстрого движения. Но по достижении очень высоких степеней развития умственная жизнь передовых людей получает характер, все более и более доступный простым людям, все больше и больше соответствующий простым потребностям массы, и вторая, высшая половина исторической умственной жизни состоит по своему отношению к умственной жизни простолюдинов в постепенном возвращении того единства народной жизни, которое было при самом начале и которое разрушалось в первой половине движения».

По словам Чернышевского, завоеванная истина сообразна с потребностями массы. Какая же это истина? Это, очевидно, не математическая и не естественно-научная истина. Математические и естественно-научные истины не имеют непосредственного отношения к интересам массы. А если бы и было у них такое отношение, то все-таки для их понимания нужна была бы известная, более или менее значительная специальная подготовка. Чернышевский намекает на истину, касающуюся взаимных отношений людей в обществе. Он считал, что эта истина уже открыта его западно-европейскими учителями — Фейербахом и великими представителями утопического социализма: Робертом Оуэном, Фурье и другими. Поэтому он полагал, что уже началась или скоро начнется вторая половина исторической умственной жизни человечества, та высшая его половина, в течение которой откроется, наконец, истина и распространится в массе, вследствие чего масса сблизится в своих понятиях с самыми передовыми людьми. Ручательством за возможность усвоения массой открытой, наконец, истины служит, во-первых, ее простота, а во-вторых, ее соответствие с интересами массы. Тот самый расчет, которым обыкновенно руководствуются люди в своих поступках, заставит массу не только усвоить истину, но и воплотить ее в своей общественной жизни. Так представляется Чернышевскому дальнейший ход общественного развития. Сознание определит собою бытие, и поэтому нет надобности исследовать, в какой мере и какое именно общественное бытие может содействовать усвоению массой социальной истины. Истина эта так проста, что ее поймет всякий человек, способный к самому элемен-

тарному расчету. Это представление о дальнейшем ходе общественного развития прямо противоположно тому, который мы находим у основателей научного социализма. Когда Маркс и Энгельс делали свой известный «прогноз», они апеллировали ко внутренним противоречиям капиталистического общества и доказывали, что неизбежное и неотвратимое развитие этих противоречий капитализма приведет огромное большинство производителей к усвоению новых общественных идеалов. Ход развития *сознания* рассматривался здесь, как необходимое следствие определенного хода развития *бытия*. Чернышевский не анализирует внутренних противоречий, свойственных общественному бытию. Он довольствуется констатированием того факта, что «форма» этого бытия повсюду неблагоприятна теперь для огромной массы населения. Этого факта достаточно, по его мнению, для того, чтобы масса усвоила социальную истину. Крайняя простота этой истины делает ее доступной для понимания «простолюдинов», живущих при самых различных отношениях производства. Дальнейший ход развития бытия представляется Чернышевскому простым следствием известного завоевания сознания. Маркс и Энгельс смотрели на вопрос с точки зрения материализма. Чернышевский рассматривал этот же вопрос с идеалистической точки зрения. Исторические взгляды Маркса и Энгельса были верны материалистическому духу Фейербаховой философии. Исторические взгляды Чернышевского противоречили этому духу. Конечно, тут безусловно необходимо помнить, что в своих исторических взглядах учитель Чернышевского сам был неверен основным положениям своей философии, как это показано Энгельсом в брошюре «Людвиг Фейербах».

Слишком прямолинейный характер понятия Чернышевского о прогрессе ясно обнаруживается в том, что говорится у него о Шекспире. Правда, что только очень немногие образованные англичане XVIII века умели ценить великое достоинство сочинений гениального драматурга, большинство же английской публики того времени смотрело на него довольно пренебрежительно. Но это об'ясняется вовсе не отсутствием знаний у этого большинства. Факт тот, что в то время, когда огромнейшая часть так называемой образованной публики смотрела на Шекспира сверху вниз, городские «простолюдины», имевшие, конечно, меньше литературных знаний, чем тогдашние «образованные» люди, относились к нему с большою и нередко довольно бурно выражаемой симпатией. Об'яснение этого факта заключается в некоторых особенностях классовой психологии в английском обществе XVIII, а также XVII века. Со времени реставрации, английская аристократия стреми-

лась перенести к себе на родину вкусы блестящего французского дворянства, которым очень мало соответствовал грубоватый и подчас прямо «простонародный» реализм Шекспира. Но за этот-то реализм его и любили «простолюдины». Как видим, история взгляда англичан на Шекспира была на самом деле много сложнее, нежели думал Чернышевский, на этот раз опять позабывший свои собственные прекрасные слова о том, что на историю мнений нельзя смотреть с точки зрения экзамена: люди знали одно, а не знали другого и т. д.

Только что изложенная рецензия еще раз показывает нам, что в своих исторических рассуждениях наш автор часто переходил с идеалистической точки зрения на материалистическую, и наоборот. Заключающееся в ней понимание истории пропитано духом идеализма. Но, когда Чернышевский рассматривает отдельные исторические явления, обусловливавшие собою успехи умственной жизни человечества, он нередко рассуждает, как материалист. «Различие сословий по материальному положению производит разницу и в их умственной жизни», — говорит он. Успехи средневекового просвещения основывались, по его словам, на материальных средствах, находившихся в распоряжении духовенства, среднего сословия и феодальных баронов. Таким образом выходит, что развитие мысли отнюдь не было наиболее глубокой причиной исторического движения. Напротив, оно само определялось экономическим развитием общества. Всякий видит, что материалистические взгляды этого рода находятся в резком противоречии с историческим идеализмом Чернышевского.

Мы уже знаем, что Чернышевский считал феодализм одной из тех «форм», которые своим возникновением и существованием задерживали поступательное движение народов. Этой идеалистической оценке феодализма противоречит только что указанная нами материалистическая его оценка, согласно которой феодализм был «формой», способствующей накоплению знаний, а следовательно, и прогрессивному движению человечества. Чтобы устранить это противоречие, Чернышевскому нужно было бы последовательно держаться или материализма, или идеализма. Но такая последовательность была недостижима для него как для представителя переходной эпохи в развитии научного понимания истории: той эпохи, когда материализм уже вел борьбу с идеализмом в этой области, но когда он еще был далек от победы и когда последнее слово все еще принадлежало идеализму.

Нам могут напомнить, что, согласно нашему замечанию, разобранные нами рецензии Чернышевского появились уже после того, как исто-

рические взгляды Маркса и Энгельса сложились в стройное целое. Мы и не забываем этого. Но мы думаем, что дело не решается здесь простыми хронологическими справками. Главные сочинения Лассаля тоже явились уже после того, как исторические взгляды Маркса и Энгельса приняли стройный вид, а между тем, по своему идейному содержанию, сочинения эти тоже принадлежат к эпохе перехода от исторического идеализма к историческому материализму. Дело не в том, когда вышло данное сочинение, а в том, каково было его содержание.

Если в предыдущие исторические эпохи прогресс знаний обусловливался складом экономических отношений, то, переходя к нашей эпохе, Чернышевскому нужно было спросить себя, каковы те ее экономические особенности, которые повели к открытию социальной истины и обеспечивали ее будущее осуществление в жизни. Но для того, чтобы задаться этим вопросом, нужно было решительно порвать с идеализмом и обеими ногами встать на почву материалистического об'яснения истории. Мы не станем повторять, что Чернышевский был еще далек от разрыва с идеализмом и что его представление о дальнейшем ходе общественного развития было совершенно идеалистическим. Мы только попросим читателя заметить, что исторический идеализм Чернышевского заставлял его отводить в своих соображениях о будущем первое место «передовым» людям, — *интеллигентам,* как выражаются у нас теперь, — которые должны распространить в массе открытую, наконец, социальную истину. Массе отводится у него роль отсталых солдат подвигающейся вперед армии. Конечно, ни один толковый материалист не станет утверждать, будто средний «простолюдин» только потому, что он простолюдин, т.-е. «человек массы», знает не меньше среднего «интеллигента». Он знает, конечно, меньше его. Но ведь речь идет не о знаниях «простолюдина», а об его поступках. Поступки же людей не всегда определяются их знаниями и всегда определяются *не только* их знаниями, а также — и самым главным образом — их положением, которое только освещается и осмысливается свойственными им знаниями. Тут опять приходится вспомнить основное положение материализма вообще и материалистического об'яснения истории в частности: не бытие определяется сознанием, а сознание бытием. «Сознание» человека из «интеллигенции» более развито, нежели сознание человека из «массы». Но «бытие» человека из массы предписывает ему гораздо более определенный способ действия, нежели тот, который предписывается интеллигенту его общественным положением. Вот почему материалистический взгляд на историю позволяет лишь в известном и при

том очень ограниченном смысле говорить об отсталости человека из «массы» сравнительно с человеком из интеллигенции: в известном смысле «простолюдин», несомненно, отстает от «интеллигента», а в другом смысле он, несомненно, опережает его. И именно потому, что это так, сторонник материалистического об'яснения истории, отнюдь не повторяя нелепых нападок на интеллигенцию, идущих из черносотенного и синдикалистского лагеря, в то же время никогда не согласится отвести интеллигенции ту роль Демиурга истории, которую отводят ей обыкновенно идеалисты. Есть разные роды аристократизма. Исторический идеализм грешит «аристократизмом знания».

То, что в исторических взглядах Чернышевского было недостатком, вызванным неразработанностью Фейербаховского материализма, стало впоследствии основою нашего суб'ективизма, не имевшего ничего общего с материализмом и решительно восставшего против него не только в области истории, но также и в области философии. Суб'ективисты хвастливо называли себя продолжателями лучших традиций 60-х годов. На самом деле они продолжали только слабые стороны свойственного этой эпохе миросозерцания. Сильные стороны миросозерцания той же эпохи легли в основу взглядов материалистических противников «суб'ективизма». На этом основании нетрудно решить вопрос, кто собственно был более верен лучшим традициям 60-х годов.

Заговорив о «суб'ективистах», мы невольно вспоминаем их некогда частые и многоречивые рассуждения о «роли личности в истории». Правы ли были «суб'ективисты», утверждая, что в этих рассуждениях повторяются и развиваются взгляды наших великих «просветителей»? И да, и нет. Идеалистический взгляд на историю, как мы уже видели, по необходимости отводит «передовым личностям» страшно преувеличенную роль. И поскольку, например, Чернышевский держался этого идеализма, постольку его взгляд на роль личности в истории был близок ко взгляду «суб'ективистов». Но мы уже знаем, что в его миросозерцании существовали также зародыши материалистического об'яснения истории. И поскольку они существовали, постольку взгляд Чернышевского на интересующий нас здесь предмет был как нельзя более далек от «суб'ективного» взгляда.

В речи Грановского «О современном состоянии и значении всеобщей истории», о которой с такой безусловной похвалой отзывается Чернышевский, приводятся между прочим следующие слова академика Бера: «Ход всемирной истории определяется внешними физическими условиями. Влияние отдельных личностей в сравнении с ними ничтожно.

Они всегда почти приводили только в исполнение то, что уже было подготовлено, и так или иначе, а должно было совершиться. Стремление установить что-нибудь совершенно новое и неподготовленное остается безуспешным или влечет за собой только разрушение»[1]). Грановский ничего не возражает против этого взгляда. Не возражает против него и Чернышевский в своей статье о Грановском. Но как же относится этот взгляд ко взгляду сторонников материалистического об'яснения истории? Он является намеком на него, первым шагом научной мысли в том направлении, по которому с таким успехом пошли впоследствии Маркс и Энгельс. «Личности», в самом деле, всегда приводили в исполнение только то, что уже было подготовлено. Тут Бер прав. Но он делает большую ошибку, когда сравнивает влияние отдельных личностей с влиянием внешних физических условий. Это последнее влияние редко бывало непосредственным. Чаще всего физические условия влияли на историю лишь косвенно, лишь через посредство тех социальных отношений, которые ими вызывались. Поэтому влияние отдельных личностей нужно было бы сравнивать не с влиянием внешних физических условий, а с влиянием социальных отношений. Однако методологически и это сравнение рискует быть очень неправильным, потому что социальные отношения суть отношения людей, а не каких-то метафизических сущностей, хотя и касающихся людей, но все-таки как будто им противостоящих. В действительности историю делают люди, но делают они ее так, а не иначе, не потому, что они сознательно хотят сделать ее именно так и именно не иначе, а потому, что их действия определяются не зависящими от их воли условиями. В числе этих условий нужно, разумеется, отметить и внешние физические условия; но главное место нужно отвести тем отношениям производства, которые возникают на почве данных производительных сил, в свою очередь немало зависящих от географической среды. У Бера есть ясные намеки на все это: недаром же он говорит о влиянии внешней природы на социальные отношения отдельных народов. Но то, что было справедливо в этих ясных намеках, получило надлежащее развитие лишь в историческом материализме Маркса-Энгельса.

В своем сочинении о Лессинге Чернышевский следующим образом формулирует свой взгляд на возможную роль отдельных личностей в истории:

---

[1]) Соч. *Грановского*, стр. 34—35.

«Ход великих мировых событий неизбежен и неотвратим, как течение великой реки: никакая скала, никакая пропасть не удержит ее, не говоря уже о плотинах, произвольно устраиваемых: плотиною ничья сила не пересыплет Рейна или Волги, и всесильная река одним напором выбросит на берег все сваи и весь мусор, которым дерзкая рука безумца хотела преградить ее течение; единственным результатом безрассудной политики будет только то, что берег, который спокойно напоялся бы рекой и зеленел роскошным лугом, будет на время истерзан и обезображен гневом оскорбленной волны, — а река пойдет-таки своим путем, зальет все пропасти, прорвет хребты гор и достигнет океана, к которому стремится. Совершение великих мировых событий не зависит ни от чьей воли, ни от какой личности. Они совершаются по закону столько же непреложному, как закон тяготения или органического возрастания. Но скорее или медленнее совершается мировое событие, тем или другим способом совершится оно — это зависит от обстоятельств, которых нельзя предвидеть и определить наперед. Важнейшее из этих обстоятельств — появление сильных личностей, которые характером своей деятельности дают тот или другой характер неизменному направлению событий, ускоряют или замедляют его ход и сообщают своею преобладающей силою правильность хаотическому волнению сил, приводящих в движение массы» [1]).

К этим мыслям можно прибавить только два замечания.

Во-первых, появление сильных личностей тоже не случайно. Давно уже было замечено, что сильные личности часто появляются в истории именно тогда, когда есть большой спрос на них. Чем это об'ясняется? Просто-на-просто тем, что сильные личности данного разряда не при всяком общественном строе могут найти приложение для своих способностей. Вот, например, никто не станет оспаривать, что сильная личность Наполеона положила чрезвычайно глубокую печать на известную историческую эпоху. Но нужны были особые исторические условия для того, чтобы сила Наполеона могла развернуться во всей своей полноте. Продержись старый порядок 30-ю годами дольше, и мы не знаем, как сложилась бы жизнь Наполеона. Говорят, что за несколько лет до революции он хотел уехать в Россию, чтобы служить в русской армии. Нечего и говорить, что карьера, которая ждала бы его там, ни в каком случае не привела бы его к мировому господству. А Наполеоновы маршалы? В 1789 году Ней, Мюрат и Сульт были унтер-

[1]) Сочинения, т. III, 644 — 645.

офицерами. Не случись революции, они, может быть, никогда не увидели бы офицерских эполет. В том же году, т.-е. в том году, когда началась революция, Ожеро был простым учителем фехтования, Ланн — красильщиком, Гувион Сэн-Сир — актером, Мармон —наборщиком, Жюно — студентом юридического факультета и т. д. Все эти люди имели очень большие военные способности. Но старый порядок не позволил бы этим способностям развернуться; известно, что при Людовике XV только одно лицо не дворянского сословия дослужилось до чина генерал-лейтенанта, а при Людовике XVI еще более была затруднена военная карьера для лиц не дворянского происхождения [1]). Выходит, стало быть, что общественные отношения, существующие в данное время у данного народа, определяют собою, будет или не будет открыта в данной области дорога для известной категории сильных личностей. А так как всякий данный склад общественных отношений представляет собою нечто вполне закономерное, то ясно, что и в появлении сильных личностей на арене истории есть своя закономерность.

Во-вторых, справедливо то, что, раз появившись на исторической арене, сильная личность ускоряет своею деятельностью ход событий. Но и тут очевидно, что величина ускорения зависит от свойств той социальной среды, в которой приходится действовать сильной личности.

С этими оговорками взгляд Чернышевского вполне приемлем для сторонников современного материалистического об'яснения истории. Не нужно много проницательности, чтобы видеть, как далек этот взгляд от учения наших суб'ективных социологов. Эти господа имели приятное обыкновение обвинять «учеников» Маркса в том, что те отказывались будто бы от наследства 60-х годов. Но если сопоставить их иеремиады с тем, что говорит о роли личности Чернышевский в только что приведенной нами выписке, то будет ясно, что эти иеремиады с таким же основанием, вернее, с таким же полным отсутствием логического основания, могли бы быть направлены по адресу Чернышевского, с каким они направлялись по адресу марксистов. Здесь, как и во всех других отношениях, только марксисты оставались верны лучшим заветам наших великих «просветителей» 60-х годов.

---

[1]) Подробнее об этом см. в моей статье «К вопросу о личности в истории» в сборнике «За двадцать лет».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Последние исторические сочинения Чернышевского

Как уже сказано, Чернышевский по возвращении из Сибири занимался, между прочим, переводом «Всеобщей истории» Вебера и к некоторым томам своего перевода сделал приложения, весьма важные для характеристики его исторических воззрений. Мы рассмотрим здесь некоторые из них.

Все эти приложения посвящаются изложению «научных понятий по некоторым вопросам всеобщей истории». По весьма понятной причине наибольший интерес имеет для нас приложение, рассматривающее те элементы, которыми производится, по мнению Чернышевского, прогресс.

Для Чернышевского прогресс заключается в улучшении человеческих понятий и привычек. Поэтому и вопрос о причинах, производящих прогресс, сводится для него к вопросу о том, чем вызывается названное улучшение.

Чернышевский говорит, что все те преимущества, какие имеет человеческая жизнь над жизнью животных, представляют собою результаты умственного превосходства человека. Поэтому основной силой, возвышавшей человеческий быт, Чернышевский признает умственное развитие людей. Конечно, умственная сила может производить и часто в самом деле производит вредные результаты; но она производит их, по замечанию Чернышевского, лишь под влиянием сил и обстоятельств, искажающих природный характер ее. «Само по себе умственное развитие,—говорит он,—имеет тенденцию улучшать понятие человека о его обязанностях относительно других людей, делать его более добрым, развивать в нем понятие о справедливости и честности» [1]).

Это, как видим, тот самый взгляд, который Чернышевский излагал когда-то в своих заметках о книгах Гизо. Нет надобности пояснять, что взгляд, согласно которому умственное развитие является главной движущей силой прогресса, есть идеалистический взгляд.

Утвердившись на своей идеалистической точке зрения, Чернышевский рассуждает по-своему очень логично, говоря, что так как всякая перемена в народной жизни есть сумма перемен в жизни отдельных

---

[1]) Сочинения, т. X, ч. 2, отд. IV, стр. 170.

людей, составляющих нацию, то при рассмотрении тех обстоятельств, которые благоприятны или неблагоприятны улучшению умственной и нравственной жизни народов, нужно выяснить себе, от каких причин улучшается или портится отдельный человек в умственном или нравственном отношении.

Политическая экономия, — которая раньше других общественных наук выработала точные понятия об условиях прогресса, — установила как незыблемый принцип, что только добровольная деятельность человека производит хорошие результаты, между тем как все, делаемое человеком по внешнему принуждению, выходит очень плохо. Применяя эту истину к вопросу об успешности материального человеческого труда, мы получаем тот вывод, что «все формы недобровольной работы непроизводительны и что материальным благосостоянием может пользоваться только то общество, в котором люди пашут землю, изготовляют одежду, строят жилища, каждый по собственному убеждению в полезности для него заниматься той же работой, над которой он трудится» [1]).

Применяя тот же принцип к вопросу о приобретении и сохранении умственных и нравственных благ, мы приходим к тому заключению, что «никакое внешнее принуждение не может поддержать человека ни на умственной, ни на нравственной высоте, когда он сам не желает держаться на ней» [2]).

Эти выводы, подкрепляемые у Чернышевского рядом педагогических соображений, имеют в его глазах не только теоретическую, но и практическую важность. Образованные нации обыкновенно смотрят на дикие племена, как на детей, воспитание которых может и должно насильственно направляться к определенной благой цели. Так же смотрит образованное сословие цивилизованных наций на невежественные массы своих собственных стран. Чернышевский энергично восстает против этого взгляда. Он говорит, что даже самые грубые из дикарей вовсе не дети, а такие же взрослые люди, как и мы. Но если бы мы даже и признали верным неверное сравнение диких и необразованных людей с детьми, то мы все-таки не имели бы ни малейшего права применять насилие к воспитанию дикарей или «простолюдинов», потому что, как мы уже знаем, насилие ни к чему хорошему никогда не приводит. «Если мы, просвещенные люди какого-нибудь народа, — говорит

[1]) Там же, 171.
[2]) Там же, 171.

наш автор, — желаем добра массе наших соплеменников, имеющей дурные, вредные для нее привычки, наша обязанность состоит в том, чтобы знакомить ее с хорошим и заботиться о доставлении ей возможности усвоить его. Прибегать к насилию — дело совершенно неуместное... Те ученые, которые желают, чтобы правительство какой-нибудь цивилизованной страны принимало насильственные меры для преобразования жизни своего народа,— люди менее просвещенных понятий, чем правители турецкого государства» [1]).

Тут мы сделаем сравнение, которое, можно сказать, напрашивается само собой. Написанный Марксом устав Интернационала начинается тем знаменитым положением, что «освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих». Это, если хотите, та же самая мысль, которую защищает Чернышевский. Но, формулируя эту мысль, Маркс обращается непосредственно к пролетариату, тогда как Чернышевский имеет в виду тех более или менее благовоспитанных людей, которые захотели бы заняться улучшением участи рабочего класса. Это коренное различие вполне соответствует той, указанной выше, особенности исторических взглядов Чернышевского, в силу которой настоящим действующим отрядом в истории ему представлялась собственно интеллигенция, а масса «простолюдинов» напоминала ему отсталые элементы армии. Мы уже сказали, что эта особенность находится в тесной причинной связи с идеалистическим характером исторических воззрений нашего автора.

Вопрос о насилии логически приводит его к вопросу о том, «в каких случаях разум и совесть могут оправдывать завоевание» [2]). Чернышевский говорит, что все такие случаи подходят под понятие самообороны. Более сильный народ всегда имеет возможность устроить свои отношения к менее сильному так, чтобы жить с ним в мире. Завоевание народа всегда является нарушением справедливости. Но это относится собственно к оседлым народам. На номадов Чернышевский смотрит иначе. Некоторые номады отличаются миролюбием; завоевание их несправедливо. Но многие номады занимаются грабежом своих соседей; их завоевание оправдывается разумом и совестью. И вот тут-то возникает вопрос, имеют ли цивилизованные завоеватели право принуждать завоеванных номадов к перемене их обычаев. Чернышевский отвечает, что имеют, насколько это необходимо для предотвращения разбоев. Беда лишь в том, что цивилизованные завоеватели думают обыкновенно

[1]) Там же, 175—176.
[2]) Там же, 176.

лишь о своей собственной пользе, а не о пользе завоеванных. Поэтому они и прибегали к насилию; а если бы они думали о пользе завоеванных, то они помнили бы, что все хорошие результаты производятся не насилием, а кротостью и уменьшением насилия.

Однако существует множество будто бы достоверных исторических свидетельств в пользу того, что насилие улучшало нравы дикарей. Что думать об этих будто бы достоверных свидетельствах? Чернышевский отвечает: «Для историка, знакомого с законами человеческой природы, не может быть сомнения, что всякие рассказы подобного рода — вздорные сказки; задача его относительно их состоит в том, чтобы раз'яснить, как возникли они, найти источники ошибок или мотивы преднамеренной лжи, которыми они порождены» [1]).

Просветители XVIII века, равно как и социалисты-утописты XIX столетия, охотно апеллировали к человеческой природе в своих исторических рассуждениях. Но апелляция к человеческой природе, иногда, может быть, полезная в агитационном смысле, никогда не была благотворна для истории как для науки. Если человеческая природа неизменна, то она ничего не об'ясняет в истории, процесс которой сводится к беспрерывным переменам. Если же человеческая природа сама изменяется под влиянием исторических перемен, то очевидно, что эти последние не могут быть об'яснены ею. Эти общие соображения вполне применимы и к только что изложенным рассуждениям Чернышевского. Он говорит, что всякое насилие ведет к вредным последствиям. Но какой же народ не повинен в насилии? Славянофилы говорили когда-то, что русское государство, в отличие от государств Западной Европы, основано было на договоре, а не на завоевании. Но эту теорию, вероятно, сам Чернышевский считал не более как фантастической сказкой. Ни один народ не отказывался прибегнуть к насилию в тех многочисленных случаях, когда оно обещало принести ему пользу. А между тем исторические судьбы народов далеко не одинаковы. Чем же об'ясняется их различие? Тот же вопрос можно поставить и по отношению к внутреннему развитию каждого общества. Нет такого народа, во внутреннем развитии которого не играло бы роль насилие. А между тем и внутреннее развитие тоже различно у различных народов. Чтобы об'яснить это, очевидно недостаточно сослаться на насилие. Наконец, самая возможность злоупотребления силой создается такими условиями, которые насилием вовсе не об'ясняются. Мы уже говорили, что так называемое военное дело

1) Там же, 178.

имеет на разных стадиях исторического развития различный характер, обусловливаемый в последнем счете экономическими отношениями общества. Чернышевский и сам высказывает иногда подобные соображения. Так, например, в приложениях к IX тому Вебера, озаглавленном «О различиях между народами по национальному характеру», он указывает на те обстоятельства, которые, по его мнению, преобразовали состав римского войска и тем ослабили его силу, подготовив таким образом падение Римской империи. По его словам, по мере того, как расширялись пределы римского государства, народ все более разделялся на два класса: большинство граждан покидало военную службу, так как далекие военные походы мешали ему заниматься хозяйством, а меньшинство совсем покинуло всякое хозяйство и стало заниматься военным делом как ремеслом. Это вызвало глубокие изменения в политическом строе Рима, ослабившие силу его сопротивления и т. д. Тут военная сила ставится в тесную причинную зависимость от известных экономических условий. И Чернышевский подчеркивает эту зависимость. «С той поры, как историки считают надобным изучать политическую экономию и толковать о разделении труда, — говорит он, — они в книгах о последних временах римской республики и о Римской империи сами раз'ясняют, какими экономическими силами была произведена замена войска, состоящая из граждан домохозяев, войском солдат по ремеслу и потом замена итальянцев на военной службе уроженцами областей, менее цивилизованных, и иноземными варварами. Потому давно пора было бы бросить фантазию о вырождении римлян, следовало бы говорить лишь о том, что масса итальянского населения перестала образовывать главную массу войска, непрерывно ведущего войны на отдаленных границах и живущего там в укрепленных лагерях. Таким образом падение Римской империи, завоевание Италии варварами достаточно об'ясняется уж одной той переменой, которую произвели в составе войска громадные завоевания римлян» [1]).

Если бы Чернышевский последовательно развил высказанную здесь мысль, то ему пришлось бы совершенно отказаться от идеалистического взгляда, выраженного им в знакомой уже нам статье о причинах падения Рима. Но в том-то и дело, что подобные мысли высказываются у него лишь мимоходом и не получают дальнейшего развития. Высказывая их, он вовсе не видит надобности отказаться от исторического идеализма, и это происходит не от пристрастия к идеализму как философской теории. К

[1]) Сочинения, т. X, ч. 2, отд. IV, стр. 143.

этой теории Чернышевский вообще относится крайне отрицательно. Высказывая идеалистический взгляд на ход исторического развития, он продолжает считать себя последовательным материалистом. Он ошибается. Но его ошибка коренится в одном из главных недостатков материалистической системы Фейербаха. Маркс очень хорошо заметил: «Фейербах хочет иметь дело с конкретными об'ектами, действительно отличными от суб'ектов, существующих лишь в наших мыслях. Но он не доходит до взгляда на человеческую деятельность, как на *предметную* деятельность. Вот почему, в «Сущности христианства», он рассматривает, как истинно человеческую деятельность, только деятельность теоретическую...» [1]). Подобно своему учителю, Чернышевский тоже сосредоточивает свое внимание почти исключительно на «теоретической» деятельности человечества, вследствие чего умственное развитие и становится в его глазах самой глубокой причиной исторического движения. Читая его рассуждения о вреде насилия, можно подумать подчас, что он просто хочет дать несколько хороших советов человечеству И он, конечно, не прочь от того, чтобы дать хороший совет. Но то, что говорится им о насилии, имеет для него также и большое теоретическое значение. Он видит в насилии фактор, искажающий человеческую природу. А мы уже знаем, что человеческая природа была для него главной инстанцией, к которой он апеллировал в своем об'яснении истории.

На человеческую природу, как и на все на свете, можно смотреть с различных точек зрения. Чернышевский смотрел на нее глазами материалиста. Но когда он пытался применить свое материалистическое понимание человеческой природы к об'яснению истории, он в огромном большинстве случаев незаметно для себя приходил к идеалистическим выводам. Впрочем, это и раньше его нередко случалось с людьми, державшимися того материализма, который мы назовем д о - м а р к с о в с к и м. Материалисты XVIII века тоже были идеалистами в истории.

В своих исторических соображениях Чернышевский исходит из той, несомненно материалистической, мысли, что человек есть животное, организм которого подчиняется известным законам физиологии. Физиология говорит, что для нормального хода жизни животного необходимо нормальное удовлетворение потребностей его организма: «она строго различает хороший ход функций организма от дурного; аппетит и результат его, своевременное принятие пищи в количестве, соответствую-

[1]) См. его тезисы о Фейербахе, написанные еще весной 1845 г.

щем надобностям организма, она относит к разряду фактов жизни, полезных для организма; голод и его результаты—к разряду фактов, вредящих организму» [1]). Вот это-то различение хорошего хода функций организма от дурного и применяется Чернышевским к истории. Насилие осуждается им как один из тех факторов, которые мешают хорошему ходу функций человеческого организма. Но каким же образом хороший или дурной ход функций человеческого организма может об'яснить нам факт человеческого процесса? Вот каким.

«Физиология доказывает, что если организация человека не понизилась, а повысилась сравнительно с первоначальным своим состоянием, то ход жизни человеческого рода имел больше элементов, благоприятствовавших улучшению его организации, чем имевших тенденцию понижать ее. Исключительно этим преобладанием благоприятных для организма обстоятельств жизни над вредными для него об'ясняет физиология прогресс человека от первобытного состояния до того, сравнительно очень высокого развития умственных сил, когда он уж умел раскалывать кремни для приобретения себе орудий работы. Без сомнения, людям приходилось во времена этого прогресса много страдать от голода, от вредных явлений внешней природы, от ядовитых насекомых и змей, от сильных хищных зверей, от собственных нерассудительных поступков и от взаимных дурных отношений. Но как бы ни была велика сумма этих бедствий, она была меньше суммы фактов, полезных для человеческого организма. Если бы было иначе, то организация человека не повышалась бы, а портилась бы, он подвергался бы тому, что в зоологии называется деградацией, понижением организации» [2]).

Уж эти строки ясно показывают нам, каким образом Чернышевский применял физиологические соображения к об'яснению фактов человеческого прогресса. Но в этих строках соображения эти применяются лишь к тому периоду, который можно назвать доисторическим, или, вернее, докультурным в самом тесном смысле слова, т.-е. периода, заканчивающегося тем, что человек приобретает умение делать себе каменное орудие работы. И тут Чернышевский продолжает оставаться на материалистической точке зрения, хотя и тут материализм его обнаруживает метафизический характер. В самом деле, опираясь на законы физиологии, Чернышевский повторяет уже раньше, — при разборе его статьи о теории Дарвина, — встречавшееся нам рассуждение о том, что

---

[1]) Там же, 217.

[2]) Там же, 224.

вредное всегда вредно и никогда не может быть полезно [1]). Эти соображения, теоретическую слабость которых мы обнаружили выше, состоят в тесном родстве с историческим идеализмом; но в них свойственный этому идеализму характер сказывается лишь косвенно и притом преимущественно с методологической стороны. Чтобы понять, каким путем переходит Чернышевский со своей физиологической точки зрения на точку исторического идеализма, нужно принять в соображение ту его мысль, что «хороший ход функций» человеческого организма вел к развитию мозга, который увеличивал умственные силы человека и тем ускорял прогресс его знаний. Дарвин говорит: «человек никогда не достиг бы господствующего положения в мире без употребления рук, этих орудий, столь удивительно послушных его воле» [2]). Ту же мысль высказывал еще Гельвеций. Встречается она и у Чернышевского. Но у него она сразу приобретает своеобразный характер. «Говорят, и по всей вероятности справедливо,—замечает он,—что умение взять в руку камень или толстую палку и бить этим оружием по врагу увеличило безопасность людей, дало им возможность улучшить свою материальную жизнь и, благодаря ее улучшению, получить большое развитие умственных способностей» [3]). Умение взять в руку известное оружие увеличивает безопасность человека, дает ему возможность лучше удовлетворять свои материальные потребности и тем обеспечивать развитие *органа мысли* — мозга. Все дело в том, что у человека, благодаря каким-то особенностям истории его предков, головной мозг приобрел такое развитие, какого он не достиг ни у одного из человекоподобных существ. В чем именно состояли эти особенности, остается неизвестным. Но очень правдоподобно, по мнению Чернышевского, что предки людей по какому-то счастливому обстоятельству приобрели больше безопасности от врагов, чем какую имели другие существа, сходные или одинаковые с ним. «Но каким бы то ни было путем предки людей, по влиянию каких-то благоприятных обстоятельств своей жизни, приобрели такое высокое умственное развитие, что сделались людьми. Только с этого времени начинается та история их жизни, относительно которой возникают вопросы не общего физиологического содержания, а специально относящиеся к человеческой жизни» [4]). Что же касается вопросов этого по-

[1]) Там же, стр. 217 и след.
[2]) «La descendance de l'homme» etc., Paris 1881, p. 5.
[3]) Соч., т. X, ч. 2, отд. IV, стр. 183.
[4]) Там же, 182.

следнего рода, то они решаются в истории человечества развитием ума и знаний. «Собственно превосходством ума и об'ясняется, — говорит Чернышевский, — весь дальнейший прогресс человеческой жизни» [1]). Здесь мы с поразительной ясностью видим, каким образом Чернышевский, так или иначе державшийся материалистической точки зрения в своих рассуждениях о *человеческом организме,* немедленно становится идеалистом, как только речь заходит *об истории человечества.*

Ход его рассуждений таков. Он начинает с того положения Фейербаха, что человек есть то, что он ест. Когда питание человеческого организма совершается надлежащим образом, — когда внешние условия обеспечивают ему хороший ход функций, — увеличивается сила мозга, а с увеличением силы мозга растет способность человека к умственному развитию, к выработке правильных *понятий.* А эта способность и есть главная пружина исторического движения. Таким образом Чернышевский остается последовательным материалистом до тех пор, пока не уходит из области вопросов «общего физиологического содержания». А как только перед ним встают вопросы «специально относящиеся к человеческой жизни», его физиологический материализм настежь открывает дверь для исторического идеализма. Пример Чернышевского едва ли не лучше, нежели какой-либо другой, показывает, как мало еще годился материализм в том виде, какой он имел у Фейербаха, для об'яснения исторического развития.

Мы уже не раз говорили, что идеалистический характер исторических взглядов Чернышевского отнюдь не мешал ему давать материалистическое об'яснение некоторым отдельным историческим явлениям. И мы не стали бы повторять это здесь, если бы не видели себя вынужденными сделать некоторую, весьма естественную, по нашему мнению, оговорку. Тот, кто стал бы искать в сочинениях нашего автора материалистического об'яснения отдельных исторических событий, должен остерегаться ошибки, в которую очень легко бывает иногда впасть вследствие известного *внешнего* сходства идеалистических приемов Чернышевского с приемами материалистического об'яснения истории.

Дело в том, что сообразно с преувеличенным значением, придаваемым Чернышевским человеческой расчетливости, он и исторические события об'ясняет иногда сознательным расчетом пользы там, где для об'яснения их нужно обращаться к неподчиненным контролю человека силам экономического развития. С первого взгляда подобные об'яснения

[1]) Там же, 182 — 183.

Чернышевского могут иногда навести на мысль о том, что он в своих исторических теориях совершенно стал на точку зрения новейшего материализма. Но при внимательном отношении к делу оказывается совершенно противное. Кто видит в исторической деятельности людей лишь влияние сознательного расчета, тот еще остается чистым идеалистом и тот еще очень далек от понимания всей силы и всего значения «экономики». В действительности ее влияние распространяется даже на такие поступки людей и на такие привычки различных общественных классов, по поводу которых нельзя и заикаться о сознательном расчете. Главнейшие и наиболее влиятельные факторы экономического развития до сих пор стоят вне всякого контроля сознательного расчета. Все общественные отношения, все нравственные привычки и все умственные склонности людей складываются под посредственным или непосредственным действием этих слепых сил экономического развития. Ими определяются, между прочим, и все виды человеческой расчетливости, все проявления человеческого эгоизма. Следовательно, нельзя говорить о сознательном расчете пользы, как о первичном двигателе общественного развития. *Подобный* взгляд на историю противоречит учению новейшего материализма. В нем сказывается основная черта исторического идеализма: убеждение в том, что «мнения правят миром» [1]).

Этого убеждения Чернышевский держался в последнем счете до конца жизни. Поэтому мы и относим его к представителям исторического идеализма. И кто знаком с его сочинениями, тот вряд ли откажется признать, что в истории всемирной литературы немного было писателей, у которых исторический идеализм имел бы такую яркую окраску, какую он приобрел у Чернышевского. Но интересно, что именно у Чернышевского, восставшего против оптимизма Гизо, исторический идеализм в свою очередь принял оригинальный оттенок оптимизма. Это хорошо видно в его рассуждениях об исторической роли насилия.

Насилие, как мы знаем, сильно вредит тем племенам и народам, которые ему подвергаются. Но оно вредит не только им: не менее сильно вредит оно и самим насильникам. История показывает, по словам Чернышевского, что совершенно ошибочен был расчет тех наций, которые думали извлечь себе пользу из нанесения вреда человечеству. «Завоевательные народы всегда кончали тем, что истреблялись и порабощались сами» [2]).

[1]) Кто знает взгляды *Р. Оуэна*, тот знает, что он тоже приписывал преувеличенное значение расчету пользы.

[2]) Соч., т. VI, 233.

Мы могли бы спросить, много ли надежды на то, что «истребятся и поработятся сами», например, те англичане, которые поселились на Австралийском материке, почти совсем истребив чернокожих туземцев? Нам кажется, что этим англичанам пока еще не грозят ни истребление, ни порабощение. А если и придется им когда-нибудь испытать участь истребляемых и порабощаемых народов, то их несчастье вряд ли будет иметь какую-нибудь связь с теми несправедливыми действиями, какие они позволили себе по отношению к австралийским туземцам. Это так очевидно, что нет нужды распространяться об этом. У Чернышевского выходит, что в истории порок всегда несет заслуженное им наказание. На самом деле, известные нам исторические факты не дают никакого основания для этого, может быть, отрадного, но во всяком случае наивного взгляда. Нас может интересовать только вопрос о том, как мог он возникнуть у нашего автора. А на этот вопрос можно ответить указанием на ту эпоху, когда жил Чернышевский. Это была эпоха общественного под'ема, имевшая, можно сказать, нравственную потребность в таких взглядах, которые подкрепляли бы веру в неминуемое поражение зла.

В сочинениях, написанных Чернышевским по возвращении из Сибири, тоже встречаются поразительно меткие замечания, насквозь пропитанные духом *материалистического об'яснения истории*. Немало таких замечаний найдет читатель, например, в приложении к VII тому Вебера («О расах»), к VIII («О классификации людей по языку») и, наконец,—и особенно, — в уже цитированном нами приложении к IX тому («О различиях между народами по национальному характеру»).

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ

Литературные взгляды Н. Г. Чернышевского

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Значение литературы и искусства

Умственный прогресс человечества служит, по мнению Чернышевского, самой глубокой пружиной исторического движения. Литература является выражением умственной жизни народов. Поэтому можно было бы, пожалуй, ожидать, что Чернышевский припишет литературе главную роль в истории цивилизации. На самом деле это было не так. Главную роль в истории цивилизации Чернышевский отводил не литературе, а науке. Он говорил об этой последней: «творя тихо и медленно, она творит все; создаваемое ею знание ложится в основание всех понятий и потом всей деятельности человечества, дает направление всем его стремлениям, силу всем его способностям» [1]). Не то с литературой. Ее роль в историческом процессе никогда не бывала совершенно маловажна, но она почти всегда бывала второстепенна.

«Так, например, — говорит Чернышевский, — в древнем мире мы не замечаем ни одной эпохи, в которой историческое движение совершалось бы под преобладающим влиянием литературы. Несмотря на все пристрастие греков к поэзии, ход их жизни обусловливался не литературными влияниями, а религиозными, племенными и военными стремлениями, впоследствии, кроме того, политическими и экономическими вопросами. Литература была, подобно искусству, лучшим украшением, но только украшением, а не основною пружиною, не главною двигатель-

[1]) См. его работу: «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность». Сочинения, т. III, стр. 585.

ницею их жизни. Римская жизнь развивалась военною и политическою борьбою и определением юридических отношений; литература была для римлян только благородным отдыхом от политической деятельности. В блестящий век Италии, когда она имела Данте, Ариосто и Тассо, также не литература была основным началом жизни, а борьба политических партий и экономические отношения: эти интересы, а не влияние Данте, решали судьбу его родины и при нем, и после него. В Англии, гордящейся величайшим поэтом христианского мира и таким числом первостепенных писателей, какого не найдется, быть может, в литературах всей остальной Европы, вместе взятых, — в Англии от литературы никогда не зависела судьба нации, определявшаяся религиозными, политическими и экономическими отношениями, парламентскими прениями и газетною полемикою: собственно так называемая литература всегда имела только второстепенное влияние на историческое развитие этой страны. Таково же было положение литературы почти всегда, почти у всех исторических народов» [1]).

Чернышевский знает лишь очень не много случаев, составляющих исключение из указанного им общего порядка. Между этими немногими случаями одно из самых важных мест занимает немецкая литература второй половины XVIII и первых годов XIX века: «От начала деятельности Лессинга до смерти Шиллера, в течение пятидесяти лет, развитие одной из величайших между европейскими нациями, будущность стран от Балтийского до Средиземного моря, от Рейна до Одера, определялась литературным движением. Участие всех остальных общественных сил и событий в национальном развитии должно назвать незначительным сравнительно с влиянием литературы. Ничто не помогало в то время ее благотворному действию на судьбу немецкой нации; напротив, почти все другие отношения и условия, от которых зависит жизнь, не благоприятствовали развитию народа. Литература одна вела его вперед, борясь с бесчисленными препятствиями» [2]).

Такой же исключительно важной представлялась, повидимому, Чернышевскому и роль русской литературы со времени Гоголя. До Гоголя литература эта находилась еще в тех периодах своего развития, которые можно назвать подготовительными: каждый предыдущий период имел в ней значение не столько по безусловному достоинству ознаменовавших его литературных явлений, сколько по тому, что подготовлял собою сле-

[1]) Там же, стр. 586.
[2]) Там же, стр. 586 — 587.

дующий период. Чтобы пояснить эту его мысль, достаточно будет указать, как понимал он отношение Пушкинского периода нашей литературы к Гоголевскому. На Пушкина он смотрел совершенно так, как смотрел на него Белинский в последний период своей деятельности. Он очень высоко ставил его поэзию, но считал ее преимущественно поэзией *формы*. Выработка совершенной формы и была той исторической задачей, которая выпала на долю Пушкинского периода нашей литературы. Когда задача эта была решена, в нашей литературе начался новый период, ознаменовавшийся тем, что главным делом стало *содержание*, а не форма, как это было прежде. Этот период связывается с именем Гоголя. В течение Гоголевского периода наша литература начала становиться тем, чем она должна быть, т.-е. выражением народного самосознания. В том же направлении она развивалась и потом, когда под влиянием Гоголя у нас возникла так называемая натуральная школа. Чернышевский очень высоко ценил это новое направление в нашей литературе. Однако оно далеко не вполне удовлетворяло его. В своих «Очерках Гоголевского периода русской литературы» он оговаривается:

«Чтобы не подать повода к недоразумению, будто мы без меры превозносим новое на счет старого, скажем здесь кстати, что и настоящий период русской литературы, несмотря на все свои неот'емлемые достоинства, имеет существенное значение более всего только потому, что служит приготовлением к дальнейшему будущему развитию нашей словесности. Мы настолько верим в будущее лучшее, что даже о Гоголе, не сомневаясь, говорим: будут у нас писатели, которые станут настолько же выше его, насколько выше своих предшественников стал он. Вопрос только в том, скоро ли придет это время. Хорошо было бы, если б нашему поколению суждено было дождаться этого лучшего будущего» [1]).

Утверждая, что литература должна быть выражением общественного самосознания, Чернышевский высказывает ту мысль, которая, перейдя к нам из Германии, уже со времен Надеждина и Белинского играла большую роль в нашей литературной критике. Но у него она сразу принимает свойственный всем «просветительным» периодам рассудочный характер. Собственно говоря, нет такой литературы, которая не служила бы выражением самосознания общества или данного слоя общества, ее породившего. Даже в те эпохи, когда безраздельно владыче-

[1]) Сочинения, т. II, стр. 172, примечание.

ствует так называемая теория искусства для искусства, и когда художники, повидимому, поворачиваются спиною ко всему тому, что имеет какое-нибудь отношение к общественным интересам, литература не перестает выражать вкусы, взгляды и стремления господствующего в обществе класса. Тот факт, что в ней получает преобладание названная теория, свидетельствует лишь о том, что в господствующем классе или, по крайней мере, в той части его, к которой обращаются художники, царствует индифферентизм по отношению к великим общественным вопросам. Но и такой индифферентизм представляет собою лишь одну из разновидностей общественного (или классового, или группового) настроения, т.-е. сознания. В этом смысле несомненно, что наша литература Пушкинского или даже Карамзинского периода выражала собою наше общественное сознание. Но, по Чернышевскому, она начинает выражать его лишь со времен Гоголя. Только с этих пор наши художники перестают, по его словам, заниматься исключительно формою своих произведений и начинают придавать значение их содержанию. Это кажется несправедливым, потому что ведь нельзя же думать, что Пушкин был равнодушен к содержанию, например, своего «Евгения Онегина». Но между «Евгением Онегиным», с одной стороны, и «Ревизором» или «Мертвыми душами», с другой, есть огромная разница *в отношении художника к изображаемым явлениям*. Пушкин не прочь пожурить своих героев за их светскую пустоту, ограниченность, эгоизм и т. д.; но в его «Онегине» нет даже намека на то коренное отрицание изображаемого им общественного быта, какое находится, хотя и без ведома автора, в названных произведениях Гоголя. Вот этот-то элемент отрицания старых общественных порядков и называется у Чернышевского началом общественного самосознания. Если он ожидал в будущем, как мы только что видели, появления таких писателей, которые станут настолько же выше Гоголя, насколько Гоголь был выше своих предшественников, то это было у него равносильно убеждению в том, что со временем наши великие художники далеко превзойдут автора «Мертвых душ» сознательностью своего отрицательного отношения к устарелым общественным и семейным порядкам. Самой главной обязанностью литературной критики являлось, в его глазах, распространение в среде художников этой сознательности. Чем больше стала бы эта сознательность распространяться между русскими художниками, тем более созревала бы наша литература для той великой роли, которую она должна была, по мнению Чернышевского, сыграть в тогдашнее переходное время.

Впоследствии Писарев приписал Чернышевскому намерение разрушить эстетику. Он ошибся. Как далек был от такого намерения Чернышевский, показывают следующие строки из его статьи о «Пиитике» Аристотеля, вышедшей в 1854 году в русском переводе Ордынского («Отечественные Записки», 1854 год, № 9). «Эстетика—наука мертвая! Мы не говорим, чтоб не было наук живей ее; но хорошо было бы, если б мы думали об этих науках. Нет, мы превозносим другие науки, представляющие гораздо менее живого интереса. Эстетика наука бесплодная! В ответ на это спросим: помним ли мы еще о Лессинге, Гете и Шиллере, или уж они потеряли право на наше воспоминание с тех пор, как мы познакомились с Теккереем? Признаем ли мы достоинство немецкой поэзии второй половины прошедшего века?» [1]).

Задавая порицателям эстетики иронический вопрос о том, признаем ли мы достоинство немецкой поэзии второй половины XVIII столетия, Чернышевский как бы напоминает им, что бывают эпохи, когда литература играет великую общественную роль. Но немецкая литература указанного периода вовсе не была равнодушна к эстетическим вопросам. Напротив, она очень много занималась ими в то время, и только потому, что она много занималась ими, она могла с успехом исполнить великую роль, выпавшую на ее долю. Не надо забывать, что самым замечательным деятелем в немецкой литературе этого времени был, по мнению Чернышевского, Лессинг: «Все значительнейшие из последующих немецких писателей, даже Шиллер, даже сам Гете в лучшую эпоху своей деятельности, были учениками его» [2]). А Лессинг был, главным образом, теоретиком литературы и искусства; область, в которой он сделал больше всего, была областью эстетики.

Чернышевский говорит, что если поэзия, литература, искусство признаются предметами большой важности, то и общие вопросы теории литературы должны иметь огромный интерес. «Словом, — прибавляет он, — нам кажется, что весь спор против эстетики основывается на недоразумении, на ошибочности понятий о том, что такое эстетика и что такое всякая теоретическая наука вообще» [3]).

Чернышевский спрашивает читателя: «кто по вашему мнению выше: Пушкин или Гоголь?». Решение этого вопроса зависит, по его

---

[1]) Сочинения, т. I, стр. 28—29.
[2]) Сочинения, т. III, стр. 589.
[3]) Сочинения, т. I, стр. 28.

словам, от понятия о сущности и значении искусства. И эти понятия получают правильный вид еще в сочинениях Аристотеля и Платона. Вот почему Чернышевский и находит нужным ознакомить читателя с эстетическими теориями этих мыслителей. В качестве решительного противника философского идеализма наш автор, разумеется, не мог сочувствовать философии Платона, взятой во всей ее совокупности. Но это не мешало ему с горячим сочувствием относиться к той точке зрения, с которой смотрел на искусство великий греческий идеалист.

Чернышевский говорит: «не с ученой или артистической, а с общественной и нравственной точки смотрел он на науку и искусство, как и на все. Не человек живет для того, чтобы быть артистом или ученым (как думали многие великие философы, между прочим, Аристотель), а наука и искусство должны служить для блага человека» [1]).

И эта точка зрения должна была, по словам нашего автора, привести Платона к отрицательному взгляду на искусство, которое в его время почти исключительно служило забавою, прекрасною и благородною, но все-таки забавою для людей, которые от нечего делать любовались на более или менее сладострастные картины или статуи и упивались более или менее сладострастными стихами. Вопрос об искусстве решался для Платона именно тем фактом, что оно было не более как забава. И, когда Платон видел в нем простую забаву, он не клеветал на него. В доказательство этого Чернышевский ссылается на «одного из серьезнейших поэтов», Шиллера, который, конечно, не враждебно относился к искусству. По мнению Шиллера, Кант совершенно справедливо называет искусство игрою (das Spiel), потому что, только играя, человек вполне человек.

Чернышевский находит полемику Платона против искусства чрезвычайно суровою; но он видит в ней много верного. «И легко было бы показать, — замечает он, — что многие из строгих обличений Платоновых продолжают быть справедливыми и в отношении к современному искусству» [2]). Едва ли нужно прибавлять, что этим обстоятельством в весьма значительной степени об'ясняется его горячее сочувствие к строгим Платоновым обличениям.

Платон восставал против искусства за его бесполезность для человека. Наш автор не менее Платона готов порицать бесполезное для человека искусство. По его мнению, та мысль, что искусство и не должно

---

1) Там же, стр. 13.

2) Там же, стр. 32.

быть полезным, что оно существует само для себя, «есть такая же странная мысль, как «богатство для богатства», «наука для науки» и т. д. Все человеческие дела должны служить на пользу человеку, если хотят быть не пустым и праздным занятием: богатство существует для того, чтоб им пользовался человек, наука для того, чтоб быть руководительницею человека; искусство также должно служить на какую-нибудь существенную пользу, а не на бесплодное удовольствие» [1]).

В чем же заключается польза, приносимая человеку искусством?

Обыкновенно говорят, что эстетические наслаждения смягчают сердце и возвышают душу человека. Чернышевский считает эту мысль справедливою, но он не хочет выводить из нее серьезное значение искусства. Конечно, он согласен с тем, что, выходя из картинной галлереи или из театра, человек чувствует себя добрее и лучше, по крайней мере, на то непродолжительное время, пока не изглаживаются полученные им эстетические впечатления; но он напоминает, что ведь сытый человек добрее голодного. Стало быть, с этой стороны нет разницы между влиянием искусства и тем влиянием, которое имеет на человека удовлетворение его физических потребностей. «Благодетельное влияние искусства как искусства (независимо от такого или иного содержания его произведений), — говорит Чернышевский, — состоит почти исключительно в том, что искусство — вещь приятная; подобное же благодетельное качество принадлежит всем другим приятным занятиям, отношениям, предметам, от которых зависит «хорошее расположение духа». Здоровый человек гораздо менее эгоист, гораздо добрее, нежели больной, всегда более или менее раздражительный и недовольный, хорошая квартира также больше располагает человека к доброте, нежели сырая, мрачная, холодная; спокойный человек (т.-е. находящийся не в неприятном положении) добрее, нежели раздосадованный и т. д.» [2]). При внимательном отношении к делу нетрудно убедиться, что польза, приносимая искусством как одним из источников довольства, хотя и несомненна, но все-таки ничтожна в сравнении с пользою, приносимою другими благоприятными отношениями и условиями жизни. И не в этом заключается великое значение искусства. Оно заключается в том, что искусство распространяет в массе людей, так или иначе заинтересованных им, большое количество сведений; что оно знакомит их с понятиями, вырабатываемыми наукой. Впрочем, говоря это, Чернышевский

[1]) Там же, стр. 33.
[2]) Там же, стр. 33.

имеет в виду собственно поэзию, — которую он называет самым серьезным из искусств, — потому что другие искусства очень мало делают, по его замечанию, в указанном смысле. Без всякого сомнения, только очень немногие беллетристы задаются целью распространять знание между своими читателями. Но так как они по своему образованию все-таки стоят выше, нежели большинство их читателей, то эти последние все-таки узнают многое из их произведений. Чернышевский убежден в том, что даже самые пошлые беллетристические произведения значительно расширяют у своих читателей круг свойственных им знаний. «Забавляя» читающую публику, поэзия приносит пользу ее умственному развитию. Вот почему она приобретает серьезное значение в глазах мыслителя. И вот почему она, вопреки Платону, имеет это значение даже тогда, когда не заботится о нем.

Итак, Чернышевский вовсе не разрушает эстетики. Напротив, он опирается на нее для того, чтобы выяснить художникам великое значение искусства, заключающееся в распространении тех понятий, которые вырабатываются наукою. Другими словами: наш автор не разрушает эстетики, а только подвергает коренному пересмотру ее теорию. После того, что мы от него слышали о Платоновом взгляде на искусство, мы без труда поймем, почему он нашел нужным и полезным сослаться на своих «великих учителей в деле эстетического суда»,—Платона и Аристотеля, — при решении вопроса, кто выше: Пушкин или Гоголь. И нас уже совсем не удивят следующие строки: «Если сущность искусства действительно состоит, как нынче говорят, в идеализации; если цель его — доставлять сладостное и возвышенное ощущение прекрасного», то в русской литературе нет поэта равного автору «Полтавы», «Бориса Годунова», «Медного Всадника», «Каменного Гостя» и всех этих бесчисленных, благоуханных стихотворений; если же от искусства требуется еще нечто другое, тогда...» — Чернышевский прерывает эту свою фразу недоумевающим вопросом от имени читателя, предубежденного в пользу старых эстетических понятий: «Но в чем же, кроме этого, может состоять сущность и значение искусства?» [1]). Мы знаем, в чем состоят они, по мнению Чернышевского, и мы сами можем дополнить прерванную фразу: Если цель искусства состоит не только в том, чтобы доставлять сладостные и возвышенные ощущения прекрасного, то «Ревизор» и «Мертвые души» выше «Каменного гостя» и «Полтавы», и Гоголь выше Пушкина, а те писатели, которые превзойдут Гоголя со-

[1]) Там же, стр. 29.

знательностью своего отношения к жизни, будут еще выше Гоголя. По поводу изложенного здесь взгляда, г. Скабичевский писал впоследствии в своей «Истории новейшей русской литературы»:

«Это отождествление искусства с наукой и придание искусству служебной роли иллюстрирования научных, философских и публицистических изысканий было роковою ошибкою, которая повела за собою весьма крупные последствия. Первым делом, она вывела критику из той роли, которая наиболее ей свойственна как ценительнице художественных произведений и которую критика исполнила с таким блестящим успехом в эпоху Белинского... Но затем теория тождества науки и искусства и служебной роли последнего по отношению к первой, воспринятая молодыми и незрелыми умами, последовательно, по наклонной плоскости, должна была дойти до полного отрицания искусства, что мы и видели в публицистах *«Русского слова»*, с Писаревым во главе» [1]).

Приписав Чернышевскому *«теорию тождества науки и искусства»*, г. Скабичевский с изумлением спрашивает: «в таком же случае, какую же роль должна играть так называемая творческая фантазия?» [2]). И нельзя не согласиться, что *«в таком случае»* для творческой фантазии в самом деле не было бы места. Но «такой случай» придуман самим г. Скабичевским. Чернышевский вовсе не *«отождествляет»* искусства с наукою. Как человек, знакомый с эстетикою Гегеля, он, подобно Белинскому, прекрасно понимает, что ученый излагает свою мысль с помощью логических доводов, между тем как художник воплощает ее в образах, т.-е. прибегает к «творческой фантазии». И г. Скабичевский не сделал бы своей ошибки, если бы он в свою очередь лучше знал те философские источники, из которых почерпали свои эстетические взгляды Белинский и Чернышевский.

Возьмем пример. Роман «Что делать?» более чем на целой половине своих страниц проповедует те же самые мысли, какие излагает статья «Антропологический принцип в философии». Но в романе мысли эти воплощаются в образах, а в статье они доказываются с помощью логических доводов. Ясно, стало быть, что когда Чернышевский взялся за роман, он должен был обратиться к своей творческой фантазии. Мы знаем, что, по мнению многих, Чернышевский обнаружил в своем романе мало творческой силы, но это уж вопрос другой, нас здесь не касающийся и решаемый, мимоходом сказать, большинством читателей

---

1) Стр. 65 — 66.

2) Там же, стр. 65.

крайне легкомысленно: Чернышевский сам заявил, что у него совсем нет никакого художественного таланта, и этому поверили слишком охотно. В действительности, его роман не лишен некоторых, правда небольших, художественных достоинств; в нем много юмора и наблюдательности; наконец, он пропитан таким горячим энтузиазмом к истине, что он и до сих пор читается с большим интересом. Нужно много предубеждения, основывающегося на распространенных у нас теперь и в корне ошибочных эстетических теориях, чтобы презрительно пожимать плечами по поводу этого романа, как это делают многие из нынешних, даже «передовых» читателей. Но, повторяем, это вопрос другой. Несомненно то, что в романе Чернышевский апеллировал к своей творческой силе, а в статье—к своей логике. Этого достаточно, чтобы обнаружить перед нами, как грубо ошибся г. Скабичевский.

А впрочем, приведем еще пример. Толстой в таких своих произведениях, как «Смерть Ивана Ильича» или «Хозяин и работник», без всякого сомнения, хотел изложить те самые взгляды, к которым он пришел, размышляя над «смыслом жизни». Но, излагая эти взгляды, он,— подобно тому, как это сделал Чернышевский в своем романе, — прибегал к своей творческой фантазии, а не к тем или другим теоретическим доводам. Ну, и что же? Кто скажет, что Толстой не дал развернуться своей творческой силе в этих своих сочинениях? Кто откажется отнести их к числу самых выдающихся художественных произведений? Г. Скабичевский видит отождествление там, где отождествления не было и в помине.

Совершенно неудовлетворительна, по своей крайней неопределенности, и та мысль г. Скабичевского, что мнимая ошибка Чернышевского вывела критику из той роли, которую она играла в эпоху Белинского. Этот последний в самом деле был «ценителем художественных произведений». Но эстетическая теория Чернышевского, — *как таковая*, — отнюдь не исключает их оценки. Справедливо то, что критики, ее державшиеся, склонны были забывать вопрос о художественных достоинствах разбираемых ими произведений, сосредоточивая главное свое внимание на идеях этих произведений. Справедливо и то, что, например, у Писарева эстетическая теория Чернышевского получила карикатурный вид. Но это об'ясняется общественными условиями того времени, в которых Чернышевский, разумеется, совершенно не повинен. *Сама по себе,* его эстетическая теория не исключала интереса к эстетическим достоинствам художественных произведений. Этого доста-

точно для того, чтобы показать нам, как неловко подошел г. Скабичевский к ее критике.

Одной из главных отличительных черт эстетической теории Чернышевского является та мысль, что «прекрасное» не исчерпывает собою содержания искусства. Эту мысль он подробно развивает в своей диссертации об «Эстетических отношениях искусства к действительности» и к ней же не раз возвращается он в своих «Очерках Гоголевского периода русской литературы».

«В каждом человеческом действии, — говорит он там, — принимают участие все стремления человеческой натуры, хотя бы одно из них и являлось преимущественно заинтересованным в этом деле. Потому и искусство производится не отвлеченным стремлением к прекрасному (идеею прекрасного), а совокупным действием всех сил и способностей живого человека. А так как в человеческой жизни потребности, например, правды, любви и улучшения быта гораздо сильнее, нежели стремление к изящному, то искусство не только всегда служит до некоторой степени выражением этих потребностей (а не одной идеи прекрасного), но почти всегда произведения его (произведения человеческой жизни, этого нельзя забывать) создаются под преобладающими влияниями потребностей правды (теоретической и практической) любви и улучшения быта, так что стремление к прекрасному, по натуральному закону человеческого действования, является служителем этих и других сильных потребностей человеческой натуры. Так всегда производились все создания искусства, замечательные по своему достоинству. Стремления, отвлеченные от действительной жизни, бессильны; потому, если когда стремление к прекрасному и усиливалось действовать отвлеченным образом (разрывая свою связь с другими стремлениями человеческой природы), то не могло произвесть ничего замечательного даже и в художественном отношении. История не знает произведений искусства, которые были бы созданы исключительно идеею прекрасного: если и бывают и бывали такие произведения, то не обращают на себя никакого внимания современников и забываются историею, как слишком слабые, — слабые даже и в художественном отношении» [1]).

Эта мысль Чернышевского тоже справедлива, хотя она и страдает некоторою отвлеченностью. История действительно не знает таких художественных произведений, которые выражали бы исключи-

[1]) Сочинения, т. II, стр. 213 — 214.

тельно идею прекрасного. Этим, — кстати сказать, — опровергается также и та мысль, что Пушкинский период нашей литературы характеризуется стремлением поэзии к одной только совершенной форме. Но дело не в этом. Задача научной эстетики не ограничивается констатированием того факта, что искусство всегда выражает *не только* «идею» прекрасного, но также и другие стремления человека (к правде, любви и т. д.). Ее задача состоит, главным образом, в обнаружении того, *каким образом эти другие стремления человека находят свое выражение в его понятии о прекрасном;* и каким образом они, сами видоизменяясь в процессе общественного развития, видоизменяют также «идею» прекрасного. Так, например, свойственная средним векам идея прекрасного, — воплощавшаяся, скажем, в образе Мадонны, — сама сложилась под влиянием тех идеалов, которые господствовали в духовенстве, как известно, игравшем огромную роль в тогдашнем обществе. В эпоху Возрождения «идея» прекрасного, воплощаемая в том же образе, приобретает совершенно другой характер, потому что она выражает тогда стремления новых общественных слоев, имеющих совершенно другие идеалы. Это теперь общеизвестно. И Чернышевский, несомненно, принимал во внимание этот факт, когда в своей диссертации, определял прекрасное, как «*жизнь*». Он писал: «прекрасно то существо, в котором мы видим жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям» [1]). Но если это верно, — а это совершенно верно, — то как же происходит дело? Так ли, что искусство, с одной стороны, воплощает нашу идею прекрасного, а с другой, — и даже, как это утверждает Чернышевский, главным образом,—выражает наши стремления к правде, к доброму, к улучшению своего быта и т. д.? Нет, чаще всего бывает наоборот. Наше понятие о прекрасном само проникается этими стремлениями и само выражает их. Поэтому и не следует разлагать на отдельные элементы то, что в действительности представляет собою нечто органически целое. А Чернышевский, в силу свойственной всем «просветителям» рассудочности, иногда разлагает это органическое целое на его отдельные составные элементы [2]). Поступая так, он де-

---

[1]) Сочинения, т. X, ч. 2, стр. 88.

[2]) 17-й тезис его «Эстетических отношений искусства к действительности» гласит: «Воспроизведение жизни — общий характеристический признак искусства, составляющий сущность его; часто произведения искусства имеют и другое значение — об'яснение жизни; часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни» (Сочинения, т. X, ч. 2, отд. I, стр. 164). Но весь вопрос заключается в том, как выражается этот приговор и в каком виде дается это об'яснение: в

лает теоретическую ошибку. И эта его теоретическая ошибка, действительно, могла придать и иногда придавала его критике односторонний вид. Если произведение искусства рядом с идеей прекрасного,—и, стало быть, независимо от нее,—выражает также известные нравственные или практические стремления, то критик имеет право сосредоточить свое главное внимание именно на этих стремлениях, оставляя в стороне вопрос о том, в какой мере они получили в разбираемом произведении свое художественное выражение. Когда критика поступает так, она по необходимости принимает *морализирующий* характер. Таким грехом она много грешила у нас в лице Д. И. Писарева, да и не его одного. По иронии судьбы в том же грехе не раз жестоко провинялся сам г. Скабичевский. Впрочем, это обыкновенно случается с критикой в «просветительные» периоды, характеризующиеся преобладанием рассудочности. В ее оправдание надо сказать, что в такие периоды рассудочность свойственна не только критикам, но даже и художникам [1]).

Что в отзывах Чернышевского о произведениях искусства иногда бывало слишком много рассудочности, этого нельзя оспаривать. И когда мы читаем его похвалы Платоновым обличениям искусства, мы видим пред собою «просветителя» одной эпохи, естественно склонного сочувствовать тому отношению к искусству, которыми отличаются представители всех других «просветительных» эпох [2]). В сущности отзыв Чернышевского о современном Платону греческом искусстве был не совсем справедлив. Хотя греческое искусство IV века уже не выражает собою мужественного гражданского идеала, вдохновлявшего Поликлета и Фидия, однако все-таки Чернышевский слишком преувеличивал, говоря, что тогдашние художники не давали ничего, кроме более или менее сладострастных картин, стихов и статуй.

Мы не можем согласиться с Чернышевским и тогда, когда он отвергает ту, усвоенную Шиллером, идею Канта, что искусство есть игра.

виде художественных образов или же в виде отвлеченных положений? Как бы ни были правильны те или другие отвлеченные положения, они не относятся к области искусства. В нашей литературе это хорошо выяснил Белинский.

[1]) Давид говорил о себе: «je n'aime ni je ne sens le merveilleux: je ne puis marcher à l'aise qu'avec le secours d'un fait réel» (*Delecluze*, «L. David, son école et son temps», Paris 1895, p. 338. Ср. сборник «За двадцать лет» стр. 145 и следующ.). Это чрезвычайно характерно для французского «просветителя» XVIII века, каким был Давид.

[2]) Что в своих суждениях об искусстве ученик Сократа, Платон, показал себя типичным «просветителем»,—это вряд ли нуждается в доказательствах.

Для Чернышевского *понятие «игры»* покрывается понятием *пустой забавы*. Но это совсем не так. На самом деле, игра становится пустой забавой только при известных условиях. «Играет» не только человек, «играет» также и животное. Еще Спенсер справедливо говорил, что, например, игра хищных животных состоит из притворной охоты и притворной драки. Это значит, что у животных содержание игры определяется той деятельностью, с помощью которой поддерживается их существование. То же мы видим и у детей. По справедливому замечанию того же Спенсера, детские игры суть не более, как театральные представления разного рода деятельности взрослых. Это особенно хорошо видно на играх маленьких дикарей. Словом, *игра есть дитя труда*, как прекрасно выразился В. Вундт в своей «Этике» [1]). И именно потому, что она есть дитя труда, она далеко не всегда является пустою забавою. Она становится ею только у тех общественных классов или слоев, которые живут без всякого труда и которые поэтому даже в своей *«деятельности»* являются *бездельными*. Однако даже и в таких случаях игра есть в некотором роде побочное «дитя труда», потому что только при наличности известных отношений производства возможно существование в обществе класса или слоя, предающегося безделию.

Если, — как это говорит Чернышевский, — существенным признаком искусства является воспроизведение жизни, то искусство безусловно должно быть признано родственным игре, которая тоже воспроизводит жизнь не только у человека, но и у животного. Воспроизведение жизни в игре или в искусстве имеет большое социологическое значение. Воспроизводя свою жизнь в созданиях искусства, люди воспитывают себя для своей общественной жизни, приспособляют себя к ней. Различные общественные классы имеют неодинаковые потребности, они живут неодинаковою жизнью; поэтому неодинаковы и их эстетические вкусы. Классы, предающиеся безделью, выражают пустоту своей жизни и в своих произведениях искусства. Их искусство есть в самом деле не более как пустая забава; но оно является пустою забавою не потому, что оно есть совершенно подобное игре воспроизведение жизни, а только потому, что оно воспроизводит пустую жизнь. Дело не в *«игре»*, а в том, каково содержание игры.

Взгляд на искусство, как на *игру*, дополняемый взглядом на игру, как на «дитя труда», проливает чрезвычайно яркий свет на сущность

[1]) Ср. нашу статью «Еще об искусстве у первобытных народов» в сборнике «Критика наших критиков», стр. 380 — 399.

и историю искусства. Он впервые позволяет взглянуть на них с материалистической точки зрения. Мы знаем, что, при самом начале своей литературной деятельности, Чернышевский сделал очень удачную, по-своему, попытку применить материалистическую философию Фейербаха к эстетике. Этой его попытке нами посвящена особая работа [1]). Поэтому здесь мы только скажем, что хотя и очень удалась, по-своему, эта попытка, на ней, точно так же, как и на исторических взглядах Чернышевского, отразился основной недостаток философии Фейербаха: неразработанность ее исторической или, точнее сказать, диалектической стороны. И только потому, что не разработана была эта сторона в усвоенной им философии, Чернышевский мог не обратить внимания на то, как важно понятие игры для материалистического об'яснения искусства.

Но зато в эстетике Чернышевского, — опять, как и в его исторических взглядах, — мы находим много зачатков совершенно правильного понимания предмета. Вот, например, посмотрите, как удачно выясняет он зависимость понятия о красоте от условий жизни различных общественных классов. Приводим целиком относящееся сюда и в полном смысле слова замечательное место его диссертации:

«Хорошая жизнь, жизнь, как она должна быть, у простого народа состоит в том, чтобы сытно есть, жить в хорошей избе, спать вдоволь; но вместе с этим у поселянина понятие «жизнь» всегда заключается в понятии о работе: жить без работы нельзя; да и скучно было бы. Следствием жизни в довольстве, при большой работе, не доходящей, однако, до изнурения сил, у молодого поселянина или сельской девушки будет чрезвычайно свежий цвет лица и румянец во всю щеку — первое условие красоты по простонародным понятиям. Работая много, поэтому будучи крепка сложением, сельская девушка при сытной пище будет довольно плотна, — это также необходимое условие красавицы сельской; светская «полувоздушная красавица» кажется поселянину решительно «невзрачной», даже производит на него неприятное впечатление; потому что он привык считать «худобу» следствием болезненности или «горькой доли». Но работа не дает разжиреть; если сельская девушка толста, это род болезненности, знак «рыхлого» сложения, и народ считает большую полноту недостатком; у сельской красавицы не может быть маленьких ручек и ножек, потому что она много работает — об этих принадлежностях красоты и не упоминается в на-

[1]) См. статью «Эстетическая теория Чернышевского» в сборнике «За двадцать лет».

ших песнях. Одним словом, в описаниях красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты, который не был бы выражением цветущего здоровья и равновесия сил в организме, всегдашнего следствия жизни в довольстве при постоянной нешуточной, но не чрезмерной работе. Совершенно другое дело светская красавица; уже несколько поколений предки ее жили, не работая руками; при бездейственном образе жизни, крови льется в оконечности мало; с каждым новым поколением мускулы рук и ног слабеют, кости делаются тоньше; необходимым следствием всего этого должны быть маленькие ручки и ножки; они — признак такой жизни, которая одна и кажется жизнью для высших классов общества, жизни без физической работы; если у светской женщины большие руки и ноги, это признак или того, что она дурно сложена, или того, что она не старинной, хорошей фамилии. По этому же самому у светской красавицы должны быть маленькие ушки. Мигрень, как известно, интересная болезнь — и не без причины: от бездействия кровь остается вся в средних органах, приливает к мозгу; нервная система и без того уже раздражительна от всеобщего ослабления в организме; неизбежное следствие всего этого — продолжительные головные боли и разного рода нервические расстройства; что делать, и болезнь интересна, чуть не завидна, когда она следствие того образа жизни, который нам нравится. Здоровье, правда, никогда не может потерять своей цены в глазах человека, потому что и в довольстве, и в роскоши плохо жить без здоровья; вследствие того румянец на щеках и цветущая здоровьем свежесть продолжают быть привлекательными и для светских людей; но болезненность, слабость, вялость, томность также имеют в глазах их достоинство красоты, как скоро кажутся следствием роскошно-бездейственного образа жизни. Бледность, томность, болезненность имеют еще другое значение для светских людей: если поселянин ищет отдыха, спокойствия, то люди образованного общества, у которых материальной нужды и физической усталости не бывает, но которым зато часто бывает скучно от безделья и отсутствия материальных забот, ищут «сильных ощущений, волнений страстей», которыми придается цвет, разнообразие, увлекательность светской жизни, без того монотонной и бесцветной. А от сильных ощущений, от пылких страстей человек скоро изнашивается: как же не очаровываться томностью, бледностью красавицы, если они служат признаком, что она «много жила»?» [1]).

[1]) Сочинения, т. X, ч. 2, отд. I, стр. 89 — 90.

Понятия людей о красоте выражаются в произведениях искусства. Понятия о ней различных общественных классов, как мы видели, очень различны, иногда даже противоположны. Тот класс, который господствует в данное время в обществе, господствует также в литературе и в искусстве. Он вносит в них свои взгляды и понятия. Но в развивающемся обществе в разное время господствуют разные классы. Притом же всякий данный класс имеет свою историю: он развивается, доходит до процветания и господства и, наконец, клонится к упадку. Сообразно с этим изменяются и его литературные взгляды, и его эстетические понятия. Поэтому в истории мы встречаемся с различными эстетическими понятиями людей: понятия и взгляды, господствовавшие в одну эпоху, оказываются устаревшими в другую. Чернышевский подметил, что эстетические понятия людей определяются в последней инстанции их экономическим бытом. Это свидетельствует об огромной проницательности его взгляда. Чтобы поставить свою эстетическую теорию на прочную материалистическую основу, ему нужно было подробнее изучить подмеченную им причинную связь эстетики с экономикой и проследить эту связь, по крайней мере, через главнейшие фазы исторического развития человечества. Этим он сделал бы величайший переворот в истории эстетики. Но, во-первых, метод, которого он держался в своих исследованиях, был недостаточно разработан для такого теоретического предприятия. А во-вторых, он как «просветитель» интересовался не столько самой теорией, сколько некоторыми ее выводами, имеющими непосредственное отношение к житейской практике. Поэтому он, бросив чрезвычайно проницательный взгляд на вопрос об отношении сознания к бытию в области эстетики, тотчас же отворачивается от этого теоретического вопроса и спешит дать своему читателю разумный практический совет. Он говорит:

«Мила живая свежесть цвета,
Знак юных дней;
Но бледный цвет, тоски примета,
Еще милей.

«Но если увлечение бледною, болезненною красотою признак искусственной испорченности вкуса, то всякий истинно образованный человек чувствует, что истинная жизнь — жизнь ума и сердца. Она отпечатывается в выражении лица, всего яснее в глазах; потому выражение лица, о котором так мало говорится в народных песнях, получает огромное значение в понятиях о красоте, господствующих между образован-

ными людьми; и часто бывает, что человек кажется нам прекрасен только потому, что у него прекрасные выразительные глаза!» [1]).

Это опять верно. Но в этом верном замечании речь идет уже не столько об эстетике, какой она *бывает* в зависимости от экономического положения различных классов, сколько об эстетике, какой она *должна быть* у «образованных людей». Забота о том, что *должно быть*, преобладает в диссертации Чернышевского над теоретическим интересом к тому, отчего иногда *бывает* совершенно иначе. Вот чем об'ясняется тот, повидимому, странный факт, что в диссертации этого материалиста встречается меньше истинно-материалистических замечаний об истории искусства, чем, например, в «Эстетике» абсолютного идеалиста Гегеля [2]).

Но вернемся к статье о «Пиитике» Аристотеля: она составляет как бы дополнение к исследованию об «эстетических отношениях искусства к действительности». По мнению Чернышевского, Аристотель уступает Платону в возвышенности требований, пред'являемых им к искусству; его понятия о значении музыки, поэзии не так поучительны, как Платоновы, и даже, — как мы это об'ясняли мимоходом выше, говоря об отношениях Чернышевского к Гегелевой диалектике,—иногда страдают мелочностью. Наш автор не соглашается с Аристотелем, когда тот об'ясняет происхождение искусства стремлением человека к подражанию. Однако ему очень нравится взгляд Аристотеля на отношение философии к поэзии. Он говорит: «Поэзия, изображающая человеческую жизнь с общей точки зрения, представляющая не случайные и ничтожные мелочи ее, а то, что есть в жизни существенного и характеристического, чрезвычайно много имеет, как думает Аристотель, философского достоинства. Она в этом отношении даже гораздо выше, по его мнению, нежели история, которая без разбора должна описывать и важное, и неважное, и существенное, характеристическое, и случайные, не имеющие никакого внутреннего значения факты; поэзия гораздо выше истории также и потому, что представляет все во внутренней связи, между тем как история без всякой внутренней связи, по хронологическому порядку рассказывает разнородные факты, не имеющие между собою ничего общего» [3]).

---

[1]) Там же, стр. 90.

[2]) См. замечания Гегеля об истории голландской живописи, с которыми почти безусловно может согласиться любой из современных материалистов-диалектиков («Aesthetik», 1-er Band, S. 217, 218; B. II, S. 217—223). Подобных замечаний много рассеяно в его «Эстетике».

[3]) Сочинения, т. I, стр. 36 — 37.

Как известно, этот взгляд Аристотеля нравился также и Лессингу и по той же причине: он давал теоретическую возможность пред'явить к поэзии столь дорогое обоим «просветителям» требование «об'яснения жизни» или, — чтобы выразиться с полною точностью, — произнесения над нею «приговора». Конечно, на самом деле, взгляд Аристотеля мог быть об'яснен в том чисто теоретическом смысле, какой придал ему Гегель в своей «Эстетике» и какой мы чаще всего встречаем в касающихся этого предмета рассуждениях Белинского. Но Чернышевский, подобно Лессингу, истолковывает его в дорогом для «просветителей» практическом направлении [1]).

В качестве «просветителя», озабоченного главным образом практическими выводами и потому не очень расположенного ко всестороннему рассмотрению теоретической основы таких выводов, Чернышевский далеко не всегда отдает историческую справедливость отвергаемым им эстетическим теориям.

Чернышевский, подобно Лессингу, не любил «теоретиков псевдоклассической школы» по причинам, которые сами по себе совершенно понятны, — и, что касается Лессинга, хорошо раз'яснены Ф. Мерингом в его известной книге «Lessings-Legende», — но рассмотрение которых завело бы нас здесь слишком далеко. Он приписывает этим теоретикам подчас такие грехи, в каких они, говоря по правде, совсем не повинны, в чем он и сам мог бы легко убедиться при несколько большем внимании к исторической стороне занимавших его эстетических вопросов. Вот яркий пример. У Платона и Аристотеля изящные искусства называются *подражательными*. По этому поводу Чернышевский считает нужным оттенить, что то «*подражание*», о котором говорят эти философы, имеет очень мало общего с тем «*подражанием природе*», в котором псевдо-классическая школа видела сущность искусства. «Неужели Платон и особенно Аристотель, учитель всех Баттe, Буало и Горациев, — говорит он, — поставляют сущность искусства не в подражании *природе*, как привыкли все мы дополнять фразу, говоря о теории подражания? Действительно, и Платон, и Аристотель считают истинным содержанием искусства, в особенности поэзии, вовсе не природу, а *человеческую* жизнь. Им принадлежит великая честь думать о главном содержании искусства именно то самое, что

[1]) Нелишним будет, пожалуй, напомнить следующую оговорку Чернышевского насчет истории: «Но мнение Аристотеля об истории требует об'яснения: оно приложимо только к тому виду истории, который был известен в его время — это была не собственно история, а летопись» (Сочинения, т. I, стр. 37).

после них высказал уже только Лессинг, и чего не могли понять все их последователи. У Аристотеля в «Пиитике» нет ни слова о природе: он говорит о людях, их действиях, событиях с людьми, как о предметах, которым подражает поэзия. Дополнение: «природе» могло быть принято в пиитиках только тогда, когда процветала вялая и фальшивая описательная поэзия и неразлучная с нею дидактическая поэзия — роды, изгоняемые Аристотелем из поэзии. Подражание *природе* чуждо истинному поэту, главный предмет которого — человек. «Природа» выступает на первый план только в пейзажной живописи, и фраза «подражание природе послышалась в первый раз из уст живописца» [1]).

Далее Чернышевский поясняет, со слов Плиния, при каких обстоятельствах произнесена была эта фраза: когда Лизипп спросил живописца Эвпомпа, кому из великих художников надо подражать, тот ответил, что подражать надо не художникам, а самой природе. Из этих слов наш автор справедливо заключает, что образцом для художника должна служить живая действительность вообще, а не природа, в узком смысле этого слова. Но дело в том, что слова: «подражание природе» понимались в том же смысле и «теоретиками псевдо-классической школы». В доказательство мы сошлемся на Буало, которого Чернышевский называет в числе писателей, будто бы забывавших о человеке. В третьей песне своего «Art poétique» Буало дает следующий совет авторам:

Que la nature donc soit votre étude unique,
Auteurs, qui prétendez aux honneurs du comique.
Quiconque voit bien l'homme, et, d'un esprit profond,
De tant de coeurs cachés a pénétré le fond;
Qui sait bien ce que c'est qu'un prodigue, un avare,
Un honnête homme, un fat, un jaloux, un bizarre,
Sur une scène heureuse il peut les étaler,
Et les faire à nos yeux vivre, agir et parler.
Présentez en partout les images naïves;
Que chacun y soit peint des couleurs les plus vives
La nature, féconde en bizarres portraits,
Dans chaque âme est marquée à de différents traits,
Un geste la découvre, un rien la fait paraître.
Mais tout esprit n'a pas des yeux pour les connaître.

Здесь как нельзя более ясно, что под «природой» Буало понимает именно человека. Не менее ясно это и в следующем отрывке:

[1]) Сочинения, т. I, стр. 38 — 39.

Aux dépens du bon sens garder de plaisanter.
Jamais de la nature il ne faut s'écarter.
Contemplez de quel air un père dans Térence
Vient d'un fils amoureux gourmander l'imprudence;
De quel air cet amant écoute ses leçons,
Et court chez sa maîtresse oublier ses chansons.
Ce n'est pas un portrait, une image semblable,
C'est un amant, un fils, un père véritable.

Когда Буало говорил, что ни в каком случае не следует уклоняться от природы, его слова имели, очевидно, тот смысл, что *человеческая* природа должна быть изображена с возможно большею верностью. Буало ставит в пример Теренция; но Теренций достоин подражания, по его мнению, именно как художник, мастерски воспроизводивший природу человека: отца, сына, любовника и т. д. Да и не мог XVII век предпочитать изображение природы изображению человеческой жизни. Он слишком интересовался этой последней. Она сосредоточивала на себе почти все его внимание, и даже пейзажная живопись этого столетия отодвигает природу на задний план. Внимание пейзажиста обращается во Франции от человека к природе только уже в конце двадцатых годов XIX столетия; да и этот поворот означает собственно не то, что художники начали интересоваться природой больше, нежели человеком, а то, что их стали теперь интересовать другие, прежде мало интересные для них, стороны душевной жизни человека [1]). Но, повторяем, для Чернышевского, как для «просветителя», не имели особенного значения эти исторические подробности. Ему важен был тот, имевший в его глазах огромное практическое значение, вывод, что «называть искусство воспроизведением действительности (заменяя современным термином неудачно передающее смысл греческого mimêsis слово «подражание») было бы вернее, нежели думать, что искусство осуществляет в своих произведениях нашу идею совершенной красоты, которой будто бы нет в действительности» [2]). Развивая эту свою мысль, Чернышевский утверждает, что напрасно думают, будто бы, признав своим верховным началом воспроизведение человеческой жизни, искусство тем самым вынуждено было бы делать грубые и пошлые снимки с действительности

[1]) См. статьи, посвященные французскому пейзажу в сборнике «Histoire du paysage en France». Paris 1908; там же лекции *Л. Розенталя*: «Le paysage au temps du romantisme» и статью *Шарля Сонье*: «Jean-François Millet». Ср. также *Фромантэна*: «Les maîtres d'autrefois. Belgique-Hollande», 8-e édit., Paris 1896, стр. 271 и след.

[2]) Сочинения, т. I, стр. 39.

и отказаться от всякой идеализации. Чернышевский признает идеализацию, но он дает свое определение этому понятию. Идеализация, состоящая в так называемом облагорожении изображаемых предметов и характеров, равносильна чопорности, надутости и фальши: «единственная необходимая идеализация должна состоять в исключении из поэтического произведения ненужных для полноты картины подробностей, каковы бы ни были эти подробности». И это, разумеется, безусловно справедливо.

Не касаясь, — как уже разобранных нами в другом месте, — других эстетических взглядов, высказанных Чернышевским по поводу «Пиитики» Аристотеля и повторенных им в своей диссертации, мы остановимся еще только на одном. Чернышевский отмечает, что Аристотель ставил трагиков выше Гомера и находил, что поэмы этого последнего много уступают трагедиям Софокла и Эврипида в смысле художественной формы. Наш автор вполне согласен с этим взглядом греческого философа и, со своей стороны, считает нужным дополнить его только одним замечанием: он находит, что трагедии Софокла и Эврипида несравненно художественнее поэм Гомера не только по форме, но также и по содержанию. И он спрашивает, не пора ли и нам последовать примеру Аристотеля и взглянуть без ложного подобострастия на Шекспира. Лессингу, находит он, было естественно ставить великого английского драматурга выше всех поэтов, когда-либо существовавших на земле; но теперь, когда уже нет надобности восставать против слишком усердного подражания французским псевдо-классическим писателям и когда у нас есть Лессинг, Гете, Шиллер, Байрон, вполне позволительно критическое отношение к Шекспиру. «Ведь Гете признает же «Гамлета» нуждающимся в переделке? И, может быть, Шиллер не выказал неразборчивости вкуса, переделав наравне с Шекспировым «Макбетом» и Расинову «Федру». Мы беспристрастны к давно прошедшему: зачем же так долго медлить признавать и недавно прошедшее веком высшего, нежели прежнее, развития поэзии? Разве ее развитие не идет рядом с развитием образованности и жизни» [1]).

Само собою разумеется, что можно и должно относиться с критикою к Шекспиру, как можно и должно относиться с нею, например, к Гете и Толстому или Гегелю и Спинозе. Но можно ли поставить Лессинга и Шиллера или Байрона выше Шекспира, это другой вопрос. Мы не имеем возможности разбирать его здесь, но мы все-таки позволим

[1]) Там же, стр. 43.

себе сказать, что как драматург Шекспир значительно выше названных Чернышевским писателей. Беспристрастие, конечно, необходимо во всех литературных суждениях; однако оно еще не обязывает нас к признанию той мысли, что успехи поэзии всегда идут рядом с успехами жизни и образованности. Нет, далеко не всегда. Как художники Корнель и Расин несравненно выше Вольтера, а между тем французская образованность и французская жизнь XVIII века далеко опередили образованность и жизнь Франции предыдущего столетия. Или, — чтобы взять пример, который показался бы более убедительным Чернышевскому, как решительному противнику французской псевдо-классической школы,— разве не очевидно, что в эпоху того же Шекспира английский театр стоял несравненно выше, нежели в XVIII веке? А ведь английская образованность и жизнь очень далеко подвинулись вперед в промежуток, отделяющий одну от другой эти две эпохи. «Просветители» всех стран очень склонны были думать, что успехам просвещения («образованности») всегда прямо пропорциональны были успехи всех других сторон умственной и общественной жизни народов. Это не так. В действительности, историческое движение человечества представляет собою такой процесс, в котором успехи одной из сторон не только не предполагают пропорциональных успехов всех других его сторон, но иногда прямо обусловливают собою отсталость или даже упадок некоторых из них. Так, например, колоссальное развитие западно-европейской экономической жизни, определив собою взаимное отношение между классом производителей и классом присвоителей общественного богатства, привело во второй половине XIX столетия к духовному упадку буржуазии и всех тех искусств и наук, в которых выражаются нравственные понятия и общественные стремления этого класса. Во Франции конца XVIII столетия буржуазия выступила еще как класс, исполненный умственной и нравственной энергии; но это обстоятельство не помешало поэзии, созданной ею в то время, пойти назад сравнительно с тем, чем она была прежде, когда менее развита была общественная жизнь. Поэзия вообще плохо уживается с рассудочностью, а рассудочность очень нередко является необходимым следствием и верным показателем образованности. Но Чернышевскому, как типичному «просветителю», были совершенно чужды соображения этого рода.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Белинский, Чернышевский и Писарев

В другом месте мы сказали, что если Белинский был *родоначальником* наших «просветителей», то Чернышевский является *самым крупным их представителем* [1]). Чтобы сделать это понятным, нужно сперва напомнить, в каком смысле мы считаем Белинского родоначальником наших «просветителей».

В эпоху своего знаменитого «примирения с действительностью», он задался целью понять ее, как продукт определенного хода исторического развития. Он держался тогда того мнения, что идеал, не оправдываемый самим ходом развития «действительности», т.-е. оторванный от нее, представляет собою нечто вроде суб'ективного каприза, не заслуживающего ни внимания, ни интереса. Его «примирение с действительностью» означало лишь пренебрежение к такому идеалу. Впоследствии, когда он уже проклинал свою статью о Бородинской битве, как недостойную честного писателя, он, продолжая оставаться верным духу Гегелевой философии, возмущался в этой статье собственно ее выводами, а не ее основными положениями. «Идея, которую я силился развить в статье по случаю книги Глинки «Очерки Бородинского сражения», — говорил он, — верна в своих основаниях». Но он находил теперь, что ему не удалось, как следует, воспользоваться этими верными основаниями. «Должно было бы развить и идею отрицания, как исторического права, не менее первого, священного, без которого человечество превратилось бы в стоячее и вонючее болото». Гегель, поскольку он оставался верен своей диалектике, вполне признавал «историческое право отрицания». Это хорошо видно из его чтений по истории философии, в которых он с таким решительным одобрением говорит об отрицателях, подобных Сократу. Но у Гегеля, — опять-таки поскольку он не изменял своему диалектическому методу, — отрицание данной «действительности» является закономерным продуктом ее собственного диалектического развития, т.-е. развития свойственных ей внутренних противоречий. Чтобы обосновать «идею отрицания» в России, нужно было открыть и показать, каким образом историческое развитие общественных отношений, составляющих данную российскую «действительность», должно своей собственной, внутренней логикой привести со временем к отрица-

[1]) За двадцать лет», 3-е издание, стр. 260.

нию той же «действительности», т.-е. к ее замене новой «действительностью», более или менее соответствующей идеалам передовых личностей. Страшная отсталость нашей тогдашней общественной жизни не дала Белинскому возможности решить эту чрезвычайно важную теоретическую задачу. А так как он по всему своему нравственному складу все-таки не мог жить в мире с «действительностью», так как его мир с нею был лишь перемирием, то ему пришлось обосновывать свою «идею отрицания» другим и уже совсем не диалектическим путем: он стал выводить ее из отвлеченного понятия о *человеческой личности,* которую он считал нужным освободить «от гнусных оков неразумной действительности, мнения черни и предания варварских времен». Но поскольку он искал опоры в этом отвлеченном понятии, постольку он из *диалектика* превращался в *«просветителя»*.

Просветители, — как мы это видим в каждом известном нам периоде «просвещения», — в своей критике современных им отношений исходили обыкновенно из тех или других *отвлеченных принципов.*

Со стороны социально-политической это новое направление мысли Белинского, — это искание им опоры в отвлеченном понятии личности, — привело его к *утопическому социализму,* а со стороны литературной — к реабилитации Шиллера, которого он об'явил теперь благородным адвокатом человечества. Но все-таки он недаром прошел школу Гегеля: у него навсегда осталось отвращение от «натянутого, на ходулях стоящего идеализма, махающего мечом картонным, подобно разрумяненному актеру». Если в своей юности, в первый период своего увлечения Шиллером, Белинский увлекался его «Разбойниками»,—то теперь он уже с пренебрежением относится к тем писателям, которые с легкой руки Марлинского «принялись рисовать то Карлов Мооров в черкесской бурке, то Лиров и Чайльд-Гарольдов в канцелярском виц-мундире». Уже в начале 1844 года, он, — в статье: «*Русская литература в 1843 году*»,— с удовольствием отмечает, что теперь и «великие и малые таланты, и посредственность и бездарность — все стремятся изображать действительных, не воображаемых людей, но так как действительные люди обитают на земле и в обществе, а не на воздухе, не в облаках, где живут одни призраки, то, естественно, писатели нашего времени вместе с людьми изображают и общество. Общество также — нечто действительное, а не воображаемое, и потому его сущность составляют не одни костюмы и прически, но и нравы, обычаи, понятия, отношения и т. д.» [1].

---

[1]) Сочинения *В. Г. Белинского,* Москва 1880 г., т. 8, стр. 63.

В последующие годы своей жизни Белинский, умственное развитие которого шло в том же направлении, в каком развивалась западно-европейская философская мысль, перешел *от Гегеля к Фейербаху*. Это особенно заметно в его статье «*Взгляд на русскую литературу 1846 года*», где он излагает некоторые основные положения Фейербаховой философии. И в той же статье он в полном согласии со своими новыми философскими убеждениями говорит: «Если бы нас спросили, в чем состоит отличительный характер современной русской литературы, мы отвечали бы: в более и более тесном сближении с жизнью, с действительностью, в большей и большей близости к зрелости и возмужалости» [1]). В литературном обозрении следующего года, написанном им совсем уже незадолго до своей смерти, он такими словами определяет состояние и задачи нашей литературы:

«Литература наша была плодом сознательной мысли, явилась как нововведение, началась подражательностью. Но она не остановилась на этом, а постоянно стремилась к самобытности, народности, из риторической стремилась сделаться естественною, *натуральною*. Это стремление, ознаменованное заметными и постоянными успехами, и составляет смысл и душу истории нашей литературы. И мы, не обинуясь, скажем, что ни в одном русском писателе это стремление не достигло такого успеха, как в Гоголе. Это могло совершиться только через исключительное обращение искусства к действительности, помимо всяких идеалов. Для этого нужно было обратить все внимание на толпу, на массу, изображать людей обыкновенных, а не приятные только исключения из общего правила, которые всегда соблазняют поэтов на идеализирование и носят на себе чужой отпечаток. Это — великая заслуга со стороны Гоголя... Этим он совершенно изменил взгляд на самое искусство. К сочинениям каждого из поэтов русских можно, хотя и с натяжкою, приложить старое и ветхое определение поэзии, как «украшенной природы»; но в отношении к сочинениям Гоголя этого уж невозможно сделать. К ним идет другое определение искусства, как воспроизведения действительности во всей ее истине. Тут все дело в *типах*, а *идеал* тут понимается не как украшение (следовательно, ложь), а как отношения, в которые автор становит друг к другу созданные им типы, сообразно с мыслью, которую он хочет развить своим произведением» [2]).

Со всем, что высказывал в этих строках Белинский, Чернышевский был безусловно согласен, и эти мысли Белинского легли в основу его

[1]) Там же, стр. 9 — 10.

[2]) Соч. *Белинского*, там же, стр. 344 — 345.

взглядов на общие задачи русской литеретуры и на ее состояние в различные эпохи ее развития. Автор «Очерков Гоголевского периода русской литературы» имел полное право считать себя продолжателем *дела Белинского*. Когда Тургенев и другие образованные «люди 40-х годов» утверждали, что проповедь Чернышевского и его единомышленников изменяет заветам критики Белинского, они упускали из виду, что сам «неистовый Виссарион» нередко высказывался, в последний период своей жизни, в духе этой проповеди. Однако это их мнение не было и полной ошибкою. Они были правы в том смысле, что Чернышевский и его единомышленники делали из «просветительных» идей Белинского подчас такие выводы, которые, при всей своей логической правильности, вряд ли пришлись бы по душе Белинскому, до конца жизни сохранившему в своих взглядах многое из того, что Писарев окрестил впоследствии «шелухой гегелизма».

Что такое та «действительность», о которой говорил Белинский в приведенных нами выписках из его годовых обзоров русской литературы? Совпадает ли понятие о ней с понятием о той «действительности», с которой он некогда «мирился».

С удовольствием указывая на то, что наши журналы теперь больше всего толкуют о действительности, Белинский замечает: «Понятие о действительности совершенно новое» [1]). Чернышевский, приводящий это его замечание в 7-й главе своих «Очерков Гоголевского периода»,—находит его вполне правильным. Он говорит, что понятие о действительности «определилось и вошло в науку очень недавно, именно с того времени, как об'яснены были современными нам мыслителями темные намеки трансцендентальной философии, признававшей истину только в конкретном осуществлении» [2]). И он считает нужным подробно изложить этот новый и простой, но чрезвычайно плодотворный взгляд на действительность.

«Были времена, — говорит он, — когда мечты фантазии ставились гораздо выше того, что представляет жизнь, и когда сила фантазии считалась беспредельною. Но современные мыслители внимательнее прежнего рассмотрели этот вопрос и дошли до результатов, совершенно противоположных прежним мнениям, которые оказались решительно не выдерживающими критики. Сила нашей фантазии чрезвычайно ограничена, и создания ее очень бледны и слабы в сравнении с тем, что пред-

---

[1]) Там же, стр. 33.

[2]) Сочинения *Н. Г. Чернышевского*, т. II, стр. 205.

ставляет действительность. Самое пылкое воображение подавляется представлением о миллионах миль, отделяющих землю от солнца, о чрезвычайной быстроте света и электрического тока; самые идеальные фигуры Рафаэля оказались портретами с живых людей; самые уродливые создания мифологии и народных суеверий оказались далеко не столь непохожими на окружающих нас животных, как чудовища, открытые естествоиспытателями; историею и внимательным наблюдением современного быта доказано было, что живые люди, даже вовсе не принадлежащие к числу от'явленных извергов или героев добродетели, совершают преступления, гораздо ужаснейшие, и подвиги, гораздо более возвышенные, нежели все, что было выдумано поэтами. Фантазия должна была смириться перед действительностью; мало того: принуждена была сознаться, что мнимые создания ее — только копии с того, что представляется явлениями действительности» [1]).

Это совершенно то же самое, что говорится в его диссертации. Далее он раз'ясняет, что явления действительности очень разнообразны. В ней много такого, что соответствует потребностям человека, и много такого, что противоречит им.

Прежде, когда пренебрегали действительностью, думали, что очень легко переделать ее сообразно фантастическим мечтам. Потом увидели, что это не так. Человек очень слаб. Вся его сила зависит от знания действительной жизни и от уменья пользоваться для своей цели законами природы. Действуя сообразно с этими законами и со свойствами своей собственной природы, человек может постепенно видоизменить действительность и приспособить ее к своим стремлениям. Иначе он ничего не добьется. Однако не все стремления человека сообразны с законами природы, некоторые из них являются их нарушением. И человеку в сущности нет никакой надобности в осуществлении таких стремлений: оно не привело бы ни к чему, кроме недовольства и страданий. Все, противоречащее законам природы вообще и человеческой природе в частности, вредно и тяжело для человека. Поэтому у нравственно здоровых людей и нет стремлений, противоречащих указанным законам. Подобными стремлениями дорожат лишь люди, подчиняющиеся праздным фантазиям. «Прочное наслаждение дается человеку только действительностью; серьезное значение имеют только те желания, которые основанием своим имеют действительность; успеха можно ожидать только в тех надеждах, которые возбуждаются действительностью, и только в

[1]) Там же, стр. 265.

тех делах, которые совершаются при помощи сил и обстоятельств, представляемых ею» [1]).

Таково было новое понятие о «действительности». Говоря, что оно было выработано современными мыслителями из темных намеков трансцендентальной философии, Чернышевский имел в виду Фейербаха. И он вполне правильно изложил Фейербахово понятие о действительности. Фейербах говорил, что чувственность или действительность тождественна с истиною, т.-е. что предмет в его истинном смысле дается лишь ощущением. Умозрительная философия полагала, что представления о предметах, основанные лишь на чувственном опыте, не соответствуют действительной природе предметов и должны проверяться с помощью чистого мышления, т.-е. мышления, не основанного на чувственном опыте. Фейербах решительно восстал против этого идеалистического взгляда. Он утверждал, что основанные на нашем чувственном опыте представления о предметах вполне соответствуют природе этих последних. Беда лишь в том, что наша фантазия часто искажает эти представления, которые приходят, поэтому, в противоречие с нашим чувственным опытом. Философия должна изгнать из наших представлений искажающий их фантастический элемент; она должна привести их в согласие с чувственным опытом. Она должна вернуть человечество к преобладавшему в древней Греции не искаженному фантазией созерцанию действительных предметов. И поскольку человечество переходит к такому созерцанию, оно возвращается к самому себе, потому что люди, подчиняющиеся вымыслам, сами могут быть только фантастическими, а не действительными существами. По словам Фейербаха, сущность человека есть чувственность, т.-е. действительность, а не вымысел и не абстракция. Задача философии и науки вообще заключается в реабилитации действительности. Но если это так, то отсюда само собою следует вывод, что и задачи эстетики, как отрасли науки, тоже заключаются в реабилитации действительности и в борьбе с фантастическим элементом человеческих представлений. На этом выводе из философии Фейербаха и были построены эстетические взгляды Чернышевского; он составил главную мысль его диссертации. И несомненно, что тот же самый вывод имел в виду Белинский, называя в своем предпоследнем годовом обзоре литературы понятие о «действительности» новым понятием.

Нужно отдать полную справедливость как Белинскому, так и Чернышевскому: вывод, сделанный ими из философии Фейербаха, был со-

[1]) Там же, стр. 206.

вершенно правилен. Но как относился он к «темным намекам трансцендентальной философии»?

У Гегеля «действительным» признавалось только то, что было «разумно». У Фейербаха «разумно» только то, что «действительно». На первый взгляд кажется, что оба мыслителя говорят одно и то же, и тогда представляется странным, почему же Чернышевский видит лишь темный намек в той Гегелевой мысли, которую он находит совершенно ясною, встретив ее у Фейербаха. Но дело вот в чем.

«Разум» Гегеля есть не что иное, как закономерность об'ективного развития. Эта закономерность рассматривается Гегелем через идеалистическую призму. Призма эта очень сильно извращает подчас истинное соотношение явлений, — ставит его вверх ногами, по выражению Маркса; но при всем том критерием разумности суб'ективных стремлений являлось в глазах Гегеля соответствие этих стремлений с закономерным ходом об'ективного развития общества. И в этом заключалась великая сила его философии, которую инстинктивно чувствовал Белинский, отвращаясь от «абстрактного идеала» во имя «разумной действительности». Когда Фейербах требовал от исследователя внимательного отношения к чувственности, освобожденной от фантастических вымыслов, он только переводил на материалистический язык правильную по существу и чрезвычайно глубокую мысль Гегеля. И когда, впоследствии, эта, переведенная Фейербахом на материалистический язык, глубокая мысль Гегеля была надлежащим образом разработана Марксом, она легла в основу материалистического об'яснения истории. Но у самого Фейербаха и у его непосредственных последователей, а в том числе у Белинского и у Чернышевского, перевод на материалистический язык этой мысли Гегеля вышел очень сокращенным; мысль эта оставалась у них неразработанной. И в своем неразработанном виде она, — несмотря на свою материалистическую сущность, — стала источником идеалистического отношения к явлениям. Произошло это потому, что требование, пред'явленное Фейербахом исследователям, имело двойственный характер: оно, во-первых, предписывало им внимательное отношение к действительности, а, во-вторых, и во имя того же внимательного отношения, оно настойчиво рекомендовало им энергичную борьбу с фантастическими вымыслами. Предположите, что исследователь, в силу данных условий времени и места, сосредоточит свое главное внимание на борьбе с фантастическими вымыслами, и перед вами окажется не теоретик, старающийся найти материалистическую основу явлений, а «просветитель», ведущий войну с устарелыми предрассудками во имя своего суб'-

ективного разума. Необходимые для этого условия времени и места были в России на-лицо как в то время, когда Белинский, не сумев обосновать идею отрицания, вынужден был удовольствоваться борьбою с действительностью во имя отвлеченных прав личности, так, — и еще более, — в то время, когда складывалось миросозерцание Чернышевского. Поэтому у Белинского в последний период его литературной деятельности, а у Чернышевского с самого ее начала, публицистические, а в значительной степени и литературные взгляды были проникнуты свойственным «просветителям» идеализмом. И в этом смысле Белинский был совершенно прав, когда в цитированном выше обозрении литературы называл свое «понятие о действительности» новым. Оно, в самом деле, было новым сравнительно с тем, что понимал под действительностью тот же Белинский, когда он писал свою статью о Бородинской битве. Тогда это слово означало у него совокупность существовавших в России общественных отношений, и он счел себя обязанным преклониться перед ней по той простой причине, что не сумел обнаружить свойственных ей внутренних противоречий. Теперь у Белинского, а после него и у Чернышевского, понятие действительности уже не совпадало с понятием совокупности того, что существует: мы ведь уже слышали от Чернышевского, что существующее нередко является продуктом ложно направленной и несогласной с действительностью фантазии. Стало быть, внимание к действительности означало у них,—поскольку они были «просветителями», — прежде всего внимание к тому, что может и должно существовать тогда, когда люди освободятся от фантастических вымыслов и станут подчиняться законам своей собственной природы. А если, тем не менее, как Белинский, так и Чернышевский, настоятельно рекомендуют художественной литературе точное изображение того, что есть, то они делают это, будучи твердо убеждены, что, чем точнее изобразит художественная литература взаимные отношения между людьми, тем скорее увидят люди ненормальность этих отношений и тем скорее сумеют они исправить их сообразно требованиям своей собственной природы, т.-е., точнее говоря, сообразно указаниям суб'ективного разума «просветителей». Неудивительно поэтому, что первой задачей литературной критики, как в глазах Чернышевского, так и в глазах Белинского, являлось раз'яснение людям того, что было ненормального в их взаимных отношениях, изображаемых художественной литературой. В другом месте мы, характеризуя взгляды Белинского в последний период его литературной деятельности, подчеркивали то, что он становился «просветителем» в сущности лишь тогда, когда покидал точку зрения диалектики, которая

не переставала привлекать его до конца его жизни. Там же мы указывали на то, как удачно подчас давал Белинский диалектическое об'яснение литературным явлениям [1]). Мы напоминаем теперь об этом, так как не хотим, чтоб сказанное нами о Белинском получило одностороннее истолкование. Повторяем: у Белинского очень сильна была диалектическая закваска, — сильнее, чем у самого Фейербаха, — и он даже в последний период своей деятельности далеко не всегда рассуждал как «просветитель». Но когда он переходил на точку зрения «просветителя», он с обычным своим талантом высказывал взгляды, последовательно развитые потом нашей критикой 60-х годов, т.-е., главным образом, Чернышевским и Добролюбовым. Вот почему мы и назвали его родоначальником наших «просветителей».

Характеризуя и развивая свое «*новое*» понятие о действительности, Белинский высказывался как «просветитель»; Чернышевскому оставалось только дальше итти в том же направлении. Чтобы показать, как последовательно держался Чернышевский этого направления и как верен был он «просветительскому» завету своего великого предшественника, мы приведем его взгляд на Шиллера, заимствуемый нами из его библиографической заметки о сочинениях Шиллера в переводе русских поэтов («Современник», 1857 год, № 1).

Он говорит там: «Его поэзия никогда не умрет, — это не какой-нибудь Соути или Геббель. Люди, гордящиеся своею мнимою положительностью, между тем, как имеют только сухость сердца, — своим знанием жизни, между тем, как приобрели только знание мелочных интриг, говорят иногда о Шиллере свысока, как об идеалисте-мечтателе,— иногда решаются даже намекать, что у него больше было сантиментальности, нежели таланта. Все это может быть справедливо относительно иных поэтов, которых считают у нас сходными, по направлению, с Шиллером, но не относительно Шиллера. Характер своей поэзии он сам об'яснил нам в «Письмах об эстетическом воспитании человеческого рода», излагая свои понятия о существенном значении поэзии вообще. Это сочинение написано в 1795 г., в эпоху французских войн, от результата которых зависела не только политическая самостоятельность или подчиненность Германии, но также решение вопросов внутреннего быта немецких племен. Шиллер хотел доказать в нем, что путь к разрешению общественных вопросов — эстетическая деятельность. По

[1]) См. конец нашей статьи «Литературные взгляды В. Г. Белинского» в сборнике «За двадцать лет».

его мнению, необходимо нравственное возрождение человека для того, чтобы изменить к лучшему существующие отношения: устройство их может быть усовершенствовано только тогда, когда облагородится человеческое сердце. Средством такого возрождения должна быть эстетическая деятельность. Она должна давать благородное и твердое настроение умственной жизни. Суровые принципы душевного благородства пугают людей, когда излагаются строгою наукою. Искусство незаметно внушает человеку понятия, достоинство которых не хочет он оценить, когда они являются ему без поэтической одежды. Своими идеалами приводит поэзия лучшую действительность: внушая благородные порывы юноше, готовит она его к благородной практической деятельности.

«Такова действительно поэзия Шиллера. Это вовсе не сантиментализм, не игра мечтательной фантазии, — пафос этой поэзии, — пламенное сочувствие всему, чем благороден и силен человек» [1]).

Поэзия должна быть средством нравственного возрождения людей. Поэтическая одежда нужна для того, чтобы внушить людям понятия, достоинство которых они не сумели бы оценить, если б увидели их без поэтической одежды. Вот основная мысль Чернышевского. С точки зрения этой мысли он оценивает Шиллера. Шиллер дорог ему как человек, стремившийся к нравственному воспитанию людей с помощью художественных произведений. Замечательнее всего в приведенном отрывке слова: «своими идеалами приводит поэзия лучшую действительность». Тут с особенною выпуклостью выражается новое, свойственное просветителям понятие действительности. Лучшая действительность создается идеалом. Этот взгляд составляет прямую противоположность тому, согласно которому идеалы влияют на действительность только в том случае, когда они выражают собою об'ективные тенденции ее развития. Поэзия внушает юношам благородные порывы и тем готовит их к благородной деятельности. Критика со своей стороны помогает в этом поэзии и таким образом становится тем, что называлось иногда у нас публицистической критикой.

Что критика 60-х годов, например, критика Добролюбова, не раз переходила в публицистику, это всем известно. Поэтому, говоря о Чернышевском, мы будем приводить не столько доказательства этой мысли, сколько ее иллюстрации. В 1858 году в № 3 «Атенея» появилась в отделе критики статья Чернышевского: «Русский человек на rendez-

---

[1]) Сочинения, т. III, стр. 5.

vous. Размышления по поводу повести г. Тургенева «Ася». Статья эта представляет собою один из самых ярких образчиков публицистической критики. О самой повести Тургенева, которую Чернышевский называет «едва ли не единственною хорошею новою повестью», в статье говорится очень немного, почти ничего. Автор обращает внимание только на сцену любовного об'яснения героя повести с Асей и по поводу этой сцены предается «размышлениям». Читатели помнят, конечно, что в решительную минуту тургеневский герой струсил и пошел на попятную. Вот это-то обстоятельство и наводит Чернышевского на его «размышления». Он замечает, что нерешительность и трусость составляют отличительное свойство не одного только этого героя, но и большинства героев наших лучших беллетристических произведений. Он вспоминает о Рудине, о Бельтове, о развивателе некрасовской Саши и во всех видит то же самое свойство. Он не винит за него беллетристов, так как они отмечали лишь то, что на каждом шагу встречается в действительности. Мужества нет в русских людях, поэтому не имеют его и действующие лица беллетристических произведений. А мужества нет в русских людях, потому что нет у них привычки к участию в общественных делах. «Когда мы входим в общество, мы видим вокруг себя людей в форменных и неформенных сюртуках или фраках, эти люди имеют пять с половиною или шесть, а иные и больше футов роста; они отращивают или бреют волоса на щеках, верхней губе и бороде; и мы воображаем, что видим перед собою мужчин. Это совершенное заблуждение, оптический обман, галлюцинация, не больше. Без приобретения привычки к самобытному участию в гражданских делах, без приобретения чувств гражданина, ребенок мужеского пола, вырастая, делается существом мужеского пола средних, а потом пожилых лет, но мужчиною он не становится, или по крайней мере не становится мужчиною благородного характера» [1]). У людей гуманных и образованных недостаток благородного мужества бросается в глаза еще больше, чем у людей темных, потому что гуманный и образованный человек любит поговорить о материях важных. Он говорит с увлечением и красноречием, но лишь до тех пор, пока не начнется речь о переходе от слов к делу. «Пока о деле нет речи, а надобно только наполнить праздное время, праздную голову или праздное сердце разговорами и мечтами, герой очень боек; подходит дело к тому, чтобы прямо и точно выразить свои чувства,—бо̀льшая часть героев начинает уже колебаться и чувствовать

[1]) Сочинения, т. I, стр. 97—98.

уже неповоротливость в языке. Немногие, самые храбрейшие, кое-как успевают еще собрать все свои силы и коснеющим языком выразить что-то, дающее смутное понятие об их мыслях. Но вздумай кто-нибудь схватиться за их желания, сказать: вы хотите того-то; мы очень рады; начинайте же действовать, а мы вас поддержим, — при такой реплике одна половина храбрейших героев падает в обморок, другие начинают очень грубо упрекать вас за то, что вы поставили их в неловкое положение, начинают говорить, что они не ожидали от вас таких предложений, что они совершенно теряют голову, не могут ничего сообразить, потому что как это можно так скоро, и притом они же честные люди, и не только честные, но очень смирные, и не хотят подвергать вас неприятностям, и что вообще разве можно в самом деле хлопотать обо всем, о чем говорится от нечего делать, и что лучше всего — ни за что не приниматься, потому что все соединено с хлопотами и неудобствами, и хорошего ничего пока не может быть, потому что, как уже сказано, они никак не ждали и не ожидали и пр.» [1]).

Портрет, написанный, можно сказать, рукой мастера. Но мастер, писавший его, был не критиком, а публицистом. И точно так же публицисту принадлежат дальнейшие «размышления» нашего автора по поводу повести Тургенева. Случай, изображенный Тургеневым, заставляет его вспоминать о том, что все зависит исключительно от обстоятельств, и что то, в чем мы видим вину людей, на самом деле есть их беда, требующая помощи через устранение обстоятельств, ее вызвавших. «Нужно не наказание отдельного лица, а изменение условий быта для целого сословия». Герой повести «Ася» не только не дурак, но прямо человек умный, много испытавший и наблюдавший в жизни. Если он, тем не менее, ведет себя очень глупо, то в этом виноваты два обстоятельства, одно из которых обусловливается другим: «Он не привык понимать ничего великого и живого, потому что слишком мелка и бездушна была его жизнь, мелки и бездушны были все отношения и дела, к которым он привык. Это первое. Второе — он робеет, он бессильно отступает от всего, на что нужна широкая решимость и благородный риск, опять-таки потому, что жизнь приучила его только к бледной мелочности во всем» [2]). Чтобы изменить человеческий характер, необходимо изменить те условия, под влиянием которых он складывается. Эта справедливая мысль, занимавшая такое важное место в проповеди французских про-

[1]) Там же, стр. 90—91.
[2]) Там же, стр. 97.

светителей XVIII столетия, а потом социалистов-утопистов XIX столетия, логически ведет к вопросу: каковы же будут и откуда возьмутся те причины, которые изменят к лучшему обстоятельства, определяющие собою человеческий характер? Этот вопрос Маркс разрешил указанием на экономическое развитие общества и тем произвел целый переворот в общественной науке. Чернышевский, который, подобно всем социалистам-утопистам, обыкновенно не занимается этим вопросом, подходит, однако, очень близко к нему в статье «Русский человек на rendez-vous». В самом деле, если огромное большинство наших «гуманных» и «образованных» людей, как две капли воды, похожи на героя Тургеневской повести; если все они ведут себя неумно и нерешительно, потому что они и неспособны к умным и решительным действиям, то как будто выходит, что призывать их к таким действиям и бесполезно и нерасчетливо: если уж интересоваться ими, то следует изменить к лучшему те условия, от которых зависит склад их характера. Чернышевский и сам чувствует, что это так; но ему не хочется решительно признать, что иначе и быть не может. «Мы,—говорит он,—все еще не хотим сказать себе: в настоящее время не способны они понять свое положение; не способны поступить благоразумно и вместе великодушно,—только их дети и внуки, воспитанные в других понятиях и привычках, будут уметь действовать как честные, благородные граждане... нет, мы все еще хотим полагать их способными к пониманию совершающегося вокруг них и над ними...» [1]).

В чем же дело? Отчего не хотелось Чернышевскому признать тот вывод, теоретическая правильность которого была для него несомненной? Это тоже зависело от «обстоятельств»,—и именно от того сочетания «обстоятельств», которое характеризует годы, непосредственно предшествовавшие у нас уничтожению крепостного права.

В герое «Аси» Чернышевский увидел типичного представителя образованной части нашего дворянства. Никакого сословного предубеждения в пользу дворянства он не имел, да и не мог иметь. Мы не имеем чести быть его родственниками, — говорит он о герое «Аси», намекая на свое недворянское происхождение,—между нашими семьями существовала даже нелюбовь, потому что его семья презирала всех нам близких» [2]). Но он признается, что имеет некоторые культурные предубеждения в пользу дворянства; ему кажется, — «пустая мечта, но все еще неотразимая для нас мечта», замечает он, — будто бы изображенный в повести

[1]) Там же, стр. 100 — 101.
[2]) Там же, стр. 100.

Тургенева дворянин оказал какие-то услуги нашему обществу, будто он является представителем нашего просвещения. Поэтому Чернышевский все еще желает добра «нашему герою и его собратам» и хочет дать им хороший совет. В их историческом положении готовится решительная перемена, и от их собственной воли зависит, как сложится их дальнейшая судьба. «Поймете ли вы требование времени, сумеете ли воспользоваться тем положением, в которое вы поставлены теперь,—говорит Чернышевский, обращаясь к «этим достопочтенным людям», — вот в чем теперь для вас вопрос о счастьи или несчастьи навеки» [1]). Требования же времени заключались, по его мнению, в уступках крестьянству. Чернышевский усовещевает «достопочтенных» господ словами евангелия: «Старайся примириться с твоим противником, пока еще не дошли вы с ним до суда, а иначе отдаст тебя противник судье, а судья отдаст тебя исполнителю приговоров, и будешь ты ввергнут в темницу и не выйдешь из нее, пока не расплатишься за все до последней мелочи (Матф., гл. V, стих. 25 и 26)» [2]).

Ясно и без пояснений, что всякий теоретический вывод относительно способности данного общественного класса или слоя к определенному практическому действию всегда нуждается до известной степени в проверке путем опыта и что, вследствие этого, он может считаться достоверным a priori лишь в известных, более или менее широких, пределах. Так, например, можно было с полною достоверностью предсказывать, что даже и более образованная часть дворянства не согласится принести свои интересы в жертву крестьянам. Такое предсказание совсем не нуждалось в практической проверке. Но когда нужно было определить, в какой мере способно образованное дворянство сделать крестьянам уступки *в своих собственных* интересах, тогда уж никто не мог с полною достоверностью сказать наперед: оно не перейдет в этом направлении такого-то предела. Тут всегда можно было предположить, что оно при известных обстоятельствах пойдет несколько дальше его, обнаружив несколько более правильное понимание своих собственных выгод. Практику, каким является в интересующем нас случае Чернышевский, не только можно, но и должно было попытаться убедить дворян в том, что их собственные выгоды требуют некоторых уступок освобождаемым крестьянам. Таким образом то, что могло показаться в его статье противоречием, — требование благоразумного и решительного шага от лю-

[1]) Там же, стр. 101.
[2]) Там же, стр. 102.

дей, неспособность которых к решительности и благоразумию тут же признается и об'ясняется, как необходимый продукт обстоятельств, — на самом деле противоречия в себе не заключало. Подобные мнимые противоречия можно найти также и в политической практике людей, стоящих на твердой почве материалистического об'яснения истории. Однако тут приходится сделать весьма существенную оговорку. Когда материалист с известной осмотрительностью применяет свои теоретические выводы на практике, он все-таки может поручиться за то, что в этих его выводах есть некоторый элемент самой неоспоримой достоверности. И это потому, что, когда он говорит: «все зависит от обстоятельств», он знает, с какой стороны надо ждать появления тех новых обстоятельств, которые изменят волю людей в желательном для него направлении; ему хорошо известно, что их, в последнем счете, надо ждать со стороны «экономики», и что чем вернее его анализ общественно-экономической жизни общества, тем достовернее его предсказание насчет будущего развития общества. Не то с идеалистом, который убежден в том, что «миром правят мнения». Если «мнения» представляют собою наиболее глубокую причину общественного движения, то обстоятельства, от которых зависит дальнейшее развитие общества, приурочиваются главным образом к сознательной деятельности людей, а возможность практического влияния на эту деятельность обусловливается большею или меньшею способностью людей к логическому мышлению и к усвоению новых истин, открываемых философией или наукой. Но эта способность сама зависит от обстоятельств. Таким образом идеалист, признавший материалистическую истину о том, что характер, а также, конечно, и взгляды человека зависят от обстоятельств, попадает в заколдованный круг: взгляды зависят от обстоятельств, обстоятельства—от взглядов. Из этого заколдованного круга никогда не вырывалась мысль «просветителя» в теории. На практике же противоречие разрешалось обыкновенно усиленным призывом ко всем мыслящим людям, независимо от того, при каких обстоятельствах такие люди жили и действовали. То, что мы говорим теперь, может показаться ненужным, а потому скучным отступлением. Но на самом деле это отступление было для нас необходимо. Оно поможет нам понять характер публицистической критики 60-х годов.

Если практические упования «просветителя» приурочиваются к уму и доброй воле мыслящих людей, т.-е., в сущности, тех же «просвятителей», то очевидно, что критика, желающая поддержать этих людей, потребует от художественной литературы прежде всего *точного* изображе-

ния общественной жизни со всеми ее достоинствами, недостатками, «положительными» и «отрицательными» явлениями. Только точное изображение всех сторон жизни может дать «просвятителю» необходимый фактический материал для его приговоров над этой жизнью. Но это не все. Известно, что критика 60-х годов требовала от художественной литературы более внимательного отношения к «отрицательным», нежели к «положительным» сторонам жизни. Она обосновывала свое требование тем соображением, что в нашей общественной жизни «отрицательные» явления преобладают над «положительными». Само по себе это соображение было, конечно, верно. Однако оно еще ровно ничего не об'яснило. В 76-х годах «отрицательные» явления также преобладали у нас над «положительными», как и в 60-х; а между тем наши народники уже не довольствовались изображением отрицательных сторон нашей общественной жизни, находя, что художники обязаны изображать также положительные стороны ее. Это относилось, по крайней мере, к тем художникам, которые ставили себе целью изображение народной жизни, к так называемым беллетристам-народникам. Многие читатели 70-х годов предпочитали Н. Златовратского Н. Успенскому только потому, что Златовратский, как им казалось, отводил в своих сочинениях много места отрадным для народников явлениям в крестьянской жизни (изображению общинных инстинктов крестьянина), между тем как Н. Успенский останавливался больше на печальных явлениях (на изображении развивающегося в крестьянстве индивидуализма). Поэтому как читатели, так и «передовые» критики 70-х годов были, — как мы сейчас увидим это на одном очень ярком примере, — несправедливы к той нашей беллетристике предшествовавшего десятилетия, которая занималась народною жизнью. Они находили, что эта беллетристика не только не уважала народа, но даже презирала его. Это было не так, тут было явное недоразумение. Но это недоразумение в высшей степени характерно, и мы должны раскрыть его психологическую причину.

Если народники семидесятых годов требовали от беллетристики изображения отрадных явлений крестьянской жизни, то это можно назвать, выражаясь отчасти языком Писания, началом материалистической премудрости. Народники уже сознавали, — очень смутно, но все-таки уже сознавали, по крайней мере, начинали сознавать,—что миром правят только те мнения, в которых выражается об'ективный ход развития этого мира. Этим и об'ясняется усиленный интерес народников к «отрадным» явлениям крестьянской жизни: они надеялись найти в этих явлениях об'ективное ручательство за будущее торжество своих идеалов.

Потому-то и огорчал их Н. Успенский, показывавший им, что это об'ективное ручательство далеко не так прочно, как они хотели бы думать. А «просветитель» 60-х годов не искал никаких об'ективных ручательств за торжество идеала: в его глазах совершенно достаточным ручательством за это торжество являлась сила истины, отвлеченная правильность «мнения». И чем беспощаднее обнажала современная ему беллетристика недостатки народной жизни и народного характера, тем охотнее он рукоплескал ей, потому что тем больше видел он в ней указаний на то, что должно быть исправлено им, «просветителем». Эта черта «просветительской» психологии нашла свое выражение и в критике.

В 1861 году вышло отдельное издание рассказов Н. В. Успенского, о которых Чернышевский написал статью *«Не начало ли перемены?»*, помещенную в ноябрьской книжке «Современника» за тот же год. Он хвалил рассказы Н. В. Успенского за то, что в них не было никакого «прикрашиванья народных нравов и понятий». Таким прикрашиваньем грешили, по его словам, Тургенев и Григорович в своих повестях из народного быта. Он сравнивал отношение этих писателей к народу с отношением Гоголя к Акакию Акакиевичу. Гоголь умалчивает о недостатках своего героя, потому что считает его недостатки совершенно непоправимыми. «Акакий Акакиевич был смешной идиот... Но говорить всю правду об Акакии Акакиевиче бесполезно и бессовестно... Сам для себя он ничего не может сделать, будем же склонять других в его пользу. Но если говорить другим о нем все, что можно бы сказать, их сострадание к нему будет ослабляться знанием его недостатков. Будем же молчать о его недостатках» [1]). Совершенно так же относились к народу Григорович, Тургенев и все их подражатели. Народ являлся у них в виде Акакия Акакиевича, о котором можно только сожалеть и порицать которого было бы жестоко. Говорится только об его несчастиях: «Посмотрите, как он кроток и безответен, как безропотно переносит он обиды и страдания! Как он должен отказывать себе во всем, на что имеет право человек! Какие у него скромные желания! Какие ничтожные пособия были бы достаточны, чтобы удовлетворить и осчастливить это забитое существо, с таким благоговением смотрящее на нас, столь готовое проникаться беспредельною признательностью к нам за малейшую помощь, за ничтожнейшее внимание, за одно ласковое слово от нас! Читайте повести из народного быта г. Григоровича и г. Тургенева со всеми их подражателями — все это

[1]) Сочинения, т. VIII, стр. 342.

насквозь пропитано запахом «шинели» Акакия Акакиевича» [1]). И все это до чрезвычайности благородно. Но народу пользы от этого не было никакой. Польза была только для нас, наслаждавшихся сознанием своей доброты. В лице Н. В. Успенского Чернышевский приветствовал появление нового слоя образованных русских людей, умеющих относиться к народу уже не так, как относилось к нему чувствительное и снисходительное барство. Чернышевский многого ждал от этого слоя вообще и от литературы, которую он мог бы создать, в частности. Эта литература будет смотреть на крестьянина такими же трезвыми глазами, как и на людей других званий и состояний. Чернышевский старается убедить своих читателей, что так и должно быть. «Забудемте же, — говорит он, — кто светский человек, кто купец или мещанин, кто мужик, будемте всех считать просто людьми и судить о каждом по человеческой психологии, не дозволяя себе утаивать перед самими собою истину ради мужицкого звания» [2]).

Чернышевский признает, что Н. Успенский «выставил русского простолюдина простофилею», которому трудно связать в голове две отдельные мысли. «Но какой же мужик превосходит нашего быстротою понимания?—спрашивает он.— О немецком поселянине все говорят то же самое, о французском то же, английский едва ли не стоит еще ниже их. Французские поселяне заслужили всесветную репутацию дикою неповоротливостью ума. Итальянские поселяне прославились совершенным равнодушием к итальянскому делу» [3]). Но о крестьянах излишне и говорить: им, по словам Чернышевского, «натурально играть в истории дикую роль», так как они еще «не вышли из того исторического периода, от которого сохранились Гомеровы поэмы, Эдда и наши богатырские песни» [4]). Огромное большинство людей всех сословий и всех стран живет рутиною и обнаруживает крайнюю несообразительность, едва только случится ему выйти из круга обычных своих представлений: «После каждого спора спросите у кого хотите из споривших, умные ли вещи говорили его противники и понятливы ли, восприимчивы ли были они к его мыслям. Из тысячи случаев только в одном скажет вам человек, что против его мнений говорили умно, с толком. Значит, в

---

[1]) Там же, стр. 342.

[2]) Там же, стр. 345.

[3]) Там же, стр. 356.

[4]) Там же, стр. 356. Предлагаем эти слова просвещенному вниманию г. Иванова-Разумника, который считает Чернышевского одним из родоначальников русского народничества.

остальных случаях непременно одно из двух: или действительно бестолковы люди, с которыми спорил спрошенный человек, или сам он бестолков. А ведь эта дилемма захватывает всю тысячу, за исключением одного» [1]).

Тут перед нами тот же самый взгляд на массу, как на отсталую часть действующей армии, с которым мы подробно ознакомились в одном из предыдущих отделов. Действительное участие в движении принимает лишь мыслящее меньшинство, — интеллигенция, согласно позднейшей терминологии, — которому необходимо знать все свойственные массе недостатки, чтобы со временем устранить их. Чернышевский ошибался, думая, что в подобном отношении к массе не было ничего высокомерного. В нем несомненно был свой и даже очень сильный элемент высокомерия, совершенно, впрочем, неизбежный для всех тех, которые стоят на точке зрения исторического идеализма.

Но, как бы то ни было, чрезвычайно интересно то, что один из самых выдающихся критиков последующего десятилетия, уже цитированный нами выше, г. Скабичевский, коренным образом разошелся с Чернышевским в оценке рассказов Н. Успенского. Г. Скабичевский находит, что в них народ представляется в невообразимо безобразном виде. «Забитость, тупоумие, отсутствие всякого человеческого образа и подобия в героях Н. Успенского одуряет вас,—говорит он,—когда вы читаете его очерки. Вы видите перед собою людей, которые в жизни своей ничем более не руководствуются, как только грубою, скотскою чувственностью, ни к чему не стремятся, как лишь нажить копейку или спустить ее в кабак; да и в этих стремлениях, что шаг ступят, то сделают какую-нибудь невообразимую глупость» [2]).

Этот отзыв г. Скабичевского,—подобно очень и очень многим другим его отзывам, — совсем неправилен. Произведения Н. Успенского не свободны от некоторых преувеличений. Это так. Но отсюда еще далеко до того взгляда на крестьян, какой приписал ему г. Скабичевский. Мы спросили бы его, например, в самом ли деле очень глупа, груба и скотоподобна крестьянка-мать, выведенная Н. Успенским в рассказе «Старуха» [3]). Мы спросили бы его, действительно ли «невыразимо безобразна» баба, фигурирующая в рассказе «Катерина» [4]). Удивительно, что

---

[1]) Там же, стр. 356.

[2]) *Скабичевский*, цитир. сочинение, стр. 227.

[3]) Соч. *Н. В. Успенского*, Москва 1881 г., т. I.

[4]) Там же, т. II.

г. Скабичевский не заметил некоторых потрясающих и поистине превосходных сцен в длинном рассказе «Саша» [1]). Н. Успенский, конечно, не занимает в нашей литературе того места, которое принадлежит в истории голландской живописи Теньеру и Остаду (как это думал П. В. Анненков). Во-первых, он не был равен им по таланту, а во-вторых, он совсем иначе, нежели они, относился к изображаемой им действительности. Это был типичный представитель эпохи 60-х годов, взявшийся за изображение народного быта. Он отнюдь не задавался целью издеваться в своих произведениях над русским крестьянином. Что он по-своему сильно сочувствовал ему, в этом легко убедится всякий, кто даст себе труд внимательно прочитать его сочинения. Но он сочувствовал народу, именно по-своему, т.-е. как «просветитель», т.-е. как человек, не чувствующий никакой надобности в идеализации отсталой массы. Если он видел безобразные черты в характере крестьянина, то он, нисколько не смущаясь, передавал их в своей картине, относя их на счет «обстоятельств», речь о которых так часто идет у Чернышевского. «Понятно,—говорит он в своих «Записках сельского хозяина»,—что крестьянин, воспитанный в рабстве, не мог вдруг сделаться свободным в настоящем значении этого слова; лишь только крепостной туман и чад рассеялись, мы увидели нашего мужика обезображенным... крестьянин попрежнему беден—и ему долго, долго еще нужно поправляться после крепостного разгрома... Да и как поправляться? Начинать с ничего — дело крайне мудрое» [2]). Высказать такое мнение вовсе не значит издеваться над народом. Но это мнение не могло быть симпатичным народнику, — или «суб'ективисту», зараженному всеми предрассудками народников,— который был твердо убежден в том, что крестьянин начинает не «с ничего», а с общины, ждущей только благодетельного толчка со стороны народолюбивой интеллигенции, чтоб начать быстро развиваться в направлении социалистического идеала. Но Н. Успенскому случалось высказываться еще решительнее. Он писал, например: «от теперешних крестьян, недавно бывших жертвами крепостного состояния, ждать нечего:— не воскреснуть им!.. атрофию едва ли когда-нибудь будет лечить медицина, потому что эта болезнь основывается на *органическом* повреждении...» [3]). С этим уже совсем трудно было согласиться «людям 70-х годов». Отсюда и происходило главным образом недоброжелательное отношение критики этой эпохи к Н. В. Успенскому.

---

[1]) Там же, т. I, стр. 417, 512.

[2]) Сочинения, т. II, стр. 201.

[3]) Там же, т. II, стр. 202

Читатель спросит, пожалуй: а легко ли было согласиться с совершенно безнадежным взглядом Н. В. Успенского на «теперешних крестьян» самому Чернышевскому, который, повидимому, считал тогда возможным широкое движение в народе, недовольном условиями отмены крепостного права. На это мы ответим, что, разумеется, это было бы не легко для него, если б он счел себя обязанным безусловно согласиться с Н. В. Успенским. Но в том-то и дело, что он с ним не безусловно соглашался. Он считал совершенно правдимыми очерки Н. В. Успенского, но он не дал из них безнадежного вывода. Он говорил: «Рутина господствует над обыкновенным ходом жизни дюжинных людей и в простом народе, как во всех других сословиях, в простом народе рутина так же тупа, пошла, как во всех других сословиях. Заслуга г. Успенского состоит в том, что он отважился без всяких утаек и прикрас изобразить нам рутинные мысли и поступки, чувства и обычаи простолюдинов. Картина выходит вовсе не привлекательная: на каждом шагу вздор и грязь, мелочность и тупость.

Но не спешите выводить из этого никаких заключений о состоятельности или несостоятельности ваших надежд, если вы желаете улучшения судьбы народа, или ваших опасений, если вы до сих пор находили себе интерес в народной тупости и вялости. Возьмите самого дюжинного, самого бесцветного, слабохарактерного, пошлого человека: как бы апатично и мелочно ни шла его жизнь, бывают в ней минуты совершенно другого оттенка, минуты энергических усилий, отважных решений. То же самое встречается и в истории каждого данного народа» [1]).

Обстоятельства, от которых в последней инстанции все зависит, могут сложиться так, что даже апатичная масса станет способна к энергичным усилиям и отважным решениям. А в ожидании того момента, когда эти обстоятельства примут благоприятный оборот, нужно внимательно изучать отсталую массу. Инициатива отважных решений никогда не будет принадлежать массе простонародья; но необходимо знать свойства людей, составляющих эту массу, «чтобы знать, какими побуждениями может действовать на них инициатива» [2]). И чем точнее будет беллетристика воспроизводить свойства народной массы, тем более она облегчит дело тех людей, которым придется при благоприятных обстоятельствах взять на себя инициативу великих решений.

Теперь мы попросим читателя вспомнить, что в одном из тезисов своей диссертации Чернышевский, указав на воспроизведение жизни, как

---

[1]) Соч. *Н. Г. Чернышевского*, т. VII, стр. 357.

[2]) Там же, стр. 346.

на главный признак искусства, прибавляет: «часто произведения искусства имеют и другое значение — об'яснение жизни; часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни». То, что приведено нами, хотя бы только из одной статьи «Не начало ли перемены?», ясно показывает, до какой степени литературная критика в лице Чернышевского склонна была дорожить воспроизведением жизни преимущественно как материалом для ее об'яснения и для суждения о ней (для составления приговора об явлениях жизни). И та же склонность Чернышевского обнаруживается решительно во всех других его литературных статьях. Вот что говорит он, например, в рецензии на сборник стихотворений А. Н. Плещеева («Современник», 1861 г., № 3).

Он с неудовольствием вспоминает то время, когда наша критика относилась к Плещееву с пренебрежением и даже недоброжелательством. «Дико вспомнить теперь об этом, — говорит он. — Неужто благородные чувства, благородные мысли, которыми веяло от каждой страницы небольшой книжки г. Плещеева, были таким ежедневным явлением в тогдашней русской поэзии, чтобы можно было с пренебрежением отвернуться от них? Да и когда же это бывает можно и позволительно?» У Плещеева, по его словам, не было большой поэтической силы, и его стремления и надежды отличались порядочною неопределенностью. Но в нем было много искренности, а выражать свои надежды с большею точностью он не мог по независящим от него условиям. Наконец, все мы вовсе не так высоко и безукоризненно развиты, чтобы можно было назвать бесполезным искренний голос, заступающийся, хотя бы в общих чертах, за лучшую сторону человеческой природы. «Есть много самых обыкновенных понятий, врожденных человеку чувств, — заключает наш автор, — о которых тем не менее надо беспрестанно напоминать, чтобы они не забывались. Это и везде нужно, не говоря уже о нашем не сформировавшемся обществе. Поэты с таким благородным и чистым направлением, как направление г. Плещеева, всегда будут полезными для общественного воспитания и найдут путь к молодым сердцам. Трудно употребить лучше его в дело те поэтические способности, которыми он обладает» [1].

Поэзия должна воспитывать людей для лучшего будущего, она должна будить в них бодрость и веру в свои силы. Так смотрел Чернышевский. Ввиду этого неудивительно, что он, по его словам, в книжке Плещеева с особенным удовольствием перечитал прекрасный гимн, начинающийся знаменитыми словами:

---

[1]) Там же, стр. 121.

Вперед, без страха и сомненья,
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я!

Такая поэзия не могла не нравиться «просветителям». Известно, что их пристрастие к ней вызывало насмешку со стороны людей, считавших себя тонкими ценителями художественных произведений. Теперь у нас, повидимому, опять наступает эпоха пренебрежительного отношения к тем чувствам, которые выражались, между прочим, в гимне Плещеева.

Поэтому мы считаем не лишним сказать несколько слов по поводу обвинений, выдвигавшихся сторонниками чистого искусства против «просветительских» тенденций в нашей литературной критике. Г.г. сторонники чистого искусства утверждали, — и теперь, кажется, не прочь повторять это, — что наши «просветители» пренебрегали духовными интересами человечества и выше всего ставили интересы желудка. Это, как мы уже сказали в другом месте, просто нелепая неправда. «Просветители» думали, что искусство, содействуя распространению здравых понятий в обществе, принесет прежде всего умственную пользу людям. И этой пользой они дорожили больше всего. Материальная выгода была в их глазах простым результатом умственного развития народа: известно, что щуке не так-то легко проглотить карася, когда он не «дремлет» Чтобы приблизить время пробуждения карасей, «просветители» готовы были на всякие самопожертвования, а их обвиняли в том, что они дорожат только «печными горшками». Эту нелепую неправду могли высказывать только люди, испытывавшие более или менее смутное опасение насчет того, что содержимое их собственных печных горшков будет уж не так вкусно и обильно, когда проснувшиеся караси начнут принимать свои меры против щучьих подвигов. Так было в эпоху Чернышевского; так остается и до сих пор. Люди, осмеивающие теперь гражданские мотивы поэзии, чаще всего,—не говорим всегда: есть исключения, вызываемые простым недомыслием, — облекают в «сверхчеловеческий» костюм самые вульгарные эксплоататорские стремления.

Говоря это, мы совсем не хотим, однако, отрицать, что принципы, лежавшие в основе литературной критики 60-х годов и разработанные преимущественно Чернышевским, могли в своем крайнем развитии привести к весьма односторонним выводам. К таким выводам критика 60-х годов не раз приходила в лице Д. И. Писарева. Но, во-первых, нельзя делать Чернышевского ответственным за Писарева; а во-вторых, даже

Писарев был очень далек от того сугубого вздора, который нередко приписывали ему его «эстетические» противники.

Заканчивая первую из своих двух, так много нашумевших, статей, озаглавленных «Пушкин и Белинский», Писарев говорил: «Расходясь с Белинским в оценке отдельных фактов, замечая в нем излишнюю доверчивость и слишком сильную впечатлительность, мы в то же время гораздо ближе наших противников подходим к его основным убеждениям» [1]).

В начале второй из этих статей он повторял: «Критика Белинского, критика Добролюбова и критика «Русского Слова» оказываются развитием одной и той же идеи, которая с каждым годом более и более очищается от всяких посторонних примесей» [2]).

Какие «основные убеждения» Белинского и какие «посторонние примеси» к ним имел он в виду, говоря это? Чтоб ответить на это, необходимо сделать небольшую историческую справку.

В своей статье о Державине Белинский говорил: «Задача истинной эстетики состоит не в том, чтобы решить, чем должно быть искусство, а в том, чтобы определить, что такое искусство. Другими словами: эстетика не должна рассуждать об искусстве, как о чем-то предполагаемом, как о каком-то идеале, который может осуществиться только по ее теории, нет, она должна рассматривать искусство, как предмет, который существовал давно прежде и существованию которого она сама обязана своим существованием». Это была поистине гениальная мысль, вполне достойная человека, воспитавшегося на Гегелевской диалектике. Однако иное дело мысль, а иное дело ее осуществление. Чтобы решить ту задачу, которую Белинский задавал эстетике, нужно было со всех сторон обнаружить связь искусства с общественной жизнью и уметь об'яснить эту последнюю с научной, т.-е. с материалистической, точки зрения. А этого не мог сделать и сам Гегель. Иронически раскланявшись с Гегелевском колпаком, Белинский в своих литературных суждениях стал иногда отклоняться от золотого правила, высказанного им в статье о Державине; он стал подчас рассуждать уже не столько о том, что такое искусство, сколько о том, чем оно должно быть. Короче: он стал по временам высказываться, как «просветитель». И с этой стороны Чернышевский явился самым замечательным продолжателем его дела. В качестве «просветителя», Чернышевский интересовался гораздо меньше

---

[1]) Сочинения *Д. И. Писарева*, т. V, стр. 63.

[2]) Там же, стр. 66.

теорией искусства, нежели теми практическими выводами, которые из нее могут быть сделаны. Но философия Фейербаха давала, как ему казалось, возможность примирить практику с теорией; поставить практические соображения о том, чем должно быть искусство, на прочную основу теории, открывающей его истинную сущность. Практическая задача эстетики заключается в реабилитации действительности. Это положение, обоснованное Чернышевским с помощью философии Фейербаха, руководило им во всех его критических отзывах. Это положение само по себе, — т.-е. если отвлечься от той чисто теоретической задачи, которую Белинский задавал когда-то эстетике, — не заключает в себе ровно ничего ошибочного. Но, раз признав это положение, позволительно, не греша против логики, спросить себя: да нужна ли для реабилитации действительности именно эстетика, т.-е. наука о прекрасном? Нельзя ли достигнуть той же цели с помощью других наук, например, естествознания? И возможна ли эстетика как наука?

Этими вопросами и задался Д. И. Писарев. И он решил их, как известно, совсем не в пользу эстетики. Он об'явил, что существование эстетике как науки невозможно, и что если Чернышевский посвятил свою диссертацию именно эстетике, то он сделал это «только для того, чтобы радикально уничтожить ее и навсегда отрезвить тех людей, которых морочит философствующее и тунеядствующее филистерство» [1]).

Против возможности эстетики как науки Писарев выставил следующее соображение, казавшееся ему непоколебимым. «Эстетика, или наука о прекрасном, имеет разумное право существовать только в том случае, если *прекрасное* имеет какое-нибудь самостоятельное значение, независимое от бесконечного разнообразия личных вкусов. Если же прекрасно только то, что нравится нам, и если вследствие этого все разнообразнейшие понятия о красоте оказываются одинаково законными, тогда эстетика рассыпается в прах. У каждого отдельного человека образуется своя собственная эстетика, и, следовательно, общая эстетика, приводящая личные вкусы к обязательному единству, становится невозможной. Автор «Эстетических отношений» ведет своих читателей именно к этому выводу, хотя и не высказывает его совершенно открыто» [2]). Идеалисту это соображение в самом деле должно

---

[1]) Сочинения *Д. И. Писарева*, Спб. 1894, т. IV, стр. 499.

[2]) Там же, та же стр.

казаться непоколебимым. Если искусство своими произведениями только напоминает нам о том, что интересно для нас в жизни; если прекрасным существом кажется человеку то существо, в котором он видит жизнь, как он ее понимает, то совершенно законным представляется идеалисту тот вывод, что понятие о прекрасном зависит в последнем счете только от личных вкусов, бесконечное разнообразие которых не дает возможности взглянуть на них с научной точки зрения, т.-е. с точки зрения закономерности их развития. Писарев, рассуждавший в этом случае, как чистокровный *идеалист*, упустил из виду только то, что Чернышевский задался целью применить к эстетике материалистическую философию Фейербаха. А для материалиста, — поскольку он остается материалистом и не делает в своих взглядах уступок идеализму, — «мнение» не есть самая глубокая причина перемен, совершающихся в общественной жизни. Перемена и разнообразие «мнений» сами определяются известными переменами в ней. А это дает возможность взглянуть и на развитие мнений с точки зрения закономерности. Как ни разнообразны вообще человеческие мнения, но ошибочно было бы утверждать, что у каждого человека есть свое особое миросозерцание и свои различные взгляды на все общественные явления. Нет, в каждое данное время люди данного класса имеют одинаковое,—в известных пределах,—миросозерцание и, опять-таки в известных пределах, одинаково смотрят на общественные явления. А если внутри данного класса данной эпохи и замечается неодинаковость мнений; если в его собственной среде наблюдаются разные оттенки миросозерцания или происходит борьба старого миросозерцания с новым, то и это обстоятельство, очень не редкое в истории, отнюдь не мешает нам смотреть на развитие мнений с точки зрения науки, т.-е. закономерности, т.-е. необходимости. Сознание людей определяется их бытием; их мнения — их общественными отношениями. Признавая в качестве последователя материалистической философии причинную зависимость сознания от бытия, Чернышевский и доказывает в своей диссертации, что представление о «хорошей жизни», представление о жизни, как она должна быть, лежащее в основе понятия о прекрасном, изменяется у людей сообразно с их классовым положением в обществе. Этим он не только не разрушает эстетики как науки, а, напротив, ставит ее на прочное материалистическое основание и, по крайней мере, намечает в общих чертах, где надо искать решения той задачи, которую еще Белинский поставил перед людьми, интересовавшимися теорией эстетики. Правда, Чернышевский наме-

тил решение этой задачи именно только в самых общих чертах и в своей литературной критике он уже к нему не возвращался, занимаясь борьбою с «фантастическими мечтами» во имя «действительности». В своей литературной критике он до конца ногтей был «просветителем» или,—как выражается Писарев, говоря о французских «просветителях» XVIII века, — популяризатором отрицательных доктрин. И тут он, как и в исторических своих рассуждениях, покидал материализм и переходил на идеалистическую точку зрения. Писарев, желавший отстаивать и далее развивать его взгляды, видел в нем *только* «просветителя», т.-е. только идеалиста. И потому он в самом деле не мог увидеть в его диссертации ничего, кроме разрушения эстетики. Он не подозревал, да и не мог подозревать, что во взгляде Чернышевского на эстетические отношения искусства к действительности есть своя материалистическая сторона, говорящая в пользу возможности эстетики, как науки. Если бы кто-нибудь указал ему на это, то он, вероятно сказал бы, презрительно пожав плечами, что в этом случае Чернышевский еще не успел отделаться от шелухи гегелизма, как не умел, в свое время, отделаться от нее Белинский [1]).

Писарев, несомненно, развивал дальше взгляды Чернышевского, равно как и Белинского; но он развивал их исключительно с той их стороны, с какой они больше всего грешили идеализмом. Вот пример.

Мы уже знаем, что Чернышевский в своих суждениях о жизни общества очень охотно становился на точку зрения человеческой природы. Но так как природа человека еще ничего не об'ясняет в общественных явлениях, то Чернышевский, державшийся материалистического взгляда на человеческую природу, обыкновенно вынужден был переходить на почву идеализма и рассуждать, руководствуясь тем принципом, что «мнения правят миром». А когда он рассуждал, руководствуясь этим идеалистическим принципом, ему уж не хотелось вспоминать, что сознание общественного человека определяется его бытием, и он находил нужным настаивать на том, что все люди совершенно одинаковы по своей природе. В своей статье о сочинениях Н. В. Успенского, он приводит сцену, в которой Успенский заставляет дворовую девушку Алену Герасимовну вести с конторщиком Семеном Петровичем такой разговор:

« — Ну, а что у человека внутре есть, Семен Петрович?

---

[1]) См. статью «Пушкин и Белинский». Соч., т. V, стр. 78 — 79.

— Внутре-с бывает различно. Это, смотря по тому, кто чем питается: иной продовольствуется мякиной, так у него внутре мякина. А у одного сапожника, говорят, даже нашли при вскрытии подошву с лучиной.

— Страсти какие!.. Об'ясните мне, пожалуйста, что — у штатских и у военных внутре одинаково?

— Ну, насчет этого пункта, Алена Герасимовна, можно вам доложить материю. Во-первых, надобно сказать, ничего одинакового нет.

Конторщик подсел к девке и начал свое об'яснение» [1]).

Чернышевский со своей стороны доказывает в той же статье, что «внутре у человека одинаково», и приглашает, как мы уже видели, своих читателей забыть, кто светский человек, кто купец, кто мужик, и о каждом судить по человеческой психологии.

Писарев охотно откликается на это приглашение, но делает из него вот какой вывод:

«Вместо того, чтобы проповедывать голосом вопиющего в пустыне о вопросах народности и гражданской жизни, о которых молчит изящная словесность, обладающая большим тактом, наша критика сделала бы очень хорошо, если бы обратила побольше внимания на общечеловеческие вопросы, на вопросы частной нравственности и житейских отношений. В уяснении этих вопросов нуждается всякий; эти вопросы затемнены и запутаны разным старым хламом, который не мешало бы отодвинуть в сторону, чтобы всем и каждому можно было непредубежденными глазами взглянуть на свет божий и на добрых людей» [2]).

Это уже чистая «писаревщина», отличительная черта которой состоит в том, что вопросы «частной нравственности» ее интересуют несравненно больше, нежели вопросы «гражданской жизни». «Писаревщину» считают иногда умственным течением, не имеющим ровно ничего общего с направлением Чернышевского и Добролюбова. Это большая ошибка [3]). На самом деле она представляет собою не что

---

[1]) Сочинения, т. VIII, 346.

[2]) Сочинения *Д. И. Писарева*, т. I, стр. 347.

[3]) По обыкновению, в деле высказывания ошибочных взглядов на историю нашей мысли, рекорд побивает наш историк новейшей русской литературы г. Скабичевский. Он изображает «писаревщину», как сенсуализм, очень похожий на сенсуализм XVIII века. «Подобно тому, как во Франции в эпоху регентства версальские щеголи, маркизы и виконты взапуски щеголяли друг перед другом новизною своих идей, зачитываясь Вольтером и энциклопедистами и находя в их

иное, как ряд вполне правильных, хотя и очень крайних, выводов из некоторых неправильных посылок, выдвигавшихся Чернышевским в тех случаях, когда ему изменял его недостаточно разработанный материализм, — или, если вам угодно, когда он изменял этому материализму, — и он незаметно для себя переходил на идеалистическую точку зрения. Писарев обладал огромным литературным талантом. Но, как ни велико удовольствие, доставляемое непредубежденному читателю литературным блеском его статей, все-таки приходится признать, что «писаревщина» была чем-то вроде приведения к абсурду идеализма наших «просветителей».

Это лучше всего видно на его отношении к вопросу о том, чем отличается поэт от мыслителя.

Белинский говорил: «Каждое поэтическое произведение есть плод могучей мысли, овладевшей поэтом. Если бы мы допустили, что эта мысль есть только результат деятельности его рассудка, мы убили бы этим не только искусство, но и самую возможность искусства. В самом деле, что мудреного было бы сделаться поэтом, и кто бы не в состоянии был сделаться поэтом по нужде, по выгоде или по прихоти, если бы для этого стоило только придумать какую-нибудь мысль, да и втискать ее в придуманную же форму? Нет, не так это делается поэтами по натуре и по призванию! У того, кто не поэт по натуре,—пусть придуманная им мысль глубока, истинна, даже свята, — произведение все-таки выйдет мелочное, ложное, фальшивое, уродливое, мертвое, и никого не убедит оно, а скорее разочарует каждого в выраженной им мысли, несмотря на всю ее правдивость! Но между тем, так-то именно и понимает толпа искусство, этого-то именно и требует она от поэтов! Придумайте ей, на досуге, мысль получше, да потом и обделайте

сочинениях полное оправдание своего легкомысленного поведения, ведшего их к крайнему разорению, а затем и под нож гильотины,—нечто подобное видим мы и у нас в шестидесятые годы, с той разницей, что Вольтера заменяли Фейербах и Бюхнер, а энциклопедистов — Бокль, Льюис, Фохт, Молешотт и пр. Точно так же масса барских сынков, заявляя себя новыми людьми, все новаторство свое высказывала в цитатах из любимых авторов, эффектном отрицании так называемых «авторитетов», пренебрежении к светским обычаям и приличиям и в полной разнузданности каких бы то ни было похотей и прихотей». (Цитированное сочинение, стр. 88). Само собой разумеется, что бывший присяжный критик «Отечественных Записок» не имеет ровнехонько никакого понятия о том, как близка была к «сенсуализму XVIII века» материалистическая философия самого Чернышевского. Но спорить с ним бесполезно. Достаточно подчеркнуть его ошибку только для того, чтобы показать, как не следует писать историю нашей литературы.

ее в какой-нибудь вымысел, словно брильянт в золото. Вот и дело с концом!».

Это его рассуждение представляет собою лишь новую вариацию той основной его темы, по совершенно верному смыслу которой художник мыслит образами, а не силлогизмами. Но Писарев, утверждающий, что он лишь развивает дальше основные убеждения Белинского, видит в этом различении между поэтом и мыслителем лишь «очень богатую дань тому эстетическому мистицизму, который проводит резкую разделительную черту между поэтами и простыми смертными» [1]). Он находит Белинского глубоко зараженным эстетическим мистицизмом, от которого, по его словам, не совсем убережся даже Добролюбов. Но он думает, что достаточно одного прикосновения трезвой критики, чтобы рассеять этот «мистический туман». У него выходит, что всякий умный человек, который захочет дать себе труд приобретения известной технической сноровки, может стать поэтом, как может он стать критиком или «вообще словесных дел мастером». Он прямо говорит это: «Такой человек, к которому заходят в голову умные мысли, который умеет задерживать и разрабатывать эти мысли в своей голове и который, посредством упражнения, сделался мастером словесных дел, такой человек, говорю я, может, если только пожелает, сделаться поэтом, то-есть создать несколько произведений, которые подействуют на читателей так точно, как действуют на них произведения, созданные настоящими, патентованными поэтами» [2]). Что это не так, что не всякий умный человек может сделаться поэтом, этого не нужно доказывать, это очевидно само собой. Но почему же, высказывая эту ошибочную мысль, Писарев думал, что он лишь развивает дальше «основное убеждение» Белинского? Потому что сам Белинский смотрел иногда на искусство с отвлеченной точки зрения «просветителя». Он говорил, например, что «Шекспир все передает через поэзию, но передаваемое им далеко от того, чтобы принадлежать одной поэзии». Это давало повод думать, что есть какая-то особая область, принадлежащая исключительно поэзии и могущая быть противопоставленной другим областям, которые к поэзии не принадлежат, но могут быть «передаваемы через поэзию». Вот это собственно и думал Писарев, уверяя своих читателей в том, что каждый умный человек может сделаться поэтом. Он, очевидно, хотел сказать, что если

[1]) Сочин. *Д. И. Писарева*, т. V, стр. 69.

[2]) Там же, стр. 71.

не каждый умный человек может стать мастером в собственно поэтической области, то это не беда, так как, выработав из себя словесных дел мастера, умный человек способен многое «передать через поэзию». Если же при этом он все-таки не обнаружит большой силы в собственно поэтической области, то это ему могут поставить в упрек разве лишь филистеры, воспитавшиеся в старых эстетических понятиях, или «полуэстетики» вроде Белинского, еще не окончательно отделавшиеся от «шелухи гегелизма». Развивая и доказывая эту мысль со свойственным ему жаром и талантом, Писарев имел кажущееся основание думать, что он остается вполне верным критике Белинского. А на самом деле он был, повторяем, верен только слабым сторонам этой критики, только тем ее недостаткам, которые вызывались неразработанностью некоторых ее положений. Так, логическая ошибка, сделанная Белинским в разборе теории чистого искусства, породила то, что представлялось Писареву последним словом отрицательной доктрины.

Если бы Белинский в пылу полемики не изменил своей собственной теории; если бы он помнил, что содержание поэзии — то же, что и содержание философии, и что между поэтом и мыслителем разница лишь в том, что один мыслит образом, а другой силлогизмами, то весь вопрос о теории «чистого искусства» представился бы ему совершенно в другом свете. Он сказал бы тогда, что нет никакой специально поэтической области; что поэзия всегда является отражением общественной жизни и что поэзия, желающая оставаться «чистой», отражает лишь общественный индифферентизм создавшего ее общественного слоя. А если б он пошел дальше и постарался уяснить себе, чем же вызывается подобный индифферентизм, то он увидел бы, что в разные исторические эпохи индифферентизм этот вызывается весьма различными, и даже прямо противоположными, причинами, но что все они коренятся в общественных отношениях и совсем не имеют непосредственного касательства ни к сущности искусства, ни к его «законам», ни к его технике. Чтобы выяснить все это, Белинскому нужно было бы последовательно применить материалистическую диалектику к изучению эстетического развития человечества. Но при тогдашних русских условиях он не мог сделать это, несмотря на всю свою гениальность. Поэтому мы находим у него лишь элементы материалистического взгляда на искусство. Не будучи в состоянии дать надлежащее развитие этим материалистическим элементам, он в споре с защитниками чистого искусства поневоле хватался за то оружие, какое обыкновенно находится

в арсенале «просветителей». А в их арсенале находятся обыкновенно только чисто идеалистические доводы. И эти-то идеалистические доводы, грешившие прежде всего своею отвлеченностью, и легли в основу тех рассуждений Писарева, которые, будучи доведены до своего логического конца, «разрушали» эстетику. Мы сказали выше, что нельзя делать Чернышевского ответственным за Писарева. Теперь мы повторим это в применении к Белинскому: его тоже нельзя винить за поправки, сделанные Писаревым в его литературных взглядах. Но мы пойдем еще дальше и скажем, что не виноват был и сам Писарев, если ему случалось доходить до абсурда (говорим: случалось, потому что он тоже не всегда «разрушал» эстетику): виновата была в этом несостоятельность идеалистического взгляда на искусство, которая в самом деле приводит или к «мистическому туману» теоретиков «чистого искусства», или к более или менее «разрушительным» для эстетики выводам «просветителей». Еще одно слово. Именно потому, что Писарев довел до абсурда некоторые идеалистические посылки наших «просветителей» 60-х годов, он явился отцом нашего пресловутого «суб'ективного» метода. В статье «Процесс жизни», написанной по поводу книги Карла Фохта «Physiologische Briefe», он говорил:

«Естественные науки не то, что история, совсем не то, хоть Бокль и пытается привести их к одному знаменателю. В истории все дело в воззрении, в гуманной личности самого писателя; в естественных науках все дело в факте... История есть осмысление события с личной точки зрения автора; каждая политическая партия может иметь свою всемирную историю и действительно имеет ее, хотя, конечно, не все эти истории записаны, точно так же, как всякая философская школа имеет свой философский лексикон. История есть и всегда будет теоретическим оправданием известных практических убеждений, составившихся путем жизни и имеющих свое положительное значение в настоящем. Об естественных науках этого, конечно, нельзя сказать; природе нет никакого дела до того, как вы о ней думаете; если вы ошиблись, она вас помнет или совсем раздавит, как помнет или раздавит вас колесо огромной машины, к которой вы подошли слишком близко во время ее полного хода» [1]).

Поставьте в этой выписке слово «социология» вместо слова «история»—и вы получите теоретическое обоснование пресловутого «суб'ективного» метода. В своем противопоставлении истории естество-

[1]) Там же, стр. 310 — 311.

знанию Писарев повторял ту же теоретическую ошибку, которая привела его к «разрушению эстетики». Он упускал из виду, что сознание определяется бытием и что если история есть и всегда будет теоретическим оправданием известных практических убеждений, то практические убеждения не падают с неба, а обусловливаются известными общественными отношениями, развитие которых так же закономерно, как развитие животных и растительных видов. На этой же теоретической ошибке основывалась вся мнимая социологическая премудрость наших суб'ективистов во главе с Н. Михайловским. Г. Скабичевский этого, как водится у него, не заметил и потому, относясь отрицательно к «разрушительным» подвигам Писарева в области эстетики, он с восторгом отзывался о «суб'ективных» открытиях Михайловского. «Его статьи о Спенсере, о Дарвине и вообще по социологии, — говорит он, — имеют не одно только публицистическое значение, а представляют целый вклад в науку, и если бы их перевести на один из иностранных языков, они не замедлили бы доставить автору их общеевропейскую известность» [1]).

Некоторые социологические статьи Михайловского переведены теперь на французский и, если не ошибаемся, на немецкий язык. Большой европейской известности они его имени, надо думать, никогда не доставят. Но очень возможно, что они удостоятся похвал со стороны того или другого из тех европейских мыслителей, которые пятятся «назад к Канту»! Из ненависти к марксизму. В таких похвалах, вопреки мнению нашего новейшего историка литературы, не может быть ничего лестного. Но в высшей степени достойна замечания эта ирония истории, превращающей в теоретическое орудие реакции то, что было невинною теоретическою ошибкою в более или менее прогрессивном утопизме.

В заключение мы считаем необходимым сделать следующую, весьма существенную, как нам кажется, оговорку.

Если «люди 60-х годов» смотрели на художественную литературу глазами «просветителей», т.-е. требовали от нее прежде всего «приговоров о явлениях жизни», то это еще не значит, что они были лишены художественного чутья. Этого нельзя сказать, по крайней мере, об их наиболее выдающихся и наиболее блестящих представителях, какими были Чернышевский, Добролюбов и Писарев. В сочинениях каждого из них, — и иногда именно там, где они дальше всего заходят в своей рассудочности, — можно встретить самые несомненные свиде-

[1]) Цитированное сочинение, стр. 120.

тельства о тонкости их литературного вкуса. Возьмем хотя бы Писарева. В той же самой статье, где он доходит, можно сказать, до Геркулесовых столбов рассудочности, он бросает мимоходом следующий отзыв: «Подводный камень», роман, стоящий по своему литературному достоинству ниже всякой критики, имеет громкий успех, а «Детство, отрочество и юность» графа Л. Толстого, вещь замечательно хорошая по тонкости и верности психологического анализа, читается холодно и проходит почти незамеченной» [1]). Этот отзыв о художественном произведении Толстого, т.-е. человека совершенно чуждого всех тех общественных и личных вопросов, которые так сильно волновали «людей 60-х годов», показывает, что Писарев мог бы быть хорошим «эстетическим» критиком. Подобные отзывы мы могли бы найти даже в тех его статьях, в которых он так старательно развенчивает Пушкина. Даже и в этих статьях видно, что, решительно восставая против «филистерских» *взглядов* «нашего маленького и миленького Пушкина», Писарев сознавал прелесть *формы* его произведений.

Что «публицистическая критика» Добролюбова была весьма чутка к художественным достоинствам разбираемых произведений, это признают теперь, если мы не ошибаемся, даже люди, очень мало расположенные к нашим «шестидесятникам». Но некоторые из этих людей, отдавая эту справедливость Добролюбову, не видят, однако, даже признаков художественного чутья в критических статьях Чернышевского. Да что говорить о людях, мало расположенных к нашим «шестидесятникам». Даже г. Скабичевский, который в качестве присяжного критика «Отечественных Записок» склонен был смотреть на себя, как на писателя, всей душой преданного тому, что называлось у нас лучшими заветами 60-х годов, так судит о критике Чернышевского:

«Что касается до Чернышевского, то он первый подал пример той публицистической критике, которая вытекала из его теории. По правде сказать, критические статьи его далеко уступают статьям Добролюбова. Прежде всего вы видите в них отсутствие того же, чем хромает и диссертация, т.-е. эстетического, а следовательно, и критического чутья, и этот недостаток повел за собою ряд вопиющих промахов. Так, например, Чернышевский очень пренебрежительно и враждебно отнесся к драме Островского «Бедность не порок» из чисто партийной вражды и в то же время с большим восторгом приветствовал появление рассказов Николая Успенского, усмотрев в них конец санти-

[1]) Соч. *Д. И. Писарева*, т. III, стр. 270.

ментальной идеализации народа и начало реального и трезвого отношения к нему, не заметивши в то же время всей поверхностности и грубости шаржей Николая Успенского» [1]).

Мы уже говорили, что «шаржи» Николая Успенского далеко не так плохи, как это думает г. Скабичевский. Теперь мы скажем, что пренебрежительный отзыв Чернышевского о драме «Бедность не порок» не помешал ему отдать должное «прекрасному дарованию» (подлинные его слова) Островского и отнестись с большой похвалой к комедии «Свои люди—сочтемся». Если в отзыве о драме «Бедность не порок» слышится «партийная вражда», то следует помнить, что Чернышевский враждовал в данном случае с тем, что отнюдь не заслуживало сочувствия. Он с насмешкою отнесся к тем критикам, которые ставили «Бедность не порок» выше «Гамлета» и «Отелло». Разве ж не заслуживало насмешки это нелепое увлечение? Он иронизировал над тою славянофильски настроенною частью публики, которая увидела в Любиме Торцове прекрасное выражение «русского духа» и воображала, что, создав этот тип, Островский сказал новое слово. Правда, Чернышевский заходил слишком далеко, говоря, что «Бедность не порок» относится к тому же роду произведений, как «Мельник» Аблесимова, и есть простой сборник народных песен и обычаев [2]). Но он, в конце концов, был совершенно прав, когда говорил, что в названной драме Островский впал в приторное прикрашивание того, что не может и не должно быть прикрашено [3]). Критика и теперь должна признать это. Точно так же она и теперь должна признать, что Чернышевский сразу и очень верно оценил великое художественное значение произведений Л. Толстого. Но мало того, что он сразу и верно оценил это значение. Не будет преувеличением сказать, что Чернышевский сразу же определил главную отличительную черту художественного таланта Л. Толстого. В библиографической заметке, посвященной «Детству и отрочеству» и «Военным рассказам» Л. Толстого, мы находим следующие строки:

«Внимание графа Толстого более всего обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из других; ему интересно наблюдать, как чувство, непосредственно возникающее из данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых воображением, переходит в другие чувства, снова возвра-

---

[1]) Цитир. сочин., стр. 66.
[2]) Соч., т. I, стр. 129.
[3]) Там же, стр. 130.

щается к прежней исходной точке и опять и опять странствует, изменяясь по всей цепи воспоминаний; как мысль, рожденная первым ощущением, ведет к другим мыслям, увлекается дальше и дальше, сливает грезы с действительными ощущениями, мечты о будущем с рефлексиею о настоящем. Психологический анализ может принимать различные направления: одного поэта занимают всего более очертания характеров; другого — влияния общественных отношений и житейских столкновений на характеры; третьего — связь чувств с действиями; четвертого — анализ страстей; графа Толстого всего более — сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души, чтобы выразиться определительным термином» [1]).

Это до последней степени тонкое критическое замечание. И оно не мимоходом высказывается у нашего автора, а получает у него довольно обстоятельное развитие. Чернышевский говорит, что из других замечательнейших наших поэтов указанная им сторона психологического анализа более всего развита у Лермонтова, но что и у него она все-таки играет слишком второстепенную роль и редко обнаруживается. Очень редко встречается она и у великих иностранных художников, которые по большей части представляют нам не диалектику мыслей и чувств, не переход одного чувства в другое и одной мысли в другую мысль, а только два крайние звена этого психического процесса: только его начало и конец. «Это потому, — опять чрезвычайно тонко замечает Чернышевский, — что большинство поэтов, имеющих драматический элемент в своем таланте, заботятся преимущественно о результатах проявления внутренней жизни, о столкновениях внутренней жизни, о столкновениях между людьми, о действиях, а не о таинственном процессе, посредством которого вырабатывается мысль или чувство; даже в монологах, которые, повидимому, чаще всего должны бы служить выражением этого процесса, почти всегда выражается борьба чувств, и шум этой борьбы отвлекает наше внимание от законов и переходов, по которым совершается ассоциация представлений, — мы заняты их контрастом, а не формами их возникновения, — почти всегда монологи, если содержат не простое анатомирование неподвижного чувства, только внешностью отличаются от диалогов: в знаменитых своих рефлексиях Гамлет как бы раздвояется и спорит сам с собой; его монологи в сущности принадлежат к тому же роду сцен, как и диалоги Фауста с Мефистофелем или споры маркиза Позы с

[1]) Сочинения, II, стр. 639.

Дон-Карлосом»[1]). Толстой не ограничивается изображением результатов психического процесса готовых чувств; его, как сказано, интересует самый процесс; он является несомненным мастером в его изображении. В этом состоит, по мнению Чернышевского, оригинальная черта таланта Толстого. Чернышевский говорит, что, вероятно, Толстой напишет много такого, что будет поражать каждого читателя другими, более эффектными качествами: глубиною идеи, яркими картинами быта и т. д.; но для истинного знатока всегда будет видно, что истинно силен и прочен его талант именно указанным качеством.

Это как нельзя более справедливо. И весьма достойно замечания то обстоятельство, что, между тем как Толстой,—что хорошо видно из недавно опубликованной П. Бирюковым биографии его, — относился к Чернышевскому и его единомышленникам с полным отрицанием и столь же полным непониманием, Чернышевский, со своей стороны, сумел не только оценить талант Толстого, но и тонко подметить самую замечательную его черту. Это поистине большая литературная заслуга. Нам кажется, что совершить ее помогла Чернышевскому та самая рассудочность, которая вообще свойственна «просветительным» эпохам и благодаря которой критика 60-х годов иногда бывала недостаточно внимательна к эстетической стороне разбираемых ею произведений. Как ни чужды были Толстому все взгляды и стремления «людей шестидесятых годов», но и он не ушел от влияния своего времени. В нем тоже была чрезвычайно сильно развита рассудочность, но только она приняла у него другое направление: вместо того, чтобы анализировать взаимные отношения людей, Толстой, который был в сущности совершенно равнодушен к этим отношениям и интересовался исключительно собою, анализировал свою собственную психическую жизнь и тем развивал ту свою способность, которая в самом деле составляет главную отличительную черту его художественного таланта.

Чернышевский защищает далее Толстого от упреков в том, что в «Детстве и отрочестве» нет картин общественной жизни. Он иронически замечает, что в этих произведениях нет и многого другого, например, военных сцен, исторических воспоминаний, картин итальянской природы и т. п. «Автор хочет перенесть нас в жизнь ребенка,— справедливо замечает он, — а разве ребенок понимает общественные вопросы, разве он имеет понятие о жизни общества? Весь этот элемент столь же чужд детской жизни, как лагерная жизнь, и условия художественности были бы точно так же нарушены, если бы в «Дет-

[1]) Там же, стр. 642.

Центр. Гор. Библиотека имени Островского г. Комсомольск

стве» была изображена общественная жизнь, как и тогда, если б изображена была в этой повести военная или историческая жизнь. Мы любим не менее кого другого, чтобы в повестях изображалась общественная жизнь; но, ведь, надобно же понимать, что не всякая поэтическая идея допускает внесение общественных вопросов в произведение; не должно забывать, что первый закон художественности — единство произведения, и что потому, изображая «Детство», надобно изображать именно детство, а не что-либо другое, не общественные вопросы, не военные сцены, не Петра Великого и не Фауста, не Индиану, не Рудина, а дитя с его чувствами и понятиями» [1]).

Чернышевский повторяет, что у Толстого истинный талант, и по этому поводу дает нам понять, какие произведения считает он истинно художественными. Сочинения Толстого художественны,—это значит, что «в каждом из них очень полно осуществляется именно та идея, которую он хотел осуществить в этом произведении. Никогда не говорит он ничего лишнего, потому что это было бы противно условиям художественности, никогда не обезобразил он свои произведения примесью сцен и фигур, чуждых идее произведения. Именно в этом и состоит одно из главных требований художественности» [2]).

Все это показывает, что в лице Чернышевского критика 60-х годов хотя и отличалась, вообще говоря, преобладанием рассудочности, но все-таки была чрезвычайно далека от той нелепой односторонности, в которой ее уличали ее враги и которую не прочь навязать ей даже ее странный и непонятливый полу-друг г. Скабичевский [3]). Мы с твердым убеждением говорим, что Чернышевский, ждавший от Толстого в будущем много великих произведений, не написал бы о «Войне и Мире» таких действительно и непростительно односторонних страниц, — односторонних до высокого комизма, — какие вышли из-под пера г. Скабичевского. Иной читатель скажет нам, может быть, что это само собой понятно ввиду той «дистанции», которая отделяет Чернышевского от г. Скабичевского. Мы спорить и прекословить не станем. Между ними в самом деле «дистанция огромного размера». Но ведь вообразил же г. Скабичевский, что способен *критиковать Чернышевского!*

Ч 986.

[1]) Там же, стр. 645 — 646.

[2]) Там же, стр. 647.

[3]) Надо заметить к тому же, что Чернышевский очень решительно и даже едко оспаривал при этом *общественные взгляды* гр. Л. Толстого. См. его рецензию о «Ясной Поляне». Соч., т. IX, стр. 117 и след.